

ТЕККЕРЕЙ

В ВОСПОМИНАНИЯХ

СОВРЕМЕННОКОВ



СЕРИЯ

ЛИТЕРАТУРНЫХ

МЕМУАРОВ

Теккерей Уильям Мейкпис

Теккерей в воспоминаниях современников

ТЕККЕРЕЙ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ
ЖИЗНЬ, ТВОРЧЕСТВО, ЛИЧНОСТЬ ТЕККЕРЕЯ

Содержание:

Джордж Венейблз. Из воспоминаний о школьных годах Теккерей.

Перевод И. Гуровой

Эдвард Фвцджеральд. Из писем. Перевод И. Гуровой

* Томас Карлейль. Из писем. Перевод Т. Казавчинской

* Джейн Брукфилд. Из переписки. Перевод Т. Казавчинской

Генриетта Кокрен. Из книги "Знаменитости и я". Перевод Т.

Казавчинской

Гарри Иннз и Фрэнк Дуайер. Теккерей и Левер. Перевод И.

Бернштейн

Энн Ритчи. Из книги "Главы воспоминаний". Перевод Т.

Казавчинской

Алисия Бейн. Из книги "Памяти семьи Теккереев". Перевод И.

Гуровой

Кейт Перри. Из книги "Воспоминания о лондонской гостинице".

Перевод И. Гуровой

Джон Джонс Мерримен. Из статьи "Кенсингтонские светочи".

Перевод И. Гуровой

Фрэнсис Сент-Джон Теккерей. Воспоминания о Теккерее.

Перевод И. Гуровой

* Элизабет Баррет-Браунинг и Роберт Браунинг. Из писем.

Перевод Т. Казавчинской

* Шарлотта Бронте. Из писем. Перевод Т. Казавчинской

Ричард Бедингфилд. Из воспоминаний. Перевод Я. Васильевой

Уильям Фрэзер. Воспоминания издателя. Перевод М. Лорие

Джон Браун. Из книги Александра Педди "Воспоминания доктора

Джона Брауна". Перевод И. Гуровой

Уильям Рассел. Из дневника. Перевод Т. Казавчинской

Бланш Корниш. Из воспоминаний. Перевод И. Гуровой
Теодор Мартин. Из воспоминаний. Перевод Т. Казавчинской
Джон Кук. Из статьи "Час с Теккереем". Перевод И. Гуровой
Уитуэлл и Уорвик Элвины. Из воспоминаний. Перевод Т.
Казавчинской

Джон Корди Джифрисон. Из воспоминаний. Перевод И. Гуровой
Герман Меривейл. Из книги "Жизнь Теккерей". Перевод М. Лорие
Уильям Блэнчерд Джерролд. Из книги "Лучшие из лучших: день с
Теккереем". Перевод Т. Казавчинской

* Джордж Элиот. Из письма к супругам Брэй. Перевод Т.
Казавчинской

Эдит Стори. Из воспоминаний и дневников. Перевод Н.
Васильевой

Энтони Троллоп. Из книги "Теккерей". Перевод Н. Васильевой
Джордж Ходдер. Воспоминания секретаря. Перевод Н.
Васильевой

ТЕККЕРЕЙ - ЖУРНАЛИСТ, ИЗДАТЕЛЬ, ЛЕКТОР
Чарлз Маккей. Из воспоминаний. Перевод И. Гуровой
Джон Чэпмен. Из дневника. Перевод И. Гуровой
Джордж Смит. Из воспоминаний о "Корнхилле". Перевод И.
Гуровой

Энн Ритчи. Из книги "Главы воспоминаний". Перевод Т.
Казавчинской

Джордж Сала. Из книги "То, что я видел, и те, кого я звал".
Перевод И. Бернштейн

Джордж Ходдер. Воспоминания секретаря. Перевод Н.
Васильевой

Фанни Кембл. Из книги воспоминаний. Перевод М. Лорие
Уильям Оллинге́м. Из дневников. Перевод И. Бернштейн
Фрэнсис Бернанд. Из статьи "Записки сотрудника "Панча".
Перевод И. Бернштейн

Энтони Троллоп. Из книги "Теккерей". Перевод Н. Васильевой
ТЕККЕРЕЙ - ХУДОЖНИК

Энн Ритчи. Из книги "Главы воспоминаний". Перевод Т.
Казавчинской

Генри Визетелли. Из книги "Взгляд в прошлое". Перевод М.
Лорие

ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ

Энн Ритчи. Из книги "Главы воспоминаний". Перевод Т. Казавчинской

Джеймс филдс. Из книги "Вчерашний день с писателями". Перевод И. Бернштейн

Джордж Лант. Из воспоминаний о Теккерее. Перевод И. Бернштейн

Люси Бэкстер. Из воспоминаний. Перевод М. Лорие

Баярд Тейлор. Из воспоминаний. Перевод И. Васильевой

Айра Кроу. Воспоминания секретаря. Перевод И. Гуровой

ТЕККЕРЕЙ И ДИККЕНС

Томас Карлейль. Из дневника. Перевод Т. Казавчинской

Энн Ритчи. Из книги "Главы воспоминаний". Перевод Т. Казавчинской

Кейт Перуджини-Диккенс. Из воспоминаний. Перевод Т. Казавчинской

Джордж Ходдер. Воспоминания секретаря. Перевод П. Васильевой

Энтони Троллоп. Из книги "Теккерея". Перевод П. Васильевой

Генри Визетелли. О скандале в "Гаррик-клубе". Перевод М. Лорие

Эдмунд Йейтс. Скандал в "Гаррик-клубе". Перевод М. Лорие

Джон Корди Джифрисон. Из воспоминаний. Перевод И. Гуровой

Теодор Мартин. Из воспоминаний. Перевод Т. Казавчинской

Элиза Линтон. Из книги "Моя литературная жизнь". Перевод И. Гуровой

Дэвид Мэссон. Из статьи "Пенденнис" и "Копперфилд". Перевод Т. Каавчинской

БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ ТЕККЕРЕЯ

Томас Карлейль. Из писем. Перевод Т. Каавчинской

Бланш Корниш. Теккерея в последние годы жизни. Перевод И. Гуровой.

Энн Ритчи. Из книги "Главы воспоминаний". Перевод Т. Казавчинской

Уильям Рассел. Из дневника. Перевод Т. Казавчинской

Джон Эверетт Миллес. Из "Записок сына художника". Перевод Т. Казавчинской

* Джордж Крукшенк. Из беседы с М. Конвеем на похоронах Теккерей. Перевод Т. Казавчинской

Джеймс Ханней. Из некролога, посвященного У.-М. Теккерей. Перевод Т. Казавчинской

Джордж Сала. Из воспоминаний. Перевод И. Бернштейн

Дэвид Мэссон. Теккерей. Перевод М. Лорие

Инес Далла. Из некролога. Перевод И. Гуровой

* Чарлз Диккенс. Памяти У.-М. Теккерей. Перевод И. Гуровой

* Шерли Брукс. Некролог. Перевод А. Солянова

ПРИЛОЖЕНИЕ. ЛИТЕРАТУРНАЯ СУДЬБА ТЕККЕРЕЯ

Джордж Генри Льюис. Статья в "Морнинг кроникл" от 6 марта 1848 года. Перевод М. Лорие

Джордж Генри Льюис. Статья в "Лидер" от 21 декабря 1850 года. Перевод М. Лорие

Джон Форстер. Из статьи в "Экзаминер" от 13 ноября 1852 года. Перевод М. Лорие

Элизабет Ригби. Из статьи "Ярмарка тщеславия" и "Джейн Эйр". Перевод И. Гуровой

Эдвард Берн-Джонс. Из "Эссе о "Ньюкомах". Перевод Т. Казавчинской

Маргарет Олифант. Из статьи "Теккерей и его романы". Перевод И. Васильевой

Уильям Роско. Из статьи "У.-М. Теккерей, художник и моралист". Перевод И. Гуровой

Лесли Стивен. Из предисловия к Собранию сочинений У.-М. Теккерей. Перевод Т. Казавчинской

ТЕККЕРЕИ И РОССИЯ

А. В. Дружинин. Из статьи "Ньюкомы", роман В.-М. Теккерей"

И. И. Введенский. Из статьи "О переводах романа Теккерей..."

К. Д. Ушинский. Из статей

Н. Г. Чернышевский. Из статьи "Ньюкомы"... Роман В. Теккерей"

А. И. Герцен. Из статьи

И. С. Тургенев. Из писем

Л. Н. Толстой. Из писем, дневников, произведений, бесед

А. И. Фет. Из писем и статей

Ф. И. Буслаев. Из статьи "О значении современного романа и его задачах"

П. Д. Боборыкин. Из книги "Роман на западе"

Комментарии Е. Гениевой

Именной указатель

Указатель произведений Теккерея

НЕИЗВЕСТНЫЙ ТЕККЕРЕЙ

Коль скоро писатель-юморист лучше других обнаруживает, чувствует и высказывает правду, мы уважаем, ценим, порой любим его. И поскольку его задача - оценивать жизнь и особенные качества других людей, мы извлекаем урок из собственной его жизни, когда его уже нет.

(Теккерей. Лекция о Свифте)

Литературная слава, как, впрочем, любая, капризна. Случается, что из-за ее прихотей один писатель при жизни получает сторицей, тогда как другой, вовсе не уступающий ему талантом, добивается признания слишком поздно, когда уже не достает сил и времени насладиться успехом.

Именно так разыграла история XIX столетия партию литературного соперничества "Диккенс - Теккерей". Слава пришла к Диккенсу рано и не покидала его до последнего часа.

Иначе сложилась творческая судьба Теккерея. В 1847 г. незадолго до того, как в свет стали выходить первые выпуски самого известного романа Теккерея "Ярмарка тщеславия", не только рядовые читатели, но даже многие критики-профессионалы затруднились бы ответить на вопрос: "А кто это Теккерей?" А между тем Теккерей был вовсе не новичок в литературе. К этому времени он успел написать и издать две книги путевых очерков, повесть "Кэтрин", откровенную полемику с "Оливером Твистом" Диккенса, отчаянно смешные, но вовсе не безобидные пародии, составившие цикл "Романы прославленных сочинителей", сокрушительную в своем обличительном пафосе "Книгу снобов".

Вскоре после смерти Теккерея в 1863 г. один английский критик писал: "О Теккерее рано говорить подробно. Чтобы по справедливости оценить его, нужна дистанция". Ему вторил известный литератор, пародист Дуглас Джерролд: "Я был знаком с Теккереем в течение восемнадцати лет, и все равно я не знаю его". Этот парадокс попытался объяснить американский журналист Джон Кук: "Меня всегда поражало несоответствие настоящего облика Теккерея тем злобным карикатурам

на него, которые выходили из-под пера некоторых английских критиков".

И на портретах, принадлежащих кисти известных живописцев: С. Лоренса, Д. Маклиза, - на многочисленных фотографиях перед нами как бы разные люди. Так и кажется, что настоящее лицо Теккерея ускользает, не поддается воплощению.

Но даже по прошествии времени не появилось фундаментальных работ, в которых была бы предпринята попытка разобраться в истинном вкладе Теккерея в развитие английского и мирового искусства. Его постоянно сравнивали с Диккенсом, выверяли его достижения по Диккенсу, что, по сути своей, было неверно - трудно себе представить более непохожих друг на друга писателей.

Настоящее открытие Теккерея, классика XIX в., состоялось лишь в нашем веке, во второй его половине. У этой парадоксальной ситуации есть, однако, объяснение.

У Теккерея был свой взгляд на многие истины, представления и верования эпохи. Он терпеть не мог вычурности, преувеличений, экзальтации. Мгновенно их распознавал - будь то популярный "готический роман тайн и ужасов" Анны Радклифф, романтическое кипение страстей Байрона, которого Теккерей сурово критиковал, или дивные сказки Диккенса, в гениальном таланте которого он не сомневался.

"Искусство романа, - писал Теккерей в письме известному критику Дэвиду Мэссону, - в том и состоит, чтобы изображать Природу, передавать с наибольшей силой и верностью ощущение реальности... Я не думаю, что Диккенс надлежащим образом изображает природу. На мой вкус, Микобер не человек, но ходячее преувеличение, как собственно и его имя - не имя, а лишь гротеск. Этот герой восхитителен, и я от души смеюсь над ним, но он не более живой человек, чем мой Панч, и именно поэтому я протестую".

Известный романист, драматург Бульвер-Литтон приучил викторианскую публику к романтически-возвышенному облику преступника. Однако Теккерей в своем "Барри-Линдоне", лишив повествование красоты, очарования тайны, показал истинное, психологически и исторически точное, а потому совсем не привлекательное лицо преступника. Замахнулся Теккерей и на самое святое в викторианской морали - на добродетель, на всех этих

ангелоподобных героинь, которые были почти обязательной принадлежностью романов того времени.

Кэтрин, героиня одноименной повести Теккерея, выросшая в воровской среде, в отличие от диккенсовского Оливера Твиста, чудодейственным образом сохранившего незапятнанной свою душу в притоне Фейджина, оказывается воровкой и убийцей. Такова неумолимая логика правды и закон реалистического видения жизни у Теккерея. Настаивая на своем праве изображать людей, а не героев, Теккерей в подзаголовке к "Ярмарке тщеславия" сделал важное уточнение - "роман без героя".

Мало того, что викторианский читатель не успевал уследить за псевдонимами этого, как остроумно назвал его английский критик, "летучего голландца английской литературы" (у Теккерея их было не меньше дюжины), читатель, привыкший к автору-поводырю, чувствовал себя потерянным, когда без подсказки приходилось искать ответ на вопрос, кого одобряет Теккерей в своих книгах, а кого нет. В самом деле, как Теккерей относится к такому отпетому негодяю, как Барри Линдон, зачем он передоверил ему повествование? И отчего в палитре, которой написан образ Бекки Шарп, не только черная краска? И вообще, кто он, этот неуловимый автор? Хотя он подписал "Ярмарку тщеславия" не псевдонимом, но своим настоящим именем, все равно - неуловим: слишком много у него обличей. Кукольник, дергающий своих героев-актеров за веревочки, то он вдруг становится в позу и объявляет, что не имеет к описанному никакого отношения, то, махнув рукой на им же самим придуманные правила, вдруг втискивается в карету, где едут его герои, и, позабыв, что сюжету полагается развиваться динамично, начинает пространно комментировать слова и поступки героев. Или же, прервав повествование, обращается к читателю напрямую с задушевной, поучительной беседой.

Не только средний, но и весьма искушенный читатель не знал, как ему воспринимать эту прозу. Недоумевали и коллеги Теккерея по перу. Английская поэтесса Элизабет Баррет-Браунинг и один из самых блестящих умов того времени историк Томас Карлейль назвали "Ярмарку тщеславия" желчной, злой, не возвышающей душу книгой, увидели в ней лишь жестокую сатиру на современное им общество, но не заметили дидактической посылки автора, не менее отчетливой, чем в аллегорическом романе Джона Беньяна "Путь паломника", откуда

Теккерей позаимствовал заглавие для своей книги. Противоположно суждение Шарлотты Бронте, поклонницы таланта Теккерей, посвятившей автору "Ярмарки тщеславия" второе издание "Джейн Эйр"; "Книга эта мощная, волнующая в своей мощи и еще больше впечатляющая". Но и она укорила его за нравственный релятивизм "Пенденниса", решив, что автор и его герой - одно лицо.

Но сколь бы противоречивы и уклончивы ни были отзывы современников на "Ярмарку тщеславия", в историю английской, как и в историю мировой литературы, Теккерей вошел прежде всего как автор этого романа.

Живой, иронический ум, превосходное образование, точнее, самообразование (Теккерей готовили по юридической линии, но он, тяготившийся "мертворожденной университетской премудростью", так и не окончил Кембриджа), знакомство и дружба с выдающимися людьми эпохи: великим Гете, историком Карлейлем, Браунингами, теоретиком литературы Генри Льюисом, знаменитым переводчиком Омара Хайяма на английский язык Эдвардом Фицджеральдом, наконец, личные трагедии - психическая болезнь жены, юной Изабеллы, драматическая любовь писателя к жене близкого друга Джейн Брукфилд, разрыв все эти обстоятельства вылепили облик писателя, которого многие его современники, знакомые с ним только по книгам, называли "циником", а близкие друзья - одним из самых благородных, щедрых и мужественных людей.

Дарование Теккерей было разнообразным. Он был отменным журналистом-профессионалом - на страницах известного английского сатирического журнала "Панч" на протяжении долгих лет печатались его корреспонденции, рецензии, обзоры литературных новинок; замечательным лектором, хотя лекциям его не были свойственны броскость и театральность Диккенса; эрудиция, юмор, прекрасная речь Теккерей сделали его очень популярным в кругах английской интеллигенции того времени.

Теккерей обладал и поэтическим даром, писал лирические стихи, эпические поэмы, но, пожалуй, самая интересная страница его поэтического наследия дерзкие, остроумные пародии. Есть еще и Теккерей-художник. Как он сам не раз говорил, лишь провидение, представшее перед ним в лице Диккенса, помешало ему стать

профессиональным художником, иллюстратором-графиком уровня Крукшенка, Лича, Тенниела, наследником традиций великого Хогарта.

Дело было, впрочем, так. Первые выпуски "Посмертных записок Пиквикского клуба" со смешными иллюстрациями Роберта Сеймура уже успели полюбить читатели, когда художник внезапно покончил с собой. Нужно было срочно искать замену. Диккенс объявил конкурс. В числе претендентов на роль нового иллюстратора "Пиквика" был и некий Теккерей. Прихватив с собой папку с рисунками, в основном карикатурами и сатирическими зарисовками, он пришел на прием к молодому писателю, имя которого уже гремело на всю Англию. Но Диккенс отклонил кандидатуру Теккерей.

Рисовать Теккерей начал еще в школе. Рано проснувшийся в нем дар комического дал ему возможность подмечать любые проявления смешного и уродливого. Поля его учебников, тетрадей, книг были испещрены карикатурами на товарищей, учителей, набросками литературных персонажей. Уже после смерти Теккерей на одном из книжных аукционов за весьма солидную сумму был продан принадлежащий ему в школьные годы латинский словарь: все свободное пространство в нем было занято карикатурами на "всю эту классическую муть", как называл Теккерей античных богов и героев, неприязнь к которым сохранил на всю жизнь.

Его карандаш стал еще проворнее в годы, когда он не столько учился, сколько мучился в Кембридже. Систематическим занятиям, к которым у него, к огорчению родителей, не было ровным счетом никаких склонностей, а уж тем более к совершенно праздным, как он был убежден, "размышлениям об углах и параллелограммах", он предпочитал чтение и рисунок. В Кембридже он впервые попробовал себя и в жанре иллюстрации, в основном остро-сатирической, шаржированной. Поля читанных им в ту пору книг - "Дон Кихота" Сервантеса, "Робинзона Крузо" Дефо, "Джозефа Эндрюса" Филдинга - так же заполнялись иллюстрациями. Его сатирическая сюита по мотивам знаменитого "готического" романа Уолпола "Замок Отранто" - откровенное издевательство над ужасами и псевдопатетикой. Высокие и утонченные, а на самом деле, ходульные чувства романтиков переводились Теккереем в сниженно-бытовой план.

Так и не окончив Кембридж, Теккерей отправился в Германию, где собирался приобщиться к шедеврам мировой живописи, хранившимся

в немецких музеях, а также улучшить свое знание немецкого языка. В Веймаре он был принят самим Гете, который обратил внимание на "шалости" его карандаша. После Германии Теккерей едет в Париж, учится у одного французского художника, знакомится с французским искусством, особенно графикой. Но вот наступает пора возвращения в Лондон, что же станет его профессией? Именно в это время судьба сталкивает Теккерей с Диккенсом.

Отвергнутый Диккенсом как художник, Теккерей не бросил рисовать слишком сильна оказалась в нем художническая склонность. Он рисовал всюду на полях книг, счетах в ресторане, театральных билетах, прерывал текст писем, чтобы быстрее "Договорить" мысль карандашом, иллюстрировал - и с блеском - свои произведения. По всей видимости, рисунок отвечал нервному, ироническому, требующему немедленного действия темпераменту Теккерей. Даже когда он стал всеми почитаемым автором "Ярмарки тщеславия", по временам его тяготили цепи, приковавшие его к письменному столу. Чтобы писать, Теккерей должен был сделать усилие: нередко до последней минуты откладывал перо, бывало - второпях заканчивал работу, когда уже в прихожей ждал посыльный от издателя. Рисунок же, напротив, позволял ему быстрее и, по собственному признанию, точнее выразить занимавшую его мысль.

До сих пор неизвестно количество созданных Теккереем рисунков: многие потерялись, другие осели в частных коллекциях. По некоторым, весьма предварительным сведениям, общее число приближается к 2000. В одном журнале "Панч" их было помещено 400!

"Если бы мы только сохранили все эти бесчисленные рисунки, которые он так щедро оставлял в альбомах знакомых дам, на полях рукописей, в дневниках, письмах!" - в сердцах воскликнул вскоре после смерти Теккерей его первый биограф и близкий друг английский писатель Энтони Троллоп.

Теккерей - далеко не единственный пример совмещения в одном лице живописного и литературного дарования. Среди английских писателей можно вспомнить Уильяма Блейка, Данте Габриеля Россетти. Создавал акварели и офорты Виктор Гюго, оставил иллюстрированные наброски к "Запискам странствующего энтузиаста" Э.-Т.-А. Гофман. Рисовали Пушкин, Лермонтов, Достоевский. Хотя

мера художественного дарования им была отпущена разная, в любом случае это свидетельство избытка творческой энергии, настоятельно требующей выхода.

Как показало время, Теккерей оказался лучшим иллюстратором собственных произведений. Некоторые придирчивые критики считали, что в этих иллюстрациях есть профессиональная небрежность ("Ему не хватает терпения!"), ощущается спешка: нарушены законы перспективы. Но сколько в них выдумки, юмора! Рисунки по-новому раскрывают Теккерей, но и вместе с тем позволяют глубже вникнуть в самую суть его искусства как писателя, для которого характерны и определенная статичность, и небрежение внешним действием, и особое внимание к портрету - на начальном этапе творчества к внешнему, в зрелые годы - к внутреннему, психологическому.

Хотя Теккерей в своей двуединой деятельности и примирил две стороны своего таланта, в душе постоянно шла напряженная внутренняя борьба: рисование в чистом виде неудержимо влекло его. И поэтому неудивительно, что в его обширном и пока еще не достаточно изученном литературно-критическом наследии далеко не последнее место занимают статьи о живописи и живописцах, говорящие о глубоком знании предмета, вкусе. Помня свой печальный опыт с Диккенсом, он, кого молва, памятуя его сатирические эскапады, считала циником, был предельно тактичен в обращении с начинающими художниками. Уже на склоне лет, пробуя одного молодого человека на роль иллюстратора в возглавляемом им журнале "Корнхилл", он предложил ему нарисовать свой портрет; но при этом поспешно добавил: "Со спины". Он прекрасно понимал, что юноше будет невыносимо работать под взглядом мэтра. В романе "Ньюкомы" (1852) он нарисовал обаятельный, в значительной степени автобиографический образ художника Клайва, в повести "Приключения Филиппа в его странствованиях по свету" (1857) вывел престарелого художника Джона Ридли, а самому Теккерее принадлежат такие высокие слова об искусстве живописи: "Быть живописцем и в совершенстве владеть своей кистью я считаю одним из благ жизни. Счастливое соединение ручной и головной работы должно сделать это занятие необыкновенно приятным... Тут есть занятие, тут есть сильное ощущение, тут есть борьба и победа, тут есть выгода. Чего более вправе требовать человек от судьбы?"

* * *

И все же почему Диккенс отклонил кандидатуру Теккерей как возможного иллюстратора "Пиквика"? Даже беглый взгляд на рисунки, которые разложил перед Бозом молодой художник, говорил, что это - профессионал. Конечно, Диккенс был плохим судьей: он не слишком разбирался в тонкостях искусства графики, ему было безразлично, что в линиях Теккерей угадывается влияние видных французских карикатуристов - Гаварни и Домье. Однако в рисунках-шаржах на бестолковых школьных учителей, на дам света и полусвета, на снобов всех мастей и оттенков, в политических карикатурах на Луи-Филиппа он интуитивно угадал сатирика. А Диккенсу нужен был добрый юморист, подмечающий смешные стороны жизни, но закрывающий глаза на людские пороки. И потому он произнес слова, в которых наметился будущий конфликт двух самых известных английских писателей XIX столетия: "Боюсь, что Ваши рисунки не рассмешат моего читателя".

Личные и творческие взаимоотношения Диккенса и Теккерей - одна из любопытнейших страниц в истории английской литературы XIX столетия. Погодки (Диккенс родился в 1812 г., Теккерей - в 1811 г.) и соратники (с их именами прежде всего связывается представление о славе английского романа XIX столетия), они были не похожи друг на друга во всем.

Выросший в семье, над которой постоянно висела угроза разорения, никогда не простивший родителям унижения, которое он испытал, работая совсем еще мальчиком на фабрике ваксы "Уоррен", Диккенс страшился финансового краха, безудержно утверждал себя, стремясь стать членом того общества, к которому по праву рождения не принадлежал.

Сын рано умершего чиновника индийской колониальной службы, Теккерей вырос в обеспеченной, интеллигентной семье. У него были прекрасные, по-настоящему дружеские отношения не только с матерью, женщиной образованной, но и с ее вторым мужем, майором Кармайклом-Смитом, который принимал самое деятельное участие в судьбе пасынка. Потакал его юношеским прихотям, прощал мотовство. Он же помог Теккерейю определиться и профессионально, вложил деньги в журнал "Нэшнл стэндард", корреспондентом которого стал молодой литератор, отвергнутый Диккенсом как иллюстратор. Мать и

отчим стали для Теккерей надежной поддержкой, когда на него обрушилось тягчайшее горе - психическая болезнь жены, превратившая ее пожизненно в инвалида, а его - в фактического вдовца с двумя маленькими дочерьми на руках.

Человек крайне эмоциональный, весь во власти минуты и настроения, Диккенс мог быть безудержно добрым и столь же неумеренно нетерпеливым даже с близкими и друзьями, безропотно сносившими капризы его поведения. Он был ярок и неумерен во всем: любовь к преувеличению, гротеску, романтическое кипение чувства, бушующее особенно на страницах его ранних романов, были свойственны ему и в обыденной жизни. Покрой и сочетание красок в его одежде не раз повергали в ужас современников, манеры и стиль поведения поражали вызвали восхищение (вся его подвижническая общественная деятельность борьба за улучшение условий существования работниц на фабриках, изменение системы образования) или, напротив, недоумение ("оплот и столп" домашнего очага в глазах викторианской публики, он сделал семейный скандал достоянием общественности, объяснив в письме к читателям мотивы разрыва с женой; тяжело больной, он, несмотря на запреты врачей и мольбы детей, продолжал публичные чтения своих романов перед многотысячной, обожавшей его аудиторией).

Другое дело - Теккерей. Безжалостный сатирик и смелый пародист, он был терпимым, терпеливым и в высшей степени доброжелательным человеком. Ревниво оберегал семейную тайну, не жалуясь на свой крест, воспитывал двух дочерей, стоически сносил болезнь, которая из года в год подтачивала его и, наконец, свела в могилу. Был ровным в отношениях с коллегами, первым всегда был готов протянуть руку не только помощи, но и примирения, что и произошло, когда они поссорились с Диккенсом. Скандал был глупым, сейчас кажется, что он не стоил и выеденного яйца, но в те годы стал поводом для публичных объяснений, писем, статей. Поведение в нем двух главных действующих лиц - Диккенса и Теккерей - как нельзя лучше выявляет особенности их характеров. Диккенс, поддавшись настроению, поддержал некоего мистера Йейтса, крайне пренебрежительно отозвавшегося в своей статье о Теккерее, в частности, об обстоятельствах его семейной жизни. Теккерей потребовал исключения Йейтса из клуба, членом которого состояли

все трое. Он был последователен и настойчив, защищая честь и принципы. Но он же, спустя несколько лет, увидев уже тяжело больного Диккенса, хотя Диккенс и был явно неправ во всей этой истории, окликнул его и первым в знак примирения протянул руку.

Воззрения их на искусство также были полярны. Каждый утверждал Правду по свою. Диккенс создавал гротески добра (Пиквик) и зла (Квилп, Урия Гип), его безудержное воображение вызвало к жизни дивные романтические сказки, где правда идей важнее и значительнее правды фактов ("Лавка древностей", "Рождественские повести"), и монументальные социальные фрески, в которых масштабному, критическому осмыслению подвергались практически все современные Диккенсу общественные институты.

И из-под пера Теккерея выходили монументальные полотна - "Ярмарка тщеславия", "Генри Эсмонд", "Ньюкомы", "Виргинцы". И его сатирический бич обличал несправедливость и нравственную ущербность. И Теккерея, как и Диккенса, о чем красноречиво свидетельствует переписка, влекло изображение добродетели, но... И это "но" очень существенно.

Не склонный к теоретическим рассуждениям, Диккенс оставил крайне скудное литературно-критическое наследие. Тогда как по многочисленным статьям, эссе, рецензиям и лекциям Теккерея можно составить полное представление о его эстетических воззрениях, в частности, о его понимании реализма в искусстве. "Я могу изображать правду только такой, как я ее вижу, и описывать лишь то, что я наблюдаю. Небо наделило меня только таким даром понимания правды, и все остальные способы ее представления кажутся мне фальшивыми... У меня нет головы выше глаз".

Современная Теккерею критика окрестила писателя "апостолом посредственности". Даже Шарлотта Бронте писала: "Его герои неромантичны как утро понедельника". Подобно великим юмористам - Сервантесу и особенно Филдингу, которого он особенно ценил, Теккерея полагал, что человек - это смесь героического и смешного, благородного и низкого, что людская природа бесконечно сложна и что писатель, в свою очередь, должен не упрощать природу на потребу толпе, но по мере сил и таланта показывать ее многообразие и все ее противоречивые проявления.

Теккерей являет пример писателя, у которого выраженный дар комического уживался с благородством чувств. Отнюдь не всегда в прозе Теккерей слышится свист бича, и далеко не всякое осмеяние порока по душе писателю. Например, Ювенал и Свифт для него слишком злы и нетерпимы. Его идеал другой юмористический писатель, "веселый и добрый автор будничных проповедей". Сила социального и нравственного воздействия прозы Теккерей не только в обличении, но во всепроникающей иронии, обнажающей фальшь, порок, претенциозность и не жалеющей при этом даже самого себя. Честертон, понимавший эту особенность художественной манеры Теккерей, остроумно заметил, что книгу очерков об английских снобах мог бы в принципе написать и Диккенс, но только Теккерей мог сделать такую важную приписку к заглавию "написанную одним из них".

В своеобразии его иронии и весьма непростом понимании жизни отчасти содержатся объяснение относительно малой популярности Теккерей при жизни. Современники Теккерей ценили комизм ради комизма и потому с такой готовностью откликались на романы Диккенса, особенно ранние, где всегда есть целый ряд забавных, веселых, хоть и не всегда связанных с общим замыслом и потому легко изымаемых из всей структуры эпизодов. Викторианский читатель ценил гротеск, отдавал должное сатире, был сентиментален, с радостью умилялся добродетели и скорбел о поруганной невинности. Теккереевская ирония оставляла его равнодушным, а иногда и пугала. Слезы, которые исторгала у него смерть Крошки Нелл из "Лавки древностей" или же маленького Поля из "Домби и сына", нравственно возвышали его - в том числе и в собственных глазах. Но смех от иронических замечаний или отступлений Теккерей настораживал - в любую минуту он грозил сделать своей мишенью и самого читателя. Привыкший к черно-белой краске (Квилп - Нелл, мистер Домби Флоренс и т. д.), этот читатель с трудом принял и поздние романы Диккенса, в которых, начиная с "Дэвида Копперфилда", все отчетливее проглядывала темная сторона души, "подполье" человека. А уж что говорить о "сером" цвете, цвете психологических откровений Теккерей?

Подобная эстетика, эстетика полутонов, порожденная новым взглядом на человека, была тогда делом будущего. Ее начнут

разрабатывать в конце XIX столетия, освоят в начале XX-го. Современникам Теккерея его маски, пантомима с Кукольником, отступления, которыми пестрят его романы и которые усложняют собственно авторскую позицию, казались чуть ли не художественными и этическими просчетами. И вот в статьях, рецензиях обзорах, посвященных Теккерею, замелькало слово "циник".

Перечитывая сегодня, на исходе XX столетия, программную лекцию Теккерея "Милосердие и юмор" (1853), созданную более века назад и не потерявшую значения по сей день, недоумеваешь, как могло случиться, что автора этих высоких, прекрасных строк так часто называли циником, мизантропом, себялюбцем. Он же, устав от этого несмолкающего хора и оставив надежду доказать недоказуемое, на пороге своей смерти отдал суровый приказ дочерям: "Никаких биографий! пусть читают мои произведения - там запечатлелся мой образ". И они, вынужденные подчиниться воле отца, сделали все от них зависящее, чтобы затруднить на долгие годы доступ к личным бумагам, рукописям, черновикам, переписке.

Книги о Диккенсе заполняют библиотеки. Монографии о Теккерее поместятся на нескольких полках. Есть среди этих немногочисленных исследований и биографии. К числу классических относится та, что была создана другом и учеником Теккерея, видным английским писателем Энтони Троллопом. Она вышла в свет вскоре после смерти Теккерея. Читая ее, трудно отделаться от мысли, что автор, боясь оскорбить память Теккерея слишком пристальным вниманием к его личности, решил воспроизвести лишь основные вехи его судьбы. В таком же ключе выдержана и другая известная история жизни и творчества Теккерея, вышедшая из-под пера Льюиса Мелвилла. В ней также мало Теккерея-человека, как и в книге Троллопа. В XX в. о Теккерее писали такие блестящие умы, как Лесли Стивен и Честертон, но они, к сожалению, ограничились вступительными статьями и предисловиями.

24 декабря 1863 г. Теккерея не стало. Даже по меркам XIX столетия умер он рано, едва достигнув пятидесяти двух лет. Проститься с автором "Ярмарки тщеславия" пришли более 2000 человек; ведущие английские газеты и журналы печатали некрологи. Один из них был написан Диккенсом, который, позабыв многолетние разногласия и бурные ссоры с Теккереем, воздал должное своему

великому современнику. В потоке откликов на смерть писателя особняком стоит небольшое стихотворение, появившееся 2 января в "Панче", известном сатирическом журнале, с которым долгие годы сотрудничал Теккерей. Оно было анонимным, но современники знали, что его автор - Шерли Брукс, один из постоянных критиков и рецензентов "Панча", давнишний друг и коллега Теккерей. Неожиданностью было среди карикатур и пародий, шаржей и бурлесков, переполнявших страницы журнала, видеть это серьезное и полное глубокого чувства стихотворение. Рисуя образ человека, которого он и его коллеги по "Панчу" знали и любили, Ш. Брукс постарался в первую очередь опровергнуть расхожее мнение о нем как о цинике.

* * *

Теккерей переводили в России, начиная с 1847 г.; уже в 50- 60-е гг. прошлого века были изданы все его большие романы: "Ярмарка тщеславия", "Пенденнис", "Генри Эсмонд", "Ньюкомы", "Виргинцы", "Дени Дюваль". "Теккерей составил себе европейскую славу", - восторженно восклицал критик журнала "Отечественные записки". "Ярмарку тщеславия" знают все русские читатели", вторил ему рецензент из "Сына Отечества". "Отечественные записки" за 1861 г. писали, что "Теккерей стоит далеко впереди самых знаменитых имен в списке юмористов".

Периодические издания разных направлений и ориентации наперебой печатали все, что выходило из-под пера Теккерей. Нередко одно и то же произведение публиковалось параллельно в разных журналах и в разных переводах. "Ярмарка тщеславия" (или "Базар житейской суеты", как называли роман в самых первых русских переводах) вышла в 1850 г. в приложении к журналу "Современник" и в "Отечественных записках". Также и "Ньюкомы": в 1855 г. этот роман появился практически одновременно в приложении к журналу "Современник" и в "Библиотеке для чтения".

В числе переводчиков Теккерей был сам Иринарх Иванович Введенский, блестяще представивший русскому читателю Диккенса. Переводили Теккерей В. В. Бутузов, В. А. Тимирязев, бабушка А. Блока Е. Бекетова. На страницах журналов и газет печатались не только его крупные произведения, но и многочисленные повести, рассказы, эссе. Жанр рассказа и эссе, в котором выступал Теккерей, по

своей художественной сути был родственен "физиологическому очерку", получавшему все большее распространение в русской словесности. Поэтому не будет преувеличением сказать, что переводы Теккерея косвенно могли влиять на процесс формирования русского реализма XIX в.

Русские критики, в числе которых, в первую очередь, необходимо назвать Александра Васильевича Дружинина, сделавшего немало для популяризации творчества Теккерея в России, признавали, что Теккерей - писатель особый, что автор "Ярмарки тщеславия" - глашатай нового аналитического, психологического направления, которое только еще начинала осваивать русская, да и вся европейская словесность. В этом отношении показателен эпизод, о котором рассказывает Достоевский в письме к Страхову от 28 мая 1870 г.: "Давно уже, лет двадцать с лишком назад, в 1850 г., я зашел к Краевскому, и на слова мои, что, вот может быть, Диккенс напишет что-нибудь и к новому году можно будет перевести, Краевский вдруг отвечал мне: "Кто... Пиккенс... Диккенс убит... Теперь нам Теккерей явился, - убил наповал. Диккенса никто и не читает теперь".

Среди писавших о Теккерее встречаются имена многих русских классиков: Герцен, Гончаров, Тургенев, Некрасов, Писарев, Короленко, Достоевский, Толстой, Чернышевский. И все же сердце русского читателя безраздельно было отдано Диккенсу, популярность которого в России, действительно, была феноменальной. Всю жизнь, у себя на родине и у нас, в России, Теккерей находился в тени великого собрата по перу. Русской публике, очарованной, замороженной Диккенсом, не слишком нравился голос этого ироничного, желчного, пугающего своей психологической обнаженностью английского романиста.

Вот мнение Л. Н. Толстого, который, как можно судить по его переписке, дневникам, разговорам, не раз обращался к Теккерею. Однажды на вопрос, как он относится к творчеству английского писателя, Толстой отмахнулся, в другой раз заметил, что "ему далеко до Диккенса". После обстоятельного знакомства с "Ярмаркой тщеславия", "Генри Эсмондом", "Ньюкомами" в письме к Н. А. Некрасову от 1856 г. Толстой замечает: "Теккерей до того объективен, что его лица со страшно умной иронией защищают свои ложные, друг другу противоположные взгляды". При этом нелишне вспомнить, что теккереевская тема снобизма занимала Толстого, начиная с "Детства и

отрочества" и вплоть до "Анны Карениной". Он сам на манер Теккерера восставал против лжи, лицемерия, цинизма светской жизни. И еще. Хранящийся в Яснополянской библиотеке экземпляр романа "Ньюкомы" с замусоленными уголками страниц - не красноречивое ли это свидетельство того, что Толстой внимательно, может быть, даже страстно изучал Теккерера? Не менее любопытно и другое отчетливый интерес Толстого к Троллопу, в книгах которого он высоко ценил "диалектику души" и "интерес подробностей чувства, заменяющий интерес самих событий". Но ведь Троллоп-психолог с его "диалектикой души", как давно доказали критики, прямой ученик Теккерера.

А Тургенев, видевший Теккерера в Париже и в Лондоне и даже продекламировавший автору "Ярмарки тщеславия" во время их лондонской встречи одно из стихотворений Пушкина? Он тоже не оставил воспоминаний о Теккерее, о чем остается только сожалеть, ибо они были бы для нас бесценны.

Кропотливые текстологические разыскания показали, что и те русские писатели, которые оставили весьма скудные заметки о Теккерее, иногда заимствовали образы, сюжетные линии из его произведений. Есть основания полагать, что Достоевскому был знаком перевод рассказа "Киккельбери на Рейне" (1850), который под заголовком "Английские туристы" появился в той же книжке "Отечественных записок" (1851, Э 6, Отд. VIII. С. 106- 144), что и комедия брата писателя, Михаила Михайловича Достоевского "Старшая и младшая". Изменив заглавие рассказа, переводчик А. Бутаков переделал и название, данное Теккереем вымышленному немецкому курортному городку с игорным домом Rougenoirebourg, т. е. город красного и черного, на Рулетенбург - именно так называется город в "Игроке". Кроме того, есть и некоторое сходство между авантюристкой Бланш и принцессой де Магадор из очерка Теккерера, оказавшейся французской модисткой, и англичане в обоих произведениях живут в отеле "Четыре времени года". Просматривается сходство между "Селом Степанчиковом" и "Ловелем-вдовцом": подобно герою повести Теккерера, владелец имения у Достоевского - слабовольный, хороший человек, который, наконец, находит в себе силы восстать против деспотизма окружающих его прихлебателей и женится на гувернантке своих детей.

"Обыкновенная история" Гончарова в своей основной теме совпадает с "Пенденнисом". В самом деле, восторженный юноша, романтик перевоспитывается своим дядюшкой и превращается в такого же практического человека, как он сам.

Не странно ли, что великий русский сатирик Салтыков-Щедрин ни строчки не написал о великом сатирике английской земли? Конечно, странно, особенно если задуматься над несомненным сходством "Книги снобов" и "Губернских очерков", над безжалостным обличительным пафосом "Ярмарки тщеславия", который не мог не быть близок всему духу творчества Салтыкова-Щедрина. Странно еще и потому, что в хронике "Наша общественная жизнь" (1863) Салтыков-Щедрин писал о путешествующем англичанине, который "везде является гордо и самоуверенно и везде приносит с собой свой родной тип со всеми его сильными и слабыми сторонами". Эти слова удивительным образом напоминают отрывок из рассказа Теккерея "Киккельбери на Рейне": "Мы везде везем с собой нашу нацию, мы на своем острове, где бы мы ни находились".

А разве нет тематическо-стилистической, да и всей идейной близости между "Снобами" Теккерея, его эссеистикой и "Очерками бурсы" Помяловского или "Нравами Растеряевой улицы" Успенского? И все же имя Теккерея в сочинениях русских писателей чаще всего встречается в перечислении, по большей части в ряду с Диккенсом и в связи с ним, а отзывы скупы, суждения отрывочны, иногда поспешны и субъективны.

В отличие от Герцена, Тургенева, Толстого, Чернышевский оставил подробный разбор произведений Теккерея, в частности, позднего романа писателя "Ньюкомы". Но он, поклонник "Ярмарки тщеславия", вновь ожидал встречи с сатириком и был глубоко разочарован, если не раздосадован, когда столкнулся с психологическим романом, с тем, что Г. К. Честертон тонко назвал "осенним богатством" чувств Теккерея, его восприятием жизни как "печального и священного воспоминания".

Приговор Чернышевского был суров: "Этот слишком длинный роман... в 1042 страницы" показался ему "беседой о пустяках".

Неужели он прав? Ответ можно, как это ни странно, найти в той же статье Чернышевского. Определяя талант Теккерея, он пишет: "Какое богатство творчества, какая точная и тонкая наблюдательность,

какое знание человеческого сердца..." Эти качества, справедливо отмеченные критиком, явственно проступают и в "Ньюкомах".

Странная, во многом несправедливая писательская и человеческая судьба Теккерея подсказала композицию нашей книги. Обширным стал первый раздел "Жизнь, творчество, личность Теккерея". В него вошли воспоминания друзей, близких, коллег. Едва ли не самыми интересными и достоверными страницами надо считать отрывки из книги старшей дочери Теккерея английской писательницы Энн Ритчи. Второй раздел рассказывает о Теккерее - журналисте, издателе, лекторе. Третий раздел должен воскресить перед читателями образ Теккерея-художника. Небольшой раздел "Поездка в Америку" объясняет читателю, почему Теккерей, в отличие от Диккенса, не написал своих "Американских заметок". Читатель из первых рук получит материал о "ссоре века" - споре и размолвке Диккенса и Теккерея. Обилие некрологов на раннюю смерть писателя позволило объединить эти материалы в раздел "Болезнь и смерть Теккерея". Завершает книгу "Приложение", где рассматривается литературная судьба Теккерея. Здесь суждения, рецензии, статьи английских критиков соседствуют с мнением их русских коллег.

Все мемуаристы (английские и американские), воспоминания которых вошли в книгу, знали Теккерея, не раз виделись с ним. Исключение сделано для зятя писателя Лесли Стивена, видного филолога, литератора, критика, мужа младшей дочери Теккерея Минни. Ранняя смерть Теккерея помешала Лесли Стивену познакомиться с родственником, но близость его к писателю, его семье очевидна и оправдывает исключение из общего правила.

Книги серии "Литературные мемуары", одной из которых и является "Теккерей в воспоминаниях современников", призваны выполнить благородную задачу - нарисовать портрет писателя во весь рост, основываясь при этом на суждениях тех, кому выпало счастье быть знакомым, родственником, другом, коллегой писателя. Эти суждения бывают спорными, противоречивыми. Одни воспоминания фундаментальны, другие, напротив, отрывочны и лаконичны. Но ведь, как однажды заметил сам Теккерей: "Короткие, сделанные на ходу заметки оказываются подчас самыми пронизательными".

Нам остается только предложить читателю открыть дверь, войти и познакомиться с героем этой книги, знаменитым автором "Ярмарки

тщеславия", замечательным человеком, настоящим джентльменом, прожившим короткую, но такую достойную жизнь.

Е. Гениева

ТЕККЕРЕЙ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННОКОВ

ЖИЗНЬ, ТВОРЧЕСТВО, ЛИЧНОСТЬ ТЕККЕРЕЯ

ДЖОРДЖ ВЕНЕЙБЛЗ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ШКОЛЬНЫХ ГОДАХ ТЕККЕРЕЯ

Наше с ним знакомство свежо в моей памяти, но биографических сведений я могу дать о нем очень мало. В школу он поступил совсем маленьким милостивый, кроткий и довольно робкий мальчуган. По моему, школьная жизнь в целом была ему малопривлекательна. Хотя впоследствии он превосходно знал латынь, в школе он особыми успехами не отличался, и, мне кажется, характер директора Рассела, человека энергичного, сухого и строгого, хотя и не злого, был слишком уж противоположен его собственному. Мальчики, успевшие узнать его поближе, относились к нему очень хорошо, но крикет и другие игры ему не давались, да, по-видимому, и не нравились... Он уже приобрел известность легкостью, с какой слагал стихи, главным образом пародии. Помню я теперь лишь одну строчку пародии на стихотворение Л. Э. Л., в котором воспевались "фиалки, темно-синие фиалки". У Теккерея же была "капуста, ярко-зеленая капуста", и нам это казалось верхом остроумия. Он принимал участие в планах издания школьного журнала, но из этой идеи ничего не вышло, и писал для него стихи, о которых помню только, что в своем роде они были недурны. Когда гораздо позднее я сошелся с ним ближе, то постоянно замечал ту же чувствительность натуры, которая отличала его в детстве. В первых своих книгах он постоянно называл Чартерхаус "Койней" и "Смитфилдом". Но когда к нему пришли слава и благосостояние, память его смягчилась, и "Бойня" превратилась в "Серых Монахов", где кончил свои дни полковник Ньюком.

ЭДВАРД ФИЦДЖЕРАЛЬД

ИЗ ПИСЕМ

Теккерею 5-9 октября 1831 года

за окном выл ветер и почему-то я вспомнил Уилла Теккерея, на душе у меня потеплело, и наружу вырвалось нижеследующее:

Мне не хотелось жить - я друга не имел,

И слышал, не для смертных счастливый тот удел.

Холодные, пустые, назвавшись вдруг друзьями,
Тенями мне являлись, чтобы скрыться прочь тенями.
Но все-таки я дожил до радостного дня,
Когда нашел я Уилли, а он нашел меня.
Подумаю об Уилли, и на душе светлей,
Огонь пылает жарче, вино куда вкусней
Джону Аллену 7 декабря 1832 года

В Лондон приехал Теккерей удивительно вовремя, чтобы
разогнать мою хандру. Такой же добродушный и добросердечный, как
всегда.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ТОМАСА РАЙТА

ок. 1832 года

Большой талант, но мало настойчивости и целеустремленности; в
чувствах - равнодушен, почти холоден; отчаивающийся ум; быстр,
почти нетерпелив; очень разборчив в привязанностях; редкая
естественность и огромный недостаток уверенности в собственных
силах.

У.-Б. Донну 23 октября 1836 года

Теккерей женился и счастлив ужасно.

У.-Ф. Поллоку 20 июля 1839 года

По вашему совету перечту Граммона еще раз. О нем хорошо
отзывается и Теккерей, но он от природы предрасположен к грязи и
безнравственности.

Фредерику Теннисону 12 июня 1845 года

Однако, если хотите узнать что-нибудь о выставке, загляните в
номер "Фрэзер мэгезин" за этот месяц - там есть о ней статья Теккерей,
очень остроумная. На днях встретил на улице Стоуна. Ухватив меня за
пуговицу, он с величайшей искренностью и нарастающим жаром
принялся втолковывать мне, что очень любит старину Теккерей, но тем
не менее эти ежегодные его резкости хоть кого угодно выведут из
терпения, хотя он (Стоун), разумеется, оскорблен не за себя, но за
своих друзей - Чарлза Ландсира, Макклиза и прочих. Стоун под гнетом
вынужденного хладнокровия совсем раскипятился и в заключение
заявил, что Теккерей своего добьется - в один прекрасный день кто-
нибудь из этих Апеллесов выдерет его публично хлыстом... А старина
Теккерей тем временем смеется надо всем этим, идет своим путем,
утром усердно пишет для полдюжину журналов и газет, а вечером

обедает, пьет и разговаривает, умудряясь сохранять свежий цвет лица и неизменную бодрость духа при такой-то свистопляске размышлений и обжорства, которая любого другого человека уложила бы в гроб уже два года назад.

Фредерику Теннисону 4 мая 1848 года

Теккерей преуспевает на своем поприще - пишет роман, выходящий выпусками, - "Ярмарка тщеславия" - очень скучный, как мне показалось по началу, но с каждым выпуском становится все лучше, и есть в нем просто чудесные вещи. Говорят, он стал знаменитостью - посещает Холланд-Хаус и Девоншир-Хаус, и по какой-то причине не желает написать мне хотя бы словечко. Но я убежден, что все-таки не потому, что его приглашают в Холланд-Хаус.

Фредерику Теннисону 7 декабря 1849 года

В Лондоне я повидал беднягу Теккерей - он очень медленно поправляется от желчной лихорадки, которая его чуть не убила... Публика в целом сочла, что "Пенденнис" чем дальше, тем становится скучнее, и признаюсь, я думаю точно также. Ему следовало бы воспользоваться болезнью, чтобы вовсе его бросить. Он сам говорил мне в июне, что роман ему надоел, так чего же требовать от читателей?

Фредерику Теннисону 17 апреля 1850 года

Теккерей вращается в столь большом свете, что я теперь его боюсь, а я ему надоел, и мы удовлетворяемся тем, что поглядываем друг на друга издали. Кроме вас, Альфреда Спеддинга и Аллена, я больше никого видеть не хочу.

Фредерику Теннисону декабрь 1851 года

Теккерей говорит, что начинает уставать от необходимости быть остроумным и от большого света.

У.-Б. Донну 19 апреля 1852 года

Вернувшись сегодня в Ипсуич, я нашел... письмо от Теккерей, которое поставило бы в тупик всех критиков его произведений - до того оно полно прежних добрых чувств. Пишет, что он "танцует на провисшей проволоке в Глазго".

Теккерейю 15 ноября 1852 года

Милейший мой старина Теккерей, получил вашу записку - и даже не осмеливаюсь взять ее со стола передо мной и перечитать. Отчасти она трогает меня, как те старые письма, которые - помните, я говорил вам - я сжег нынешней весной, а почему? Мне было очень стыдно,

такие они добрые. Если мы когда-нибудь попадем в мир иной, вы, быть может, узнаете, почему все это так, а мне больше не следует говорить о том, что я столь часто пытался вам объяснить... Вообще же я искренне убежден, что нет в мире человека, который любит вас (по-своему, разумеется) сильнее, чем я. Теперь, когда вы уехали из Англии, мне стало отчасти понятно, что я почувствовал бы, если бы вы умерли... Вернетесь вы, и видеть вас я буду не чаще, чем прежде. Но не потому, что мне недостает любви к вам, а потому, что мы живем в столь разных мирах, и мне мучительно досаждают кому-либо своей скучной серостью, которую и сам я лишь с трудом терплю. С каждым днем жизнь представляется мне все большей бессмыслицей и полнейшим провалом... Но прощайте, прощайте, милейший мой старина Теккерей, и не сомневайтесь (за это я ручаюсь), что я, пока жив, искренне ваш Э. Ф.

Э.-Б. Кауэллу 22 января 1857 года

Я уже пять недель в своей старой лондонской квартире и совсем один. Никого из друзей я не видел... Как ни странно, едва я дописал предыдущую фразу, как доложили о Теккерее, а затем вошел он сам - седой, величественный и полный добродушия. Я показал ему это письмо и объяснил, кто адресат, и он просит передать от него самый нежный привет! Он ездит с лекциями по всей Англии, получает за каждую пятьдесят фунтов и утверждает, что ему стыдно так богатеть. Но он это заслужил.

У.-Б. Донну 9 апреля 1861 года

Дней десять тому назад я получил милую записку от Теккерея, но в его письмах теперь царит Автор. Он говорит, что часто бывает вынужден писать, едва оправившись от какой-нибудь болезни, и что время писать романы для него миновало. Жаль, по-моему, что этого он не понял много раньше.

У.-Ф. Поллоку 16 января 1862 года

Итак, здесь царит не только душевный мир, у нас есть свои обиды на "Сатердей ревью", как и у Теккерея, и т. д. Судя по всему этому, Теккерей, мне кажется, чрезвычайно избалован.

У.-Б. Донну 3 января 1864 года

Вот теперь я особенно жалею, что его нет в живых и я не могу написать ему, как скрашивают "Ньюкомы" мои долгие вечера. Но будь он жив, не думаю, чтобы ему было интересно мое мнение. По-моему,

он выкинул бы меня кз памяти, что, впрочем, меня не удивляет, и, уж конечно, я его не виню.

Сэмюелу Лоренсу 7 января 1864 года

Фредерик Теннисон прислал мне фотографию У. М. Т. сидит у себя в библиотеке, старый, седой, Дородный и грустный. Я даже удивляюсь, как часто я о нем теперь думаю. И ведь последние десять лет я его почти не видел, причем последние пять так и вовсе. Мне говорили, например, вы, что его избаловали. И я рад, что мы почти не встречались с той поры, когда он еще был "старинной Теккереем". Я читаю по вечерам его "Ньюкомов", и все время слышу, как он говорит все это, и мне кажется, что он вот-вот взбежит по лестнице и войдет (напевая) в комнату, как бывало на Шарлотт-стрит тридцать лет тому назад.

Э.-Б. Кауэллу 31 января 1864 года

Последние десять лет я почти с ним не виделся, и вовсе - последние пять. Писать он не считал нужным, и мне говорили, что его немного избаловали лондонские восхваления, развившие в нем эгоизм. Но он был прекрасным малым.

У.-Б. Донну 29 февраля 1864 года

И еще я перечитывал теккереевских "Пенденниса" и "Ньюкомов" - тоже прекрасно, но не так успокоительно. Мне кажется, панегирики в газетах и журналах бросают кое-какой свет на то, что с ним произошло в последние годы, о чем мне рассказывали. Видимо, его тесным кольцом окружили кадилышки, и он уже не мог дышать без фимиама. Двадцать лет назад он обрушивался на авторов, восхваляющих друг друга. Тем не менее он все-таки остается великим человеком. Я просто чувствую, как отлично он, Скотт и Джонсон подошли бы друг другу.

Фанни Кембл 29 декабря 1875 года

Я убежден, что просто слышу, как Теккерей, если бы ему предложили издать подобную книгу, сказал бы: "Ну, послушайте, этого уже и так было слишком много", и смял бы корректуру в маленькой руке. Ведь руки у него были удивительно маленькие, не сочетавшиеся с крепкой хваткой его ума. Я даже взвешивал, не унаследовал ли он их каким-то образом от индусов, среди которых родился.

ТОМАС КАРЛЕЙЛЬ

ИЗ ПИСЕМ

Джону Карлейлю 11 января 1842 года

У нас был Теккерей он прямо из Ирландии и то и дело отпускает насмешливые и довольно откровенные замечания: у него почти готова книга об Ирландии, проиллюстрированная шаржами, и я могу лишь пожелать бедняге Теккерее всего самого лучшего. Никто из этой братии не наделен с такой щедростью, как он, всем тем, что составляет человека, но нужно еще им сделаться.

Роберту Браунингу 23 января 1847 года

Диккенс пишет "Домби и сына", Теккерей "Ярмарку тщеславия", но оба не из тех, что собирают жатву, ни тот, ни другой.

Джону Карлейлю 3 января 1852 года

Публика была хуже того, что я о ней слышал, короче говоря, это представление. Комическая сторона в нем хорошо разыграна, есть определенное изящество стиля, но и в помине нет прозрений, достойных называться этим словом, зато пропасть поддельных: морализаторство вкупе с безобразным шутовством, которым оно прикрыто и которое хуже, чем ничего. Было душно, и мной владела одна мысль - бежать, скорее бежать. Теккерей еще не обрел себя, но, возможно, обретет в этой стихии, ударится в фарс, - нечто вроде "Теккерей у себя дома", и превзойдет всех прочих комедиантов в искусстве развлекать пустую светскую толпу.

Доктору Карлейлю 3 января 1852 года

Я давно не видел его таким цветущим. У него бездна таланта и редкая впечатлительность, нервозность, чувственность, безмерное тщеславие, и нет ничуть или же очень мало сентиментальности и наигрыша, чтобы управляться со всем этим - неважное и плохо оснащенное судно для предстоящего плаванья по бурным водам.

Эмерсону 9 сентября 1853 года

Порой мимо меня проходит Теккерей, недавно возвратившийся из Америки: он человек большой души и тела, со многими талантами и свойствами (преимущественно в Хогартовском духе, но есть там и чуток от Стерна), к тому же, с исполинским аппетитом, очень непостоянный и хаотичный во всем, кроме внешних правил поведения, в которых он отменно тверд и безупречен, если судить по современным английским канонам. Я опасюсь взрывов в его жизни. Большой, свирепый, чувствительный, вечно голодный, но сильная натура. Aude mi! {Бедный я (исп.).}

ДЖЕЙН БРУКФИЛД

ИЗ ПЕРЕПИСКИ

Вскоре после того, как мы с мистером Брукфилдом поженились (в 1841 году), он познакомил меня со своим другом первых кембриджских лет мистером Теккереем. Однажды муж без предупреждения явился с ним к обеду. К счастью, в тот день дома была простая, вкусная еда, но меня, очень молодую и не уверенную в себе хозяйку, заботило отсутствие десерта, и я потихоньку послала горничную в ближайшую кондитерскую лавку за блюдом небольших пирожных. Когда его передо мной поставили, я робко предложила гостю самое маленькое: "Не угодно ли пирожное, мистер Теккерей? - Возьму с удовольствием, - ответил он, светясь улыбкой, - но, если позволите, не это, - а двухпенсовое". Все засмеялись, и робость мою как рукой сняло.

Генри Хэллему 2 октября 1847 года

Вышла новая "Ярмарка" - неудачная, не считая отрицательных героев: мистер Теккерей вывел нам еще одну Эмилию - в образе леди Джейн Шипшенкс. Мне бы хотелось, чтобы Эмилия была более зажигательной особой, тем более, что, по его словам, описывая ее, он думал обо мне. Вы, должно быть, знаете, он признавался Уильяму, что не копировал меня, но не сумел бы ее сочинить, если бы мы не были знакомы; и все же, хотя в ней есть толика живости и нежности и она не вовсе флегма, это невероятно скучная и эгоистическая личность.

Мужу 3 октября 1849 года

меня все больше тревожит мистер Теккерей. Врачи навещают его по три-четыре раза на дню. Мне жаль, что рядом с ним нет тебя и он не видит никого, с кем мог бы говорить серьезно и кто на самом деле дал бы ему Утешение. В тот день, когда я была у него, он говорил о смерти как о чем-то предстоящем, возможно, в близком будущем, сказал, что ждет ее без страха и ощущает великую любовь и сострадание ко всему человечеству; хоть многое ему хотелось бы продолжить в жизни, он испытывает бесконечное доверие к воле Творца, надеется на Его любовь и милосердие и, если такова воля Божья, готов умереть хоть завтра, беспокоят его только дети, которые остаются без средств. Тогда мне не казалось, что ему вновь грозит опасность, заботило меня лишь то, что ему вредны такие разговоры, но сейчас жалею, что не поддержала эту тему и не дала ему высказаться откровеннее, ибо признания облегчили бы его душу, - по его словам, к

нему вернулись счастье и покой, и наша беседа пошла ему на пользу, он сказал, что, кроме меня, он еще мог бы говорить только с тобой, упомянул тебя с большой любовью. Сейчас я упрекаю себя за то, что отвлекала его мысли от болезненного состояния, и пыталась позабавить его, рассказывая о том о сем; как знать, вдруг то была его последняя возможность сказать, что он испытывает, умирая, если конец его и вправду близок, чего я не могу не опасаться.

Из письма Кейт Перри к миссис Брукфилд

Он говорил мне, что за всю жизнь любил шесть женщин: свою мать, дочерей, меня, мою сестру и вас... Вы знали его лучше всех. Он был всегда неотразим в вашем присутствии, мне кажется, что вы на всех воздействовали так волшебным образом. Вы, Джейн Брукфилд, Джейн Элиот и я были его истинными друзьями, а каким утешением он был для всех нас!

ГЕНРИЕТТА КОКРЕН

ИЗ КНИГИ "ЗНАМЕНИТОСТИ И Я"

Первый знаменитый человек, запомнившийся мне с раннего детства, - это Уильям Теккерей. Мне было лет семь, и жили мы в Париже. В салоне моей матери встречались художники и литераторы, приходившие побеседовать друг с другом. Но никто из них не поразил так мое детское воображение, как мистер Теккерей. Среди неясных образов бывшего его фигура стоит особняком, как будто выделенная четким контуром. Наружность у него была внушительная: более шести футов росту, мощное сложение. Ясно помню большую голову с серебряной копной волос, румяные щеки и солнечную, нежную улыбку, делавшую его лицо прекрасным. Меня в нем восхищало все, даже сломанный нос, только было страшно, что какому-то испорченному, наглomu мальчишке достало дерзости ударить великого человека по носу. Я знала про нашу мевшую "Ярмарку тщеславия" и удивлялась про себя, что знаменитость снисходит до разговоров с нами, малыми детьми, и даже играет - просто и по-доброму. Ни слава, ни высокий рост не мешали ему с живейшим интересом относиться к нашим забавам. Он расспросил, как зовут всех моих кукол, а их у меня было шесть, запомнил имена, придумал родословную - у каждой появилось собственное генеалогическое древо. Мы, пятеро детей, всегда теснились у его колен и льнули к нему, как лилипуты, к которым

прибыл житель Бробдингега. Немудрено, что мистер Теккерей был нашим самым любимым великаном.

Как-то раз, возвращаясь с отцом из Тюильри, мы шли по рю дю Люксембург мимо знаменитой английской кондитерской "Коломбина". С тоской смотрела я на пирожные, соблазнительно выставленные в витрине. И вдруг - не ангел ли воззвал с небес? - кто-то рядом сказал: "Купите ей, пожалуйста, пирожное".

Отец, по своему обыкновению, витавший в облаках, стряхнул с себя задумчивость, словно собака, стряхивающая воду, и воскликнул: "Не знал, что вы в Париже, Теккерей, очень рад вас видеть!"

"Я приехал вчера вечером", - ответил тот и взял меня за руку, сказав: "Пойдем-ка, выберешь себе, что тебе по вкусу. Я вижу на большом столе целую выставку фруктовых пирожных". И он торжественно подвел меня туда: "Ну вот, теперь ешь все, что тебе понравится, а мы пока поговорим с твоим отцом на улице".

Боюсь, что я была прожорлива, потому что в ответ заявила: "Как хорошо, что я всегда голодная и в любую минуту могу съесть целую гору пирожных".

У мистера Теккерей весело блеснули глаза за стеклами очков. Уписывая за обе щеки пирожные, я видела, как он подошел к маленькой, худенькой женщине с ребенком на руках, устало привалившейся к дереву и, видно, очень бедной, перебрисился с ней несколькими словами и сунул ей пятифранковую монету.

Немного погодя они с отцом возвратились в кондитерскую. "Приветствую тебя, мой добрый старый друг, мой милый кекс с изюмом, как ты напоминаешь мне о школьных днях", - и мистер Теккерей раскланялся, сняв шляпу перед витриной, а когда мы вышли, вручил мне большой пакет с точно таким же кексом...

Однажды днем, когда дети были дома с Reine {Королевой (фр.).} - бонной довольно свирепого нрава, - родители отсутствовали, кухарка взяла выходной, приехал с визитом Теккерей. Reine пыталась заставить детей съесть какой-то мерзкий жирный суп, но я взбунтовалась, резко отодвинув от себя тарелку, и стала ждать наказания. Его глаза за стеклами очков засветились лукавством, он взял ложку, попробовал суп и скорчил гримасу, которую мне не забыть до конца дней. Потом, нежно улыбнувшись нам, детям (какая у него была светлая улыбка!),

поманил пальцем Reine и они удалились. Через несколько минут в комнату вернулся он один.

"Ну, все в порядке, - заверил нас наш добрый великан. - Reine я укротил, с тобой больше не будут обращаться за столом, словно с грудным младенцем". И вправду появившаяся вслед за ним Reine хотя и выглядела уныло, но настроена была почти кротко.

"А теперь надевайте шляпки и pelisses {Шубки (фр.)}, мы отправляемся гулять в voiture {Карете (фр.)} и будем веселиться". Какой это был счастливый день! Он рассказал нам историю о великане, который спал на кровати из шоколада и то и дело ее облизывал, клал под голову подушку из бисквитного пирожного, укрывался желе вместо одеяла и сидел на стульях, сделанных из самых дорогих bonbons {Конфет (фр.)}, мы очень ему завидовали. Фиакр остановился напротив patisserie {Кондитерской (фр.)}, и всем нам тотчас были розданы пирожные и bonbons. Потом, помню, мистер Теккерей достал из кармана большой красный шелковый платок и утер нам перепачканные рожицы. Немудрено, что мы его считали лучшим из людей.

Не знаю, почему так получается, но все мои воспоминания о мистере Теккерее так или иначе связаны с едой... Однажды, рассказав нам множество захватывающих историй, мистер Теккерей, в конце концов, взглянул на часы и воскликнул: "Пора идти обедать, я проголодался". Мы стали умолять его побыть еще немного и спрашивать, что он хочет на обед. "Боюсь, мои дружочки, у вас не найдется ничего подходящего, ведь у меня престранный вкус: я ем лишь носорожьих отбивные и слонятину".

"А вот и найдется, сейчас принесу", - закричала моя младшая сестренка и скрылась в чулане. Вскоре она появилась, неся с торжествующим видом деревянного носорога и маленького слоника, снятого с игрушечного Ноева ковчега, все это она весьма серьезно вручила мистери Теккерею. Лицо его засияло неподдельным восторгом, он стал потирать руки, заливаясь смехом, потом схватил сестру на руки и поцеловал ее со словами: "Ах ты, маленькая плутовка" потом попросил подать ему нож и вилку и, причмокивая, стал "есть" слона и носорога.

Помню, как вечером, когда я уже лежала в постели и притворялась спящей, в детскую заглянул мистер Теккерей, заметил мой кринолин

на стуле, поднес к глазам, внимательно осмотрел и, к моему ужасу, надел на свою большую голову, уподобившись Моисею Микеланджело, и в таком виде проследовал в гостиную. А несколько месяцев спустя у нас с ним вышла ссора. Я была очень несдержанна, в отличие от своей младшей сестры Элис, необычайно мягкой и любезной в обращении, и очень завидовала ее обходительности и ласковости, которую она выказывала всем подряд без исключения, - правда, я не очень доверяла этой ее любвеобильности. Я же, напротив, была резка, и даже с тем, кого по-настоящему любила, держалась холодно, если не грубо, ничем не выдавая своих чувств.

Примерно год спустя после истории с супом мы с отцом встретили на прогулке знакомого, упомянувшего ненароком, что завтра в Париж приезжает мистер Теккерей.

"Как хорошо, я так его люблю, он очень добрый и всегда дарит нам, детям, по новенькой пятифранковой монете", - выпалила я бездумно. Услышав самое себя, я замерла от ужаса и готова была вырвать свой язык, но было уже поздно. Теперь это передадут мистеру Теккерю, и он подумает, что вся моя любовь - из-за монет, который он всякий раз дарит нам по приезду.

Страдания мои были ужасны, ибо мистера Теккеря я любила совершенно бескорыстно. Он был моим кумиром. Как близко к сердцу принимал он наши детские заботы! Теперь он решит, что я его люблю из-за подарков. От стыда я не находила себе места. Как мне загладить эту злосчастную фразу? Как показать, что я люблю его самого, его нежную, прекрасную душу, его доброту, и больше ничего мне от него не нужно?

Вечером следующего дня, когда мои сестрички улеглись в кровати и тотчас же заснули крепким сном, мне не спалось, я слишком мучилась, и в голове вертелось непрестанно: "Он всегда дарит нам по новенькой пятифранковой монете". Из находившейся по соседству гостиной доносился приятный голос мистера Теккеря. Вдруг дверь нашей спальни тихонько отворилась, вошла моя мать со свечой в руке, а следом мистер Теккерей.

Три наших железных кровати стояли рядом, я притворилась спящей, но сквозь неплотно сомкнутые веки видела, как он с улыбкой глядит на нас. "Ну, - пробормотал он, - приступим к раздаче наград. Пусть думают, что это принесли им феи". И, сдерживая смех, положил

каждой из нас на подушку по пяти франков. Но стоило ему опустить монету на мою подушку, как я открыла глаза и, еле сдерживаясь, зашипела: "Не хочу, не нужно мне монет. Мне нужны вы, а не ваши подарки", - и, сев на постели, швырнула монету в другой конец комнаты, она так и зазвенела.

"Что означает этот взрыв? - услышала я удивленный голос матери. - Какая скверная девчонка!"

"Наверное, она уже считает себя слишком взрослой, чтоб получать в подарок деньги", - ответил ей мистер Теккерей с ноткой грусти в голосе.

Они вышли, а я разразилась бурными рыданиями, я долго-долго плакала и думала, что у меня сейчас от горя разорвется сердце...

Я боготворила его, но его матушка, миссис Кармайл-Смит, наводила на меня страх. Помню как сейчас очень высокую, красивую, величественную и строгую даму в черном бархатном платье. Когда она говорила о боге, мне всегда казалось, что это сердитый, неприятный старик, который видит все мои проступки и строго спросит с меня за них когда-нибудь. Ее рассказы об аде были ужасны, после одной такой беседы о вечных муках я убежала и больше не соглашалась навещать миссис Кармайл-Смит. Я убежала бы и вновь и больше не пошла бы туда ни за какие блага в мире, - я задыхалась рядом с ней. Она прислала мне записку, что молит бога, чтобы я выросла послушной и хорошей девочкой. Мне было непонятно, как обаятельный, веселый, добрый мистер Теккерей может быть сыном такой суровой старой дамы - эту загадку я не разрешила и поныне.

Когда тяжело заболела моя сестра - это было уже позже, в Лондоне, мистер Теккерей, живший на Онслоу-сквер чуть ли не ежедневно заглядывал к нам на Тисл-Гроув и приносил различные деликатесы, чтоб вызвать аппетит у маленькой больной.

Его повариха - cordon-bleu {Искусная повариха (фр.).} - получила от него наказ употребить все свое искусство, что она и делала, готовя всевозможные вкусные вещи и желе. Помню записку от мистера Теккерейя с написанными большими буквами словами: "последняя просьба", где он испрашивал разрешения готовить желе на выдержанном шерри или мадере, вместо прописанного доктором кларета. Однажды он пришел, неся под мышкой пестренький, веселый коврик, который собственноручно расстелил в комнате сестры в

надежде чуточку взбодрить ее. С детьми он был неотразим, в то время как со взрослыми, особенно с людьми малоприятными, бывал чопорным, насмешливым и циничным. Как-то он сказал одной знакомой, что любит посредственные книги, заурядных женщин и первоклассное вино, - моя мать сама это слышала. Не думаю, что он был искренен, когда так говорил...

Как рассказывал отец, порою он страдал угнетенным расположением духа. Голос у мистера Теккеря был мягкий, низкий, он чудесно улыбался. С чужими держался холодно, храня достоинство и невозмутимость, но с близкими друзьями был искренен, серьезен и, по словам моего отца, порою забывал о всякой сдержанности - мог рассказать о самых сокровенных движениях души и самых заповедных чувствах, но лучше всего он ощущал себя в кругу детей.

"Мой следующий номер {Имеется в виду очередной номер журнала "Корнхилл мэгезин".} должен вот-вот появиться в продаже, а я никак его не сотворю, сказал он моему отцу и указал себе на лоб. - Хочется приклонить голову в каком-нибудь тихом уголке. Утром я придумал отличную сцену, но вот забыл и не могу припомнить ни одной детали..."

Отец знал его немного еще до того, как прогремела "Ярмарка тщеславия", и рассказывал, что в Париже всегда встречал его в старой *cabinet de lecture* {Читальне (фр.)}, где он писал. Но вскоре ему стало понятно, что нужно возвратиться в Лондон, коль скоро он намерен быть профессиональным английским писателем. Как-то раз он сказал отцу: "Я думаю, что там найдется место для сочинителя легких комедий, наверное, как автор на вторых ролях, я удостоюсь тиража в семь сотен экземпляров". В ту пору он невысоко себя ценил, но, разумеется, такое самоуничижение - а мой отец слышал подобное неоднократно - свойственно ему было до выхода "Ярмарки тщеславия". Огромный литературный успех поставил его в один ряд с его любимым Филдингом.

Точно так же отзывался он и о своем искусстве иллюстратора, ибо всегда хотел быть объективным. Художник, не лишенный честолюбия, и честолюбия немало, он неизменно признавался, что недостаточно владеет техникой рисунка, и это не дает ему по-настоящему воплотить свой замысел.

В тяжелые для моего отца дни мистер Теккерей вел себя по отношению к нему по-братски, чтобы не сказать больше. Я думаю, что писатель сумел по-настоящему оценить его достоинства - отец был тонким, гордым человеком отличался независимым умом, и в то же время был скромн и деликатен. Мать рассказывала, что, узнав о растении отца, мистер Теккерей ужасно взволновался и стал спрашивать, что она собирается предпринять. - Положиться на воронов.

Печаль на миг окутала его чело, он помолчал, потом, прикрыв ее ладонь своей большой ладонью, сказал чуть хрипловато: "Вы правы, вороны - наши лучшие друзья".

ГАРРИ ИННЗ И ФРЭНК ДУАЙЕР ТЕККЕРЕЙ И ЛЕВЕР

По его рассказам , приехавший в Дублин Теккерей был убежден, что он впал в немилость у лондонских издателей, иначе ему было непонятно, как может писатель жить в Дублине, а не в Лондоне. Исходя из этого, Теккерей даже предложил ему свое содействие и денежную помощь, чтобы уладить дело и открыть Леверу путь обратно в литературную столицу. Но Левер ответил, что он - ирландец, ирландец духом и телом, что доброе его имя и литературная известность, пусть и скромная, но тоже целиком и полностью принадлежат Ирландии, и долг велит ему оставаться в своей стране, от этого он ждет и удовлетворения, и дохода. Теккерей в ответ посоветовал ему оглянуться вокруг: люди его окружают третьесортные, ведь одаренные ирландские писатели, а их немало, все перебрались в Лондон, только там их труд вознаграждается по заслугам. На родине остались лишь те, кто рассчитывает набить карман или ищет покровительства при дворе вице-короля. В Ирландии отсутствует общественное мнение, Дублин весь расколот на враждующие фракции, группы и кружки, которые только и знают, что сводят друг с другом счеты. На том берегу пролива Святого Георга "Дублинский университетский журнал" станет еще более ирландским, чем теперь, так как в Лондоне к сотрудничеству в нем можно будет привлечь много ирландцев с настоящим талантом, а в Дублине их не найдешь. Возможно, теперь, заключил Теккерей, Левер пользуется в Ирландии популярностью, но в один прекрасный день он, глядишь, случайно наступит какому-нибудь ирландцу на любимую мозоль, у

ирландцев живого места нет от любимых мозолей, и тогда бывшие почитатели расправятся с ним так же, как китайцы со своими проштрафившимися богами, которым они в знак немилости отрубают голову...

Левер, заключая рассказ, повторил, что был твердо намерен не покидать свой пост, но мне лично показалось, что доводы Теккерея он излагал очень убедительно, а его обственные соображения в пользу того, чтобы оставаться на месте, звучали более чем спорно. Под конец же Левер сказал, что Теккерей был, конечно, добрейшей души человек, но помощь от него могла бы оказаться губительной. "Представьте, сам едва на воде держится, а предлагает обучить вас плавать", - пояснил Левер. По его словам, Теккерей был готов писать на любые темы и за любые деньги. Он настолько уронил себя, что в Лондоне его ставили ни во что. Правда, я знаю, что впоследствии Левер изменил свое отношение к Теккерею, но в 1842 году, когда "Ярмарка тщеславия" не успела увидеть свет, а "Эсмонд" еще и не был написан, так ли уж сильно отличался его суд от суда публики?

Но Теккерей держался поначалу спокойно, сухо, серьезно, к разочарованию гостей, ожидавших наглядной демонстрации его сатирических способностей; заметно было, что он присматривается, помалкивает, выжидает, по крайней мере, до поры до времени...

И Теккерей, и Левер увлекались политикой, хотя и держались в стороне от политической кухни. Теккерей, например, придерживался либеральных взглядов в самом крайнем для своего времени выражении, он и в Ирландию приехал с намерением представить здешнюю жизнь в свете, выгодном для его партии. Тогда главным вопросом дня была отмена хлебных законов; обсуждалось также состояние Мэйнутского колледжа; и еще поговаривали о том явлении, которое впоследствии приняло широкий размах и стало называться: "валка ядовитого леса".

Позиция Левера по всем этим вопросам была, как правило, прямо противоположна теккереевской. Журнал, редактором которого он недавно стал, служил до некоторой степени рупором Дублинского замка - таким путем Левер рассчитывал добиться для себя выгодной официальной должности в Ирландии. Впрочем, его ждало разочарование... Политическая деятельность Теккерея принесла; ему более ощутимые плоды, его линия день ото дня все больше брала верх;

в результате и он сам приобретал вес в глазах разных влиятельных лиц, включая, например, - лорда Пальмерстона, и хотя для себя он никогда не добивался правительственных должностей, зато, похоже, имел возможность порадовать о друзьях, потому что я отчетливо помню, как он в 1846 году сказал мне однажды: "Сегодня обедаю с лордом Пальмерстоном. Заболвить за вас словечко?" Как человек правдивый и честный, он, если бы не мог, никогда бы такого предложения не сделал. Он не терпел похвальбы и преувеличений, даже неприкрашенная правда внушала ему недоверие, так что он склонен был заменять ее не то чтобы выдумкой, но каким-то искажением, усековением реальности, и это составляло самую большую его слабость, вступая в противоречие с присущей ему добротой; зато это придавало остроту его сатире и делало ее гораздо понятнее для публики. Особенно же такая склонность оспаривать, снижать и перетолковывать всякий положительный факт проявилась в его оценке ирландского народа и ирландской жизни; он с недоверием относился ко всему, о чем слышал, и ко многому из того, что видел в Ирландии собственными глазами.

И потому забавно было наблюдать, как осуждение протестантского засилья и британского господства над Ирландией уживалось у него в голове, или вернее, в сердце, расцветая, так сказать, на одной грядке, со столь же неприязненным отношением к кельтскому характеру; как будучи поборником, теоретически во всяком случае, главенствующей роли католицизма в Ирландии, он в то же время на самих ирландцев смотрел с плохо скрываемым презрением... Оба они, и Теккерей, и Левер, не изменили своим принципам до конца... Леверу действительно импонировали если не собственно аристократы, то многие отпрыски знатных родов; и в жизни ему посчастливилось быть обласканным несколькими пэрами... Не знаю, каков был в этом смысле ранний жизненный опыт Теккерей, но во времена, о которых идет речь, в его отношении к аристократии, как отечественной, так и иностранной, чувствовалась какая-то предвзятость, что производило не всем приятное впечатление, не гармонировало с его истинной натурой и было, по всей видимости, данью и расхожим антиаристократическим настроениям, которые тогда особенно подогревались в связи с борьбой за отмену хлебных

законов; хотя, с другой стороны, что-то в этом же духе чувствуется и в его позднейших книгах.

После обеда, когда дамы удалились, оппоненты приступили к разведке боем, вызывая один другого на поединок. Знали они друг о друге только то, что можно было вычитать из напечатанного... Левер подвел разговор к битве при Ватерлоо; он хотел дать возможность высказаться капитану Сайборну, а заодно, вероятно, показать, что он и сам смыслит в этом предмете, - за время своего пребывания в Брюсселе он понабрался всяких подробностей и анекдотов, которые очень подходили для послеобеденной беседы. Теккерей с готовностью подхватил тему; он не притворялся знатоком истории великой битвы, а преследовал только одну цель: распалить Левера и вырвать у него признание, что он и Чарлз О'Молли - одно лицо. Как я уже писал, Теккерей держался того мнения, что ирландцы - народ недостаточно правдивый, каждого встречного ирландца он норовил так или иначе подбить на хвастовство, а потом уличить... Ирландцы, по-моему, сами виноваты, раз позволяют и даже рады, чтобы их выставляли в таком свете, так что им, кроме себя, обижаться не на кого. Но в отношении Левера, в тот раз, во всяком случае, это было несправедливо, скоро разгадав, куда гнет его собеседник, Левер стал спокойно и очень ловко парировать его выпады. Интересно и забавно было смотреть, как эти два бойца словно бы поменялись ролями: Теккерей вел разговор в манере, которую считал присущей Леверу, а тот отвечал недоверчиво и саркастично, как подобает заезжему англичанину в Ирландии.

Затем разговор перешел на французскую и немецкую литературу. Оказалось, что Теккерей выше ставит последнюю. Он сделал Леверу очень лестный комплимент, сказав, что будь он автором лоррекверовского переложения песни немецких буршей "Припеваючи живет римский папа, други", - он гордился бы им больше, чем всеми остальными сочинениями, вышедшими из-под его пера. Разумеется, Левер не мог принять за чистую монету такую беззастенчивую лесть из уст будущего творца "Ярмарки тщеславия"; перевод он сделал исключительно "Клуба буршей", основателем и президентом которого когда-то был, и значения этой работе не придавал. Однако же он явно очень обрадовался похвале Теккерей и чуть ли не готов был уверовать в его искренность... Обратившись к французской литературе, отдали законную дань современным знаменитостям: Дюма, Альфонсу Карру,

Бальзаку, Жоржу Санду и другим. Теккерей очень резко критиковал французский театр и разыграл в лицах необыкновенно меткую пародийную сценку, а все, глядя на него, покатывались со смеху.

Теккерей заметил, что все, связанное с Ватерлоо, до сих пор вызывает у британской публики живой интерес; после того обеда он и сам подумывает написать что-нибудь на эту тему, но пока еще ясного замысла у него нет. Манеру Левра-О'Молли он находит чересчур выпренней и цветистой, тот слишком смело фантазирует, совершенно не сообразуясь с правдоподобием. По мнению Теккерей, неослабный интерес публики свидетельствовал о том, что этот предмет глубоко затрагивал английские национальные чувства. "Легко вообразить, как сильны были эти чувства поначалу, - говорил Теккерей, - и как широко охватывали все слои общества". Наслушавшись в доме у Левра рассказов капитана Сайборна, он сопоставил их с тем, что видел сам на военных маневрах, и пришел к выводу, что ему нечего и пытаться писать батальные сцены, если он хочет придерживаться жизненной правды. К методам же Левра он относился с откровенной насмешкой - он их впоследствии и высмеял в "Наших романистах". В целом он был склонен скорее смеяться над "ратными подвигами", однако не оставлял мысли "использовать где-нибудь битву при Ватерлоо", хотя и без грохота и дыма. Мне смутно помнится, что об этом своем намерении он позже говорил и у Левра. А много лет спустя, читая "Ярмарку тщеславия", я ясно припомнил наш разговор и все связанные с ним обстоятельства, и подивился, с каким тщанием, загодя Теккерей обдумывал свои замыслы и как последовательно старался избегать того, что считал сомнительным или для себя недоступным.

Когда в 1842 году Теккерей приезжал в Ольстер, его очень радушно встретили офицеры полка, расквартированного в Ньюбери, и он нередко пользовался их гостеприимством и был у них в офицерской столовой своим человеком. Попутно он собирал там материал и выискивал прототипы для будущих Брюссельских сцен в "Ярмарке тщеславия", и к возвращению с севера в Дублин у него скопился большой запас армейских наблюдений и анекдотов.

Это было до постройки нового здания. Теккерей внимательно разглядывал окружающую нас мерзость запустения, и на губах у него играла язвительная улыбка брезгливости и презрения. Признаюсь, мне неприятно было читать у него на лице эти чувства, к которым еще

добавлялось нечто вроде злорадства, из-за того что его антипатия нашла подтверждение. Осмотрев колледж, они поспешили убраться оттуда, и по пути Теккереи с негодованием говорил о грязи и отсутствии удобств в этом старом колледже. Я должен был признать, что действительно Мэйнут находится в ужасном состоянии. Но Теккереи прервал меня, возразив, что Дублинский Тринити-колледж ничуть не чище и не лучше. Говорил он раздраженно, непримиримо, а мне было больно и обидно: он представился мне в новом, для меня неожиданном свете; я всегда считал его таким милым, любезным - да он ли это? Но позднее мне суждено было видеть и другие проявления этой стороны его личности, и теперь, оглядываясь назад, могу по-настоящему понять слова Шарлотты Бронте, сказанные по поводу "Эсмонда" ("Но какая же ядовитая Сатира, какое безжалостное препарирование недугов!"). Но если Теккереи и не мечтал, чтобы все люди стали хорошими, он безусловно радовался, когда видел хороших людей, восхищался добром в людях. Подтверждение тому - его многолетняя, до последнего дня, дружба с Левером... Он никогда не закрывал глаза на добро, с которым сталкивался в жизни. А вот упрек мисс Бронте по поводу его отношения к женщинам представляется мне более обоснованным... Насколько я сам его знал, он воспринимал женский характер, женскую природу односторонне, а целому воздать должное не умел...

Я знаю, что Левер искренно радовался успеху Теккерея и был горячим поклонником его произведений. Наверно, никого успех так не красил, как Теккерея, и это особенно было заметно тем, кто видел его изредка, с большими перерывами. Помню, когда в 1846 году я обедал у него дома по соседству с Кенсингтоном, меня поразило, как он переменялся со времени нашей встречи в Ирландии в 1842 году. В тот день среди его гостей были два ирландца, чьи имена пользовались известностью, во всяком случае, тогда. Это были член парламента Морган Джон О'Коннел и отец Праут. Я стал подтрунивать над ним за то, что он принимает ирландцев, притом что мне известно, как невысоко он ценит ирландский национальный характер, а он мне со смехом ответил: "Мне нужны прототипы!"

ЭНН РИТЧИ

ИЗ КНИГИ "ГЛАВЫ ВОСПОМИНАНИЙ"

Отец, приехавший за нами в Париж, с интересом слушал рассказы бабушки и кузины о нашей старушке-учительнице. Мадам стала героиней одной маленькой истории, которую я как-то встретила в воспоминаниях об отце и могу поручиться за совершенную ее правдивость. Не мне ли было ведено в один прекрасный день найти коробочку с пилюлями в комнате отца? Я подала ему ее, он тотчас высыпал ее содержимое в камин и, вынув из кармана аккуратный столбик монет в банковской упаковке, наполнил ее доверху новенькими наполеондорами, вернул на место крышку и сверху написал своим прекрасным, ровным почерком: "Для мадам имярек. Принимать по мере надобности. Доктор У.-М. Т.". Бабушка с нескрываемым удовольствием взялась вручить означенное средство нашей старинной приятельнице после того, как мы оставим Париж.

* * *

Любовь читателей к писателю, по счастью, не зависит ни от тиражей его изданий, ни даже от достоинства им написанного, иначе кое-кто из авторов имел бы целую толпу поклонников, тогда как прочие обречены были бы на пожизненное одиночество. Равно не следует считать, будто создатели романов необычайно часто видятся друг с другом. Напротив, они большей частью предпочитают общество людей иных профессий, нисколько не стремясь держаться вместе, вроде солдат, франтов, докторов, законников или членов парламента. Судейские, политики, солдаты и даже медики довольно часто трудятся сообща, но у писателей не может быть присутственного места или часов приема и вряд ли вам случалось слышать, что они сидят рядком, как птицы, и пишут свои книги впятером. Каждый из них работает, закрывшись в кабинете и строго наказав не преступать его порог.

Такой наказ всегда давал нам и отец, но это, к сожалению, не соблюдалось, и люди то и дело отрывали его от работы - кто для того, чтобы спросить совета или что-либо предложить, кто - чтобы повидаться, кто принести стихи или статьи для "Корнхилла"... Когда я сейчас пишу воспоминания, я ощущаю, что из памяти, как из волшебного котла трех макбетовских ведьм, встают фигуры прошлого: властители умов и душ, царившие по праву среди современников, друзья, домашние и слуги - они проходят друг за другом, чтоб снова погрузиться в дымку времени. Среди десятков образов, рождаемых моим котлом, есть люди, которых мне случилось видеть лишь

однажды, и только много лет спустя я поняла, кем они были, что значили в тогдашней жизни. Лишь по прошествии многих лет становится понятно, кто был нам настоящим другом, наставником, поводырем, кто оказался мимолетной тенью.

Я вспоминаю, как нас посетил один из героев того времени. Прогуливаясь как-то ранним утром по Кенсингтон-сквер, мы услышали чьи-то торопливые шаги, и догонявший тотчас же окликнул нашего отца по имени... Немолодой, очень подвижный, с горящими глазами и длинными, седыми, вьющимися волосами, с плеча у него красиво свисал плащ. Я вижу и сейчас, каким легким, быстрым шагом он приближается, пересекая площадь, как замирает на мгновение отец и тотчас же спешит ему навстречу, тепло здоровается и ведет всех за собой, в сторону старого, кирпичного дома, который занимала в эти дни наша семья. Незнакомец завораживал какой-то страстностью и живостью манеры, и невозможно было оторваться от его движений и плаща, который норовил скользнуть на землю, но каждый раз подхватывался на лету. Нас поразила чужеземность, романтичность его облика, его веселость и непринужденная горячность. Позже отец сказал, что это был Ли Хант, второй друг Байрона, которого мне довелось увидеть. Нам было хорошо знакомо это имя, в гостиной среди множества изданий Рескина и книжек "Панча" лежал прелестный, глянцевиный томик - "Горшочек меда с горы Хиблы", и мы с бездумностью, присущей детям, в которой проявляется и страсть к игре, и нетерпение ума, и жажда новизны, уже пытались лакомиться этим медом. Тогда свидание с живым писателем, тем более драпированным в просторный плащ, было для нас незабываемым событием. Хочу только прибавить, что посмотреть в широкий мир, услышать голос тех, что открывают нам свой ум и сердце и вносят радость в нашу жизнь, всегда будет событием - и завтра, и в грядущем. А вскоре мне случилось принимать другого гостя, принадлежавшего к тому же кругу лиц. Однажды я вошла в столовую, где собиралась что-то взять, и окаменела - там был человек. В фигуре незнакомца, стоявшего у камина со скрещенными на груди руками, ощущалось что-то значительное и тревожное: он был приметной внешности - темноволос, широкоплеч, с обветренным, коричневым лицом, на собственное отражение в зеркале он бросал неодобрительные взгляды. Когда я вошла, он медленно повернул голову и глянул на меня через

плечо. То был Трелони, зашедший повидать отца. Нахмурившись, он мерным шагом, не спеша, проследовал из комнаты, и больше я его не видела.

Я уже признавалась, что эти люди мне кажутся сейчас не более реальными, чем сказочные персонажи. Мне не труднее было бы вообразить, что на часок-другой меня зашли проведать Синдбад-Мореход, Принц, разбудивший Спящую Красавицу, а то и семь христианских мучеников. Ведь в каждом поколении, пусть самом прозаичном, есть собственные легендарные фигуры, которым оно курит фимиам и отдает дань восхищения. В те годы я, конечно, не читала мемуаров всех этих людей, но знала из разговоров старших о необычных, трогательных, фантастичных судьбах этих странников былых времен, обшаривших весь мир в поисках Золотого Руна и сада Гесперид. Из всей чудесной, романтической, негибимой команды аргонавтов я видела двоих, но прочитала столько биографий, столько дневников, что знаю, кажется, их всех и слышу, как звучат их голоса.

Среди наиболее примечательных особ, когда-либо ступавших в нашу старую с эркерами гостиную на Янг-стрит, мне вспоминается одна незабываемая гостья, маленькая, тоненькая, хрупкая женщина, захватившая в свои крохотные ручки мощный рычаг литературной жизни Лондона. Я и сегодня помню все до мелочей: распахнутые окна, жаркий летний вечер, и напряженное молчание в комнате: мы ловим звуки подъезжающей кареты, тут же отец, который никогда не ждет гостей, а мы: сестра, я и гувернантка, - чинно сидим рядом и предвкушаем дивное событие. Но вот карета останавливается, оттуда тотчас же выскакивает ловкий, стройный человек - это молодой Джордж Смит привез к отцу мисс Бронте. Отец, все время меривший шагами комнату, спешит вниз, и вскоре двери отворяются и двое джентльменов вводят малюсенькую, тоненькую женщину лет тридцати, серьезную, с бледным лицом, с гладкими светлыми волосами и очень твердым взглядом, одетую в барежевое, облежавшее фигуру платье, отделанное искусственным бледно-зеленым мхом. Не снимая митенок, не говоря ни слова и сохраняя нерушимую серьезность, она проходит вглубь гостиной, и наши детские сердца трепещут от безумного восторга. Так вот она какая, эта сочинительница, эта безвестная, могучая волшебница, заставившая целый Лондон читать свое творение и толковать, и думать лишь о нем,

иные даже поговаривают, что книгу написал отец - уж очень она хороша. Сказать, что нам с сестрой, совсем еще малышам, позволили прочесть "Джейн Эйр", было бы отступлением от истины, нет, мы прочли ее украдкой, выхватывая по странице здесь и там и отдаваясь странному, неведомому прежде вихрю, который уносил нас к незнакомым людям в далекие места и годы, необычайно завлекательные и в то же время совершенно непонятные, потому легко вообразить, какие чувства в нас бурлили летним вечером, когда мы увидели, наконец, Джейн Эйр, великую Джейн Эйр - малюсенькую, худенькую женщину. Торжественность мгновения была невыносима, и потому все с радостью проследовали к столу и дружно улыбнулись, когда отец согнулся пополам и предложил ей руку, ибо, при всем своем величии, гостя была ему едва по локоть. Мисс Бронте, думается мне, была подчеркнута серьезна и строга, чтобы держать на расстоянии двух девочек, все время порывавшихся вмешаться в разговор. Джордж Смит рассказывал мне много позже, как ее восхитили дивное терпение и доброта, с которыми отец сносил наши докучные словесные наскоки. С каким-то жгучим интересом, неотрывно смотрела она на него, и всякий раз, когда ему случалось обратиться к ней с вопросом, ее глаза струили свет. Подавшись несколько вперед, не прикасаясь к пище, она сидит передо мною как живая и так же жадно ловит каждое произнесенное им слово, пока он разрезает мясо. Должно быть, это был тот самый вечер, когда отец позвал друзей, чтоб познакомить их с мисс Бронте, о чем тогда мечтала вся столица. В числе собравшихся были миссис Кроу, читавшая со сцены страшные рассказы, миссис Брукфилд, миссис Карлейль, пришел и сам Карлейль (ворчавший, как мне потом рассказывали, что по горам Шотландии разгуливают кокни, и с некоторых пор туда нахлынули американцы, но "по сравнению с кокни они ведут себя как ангелы"), была здесь также миссис Элиот, мисс Перри, миссис Проктер с дочерью - все верные друзья отца, его привычный круг. Лорд Хотон был также зван к нам в гости - мне любопытно было прочитать записку с приглашением от моего отца, которая приводится в недавно вышедшем в печати жизнеописании лорда Хотона. Как жаль, что он у нас не появился! Должно быть, все прошло бы веселее. То был угрюмый, бессловесный вечер, все ждали с нетерпением, когда же, наконец, начнется интересная беседа, но она так и не началась. Мисс Бронте, забившись в угол дивана, порой

бросала тихим голосом словцо-другое нашей гувернантке мисс Трулок. В кабинете было темновато, к тому же, лампа начала чадить, и разговор все чаще замирал и прерывался; собравшиеся дамы все еще надеялись, что это лишь вступление к чему-то лучшему, а мой растерянный отец не мог переломить молчание и общее уныние. Расположившаяся у дверей миссис Брукфилд нагнулась к вжавшейся в диван гостье, чтобы задать не блещущий оригинальностью вопрос - оригинальность оказалась не в чести в тот вечер, понравился ли той Лондон. Повисло долгое молчание, пока мисс Бронте вымолвила, наконец, с большой серьезностью: "И да, и нет" - впоследствии я слышала рассказ об этом от самой миссис Брукфилд. Зато мы, дети, не скучали - от этого уберегал нас возраст. Мы знали, что такое потрясение, тревога, но не скука. На наш взгляд, праздник был как праздник, знаменитость как знаменитость, да и в те дни, что тут греха таить, довольно было увидеть печенье на столе, и вечер превращался в праздник. Мы сознавали важность совершавшегося: чай был накрыт в столовой, дам пригласили в гостиную. Мешая всем, мы возбужденно носились по комнатам, пока, в очередной раз пробегая через холл, я не увидела с великим удивлением, что мой отец идет к дверям, надевши шляпу, - это уже было после того, как отбыла мисс Бронте, - при виде меня он подносит палец к губам и просит хранить молчание, после чего выскальзывает в темноту и осторожно прикрывает дверь. В гостиной меня засыпали вопросы, куда он подевался, но я уклончиво ответила, что он, должно быть, вскорости появится. Смысл происшедшего был непонятен мне в ту пору и оставался таковым в течение многих лет, пока однажды миссис Проктер не рассказала мне, как было дело. Она призналась, что это был один из самых скучных званых вечеров за всю ее жизнь, и описала с юмором, как все заранее предвкушали умную беседу, но испытали только скуку и томительное чувство скованности, и как, не выдержав подобной пытки, отец тихонько улизнул в свой клуб. А гости ждали, удивляясь, и, наконец, разъехались. Я помню, что, когда дом опустел и мы со свечками в руках шли в спальню, вдруг прибыли две юные, очаровательные мисс Л. - в нарядных платьях, сгоравшие от нетерпения. Мы предложили посидеть и подождать отца, но они не стали полагаться на неверный случай и, засмеявшись, тотчас же уехали.

Уже после того, как я написала эти строки, я побывала в тех местах, что связаны с Джейн Эйр, и пожила в прекрасном доме миссис Гаскелл, где ей случалось останавливаться. Я видела приметы и следы ее земного бытия разглядывала блекнувшие, нежные рисунки и тонкий почерк надписей на книгах, которые она дарила своей любящей подруге, нашла и перечла "Последний очерк" - предисловие к "Эмме", прибавившее самые проникновенные страницы к лишь начатой, но не дописанной Шарлоттой Бронте книге о радостях супружества. Под предисловием стоят инициалы - У.-М.Т., оно было написано редактором журнала "Корнхилл" и напечатано в одном из первых номеров:

"Я помню трепетное, хрупкое создание, миниатюрную ручку, большие честные глаза - по-моему, порывистая честность была ей больше всего свойственна... Мне виделась в ней крохотная, суровая Жанна д'Арк, идущая на нас походом, чтоб укорить за легкость жизни, легкость нравов. Она мне показалась очень чистым, возвышенным и благородным человеком. В ее душе всегда жило великое, святое уважение к правде и справедливости. Такой она предстала предо мной в наших недолгих разговорах. Задумавшись об этой благородной, одинокой жизни, о ее страсти к правде, о долгих-долгих вечерах, исполненных неистовой работы, озарений, вспышек воображения, рождающего сонмы образов, минут уныния, подъемов духа и молитв, вникая в эту отрывочную поневоле повесть - невероятно трогательную, упоительную повесть сердца, бившегося в хрупком теле, повесть души, что обитала, как и мириады прочих, на этой огромной, на этой бескрайней планете, на этой песчинке, затерявшейся в безбрежном Божьем мире, нельзя не изумиться дню сегодняшнему, нельзя не трепетать перед днем завтрашним, когда все то, что мы сейчас лишь смутно различаем, предстанет перед нами в ясном свете".

Пока я вывожу сейчас слова отца, звучащие во мне воспоминания, стихая, превращаются в неясный шепот - так в блеске ясной летней ночи, заглядывавшей со двора, бледнел свет лампы, чадившей в нашей старенькой гостиной.

* * *

Отец был страстным театралом, и нас, совсем еще девчушек, брал с собою в драму, для чего нанимал кеб. Возил он нас и в оперу, что было не в пример скучнее. Домой к нам то и дело доставляли

превосходные конверты с единорогами и прочими зверьми на украшавших их гербах, там, внутри, лежали приглашения в ложу или билеты. В те годы нам казалось, что собственная ложа есть у всех, и это представлялось нам вполне естественным. Сажали нас всегда на первые места, где мы располагались, уткнувшись подбородком в бархатный барьер. Сначала слушать было очень интересно, потом я начинала клевать носом, но временами слышала сквозь дрему, что пение на сцене продолжается, и это словно было частью сна. Передо мною и сейчас стоит Лаблаш - огромная гора, рокочущая басом, даже скорей Олимп, а не обычная гора, он испускает мощные, ликующие звуки, и самые глубокие из них обращены к той, что мне кажется миниатюрной феей в белом. А эта маленькая фея с вздетым кверху тонким пальчиком и крохотными ступнями струит в ответ серебряные трели, которые становятся все звонче, и нежнее, и прелестней с каждым мигом. Взмывала ли она на самом деле в воздух или же это я в очередной раз сонно уронила голову? Я снова засыпала, снова просыпалась, и дивные, серебряные волны звуков вплетались в мои сны и пробуждения. Певицу звали мадемуазель Зонтаг. Давали "Элизир" или другую оперу, и ария звенела, словно песня жаворонка. Весь зал, огромный, золотой, взрывается аплодисментами, отец мой тоже аплодирует. Мне очень хочется послушать дальше, но сон, необоримый сон, одолевает меня вновь, и поминутно просыпаясь, я вижу, что прелестная фигурка в белом по-прежнему стоит на сцене и так же изливает душу в звуках перед бесконечными рядами зрителей, среди сверкающих огней... Увы! Сама я не могу пропеть ни слова, хотя всю жизнь любила пение, преданно и безответно. Отец не просто любил музыку - он разбирался в ней и знал на память оперы. Я слушала всегда с огромным удовольствием его рассказ о том, как, напевая строки из различных арий, он исполнял роль переводчика на Мальте, куда зашел корабль, на котором он вместе с другими англичанами совершал путешествие в Каир. "Un biglietto - eccolo qua" {"Билет - вот он" (ит.)}, обратился он к человеку, стоявшему на берегу, а пропетое им "La ci darem' la mano" {"Дай руку мне" (ит.)}, - помогло леди Т. спуститься по трапу, и дальше в том же духе. Порой он приводил к обеду мистера Улла, с которым любил говорить о музыке. Благодаря любезности последнего, двери Музыкального общества всегда были гостеприимно открыты для нас.

Когда мы жили на Янг-стрит, отец работал в кабинете, помещавшемся в задней части дома. Два увитые виноградом окна были обращены на мушмулу и на кусты испанского жасмина, желтые цветы которого наполняли благоуханием весь наш старый сад. Я вижу и сейчас, как по кирпичной стене, прокладывая путь между ветвей жасмина, ползет черепаха, посаженная туда соседскими мальчиками. Теперь в Кенсингтоне уже не встретишь таких буйных зарослей жасмина, как в годы моего детства, а мушмула и виноград уже не приживаются и больше не раскидывают свои зеленые ветви, и в изобилии растут лишь травы и луковичные - купена, лилии, но все-таки в моей душе живет надежда, что через много-много лет, когда замрет и мирно опочитет Лондон, на его месте, превратившемся в поросшие травой развалины, вырастет все, что люди здесь сажали. Сад у нас был запущенный - траву в нем выкосили только однажды, и то лишь потому, что ожидали уважаемого гостя, - но сколько же там было всяческих чудес! Росла душистая вербена - красная и голубая, между зеленых листьев-лезвий качались темно-фиолетовые ирисы, то здесь, то там выглядывали купки камнеломки, а в дальней части сада цвели алые розы, порою даже не совсем изглоданные гусеницами. Гостившая у нас однажды леди Дафф Гордон (по-моему, как раз к ее приезду садовник выкосил траву) прислала нам, уехав, голубей, плетеная клетка с ними висела в одном из окон нашей классной комнаты. Эта верхняя классная была как раз над спальней нашего отца и над его рабочим кабинетом, находившимся двумя этажами ниже. Больше всех комнат в нашем чудесном старом доме любила я эту классную - в ней было много неба, и напрямик из сада, то замирая, то приплясывая, туда вместе с закатом врывался вечерний звон, а положенный на пол мячик катился сам по скосу в угол. Была там также и своя загадка - малюсенькая дверца, таившаяся между окнами, которую мы так и не смогли открыть. В какие дивные края она нас уводила! То были райские врата - за ними открывался сад Эдема, вернее, множество его садов. В классную сносили мы свои нехитрые сокровища: кубики, кукол, игрушечные домики и многое другое. На освещенных солнцем подоконниках моя сестра устроила зверинец: улитки и букашки, а большую часть мухи, спасенные из кувшинов с молоком и помещенные в разные горшочки и коробочки, устланные розовыми лепестками. Животные были ее слабостью, любил их и отец и, уж

конечно, привечал питомцев своих дочек. Я не могу не удивляться, вспоминая, сколько котов нам разрешали держать в доме, правда, дворецкий де ля Плюш и экономка миссис Грей вели с ними нещадную борьбу. Коты к нам приходили из садов, ибо тогда, как и теперь, просторы Кенсингтона кишмя кишели всякой живностью. Моя сестра давала им приют и нарекала в честь любимых персонажей. Так, у нее был Николас Никльби - огромный серо-полосатый кот, другого звали Чезлвит, был тут Барнеби Радж - несчастный, изнуренный голодом котенок. Их блюдечки стояли в ряд на небольшой веранде, как раз под лозами, с которых свешивались гроздья кислых ягод, до них нетрудно было дотянуться, но этот виноград и впрямь был зелен; на этой же веранде, примыкавшей сзади к кабинету, была устроена оранжерея, правда, лишенная растений, зато украшенная бюстами отца в отроческие годы и одного из родственников в военной форме.

Мне вспоминаются шуточные слова моей подруги (которой не судьба была дожить до старости), что ей теперь приятны даже те, кого ее родители отнюдь не жаловали, ибо и эти люди ей напоминают прошлое. Не знаю, что бы я теперь почувствовала, случись мне встретить одного приятного и обходительного с виду джентльмена, который часто приезжал верхом в наш Кенсингтонский Дом, звал нас на праздники в разные заманчивые места, на что отец наш неизменно отвечал отказом и, видя горе своих дочек, позже объяснял: "Он неприятен мне, я не хочу иметь с ним дело". Этот пройдоха оправдал предчувствия отца, попав в конце концов на каторгу за многолетнее бессовестное, тщательно продуманное мошенничество. Один наш друг рассказывал, что, как-то раз беседуя с отцом, упомянул лицо, пользовавшееся в ту пору безупречной репутацией, но наш отец ответил, будто твердо знал о совершенном тем убийстве. "Так вы уже об этом знаете? Откуда?" - удивился его собеседник. "Никто мне ничего не говорил. Мне это было ясно с самого начала". Отец и в самом деле признавался, что на него порой нисходит какое-то диковинное озарение - ему как будто открываются неблагоприятные поступки окружающих. Но вместе с тем никто на целом свете не радовался так чужим успехам и умениям, как он; награда школьника, красивый женский голос, хозяйственный талант какой-нибудь знакомой - все представлялось ему чудом, совершенством. Он часто нам рассказывал, как замечательно вела дом одна его приятельница, жившая неподалеку

на Виктория-роуд; я помню и сама, как выводила трели дама - он называл ее Бубенчик, которая к его безмерному восторгу пела "O du schone Mullerin" {О ты, прекрасная мельничиха (нем.)}. Великодушные поступки и слова других людей радовали его, словно он сам их совершал. Мне помнится одна его беседа с бабушкой по поводу "Дэвида Копперфилда", который выходил тогда частями, он объяснял ей с жаром, какой шедевр письмо малютки Эмили к старику Пеготти. Тогда мне это показалось странным, так как совсем не этим покорила меня книга, да и вообще я не могла понять, как можно было совершить такую глупость и убежать из сказочного дома - баржи Пеготти. Но в нашем доме все от мала до велика зачитывались этими тоненькими зелеными книжками, в которых было столько увлекательного, и мы с сестрою не могли дожидаться, когда же наконец наступит наша очередь после отца, бабушки, гувернантки и дворецкого.

* * *

Хозяйство в нашем доме было холостяцкое, и с самыми простыми, даже грубоватыми вещами порой соседствовали самые изысканные. Стол накрывался то потрепанными скатертями, то превосходным тонким полотном, принадлежавшим бабушке, десерт - сухой инжир и печенье - нам подавали на старинных блюдах марки "Дерби", тогда как утренним сервизом служили три щербатые чашки со случайными блюдцами, но чай в них наливали из серебряного флэксменовского чайника (который неизменно уделял немного чая скатерти). Но как-то утром Джимс де ля Плюш (так величал себя слуга и приближенный моего отца - то был его газетный псевдоним: он любил писать в газеты) внес в комнату корзину, доставленную только что посыльным, и в ней мы обнаружили, к своей великой радости, прелестный утренний сервиз: фарфоровую чашку с вензелем отца, сиявшим золотом меж розовых виньеток, очаровательные чашечки для юных мисс, чудесные молочники, украшенные позолотой; была здесь и записка - стишок, но не написанный, а выклеенный из букв газеты "Таймс". Я привожу его по памяти:

В знак любви и почтения
Друг вам шлет подношение
Дорогого фарфора сервиз.
Пусть Титмарш будет счастлив,

И здоров, и удачлив,
И пусть долго не бьется сюрприз.

Мы много дней гадали, какая добрая душа прислала нам столь своевременный подарок. Садясь за стол, изящество которого одобрил бы теперь, наверное, даже доктор Оливер Холмс, мы без конца ломали голову над именем дарителя, предполагая каждый раз другого человека. А через много-много лет, когда Джиме де ля Плюш оставил службу у отца и собрался в Австралию, он сказал с укором: "Тот утренний сервис был от меня. Вы думали о стольких людях, но не подумали ни разу обо мне".

Де ля Плюш был предан нашему отцу душой и телом и казался нам самым главным человеком в доме после него. Это была не просто преданность слуги хозяину, а нечто чародейское. Он знал, что думает отец, планировал заранее, какие тот предпримет действия, какую поручит работу, гораздо лучше нас с сестрой угадывал, что отвечает его вкусу, а что нет. Однажды дело чуть не дошло до слез: нам стало очень страшно, что де ля Плюш, в конце концов, вытеснит нас из отцовского сердца. Он любил писать в газеты и всегда подписывался: "Джиме де ля Плюш, Янг-стрит 13". Положив на стол газету в классной, он обычно спрашивал меня: "Мисс не желает глянуть на мое последнее творение?" Он был отличный человек и умница, правда, довольно властная натура. Отец питал к нему большое уважение и дружбу, и мало кто из окружавших нас людей больше него заслуживал название друга.

Мы были счастливы на Янг-стрит, но жили очень замкнуто. Как удивился наш отец, когда его приятель сэр Генри Дэвидсон заметил невзначай, что в нашем доме все совсем не так, как у других, и это крайне поражает проходящих к нам впервые; пересказав нам этот разговор, отец прибавил: "По-моему, нам живется здесь недурно", - и это была суцая правда. Большею частью мы общались с ним или с какими-нибудь совсем маленькими детьми, а иногда еще и с бабушкой и дедушкой, когда они гостили в Лондоне. Мы, несомненно, жили слишком обособленно, но рядом не было никого, кто указал бы на иные способы приятного времяпрепровождения, вполне доступные нам, детям, когда мы подросли. Но если я об этом и жалею, вспоминая прошлое, то только потому, что наш отец, возможно, был бы

счастливее, если бы мы вносили в будни больше живости и радости, вместо того, чтобы светить лишь отраженным светом.

* * *

Свое первое, очень скромное заграничное путешествие я совершила, когда мне было лет тринадцать или около того, - отец взял нас с сестрой в "большое европейское турне". Конечно, мы и прежде жили в Париже и летом выезжали с дедушкой и бабушкой в разные тихие солнечные провинциальные городки Франции, но в этот раз нас ожидало нечто лучшее, совсем не то, что Сен-Жерменское предместье или Монморанси с их примелькавшимися осликами; Швейцария, Венеция, Вена, Германия, Рейн - от звука этих слов горели нетерпением наши юные сердца. Однако жизненные празднества, изведенные в детстве, подобны чуду о хлебах и рыбах, двенадцать корзин крошек, которыми мы кормимся все следующие годы, пожалуй, значат больше, чем сам пир.

Мы отправились в путь одним ненастным летним утром. Отец был рад уехать из дому, а мы и вовсе были счастливы. В дорогу он купил себе большую серую фетровую шляпу и блокнот, а два других поменьше вынул из кармана и вручил нам, как только мы ступили на мокрую скользкую палубу парохода, отчаливавшего от Лондонского моста. Две легкомысленные маленькие девочки в непромокаемых плащах и шляпках-грибках казались сдержанными и серьезными. Как и отец, мы подготовились к поездке и припасли себе "приданое", гораздо больше походившее на партию товаров модной лавки, нежели на семейный багаж английского джентльмена, что порождало во мне смутное беспокойство. Из запомнившихся предметов там была доска для шашек, большая корзинка для рукоделия, коробки с красками, довольно много всяких книжек и прочие безделицы. Одно я знала твердо: если мы в чем и сплеховали, все будет искуплено нашими новыми шляпками. Они отличались веночками цветов акации голубым и розовым, - к которым были подобраны в тон блестящие атласные ленты, - и все это в ту пору, когда никто не одевался ярко. Мы не могли, конечно, подвергать эти бесценные сокровища всем тяготам морского перехода и потому любовно их упрятали в сундук, доверив попечению доски для шашек и шкатулок. Я сразу доскажу эту историю, ибо в ней отразилось нечто характерное для жизни, которую я здесь пытаюсь воссоздать. О горестная участь всех людских надежд!

Когда настала, наконец, счастливая минута и мы, достигнув дальних стран, переоделись и вышли из гостиницы, нарядные, увенчанные нашими цветочками, неотразимые в своей великолепии, отец воскликнул: "Милочки мои, скорее возвращайтесь в номер и спрячьте свои чепчики обратно в сундучок и больше никогда не надевайте! За вами будут ходить толпами, если вы выйдете на улицу в таких лентах!" Как не померкло солнце в ту минуту и как под кронами живых акаций я не погибла от разрыва сердца! Моя одиннадцатилетняя сестра ничуть не огорчилась, но я, которой было тринадцать... Ведь в этом возрасте одежда значит уже очень много. Без моей очаровательной шляпки я ощущала себя униженной и уничтоженной и отвернулась, чтобы отец не видел моих слез...

Как я уже говорила, наш пакетбот отплыл от Лондонского моста. Едва мы поднялись на палубу, отца приветливо окликнули мужчина средних лет в сутане и дама, загораживавшаяся зонтиком от измороси и летевшей из трубы сажи. То был священник Челсийского собора мистер Кингсли и его жена, направлявшиеся за границу на лечение, с ними ехали их двое сыновей (Чарлз Кингсли был старшим). Море было бурным, вокруг угрожающе вздымались волны, и я, несчастная, испуганная, в неловкой позе прижалась к миссис Кингсли и неотрывно, словно под гипнозом, следила за краем широкополой шляпы мистера Кингсли, взмывавшей и опускавшейся на фоне зловещего неба. Он стоял перед нами, держась за трос, и горизонт за ним взлетал и падал, и пакетбот проваливался и выныривал из волн, а мне казалось, что время остановилось. Но вот мы, наконец, доплыли до другого берега и распростились с нашими попутчиками...

Весны и осени ведут свою летопись на языке плывущих облаков, меняющегося освещения, трепещущей листвы, травинки на лугу, но, к радости любителей природы и огорчению мемуаристов, важные даты не пишутся большими буквами на синеве небес.

Как ни ясно вижу я былое, в воспоминаниях время несколько смещается, и потому нельзя сказать с уверенностью, цветущим летом этого ли года или следующего мы, возвращаясь из чужих краев домой, остановились в Веймаре.

Как и все дети, мы были зачарованы отцовскими рассказами о его молодости, просили повторять их вновь и вновь, а он и впрямь охотно вспоминал свое ученье в колледже, Германию, счастливую жизнь в

игрушечном Веймарском княжестве, где был представлен ко двору, удостоился знакомства с великим Гете, питал любовь к красавице Амалии фон Х. И потому, приехав в Веймар, мы оказались в его прошлом, которое переживали вместе с ним, словно Гого в романе Дюморье.

Вот я иду по мостовой пустынной, затененной улицы и вглядываюсь в жалюзи на окнах бельэтажа какого-то большого и уютного дома, о котором отец говорит, что здесь жила когда-то фрау фон Х. с дочерью, и добавляет: "Как она была добра к нам и как хороша собой была Амалия!" Вскоре на освещенной солнцем площади мы видим дом, где он снимал квартиру со своим приятелем; затем доходим до дворца, который охраняют часовые, похожие на заводных игрушечных солдатиков из Берлинг-тонского пассажа, они вышагивают мимо полосатых будок, и солнце отражается на их штыках, а мы уже любуемся чугунными воротами и стриженными кронами акаций, потом пересекаем двор и входим во дворец, где нам показывают зал и малые гостиные, и мы стоим на зеркале паркета, рассматривая историческое место, где наш отец, по-моему, в первый и последний раз пригласил прелестную Амалию на вальс. Наконец, мы выходим, погруженные в себя, исполненные чувства, что окунулись в прошлое, и тут отец вдруг восклицает: "Интересно, жив ли старик Вайсенборн, мой учитель немецкого". Не успел он это вымолвить, как с нами поравнялся вдруг высокий, сухопарый старик в широкополой соломенной шляпе, с газетой под мышкой, впереди которого бежал чудесный белый пудель. "Боже мой, как он похож на... да нет же, это он и есть, это сам доктор Вайсенборн, он очень мало изменился", - проговорив все это, отец замер на миг и тут же бросился с протянутой рукой навстречу старику, который тотчас же остановился, нахмурился и стал в нас вглядываться. "Я Теккерей, моя фамилия Теккерей", застенчиво, но горячо твердил отец, как было свойственно лишь одному ему, а доктор снова пристально взглянул на говорившего, и радость засветилась на его лице. Последовали восклицания, приветствия, рукопожатия, а чудный белый пудель вертелся и подпрыгивал, не меньше нас, детей, заинтригованный происходящим.

"Я не признал вас поначалу из-за седины", - промолвил доктор по-английски. Отец со смехом отвечал, что он теперь блее своего учителя, потом представил нас с сестрой, и тот легонько, с

дружелюбной сдержанностью пожал нам руки и снова обратил счастливое, одновременно строгое и доброе лицо к отцу. Да, он с интересом следил за его успехами, слышал о нем от различных знакомых, прочел одну из книг - не все, а лишь одну. Почему отец ни разу не прислал какое-нибудь свое сочинение и не приехал сам ни разу в Веймар? "Вы должны искупить свою вину и позавтракать у меня вместе с девочками", - заключил он свою речь.

Отец поблагодарил и снова начал задавать вопросы: "Это та самая собака?" Доктор отрицательно покачал головой. Увы, той уже нет, два года назад она издохла. Зато новая была в высшей степени жива и, прыгая и весело носясь кругами, всем своим видом старалась это показать. Доктор с собакой совершали свой ежедневный променад, и нам было предложено сопровождать их в парк. По дороге мы заглянули к нему домой, чтобы предупредить, что возвратимся к завтраку все вместе, и зашагали на прогулку. В ту давнюю пору, о которой я пишу, парк был всего лишь перелеском с ярко-зеленою листвой, с редко разбросанными по крутым склонам деревьями, усеянный сучьями, испещренный солнечными пятнами, изрезанный дорожками, терявшимися в зеленой чаще, вдоль которых были там и сям расставлены скамейки. На спинке одной из них красовалась надпись: "Доктор Вайсенборн и его собака". Наш провожатый, показавший нам ее, не знал, кто ее вырезал. Зато на каждой скамейке, на которой имел обыкновение сидеть великий Гете, на каждом дереве, укрывавшем своей сенью голову поэта, он словно бы читал другую надпись, конечно, скрытую от взора непосвященных: "Тут прошла жизнь Гете, тут он гулял и отдыхал, эта узкая тропинка еще хранит его следы", - дорожка, которую он нам показал, вела к летнему павильону.

Тогда стояла дивная погода, какая украшает землю только в детстве, наверное, теперь ей радуются наши дети, нам уже редко удастся ею насладиться. Мы возвратились с нашим другом-доктором в его тесную квартирку и завтракали за придвинутым к окну столом в уставленной книгами комнате, потом сидели в его садике среди цветов настурции. Мы с Минни получили по книжке переводов для изучающих немецкий язык, а старые друзья курили, касаясь в разговоре тысячи вещей. Амалия замужем, у нее несколько человек детей, мадам фон Гете с сыновьями, как и ее сестра фрейлейн фон Погвиш, остались здесь, они, конечно, будут рады повидать старого

друга. "Давайте сходим туда вместе, а девочки побудут здесь", - предложил доктор, но отец воспротивился и попросил разрешения взять нас с собой. Как водится, дальше мне изменяет память, что очень огорчительно, так как я позабыла, как выглядел дом Гете, и помню только, что мы там побывали и что, по словам доктора Вайсенборна, невестка Гете съехала оттуда после его смерти. Она жила в центре города в прекрасном доме с чудесной строгой лестницей, завершавшейся мраморным залом; там среди всякого великолепия возле большого круглого стола, заваленного книгами и бумагами, мы увидели двух миниатюрных, скромных женщин - мадам фон Гете и ее сестру. Выйдя вперед, доктор Вайсенборн известил их о приезде старого друга, и тотчас же посыпались приветствия, возгласы радости и узнавания, а наш Вергилий с удовольствием взирал на все происходящее. "Вы так же любите романы, как и прежде?" спросил отец. Хозяйки засмеялись и указали на только что доставленную книжную посылку, где было несколько английских томиков, - они начали распаковывать ее, как раз когда мы появились на пороге. Мадам послала за сыновьями, и к нам присоединились добрые, дружелюбные, скромные молодые люди, не наделенные, правда, ни красотой, ни тем особым благородством облика, который был присущ их деду, по крайней мере, на портретах, но замечательно воспитанные и услужливые. Мать их представила: один был музыкант, другой художник. Пока старшие беседовали, молодые люди приняли на себя заботу о юном поколении и предложили показать известный летний павильон, куда и пригласили нас назавтра к чаю. И потому на следующий день мы снова показались в тенистом негустом лесочке, на этот раз - в сопровождении внуков Гете и его невестки, той самой Оттилии, что до последнего мгновенья держала его за руку. Мы направлялись в его любимый уголок, где он бывал так часто; слыша, как просто и естественно они цитируют его и вспоминают разные истории, мы словно различали эхо его бессмертного голоса и словно увидели мелькнувшую вблизи полу его халата. Детские впечатления так глубоки и яркие, что у меня с тех пор осталось чувство, будто я видела его тогда. Следы его присутствия мы ощущали всюду, но более всего в том маленьком садовом павильоне - простой, лишенной всякого убранства комнате, - где он любил работать. Один из наших славных молодых хозяев привлек наше внимание к какой-то метке на

окне, не помню, что там было, кажется, имя поэта, вырезанное на стекле алмазом. И вот мы, наконец, сидим в саду между деревьями и их подвижными тенями, пьем чай за струганым столом, и сам Вольфганг фон Гете передает мне чашку с чаем - я даже помню эту чашку, но вдруг виденье исчезает. Все совершалось здесь с достойной простотой и дружелюбием, столь характерными для веймарского гостеприимства. На каждую малость нашего недолгого, счастливого пребывания в Веймаре отец отзывался радостным и благодарным чувством, все было ему дорого и важно. Хозяева гостиницы узнали своего бывшего постояльца и пришли засвидетельствовать свое почтение, но тем не менее выставили нам за двухдневный постой такой огромный счет, что, когда официант вручил его в вечер отъезда, отец в смятении воскликнул: "Так вот во что обходятся сентиментальные воспоминания! Скажи хозяину, что больше я не смогу приехать в Веймар".

Официант поглядел на него недоуменно, но вряд ли стал передавать его слова хозяину. Впрочем, то было огорчение не из худших, жизнь готовила ему другое, большее: впереди его ждала встреча, навсегда вытеснившая из его души прежний образ Амалии фон Х., вернее, встреча эта так и не состоялась. Произошло это в Венеции, год или два спустя после нашей поездки в Веймар. Мы с Минни сели завтракать за длинный гостиничный стол, на Другом конце которого расположились пышнотелая дама с бледным раскормленным мальчиком. Весьма дородная, в светло-зеленом платье, она была всецело занята своим яйцом. Окна ресторанной залы были зашторены, но отдельные солнечные лучики, пробивавшиеся из сумрачного вестибюля огромной мраморной гостиницы, падали на пальмы и померанцевые деревья в кадках, стоявших за спиною дамы, и под конец настигли и ее. Она с серьезным видом тотчас отодвинулась. Нам тоже подали еду, но мы не приступали к завтраку, дожидаясь отца, который вскоре появился и объяснил, что задержался, чтобы полистать книгу постояльцев, и его внимание привлекла запись: "Фрау фон З., урожденная фон Х. Право, это Амалия, она, должно быть, где-то здесь, в гостинице". И, подозревав официанта, он осведомился, не съехала ли мадам фон З. "Мне кажется, что это она и есть", - ответил тот, кивнув на нашу тучную соседку. Она на миг оторвала взор от тарелки и тотчас снова обратила его на еду, а наш бедный отец, отвернувшись, сказал

тихо и потрясенно: "Не может быть!" Тогда мне было не понять ни его молчаливости, ни волнения. "Разве вы не представитесь? Пожалуйста, поговорите с ней, - молили мы с сестрой, - давайте выясним, она ли это". Но он в ответ лишь покачал головой: "Нет, не могу, лучше не нужно". Тем временем Амалия покончила с яйцом, неторопливо поднялась, положила на стол салфетку и выплыла в сопровождении своего маленького сына.

Не все на свете происходит сразу, между началом и концом иной истории проходят годы. И много лет спустя, когда счастливый случай свел меня с доктором Норманом Маклеодом под гостеприимным кровом моих давнишних друзей мистера и миссис Канлиф, мне довелось в последний раз услышать об Амалии. Я с удивлением думала о том, что доктор по неведомой причине возвращает меня мыслями к былому, когда он вдруг спросил, знаю ли я, что в молодости они с моим отцом в одно и то же время жили в Веймаре, брали уроки немецкого языка у одного и того же учителя и полюбили одну и ту же юную красавицу. "Вы были влюблены в Амалию и брали уроки у доктора Вайсенборна!" - вскричала я. "Бог мой! Так вы слыхали об Амалии и о Вайсенборне? Я думал, что на целом свете, кроме меня, его уже никто не помнит. Мы все ходили к Вайсенборну на уроки, и все были влюблены в Амалию, все до единого, включая вашего отца! Что за счастливая была пора!" Он рассказал, как через много лет увиделся с отцом во время его лекционного турне в одном из городов Шотландии. В зале собрался весь цвет местного общества, и отец, идя по сцене с бумагами в руках и заметив сидящего впереди доктора Маклеода, склонился к нему на глазах у всех и быстро проговорил: "Ich liebe Amalia noch" {Я все еще люблю Амалию (нем.).} - и проследовал к кафедре читать лекцию.

Доктору Маклеоду также довелось встретиться с Амалией в последующие годы. Не меньше нашего отца он ужаснулся разрушениям, которые ей причинило время. Бедняжка, я не могу не ощущать к ней жалость. Какой жестокий жребий иметь таких двух преданных друзей и потерять их дружбу! Быть столь прекрасной в юности и так перемениться, чтоб настоящее казалось клеветой на прошлое. Это похоже на рассказ о женщине, которая, увидев себя юной, победоносной, улыбающейся на давнем портрете, в ярости

разорвала его. Я уповаю на то, что Амалия не поняла своей утраты и никогда не сравнивала свой зрелый облик с портретом юных дней.

Уже после того, как все это было написано, мне попало на глаза старое письмо отца, отправленное им из Веймара 29-го сентября 1830 года его матери: "Здесь основательная библиотека, которая открыта для меня, отличный театр: входная плата - один шиллинг - и замечательное *petite societe* {Общество (фр.).} - вовсе уж бесплатное. Я еще не видел Гете - главную веймарскую достопримечательность, но его невестка обещала меня ему представить". Дальше он описывает прием во дворце: "Пришлось облачиться в короткие черные панталоны, выставив на всеобщее обозрение ноги, и щеголять в черной жилетке и черном сюртуке, являя собой помесь лакея с методистским пастором". "Мы трижды были в опере, - пишет он далее, - слушали "Медею", "Севильского цирюльника" и "Волшебную флейту". Дирижировал Геммель (дальше помещен набросок дирижера с огромным пышным воротником). Оркестр отменный, но певцы не так уж хороши". Судя по дальнейшим строкам, у Амалии были соперницы даже в те давние времена: "Я влюбился в принцессу Веймарскую, которая, к несчастью, замужем за принцем Прусским. Мне должно победить эту несчастную любовь, иначе я сойду до времени в могилу. Здесь есть очаровательные юные создания - мисс Амалия фон Х. и мисс фон Паппенгейм царят на всех балах".

"Зимними вечерами, - пишет отец в своем другом, широко известном письме, опубликованном в "Жизни Гете" Льюиса, - мы нанимали портшезы и по заснеженным улицам прибывали во дворец, чтобы принять участие в приятнейших увеселениях. А мне еще и посчастливилось обзавестись шпагой Шиллера {Это было написано в 1855 году, а несколько лет спустя в знак дружбы и расположения шпага была подарена другу, к которому отец питал живейшую привязанность, и увезена в Америку. Она досталась Баярду Тейлору, истинному рыцарю, достойному носить столь доблестную, не запятнанную кровью сталь. Э. Р.}, которая в ту пору служила дополнением к моему придворному костюму, а нынче украшает кабинет в память о юных днях, самых отрадных и чудесных".

* * *

Еще сегодня, проходя по Кенсингтону, можно увидеть дом, окна которого обращены на запад, принадлежавший Рейчел Каслвуд, - туда

проследовал полковник Эсмонд, там Претендент в светло-каштановом парике, с голубой лентой через плечо из-за минутной страсти упустил корону, о чем поведал нам полковник Эсмонд. При небольшой игре воображения нетрудно населить прошедшее фигурами, отмеченными давними приметам и, тем не менее, живыми до сих пор, и потому, когда читаешь книгу моего отца, все они кажутся старинными знакомцами. Но чтобы следовать за этими тенями дальше, не через Кенсингтон-сквер и Янг-стрит, где, надо полагать, и впрямь расхаживали некогда носильщики портшезов, а вдоль большой дороги, ведущей в Лондон, нужна поистине немалая фантазия. Среди домов трудно теперь заметить таверну "Герб короля", где проходила встреча заговорщиков в тот час, когда престол был отдан королю Георгу; тихие сады вокруг нее уже погребены под каменными громадами, уходящими в небо, подобно новым Вавилонским башням. Там, где вчера еще плодоносили огороды, сегодня выросли огромные кварталы, туда-сюда проносятся трамваи и заливаются свистками паровозы. Трудно вообразить, как бы отец писал во всем этом сумбуре "Эсмонда". Романы будущего, надо думать, будут записываться телеграфным кодом и создаваться в лифтах, поездах, несущихся через страну, или в многоквартирных зданиях, будут вращаться, словно Иксион, вместе с колесами и вечными велосипедами. Как-то не верится, что при таком коловращении вся и всех будет еще существовать на свете верность Эсмонда.

Наверное, столь великое разнообразие впечатлений вызовет к жизни новые порывы, физические и духовные, люди станут как бы новым племенем, среди которого найдется место и для Беатрисы, но не для Эсмонда и не для яеди Каслвуд - они там будут выглядеть анахронизмом.

Не так давно мне подарили маленькую карту Кенсингтона 1764 года, где видно, что между Лондоном и сельской местностью тогда лежала полоса садов, лугов, аллей и просек шириною больше мили. Конкретное всегда представить легче, чем абстрактное, и все же мне не верится, что так оно и было в самом деле, хоть помню и сама, как выглядела Хогмор-Лейн и пролежавшая как раз за нею Лав-Лейн, где мы с товарищами наших детских игр, чей дом стоял неподалеку на террасе, - их звали Коул, - любили прогуляться ранним утром бог весть куда. Мы уходили в шесть часов утра и возвращались с ветками

цветущего боярышника, который расставляли в классных комнатах, чтоб он напоминал нам о весне и мае.

Но есть такое место в Лондоне, которое, по-моему, почти не изменилось, - это Чейни-Роу, лежавшая за всеми этими поросшими боярышником просеками, и Челси, где мы бывали в детстве очень часто. Пройдя по многочисленным аллеям и лугам, мы огибали пруд и через узенькую улочку, носившую название Райский переулок, выходили на Кингз-роуд, и несколько минут спустя стучали в дом Карлейлей на Чейни-Роу, где они жили до конца своих дней и где, как кажется всем тем, кто знал их, звучат и ныне их шаги.

Старый дом на Чейни-Роу - одно из первых моих детских впечатлений от Лондона. Его безмолвие и сумрак, дубовые панели и резные балюстрады, покойный сад, скрывавшийся за ним, где в углублениях стены лежали набитые табаком, готовые к употреблению трубки, комнатная собачка в куцей попонке по имени Нерон, заливавшаяся лаем и трясшаяся каждой жилкой, - все это так и стоит перед глазами, и, как ни много сказано другими, я не могу здесь не упомянуть о месте, с которым было связано все детство.

В столовой стоял чудесный экран, завешенный картинами, рисунками, гравюрами, портретами и модными картинками, - его любил разглядывать отец. Наверху была обшитая панелями гостиная, где на стене напротив окон, обращенных к Чейни-Роу, висел портрет Оливера Кромвеля. Но главным чудом в доме - прекраснее любой картины - была сама миссис Карлейль, живая, стройная, прямая, темноглазая; как жаль, что уже не было на свете Гейнсборо, чтобы запечатлеть ее в ее гостиной! Она ни в чем не уступала знатым дамам, с которыми порой знакомил нас отец. Всегда изысканно одетая, в бархатном платье с брюссельскими кружевами, она спокойно дожидалась вас в гостиной, готовая начать беседу. Она была участлива без тени фамильярности, держалась с замечательным достоинством, и, сидя на диване в облюбованном ею углу, рядом со столиком, уставленным серебряными и перламутровыми безделушками, с живейшим интересом вас выслушивала.

В одно из первых наших посещений во всех аллеях и проулках той местности, что после стала называться Саут-Кенсингтон, лежал снег, через который мы брели, чтобы добраться в Челси, и появились у нее усталые, замерзшие, оцепеневшие от холода, но внизу в столовой

нас ждали две чашки дивного горячего шоколада, поставленные у камина и заботливо прикрытые блюдцами. "Я думала, что вам, наверное, захочется согреться", - сказала она нам. С тех пор горячий шоколад стал чем-то вроде ритуала. И сколько раз потом, приветливая, оживленная, она присаживалась рядом, чтоб присмотреть за нашей зимней трапезой, помочь нам выложить свои секреты или подчас самой пооткровенничать.

Мы в детстве редко видели Карлейля. Стоило ему прийти в гостиную и сесть в предназначавшееся только для него кресло, стоявшее напротив дивана, как мы немедленно ретировались, но когда он работал в кабинете наверху, сознание, что он тут близко, рядом, усиливало радостное возбуждение. Миссис Карлейль рассказывала нам о своем детстве, о том, что очень любила учиться. На всю жизнь я запомнила многие ее советы и дружеские упреждения. Выразительно глядя своими темными глазами, она однажды заговорила со мной о самообладании: "Все мы гораздо лучше способны властвовать собой, чем принято считать; у человека есть резервы, которыми он может пользоваться. Когда-то мне казалось, что если я буду напрягать все силы и всю волю, чтобы бороться с чувством, мой разум пострадает. Но он прекрасно выдержал. Я справилась, и разум мой ничуть не пострадал. Я твердо знаю, что люди могут совладать с собой, просто они мало отдают себе в этом отчет".

Помню, однажды я пришла туда, когда была уже довольно взрослой девушкой. Об этом дне осталась следующая запись в дневнике, который я тогда вела: "Были у миссис Карлейль, в дверях столкнулись с ушедшей леди Стенли Олдердей. Проводив ее, миссис Карлейль стала горячо восхищаться "Адамом Видом" и сказала, что написала автору, приславшему ей очень теплый ответ. По ее словам, мистер Карлейль решительно не захотел читать роман, а когда она высказала надежду, что автор пришлет ей книгу в подарок, выразил недоумение: "С чего вдруг он станет присылать тебе ее?" - "Прислал же он мне предыдущую". - "О ты такая же как все же-э-нщины (мистер Карлейль выговаривает это слово на особый лад: же-э-нщи-ны) - всегда питаешь необоснованные надежды".

Мы собрались домой, так как зазвенел колокольчик, возвещавший, как мы думали, о приходе следующих посетителей, но вместо них явился лакей Чарлз с пакетом от издателя, судя по упаковке. Следом

вошел мистер Карлейль и сел на диван. С радостным возгласом миссис Карлейль бросилась к пакету. Мы замерли в счастливом предвкушении, и вот бечевка разрезана, и у нее в руках, конечно, три оранжевых томика "Адама Вида" с любезною дарственной надписью автора..."

У меня хранятся два кратких письма философа к моему отцу, написанных его неразборчивым почерком и посланных в то памятное для нас время, когда стал издаваться "Корнхилл". Вот что сказано в одном из них: "Попутного вам ветра и прилива в этом до нынешнего дня счастливом для вас плавании, которому со всех сторон сопутствуют добрые предзнаменования. Из редакции мне не шлют новых выпусков (мы получили только первый), но мы всегда готовы потряхнуть кошельком в той скромной мере, в какой требуется. Всегда ваш Карлейль"...

"Я бы хотел, чтобы вы достали сборник критических статей Карлейля, писал отец своей матери в 1839 году. - Я уже прочел иные из них и убежден, что ничего благороднее этой книги еще не было написано на нашем родном языке, и нет книги, которая могла бы оказать столь же великое влияние на наш образ мыслей и наши предрассудки. До сей поры критика была лишь средством межпартийных споров и литература - бедной прислужницей политики. Благодаренье Богу, недолг час, когда мы станем любить искусство ради самого искусства и этой своей независимостью оно как никому будет обязано Карлейлю".

В один из зимних вечеров 1863 года мы с отцом выехали на вечернюю прогулку и, проезжая в сумерках вдоль Серпантина, встретили бродившего в парке Карлейля, при виде которого отец высунулся из коляски и замахал руками. "Настоящий град дружеских приветствий", - говорил Карлейль, описывая эту последнюю встречу.

После смерти миссис Карлейль мы стали навещать самого философа и приходили в прежнюю ее гостиную, куда он перебрался жить. Ни для кого не было тайной, что он любил брюзжать и спорить, но взрыв любви и нежности, чувство раскаяния и верности тем больше трогали и поражали в его жизнеописании, чем сдержаннее он их прежде выражал. Когда скончался наш отец, нам с Минни довелось узнать, какую нежную, глубокую привязанность он мог питать к другому человеку.

Спустя годы я пришла в последний раз взглянуть на дом, который был мне бесконечно дорог, - это было уже после того, как Карлейль нашел свое вечное успокоение. Мой маленький сынок, которого я принесла с собой, стал лепетать, показывая пальчиком на по-прежнему стоявший в гостиной экран с картинками, иные из которых рисовал его дедушка. Из-за экрана показалась миссис Александр Карлейль с малюткой Томом на руках, который, завидев такого же ребенка, как он сам, стал выражать горячую заинтересованность и трижды громко крикнул. И эти звуки мне неожиданно напомнили знакомый голос, так долго наполнявший этот дом и далеко разнесшийся по свету!

* * *

Я упоминала уже о том, что отец поехал в Америку читать лекции, которые до того с большим успехом читал в Англии. Но за поездки, даже и за такие удачные и прибыльные, как та, о которой я рассказываю, приходилось расплачиваться разлукой. Я никогда не забуду его фигуру на перроне в Олтене, в Бельгии, где мы с ним разъезжались в разные стороны. Такой высокий, грустный, он стоял возле тонкого железного столба и провожал глазами поезд, увозивший нас с дедушкой и бабушкой в Швейцарию. Сам он через Германию возвращался в Англию, где ему нужно было держать корректуру "Эсмонда", прочесть несколько лекций в провинции и завершить домашние дела.

Бабушка была очень подавлена и встревожена. В качестве прощального подарка она послала ему в каюту спасательный жилет, чем страшно напугала самое себя. Мы были слишком молоды, чтобы беспокоиться, но очень загрустили. Наш славный старый дедушка не знал, что и придумать, стараясь нас развеселить. Он строил разные заманчивые планы, заказывал какие-то особые компоты и тарталетки, стараясь угодить детскому вкусу... Перед отъездом отец отобрал для нас несколько книг, среди которых были "Очерки" Маколея, и велел прочесть их в его отсутствие, и я еще взяла с собой "Пенденниса", в котором, как мне всегда казалось, больше, чем во всех других произведениях, слышится его живой голос, но главным нашим чтением были его письма. Перед отплытием в Америку он выступал в Манчестере и в других городах, одно его тогдашнее письмо, сложенное втрое и адресованное моей сестре в Меннеси в департаменте Сены-и-Уазы, лежит сейчас передо мною: "Пишу тебе

важными буквами, такими, как ты любишь... Но и такими буквами писать сегодня почти не о чем. В Кенсингтоне так уныло, что я не в силах это вынести... Как грустно тут, должно быть, бедной Элизе {Нашей экономке. - Э. Р.}, у которой нет друзей и некого проведывать, а потому приходится с утра до вечера сидеть на кухне. Когда я думаю об этом, мне хочется пойти и посидеть там вместе с нею, впрочем, боюсь, что это ее мало развлечет, так как, потолковав о кошке и о здоровье ее батюшки, мы замолчим, не зная, что еще сказать. На прошлой неделе я был в Манчестере и там в присутствии трех тысяч дам и джентльменов запнулся и забыл, что я хочу сказать. Я чувствовал себя преглупо, но вечером опять пошел читать и справился получше, а так как запнуться на полуслове ничуть не хуже, чем споткнуться на дороге и расквасить себе нос, я собрался с силами и в этот раз уже не запинаясь. Все это дело привычки, и многие люди так же не умеют выступать, как, скажем, не могут, не учась, играть на фортепьяно. Но я надеюсь, что ты и кое-кто еще прилежно занимаетесь и выучитесь убаюкивать меня по вечерам, когда я к вам приеду из Америки. На следующей неделе я отправляюсь в Бирмингем, потом вернусь в Манчестер, а потом уж начнется: "Стюард, 'скорее тазик!"

Когда отец был в Америке, знакомые очень заботились о нас. Они писали в письмах все, что о нем слышали. Бабушка получила по почте "Эсмонда". А когда мы приехали в Париж, нам принесли коробку с глазурированным тортом, бережно упакованным в разноцветную бумагу, и мы хоть и ломали голову, кто был его таинственным дарителем, но радовались от этого ничуть не меньше. Как выяснилось много позже, торт был заказан не отцом, а миссис Проктер, которая всегда была щедра на добрые дела, и сколько же из них остались безымянными!

Мы все повеселели, когда отец стал присылать нам письма из Америки. Теперь мы словно говорили с ним и знали, что с ним происходит. Дела у него шли прекрасно, он был в отличном настроении, повсюду обрастал друзьями, ему платили за выступления. В одном из писем он просил прислать ему "парочку запасных желудков" - так хлебосольны были его новые заокеанские друзья, так многочисленны обеды и ужины, которые он должен был почтить своим присутствием. И лето, и зима тянулись очень долго, весне и вовсе не было конца, как вдруг до нас дошло известие, что он вернется

много раньше, чем намеревался. Если не ошибаюсь, ему попался на глаза корабль, идущий в Англию, и он, поддавшись настроению, мигом собрался и уехал.

Я помню день его приезда. Мы с Минни сидели на красном диване в маленьком кабинете, и вдруг, раньше, чем мы ждали, негромко зазвенел дверной колокольчик. Бабушке стало дурно, а мы с сестрой помчались к двери, но не открыли, боясь, что это все-таки не он; так мы стояли, пока другой звонок, гораздо более властный, не привел нас в чувство. "Что это вы меня не пускаете?" - сказал он и, смеясь, шагнул навстречу, такой большой, прямой, сияющий, и сразу показалось, что никуда он и не уезжал.

* * *

Вернувшись из Америки, отец снял на осень квартиру в Париже, а зиму, сказал он нам, он хочет провести в Риме. Сейчас мне представляется, что настоящая моя жизнь и началась лишь в Риме: нам с сестрой все было очень интересно, тем более, что мы в то время ощущали себя зрителями в пьесе жизни, актерами были другие. Сестра была еще ребенком, но мне исполнилось пятнадцать лет, и я казалась себе взрослой. В другой книге я уже писала, что в Риме той зимой жили миссис Кембл, миссис Сарторис, Браунинги и много других замечательных людей, все они уже вкусили от струй фонтана Треви, как предстояло и нам. Немногие из нас вернулись вновь к фонтану! Впрочем, в присловьи говорится, надо думать, о духовном возвращении, ибо можно испить воды и возвратиться и делать это много-много раз, но каждый раз к фонтану возвращается отнюдь не тот, кто с ним прощался, тогда как тень души, приникшая к его камням, склонившаяся над струящимися водами, всегда и неизменно там пребудет.

В начале декабря мы выехали из Парижа. Отец, здоровье которого было уже подорвано, взял с собой слугу. В Марсель мы прибыли холодной темной ночью. Чтобы согреться, укрывались шальями, положенными поверх одеял, и все же нас трясло от холода, но утром мы проснулись радостные и возбужденные сознанием неповторимости минуты. Я и доныне не могу забыть открывшуюся нашим взорам яркую картину: евреев, турок, выходцев из Месопотамии, одетых в пестрые одежды и говоривших на чужих наречиях, причалы, грузчиков с тюками, бегавших по палубам, аметистовую гладь моря. Я вижу, как

сейчас, плывущую вдоль берега лодку, груженную крупными золотыми луковицами, с одинокой фигурой гребущей женщины в голубых лохмотьях и пестрой косынке. "Вот вам дама из Шалота", - говорит отец, а мы глядим на него, не понимая, ибо не знаем ни сортов лука, ни - толком - Теннисона, и он нам объясняет, что шалот - это такой лук, и, чуть подумав, мы начинаем хохотать, радуясь про себя, что больше никто на свете не умеет так острить, как он. Вернувшись в гостиницу, мы видим турок, которые все так же, как и утром, пьют кофе под полосатыми навесами, и темнолицего человека в феске, и худого, изможденного дипломата знакомого отца, возвращающегося из далеких стран с бесчисленною кладью, и семью хозяина, сидящую вокруг стола с супницей в застекленном помещении, смахивающем на оранжерею. Мы поднимаемся к себе, чтоб отдохнуть и набраться сил перед вечерней посадкой на пароход. От обилия новых впечатлений, от всего этого *lux mundi* {Блеска мира, роскоши (лат.).} голова идет кругом, и мы забываем в гостинице наши теплые шали и добрую половину багажа, о чем спохватываемся уже в пути... И посему, попав в Италию, в страну цветущих лимонов и благоухающих апельсиновых деревьев, первым делом мы направляемся на узкую окраинную улочку, где находим лавку английских товаров и где отец покупает нам две теплые, серые в черную полосу шали, в которых нет ничего романтического или итальянского, но самые лучшие, какие продавались там. В нашем распоряжении был целый день на берегу, от холода нас защищали шали, и мы отправились бродить по Генуе, но, осмотрев два-три дворца, проследовали на вокзал и по недавно открытой железной дороге поехали в Пизу. Погода днем переменялась к лучшему и стало тепло от солнца - не от шалей. Но ветер не утих, и в память врезалась статная фигура монаха в просторной сутане, с вздувавшимися, хлопавшими полами, шагавшего через широкую, пустую площадь, черный, таинственный и величавый, он шел на фоне светлой площади, прекрасного собора и озаренной солнцем Падающей башни...

На следующее утро мы достигли цели своего путешествия, и в полдень высадились в Чивитавеккья. Это было чудесно, как и все тогда происходившее, и с трепетом восторга взирали мы на великолепную игру красок, на четырехгранную кампаниллу с плоской черепичной крышей, на все, что предстояло нам узнать и рассмотреть

и что являло нам себя с первых шагов на берегу. Начать с того, что мы увидели толпу, напоминавшую хор итальянской оперы в полном составе, мужчин в остроконечных шляпах и коротких панталонах, женщин в театральных костюмах с младенцами в таком же одеянии, смеющихся, говорящих по-итальянски и ощущающих себя как нельзя лучше. Нас немного задержали на таможне, и большинство наших спутников уже уехали, поэтому в Рим мы попали в числе последних... Какой-то человек с фонарем открыл городские ворота, проверил наши паспорта, и вот мы в Риме, наконец... Остановились мы в гостинице на виа Кондотти, и на следующее утро проснулись от перезвона множества колоколов, звучащих в напоенном солнцем воздухе.

Свесившись из окна гостиной, расположенной в бельэтаже, - до сих пор мне помнится ядовито-желтый цвет ее стен, - мы разглядывали прохожих, до чьих макушек легко могли бы дотянуться. Стояло воскресное утро, и все колокола звенели и гудели, как будто ударяясь в дивную голубизну простертого над ними небесного купола. Как хорошо запомнилась мне первая увиденная мною крестьянка-контadini, величаво проществовавшая к мессе по нашей улице: черноволосая, в белом чепце, с белыми рукавами и множеством украшений. Площадь Испании, которой завершалась наша улица, была наводнена солнечным светом, в котором проплывали и другие контadini, дети, романтического вида пастухи, а мы на них смотрели и дивились. Но как все это ни было чудесно, мы ощущали легкое разочарование. Ведь ждешь всегда чего-нибудь небывалого, неведомого, а перед нами было нечто осязаемое и реальное. "Потерпите немного, - успокоил нас отец - Поначалу здесь все это испытывают..." Вот строки из письма отца, отправленного матери из отеля "Франц" на виа Кондотти и помеченного 6-ым декабря, на следующий день после нашего приезда в Рим: "Мы очень удобно устроились в гостинице, в которой я останавливался и прежде, - пишет он, - если не считать неких насекомых, жестоко искусавших меня вчера ночью. Это, конечно, не клопы, так как горничная заявила, что в жизни их не видела, равно как и блох, остается предположить, что это были скорпионы". Дальше он сравнивает Пизанский собор с собором Святого Петра: "Все мы сошлись на том, что Пизанский собор красивее. Святой Петр - это язычески великолепная громадина. Основателя церкви совершенно невозможно разглядеть за всеми этими

фантасмагориями и церемониалами, которыми его окружили со всех сторон. Я даже не уверен, что Святой Петр кажется мне красивым. Фасад его определенно безобразен, но город все-таки божественный. Мы дивно погуляли по Пинчио, и закат, которым нас попотчевали, воистину был царственно прекрасен. Я вздохнул с облегчением, когда наше путешествие из Чивита-веккья осталось позади: с восемьюдесятью или девятью луидорами в кармане я представлял собой желанную добычу для разбойников, буде они бы пожелали появиться". Весь этот день мы расхаживали по городу: постояли под могучим куполом Святого Петра, полюбовались Тибром, стремившим свои воды под мостами, потом, не без влияния "скорпионов", обнаружившихся в гостинице, отправились искать себе пристанище, и мистер Браунинг нам присоветовал чудесное жилье. Для маленьких девочек лучше и не придумать, - то была огромная квартира над кондитерской в палаццо Понятовского на виа делла Кроче. Одолев широкую лестницу с прекрасными узорчатыми перилами, мы тронули дверной колокольчик, рассыпавшийся эхом в глубине, и показавшаяся маленькая старушка в безрукавке, носившая звучное имя синьора Эрколе, впустила нас в большую темную прихожую и анфиладой комнат повела в восьмиоконную гостиную, где мы издали первый (но не последний) возглас восхищения. Вселившись, мы получили во владение комнату в китайском стиле, библиотеку, столовую с бронзовой жаровней посередине, спальню, будуар и темную комнату, предназначавшуюся для нашего слуги. Отец выбрал себе будуар, а нас с сестрой поместил в большую спальню с окнами на улицу, слуга расположился в темной комнате возле прихожей. Кроме четырех или пяти комнат, которые мы сняли, синьора Эрколе любезно предоставила нам и свои великолепные гостиные. Я смутно помню ее дочерей, одетых в безрукавки, как и мать, ютившихся в какой-то квартирке попроще, но мы их почти не видели. Мы с Минни превосходно разместились в углу большой гостиной; освободив стоявший там инкрустированный стол от ламп и статуэток, восковых цветов и прочих безделушек, мы сразу ощутили себя дома. Пел за работой каменщик, висевший в люльке за стеной, на маленькой площади внизу трубили *pifferati* {Дудочники (итал.)}, слышался трепет голубиных крыльев, и голубиные тени скользили по полу в гостиной, влетающий в окна аромат цветов и брызги от фонтанов смешивались с затхлым

таинственным запахом старых гардин и старинных вещей. Должно быть, семейство Эрколе торговало антикварными вещами, вся обстановка в доме была какая-то музейная, мало напоминавшая обычное жилье, вдоль стен висели длинные ряды картин в тяжелых золоченых рамах, составлявших едва ли не самую ценную их часть. И все-таки там было и нарядно, и красиво, и, бегая по комнатам, мы воображали себя заколдованными принцессами в замке.

Когда настало время завтрака, отец послал нас вниз в кондитерскую, где мы отдали должное пирожным с кремом и птифурам, а обед, как было тогда принято, нам должны были прислать из соседней трагтории. Все еще радостно возбужденные, мы отправились гулять, и к тому времени, когда пришла пора обедать и солнце стало скрываться за горизонтом, мы, несмотря на все пирожные, почувствовали настоящий голод, ибо восторг еще прибавил аппетита.

Мы ждали, но обед запаздывал. Время шло, и наше нетерпение возрастало. Тогда в трагторию был послан Чарлз. Весьма взволнованный, он тотчас возвратился со словами, что обед давным-давно отправлен. Не испарился же он на лестнице нашего дворца, недоумевали мы. Отец откомандировал Чарлза снова, попросив сказать, что произошла ошибка, что мы проголодались и очень ждем обеда. Чарлз вышел и немедля возвратился со смущенным видом. И в самом деле, час тому назад нам доставили какой-то ящик, но он не догадался заглянуть туда. Мы с Минни вихрем понеслись в прихожую, где красовался ящик с откидной крышкой. Не верилось, что это может быть обед, но мы открыли крышку с робкой надеждой, и там, внутри, на неостывших все еще тарелках дымились замечательные кушанья: жареная птица, мясо с приправами, черный хлеб, компот, салат, бутылка вина. Мы с упоением приступили к первой общей римской трапезе.

Мемуаристы, особенно перешагнувшие определенный возраст, порою склонны забывать, что многое из прошлого так мило нам сейчас лишь потому, что продолжает с нами жить и ныне. Я уже говорила здесь, что с ходом времени значение прошлого лишь возрастает. Мы возвращаемся назад, чтоб встретиться с собою юным, простить себе былые заблуждения, глубже понять минувшее и лучше оценить простые радости, которые дарит нам жизнь. Это дано нам в утешение

чтоб искупить потерю юности и свежести чувств. Мало-помалу понимаешь, что бытие не исчезает, лишившись звуков, форм и внешних признаков, корни его живут в наших сердцах, выбрасывая иногда побеги, которые цветут и плодоносят много лет.

Детство похоже на главу из книги Диккенса - лишь дети видят правильно, не удивляясь человеческим гримасам, странностям, забавным свойствам и особенным словечкам, а принимая все как должное, сколь бы оно ни было своеобразно. Потом мы делаемся более взыскательны, самонадеянны и непоследовательны, мы начинаем либо осуждать других, либо подыскивать им извиняющие обстоятельства и думать о чертах характера, вместо того, чтоб просто наблюдать. Но люди, виденные в детстве, были для нас живыми и таинственными призраками с неведомыми чувствами и мыслями, мы их лишь созерцали, и созерцать их было очень интересно.

Мне помнится то утро, когда суждено было умереть Элен Пенденнис. Отец сидел за столом в своем кабинете и писал. Стол стоял посреди комнаты. Садился он всегда лицом к двери. Я вошла в комнату, но он махнул рукой, чтобы я удалилась. Через час, смеющийся и сконфуженный, он поднялся в нашу классную со словами: "Не знаю, что подумал обо мне Джеймс, тотчас после тебя он вошел ко мне с налоговым чиновником и застал меня в слезах - я оплакивал Элен Пенденнис..."

Хотя "Пенденнис" получил признание, его автор не избежал нападков критики, особенно жестоких со стороны "Экзаминера", строго осудившего его за описание жизни литераторов и обвинившего в том, что он унижил собратьев по перу, ища дешевой популярности у людей, далеких от искусства. "Северо-Британское обозрение" опубликовало статью в его защиту, но и там позиция отца не нашла полной поддержки. В ту пору отчитывать писателя за свойства его характера было столь же в порядке вещей, как обсуждать и критиковать литературную сторону дела. Мало кто так близко к сердцу принимал критику, как мой отец, который напечатал в "Морнинг кроникл" ответ "Экзаминеру".

Отец не раз нам признавался, что порой переживает нечто вроде ясновидения. Описывая ту или иную местность, он иногда и сам не мог поверить, что не бывал там прежде. Изображая одно из сражений в "Эсмонде", он словно видел каждую подробность, каждую малость на

первом плане, рассказывал он, - и камыши у ручейка, и выступ берега, который тот огибал. В одном из писем к матери мне встретилось следующее подтверждение тому: "Я рад был, что Бленхейм, - писал он в августе 1852 года, - оказался точно таким, как я воображал, только немного больше; мне кажется, что я и впрямь бывал здесь раньше, так вид его похож на то, чего я ждал".

АЛИСИЯ БЕЙН

ИЗ КНИГИ "ПАМЯТИ СЕМЬИ ТЕККЕРЕЕВ"

Его величавая голова даже тогда (в тридцать пять лет) была тронута сединой, снегом блестящей в темной шевелюре. Он держался, как породистый лощеный джентльмен, оставаясь в то же время очень простым и безыскусственным. Он сказал нам, что счастлив оказаться среди родственников и надеется, что поведет теперь более оседлую жизнь и сможет чаще с нами видеться. Это были не пустые слова: на вершине славы и благополучия он оставался для нас своим. Как-то, заговорив о добрых старушках в Харроу, я назвала их "ваши тетушки", и он тотчас поправил меня, выразительно сказав: "наши тетушки". Он был так добр и обходителен с теми, кто пользовался его расположением, что они не испытывали ни малейшего страха перед ним...

Мистер Теккерей дважды посещал Америку, читая лекции, и приобрел там огромную популярность.) При расставании с гостеприимными хозяевами, рассказывал он, кто-то из них выразил опасения, как бы он не сделал их предметом критики в новых произведениях своего пера. "Нет, - сказал он, - не в моем обычае оплачивать за радушие подобной монетой, но если вы мне разрешите, я позволил бы себе дать вам два совета". И начал с того, что рекомендовал им не вывозить детей в свет столь рано.

Теперь мистер Теккерей был блестящим, известным и преуспевающим человеком. Во время сезона он редко обедал дома, так как был членом трех клубов - "Атенеум", "Реформ" и "Гаррик". Он снял дом на Онслоу-стрит, где мог достойно принимать гостей, чего никто не умел делать лучше него. Вот забавный случай, подтверждающий это. Некая провинциальная дама, которая в свое время оказала ему несколько любезностей, приехала в столицу на один сезон. Он отправился к ней с визитом и спросил, когда ей было бы удобно отобедать у него. Она из самых лучших побуждений, полагая,

что писатели живут в стесненных обстоятельствах, долго отказывалась, однако в конце концов дала согласие, но при условии, что мистер Теккерей угостит ее только холодным мясом. Она приехала в назначенный день и к своему удивлению оказалась в весьма многочисленном обществе. Во время отличного обеда хозяин не преминул заметить, что не забыл желания ее милости - на буфете стоит блюдо с холодным ростбифом...

В 1860 году мистер Теккерей построил себе чудесный дом в Кенсингтон-Пэлас-гарденс в стиле королевского дворца по соседству. Когда дом был почти закончен, я приехала осмотреть его по приглашению хозяина. Он тоже был там и спросил мое мнение, а я сказала, что не мешало бы поместить над дверью его герб на маленьком каменном щите: пусть его пребывание тут будет увековечено навсегда.

- Но какой же герб на нем вырезать? - спросил он.

- А почему бы не эмблему "Корнхилла"? - ответила я вопросом на вопрос. - Ведь благодаря этому журналу вы получили деньги на его постройку.

Но он возразил:

- Если уж помещать тут герб, то лишь тех добрых стариков, моих предшественников, по чьим стопам я смиренно надеюсь пойти.

И снял шляпу, отдавая дань их памяти.

Этим он нечаянно подтвердил слова автора обозрения в "Эдинбург ревью", заметившего, что "его от природы благородная и добрая натура оставалась чужда суетности и при высочайшей гордости ума продолжала платить дань сердцу". Впрочем, над дверью никакого герба не появилось...

Дом был обставлен чрезвычайно элегантно и уютно. Некто объявил, что такое жилище "достойно того, кто является истинным представителем литературы в свете и в то же время поддерживает репутацию своей профессии со всем благородством истинного джентльмена". Библиотека была настолько обширна, что хозяин, сочиняя, мог свободно по ней прохаживаться или выходить через стеклянную дверь в сад. Он был особенно чувствителен к эстетическим воздействиям и как-то привел меня в восторг, сказав про мою комнату, обращенную окнами в сад, что "она так и манит сочинять". Дом был полон всяческих сокровищ. Старинные

английские зеркала, горки с севрским, дрезденским и челсийским фарфором, оригинальные старинные стулья и кушетки с высокими спинками и многие интересные картины старых мастеров. Среди них очаровательное полотно Миттенса, подписанное 1665 годом. На одном была изображена девушка в розовом платье, срывающая розу, на другом ребенок в желтом и в алой шляпе с пером нес абрикосы в сопровождении собаки. Большой портрет королевы Анны на троне кисти де Труа, изображенной с аллегорической женской фигурой, олицетворяющей мир, в честь Утрехтского договора. Conversation champetre {Беседа на вольном воздухе (фр.).} Ватто. Портрет дамы в белом головном уборе, малиново-золотом платье со стоячим воротником и золотой цепью (Порбус, 1604 год). Играющие купидоны Буше. Портрет дамы в голубом платье и жемчужном ожерелье. Пейзаж с крестьянами и коровами на деревянном мосту - Койпа. Своеобразная широкая панорама лагеря испанских войск в Нидерландах кисти Э. Ван де Вельде.

Там-то и жил радушный хозяин, принимал у себя избранное общество, и трудно было бы найти более утонченный и приятный дом. Приехать с утренним визитом к его вдовой матери и двум дочерям уже было большим удовольствием. Иногда в гостиную выходил и он, если знал, что найдет там кого-нибудь из родственников или близких друзей. Я словно бы и сейчас вижу его перед собой: "Очки, удивительное одухотворенное лицо, благородная голова, увенчанная седой шевелюрой". Тут он пребывал в своей стихии, с теми, с кем ему хотелось быть, с теми, о ком он думал в разлуке... Но к залитому солнцем дому уже подбиралась тень Смерти. Впрочем, его хозяин всегда как бы ощущал близость Всемогущего. Примерно тогда он написал, как будто догадываясь, что отлив уже начался: "Еще несколько глав, а потом - последняя. И тогда сам Finis {Конец (лат.).} достигнет конца и начнется Бесконечность..."

Те, кто видели мистера Теккерея только в обществе, как блистательного и знаменитого писателя - не имеют ни малейшего понятия, что скрывалось за этим фасадом. Мало кому довелось узнать, какие благоговение и любовь преисполняли все его существо, когда он приобщался к Богу и твореньям Божьим.

КЕЙТ ПЕРРИ

ИЗ КНИГИ "ВОСПОМИНАНИЯ О ЛОНДОНСКОЙ ГОСТИНОЙ"

С мистером Теккереем я познакомилась в Брайтоне, где гостила у своего старшего брата Уильяма Перри. Обычно дружба складывается постепенно вначале это нежный росток, почти без корней; мало-помалу он одевается зелеными листочками и цветочными бутонами, затем пышной листвой и цветами, а корни тем временем укрепляются в земле, и уж только жестокий мороз или ледяной ветер могут его теперь погубить. Но наша с мистером Теккереем дружба не знала постепенного роста и больше походила на сказочный бобовый стебель, который без всякого ухода вознесся за одну ночь до небес, и, благодарение богу, она и оставалась такой до его внезапной и безвременной кончины.

В начале нашей дружбы он имел обыкновение читать мне по вечерам то, что успел сделать утром. Он только-только приступил к "Ярмарке тщеславия". Жил он тогда в гостинице "Старый корабль", и некоторые начальные выпуски были написаны там. Он часто говорил мне: "Хотел бы я знать, получится ли из этого что-нибудь? Найдется ли издатель, и будет ли публика читать книгу?" Помнится, я ответила, что не слишком высоко ставлю свою способность судить о литературе, но моей сестре, миссис Фредерик Элиот написала вот что: "Я очень подружилась с одним из главных сотрудников "Панча" мистером Теккереем. Сейчас он пишет роман, но никак не придумает для него названия. Может быть, я не права, но, по-моему, ничего умнее мне читать не доводилось. Когда он в первый раз у нас обедал, я ужасно его боялась. На другой день мы гуляли в Чичестер-парке и он рассказывал нам про своих дочурок и про дружбу с Брукфилдами, а я рассказывала ему про тебя и Чешем-плейс". Услышав мое мнение о его романе, он расхохотался и сказал: "Да, мадемуазель (он всегда называл меня так), вещица эта забористая, но не знаю, придется ли она по вкусу лондонцам". Несколько дней спустя он рассказал мне, что без конца ломал голову над названием, и вдруг глубокой ночью словно какой-то голос шепнул ему на ухо: "Ярмарка тщеславия!" Он соскочил с кровати и трижды обежал комнату, бормоча: "Ярмарка тщеславия! Ярмарка тщеславия! Ярмарка тщеславия! Ярмарка тщеславия!"

Потом мы часто встречались у мисс Берри и ее сестры - в их гостиной из вечера в вечер собирался цвет остроумия и красоты того

времени. Мы с сестрой, питая такую дружбу к мистеру Теккерее и восхищаясь им, полагали сначала, что хозяйки не отдадут ему должного и не понимают его. Но однажды, когда он уехал рано, они сказали, что впервые обнаружили, "какой это замечательный человек", и он стал постоянным и желаннейшим гостем в их доме. Они с восторгом читали его произведения и всякий раз, рассылая приглашения на очередной прекрасный обед, говорили: "Нет, Теккерей непременно должен прийти!" На таком обеде мисс Берри удивила нас всех, объявив, что недавно кто-то одолжил ей романы Джейн Остен, которую она прежде никогда не читала, но она не в силах их одолеть... "Теккерей и Бальзак, - добавила она (в присутствии Теккерее) тоже пишут очень подробно, но блистательным пером!" Теккерей в знак благодарности отвесил два поклона (один, земной, за Бальзака).

Любовь Теккерее к детям была особенно сильной. Небольшое стихотворение "Золотое перо", опубликованное в "Мелочах", рисует, пожалуй, самый верный из всех его портретов,

Но, слава богу, как на сердце ни черно,
От смеха детского светлеет вмиг оно,
И, значит, чистоту ему любить дано.

Эта любовь к детям доказывается не только его безграничной нежностью к своим чрезвычайно одаренным дочерям, но распространялась и на "детей улицы", как тогда называли нынешних аккуратных учениц начальных комитетских школ. Он часто посещал школу, которую устроила моя дорогая сестра, чтобы кормить, учить и одевать почти триста таких беспризорных детей и с помощью других добрых душ готовить их для жизненных битв, сулящих немало крестов, но только не Виктории. Как-то он вошел в обширный, но убогий зал для занятий, как раз тогда, когда маленькие оборвыши с большой искренностью, хотя и не слишком в лад, запели духовный гимн. Он обернулся к даме, занимавшейся с ними, и сказал: "Нет, я не выдержу, у меня совсем затуманились очки".

Несколько лет спустя я как-то занималась подсчетом месячных расходов той же самой школы, и на столе лежала открытой вся исчерканная счетная книга благотворительной кухни. Я вышла на несколько минут, а вернувшись, застала в комнате мистера Теккерее. Когда мы попрощались, я вновь взялась за счета и обнаружила на первой странице прелестный рисунок пером, изображавший

ребятишек, которые протягивали всевозможные кружки и мисочки учительнице, зачерпывавшей суп из котла. Сверху было написано: "Пустите детей и не препятствуйте им".

В другой раз под списком фамилий друзей школы, которые внесли пожертвования на загородную поездку для ее учеников, я нашла соверен. "Заходил мистер Теккерей?" - спросила я у лакея, и он ответил утвердительно. Но я и так знала, что не ошиблась, что это его рука подложила монету под список. Его доброта была очень деятельной в самом широком смысле слова. Известно, что он отыскивал в каком-нибудь глухом углу злополучного художника или драматурга, который в дни успеха не вспоминал о неизбежной ночи старости - "когда уже трудиться не дано". Теккерей взбирался по крутым ступенькам в унылую мансарду, слегка пенял за легкомыслие, помешавшее отложить на черный день частицу золота, легко достававшегося в молодости и зрелые годы, совал в старый бювар банкноту - например, стофунтовую, и быстро уходил.

"Я и не заметил, как он это проделал, - сказал несчастный старик. Меня страшно рассердило, что он назвал меня бездумным простофилей... И вдруг у меня из записной книжки выпадает бумажка в сто фунтов! Да благословит его бог!"

Эти добрые дела остались бы никому не известными, если бы не благодарность тех, кто, правда, выслушивал мягкие упреки, но зато получал более чем щедрую помощь. Я знаю, что его обвиняли в крайней обидчивости, когда он сам или его произведения подвергались неблагоприятной критике, однако следующий анекдот доказывает, что он умел с большим великодушием и изяществом извинять даже неоправданную грубость. Случилось это на званом обеде у моей сестры. Теккерей, в те дни постоянный посетитель в ее доме, пожелал, чтобы о нем доложили под фамилией знаменитого преступника, имя которого в те дни гремело. Наш дворецкий с невозмутимой серьезностью так и сделал.

Надо сказать, что Теккерей немного опоздал, и мы сели за стол, не дожидаясь его. Среди гостей был мистер Х., автор нескольких прелестных книг.

Беседа велась литературная и вскоре коснулась Теккерей, находившегося тогда в зените своей славы. Присутствовавшие там его большие друзья и поклонники говорили о нем с восхищением. Мистер

Х. составил исключение и решительным образом не согласился с нашим мнением о характере Теккерей. Судя, сказал он, "по тону его книг, просто невозможно поверить, что человек, который способен вот так описывать слабости, глупости и недостатки своих ближних, может относиться к людям с добротой и сердечным сочувствием". Свой суровый приговор он заключил категорическим утверждением, что незнаком с Теккереем и знакомиться с ним не желает.

Мы все так увлеклись этим яростным спором, что не расслышали разбойничью фамилию и не заметили, как Теккерей занял свое место за столом в самый разгар пререканий, которые он и выслушал, вкупе с беспощадными обличениями. Коснувшись плеча мистера Х., Теккерей произнес своим приятным низким голосом: "Я же, напротив, давно мечтал о случае лично выразить мистеру Х. то восхищение, которое он внушает мне как автор и как человек". Приятно вспомнить, что после этого они стали большими друзьями.

Боюсь, мое перо становится болтливым, но так трудно удержаться, когда на память приходят новые и новые доказательства его доброты и щедрости. И все же я чувствую, что мне никак не удастся воздать должное всем благородным и милым качествам его души. Его остроумие, добродушие и шутливость обретали полноту там, где он чувствовал себя особенно легко и непринужденно - в обществе любимых дочерей или у Брукфилдов, самых близких, дорогих и ценимых из друзей, обретенных уже не в первой молодости. Могу также с гордостью сказать, что он знал, с каким восхищением относятся к нему все обитатели дома моей сестры, где его сердечное участие ко всем нашим бедам и радостям находило столь же сердечную благодарность. А когда он скончался и его голос уже больше не звучал в этих стенах, на дом легла черная тень.

ДЖОН ДЖОНС МЕРРИМЕН ИЗ СТАТЬИ "КЕНСИНГТОНСКИЕ СВЕТОЧИ"

Меня попросили написать о Теккерее в Кенсингтоне. Сверившись со своими заметками, я обнаружил, что многие мои воспоминания носят слишком личный характер, чтобы их можно было опубликовать, однако есть среди них немало примеров его сердечной доброты, разнообразия его талантов, врожденного отвращения к снобизму и превосходных качеств характера, находивших воплощение в его верности дружбе. С 1847 года по 1853 год Теккерей жил в доме номер

13 (теперь - 16) на Янг-стрит у Кенсингтон-сквер, где я и познакомился с ним и его дочерьми в 1848 году. Его высокая внушительная фигура, прямая осанка и величавая походка были хорошо известны обитателям Хай-стрит, а также тем, кто посещал воскресную службу в старинной приходской церкви в половине десятого утра. Его крупное открытое лицо, серьезное, почти суровое, озарялось при встрече с друзьями радостной улыбкой, а рука, вложенная в вашу, заставляла вас почувствовать себя очень маленьким, и не только в прямом смысле этого слова. Помню, мы как-то встретились перед домом Лича и пошли дальше под руку. Напротив дворцовых ворот мимо нас проехала великолепная карета, полная людей. (К счастью, я не запомнил сколько шариков украшало коронку на дверце.) Они его не заметили, и пальцы, сдавившие мой локоть, сказали мне, что тут что-то не так. "Поняли? Нынче вечером они рады были бы меня увидеть, но не увидят!" Оказалось, что Теккерею предстояло встретиться с этой компанией в каком-то аристократическом доме, и я про себя подумал, как хорошо, что я - это я и не принадлежу к им подобным, раз они раскланиваются с ним, только когда им это удобно. За много лет до этого он написал: "У меня нюх на снобов" и "Вороны в павлиньих перьях - вот что такое снобы нашего мира". В другой раз, когда мы с ним гуляли по городу, я нечаянно сказал очень скверный каламбур и сразу же извинился. "Так хороших же и слушать не стоит", - ласково ответил он.

В 1848 году, когда он опасно болел с сентября по ноябрь, мне довелось лечить его вместе с доктором Элиотсоном, одним из лучших лондонских врачей в те годы, и он никогда про это не забывал, всегда оставаясь "вашим благодарным другом и пациентом", даже много лет спустя после того, как уехал из дома на Янг-стрит...

Пока строился его дом на Пэлас-Грин, я часто встречал его и мы болтали о плане дома, возвращении в старый Кенсингтон, капиталовложениях и тому подобном. Когда же в 1862 году он туда переехал, наши старшие дети были приглашены на новоселье. Как большинство великих людей, он питал большую любовь к детям. Вот что, например, написал он о своих дочерях:

С зарею птицы вострепнулись,
Дочурки милые проснулись,
Светло, я знаю, улыбнулись

И помолились за меня.

И этот человек - циник? Да никогда! Он умел быть и был сатириком, но его сатира делала общество чище, ибо исходила она от на редкость благородного и добросердечного человека.

Последний раз я слышал его публичное выступление 1 декабря 1862 года в Кенсингтоне, когда архидиакон Синклер в разгар "хлопкового голода" созвал там митинг - для сбора средств в пользу "Ланкаширского фонда". В "Былых временах и далеких местах" (стр. 270) архидиакон очень интересно рассказывает о своей встрече с великим романистом, который покинул одр болезни, чтобы присутствовать на митинге, видя в этом свой долг. Вестри-Холл был переполнен. Когда У.-М. Теккерей йстал, чтобы поддержать резолюцию, предложенную мистером Хейвудом, "раздались оглушительные аплодисменты. Едва вновь воцарилась тишина, он с полным самообладанием произнес несколько очень выразительных, тщательно обдуманых и весомых фраз". Никогда не забуду, какой эффект произвели эти его "несколько замечаний". Подписной лист собрал 627 фунтов, и 50 из них внес сам Теккерей.

Редкой была и обязательность, неотъемлемая от его дружбы. В четверг 17 декабря 1863 года Теккерей и его старшая дочь обедали у нас в доме Э 45 на Кенсингтон-сквер. Едва он вошел, я понял, что ему нездоровится, но с обычной своей мягкой любезностью он сказал:

- Выманить меня из дома могло только приглашение такого старинного друга, как вы. Помнится, я ответил:

- Ну, вас, как и всякого англичанина, обед непременно вылечит. Вы знакомы с Джин Ингелюу?

- Нет, но в Лондоне не найдется дамы, знакомство с которой я счел бы большей честью, - ответил он.

- А с урожденной мисс Крокер вы знакомы?

- Нет. Неужели она здесь?

Они обе были среди приглашенных, и я с величайшим удовольствием представил им его. От таких приятных неожиданностей он вскоре ожил, еще прежде, чем мы направились в столовую, вступил в оживленную беседу с сэром Джорджем Бэрроу, также некогда учившемся в Чартерхаусе, и все прошло как нельзя лучше. Он был на редкость остроумен... Мои заметки завершаются следующим образом: "Мой друг засиделся допоздна - его дочь уехала на какой-то званый

вечер, и я пошел проводить его по Янг-стрит. Около дома Э 13 мы остановились, и он упомянул былые времена и счастливые дни, прожитые там. Он сказал мне, что "Ярмарка тщеславия" - его лучшее произведение, а "Стул с плетеным сидением" - его самая любимая баллада, и мы расстались на дальнем углу "нашей улицы", чтобы уже никогда в этом мире не встречаться. Ровно через неделю 24 декабря меня около восьми утра вызвали в Пэлас-Грин, и я увидел его в постели - мертвым! Жизнь угасла уже несколько часов назад, его могучий, огромный мозг (весивший 58,5 унций) не выдержал кровоизлияния, и глубокой ночью он удалился в лучший мир, где нет ночи".

ФРЭНСИС СЕНТ-ДЖОН ТЕККЕРЕЙ ВОСПОМИНАНИЯ О ТЕККЕРЕЕ

Я инстинктивно чувствовал, что он далеко превосходит всех, кого я знал. И вспоминая прошлое через сорок лет, я чувствую, что не ошибался, что его ум и душа были особенными, более высокими и широкими, более щедрыми, с меньшей примесью мелочности или притворства, чем у кого-либо из тех, с кем меня потом сводила судьба. В этом отношении я сравнил бы его с Теннисоном. Его прекрасная величавая фигура, ясная добродушная улыбка, сочные остроумные замечания, искренняя приветливость обладали редкой обаятельностью. В нем не было ни следа холодной сдержанности или важности, а мальчики быстро замечают, если взрослые смотрят на них как на досадную доуку... Когда я навещал его в те дни или просто виделся с ним, не помню случая, чтобы, прощаясь, он не сунул мне в руку соверена. Однажды, после того как в омнибусе у меня обчистили карманы, он высыпал мне на ладони все содержимое своего кошелька. Точной суммы я за давностью не помню, но она значительно превышала ту, которой я лишился. А ведь он тогда лежал больной в постели. И какими восхитительными были эти мои визиты к нему! Он, не жалея сил и времени, водил меня в театр и в цирк, причем часто после превосходного обеда в "Гаррик-клубе", где, помнится, как-то раз оборвал человека, который собирался выругаться, - по его мнению, подобное в присутствии мальчика было недопустимо...

На представлении фокусника, в картинной галерее или в других местах такого же скопления публики он, по-моему, всегда изучал лица и нравы. Тем не менее он, несомненно, подвергал себя многим

неудобствам, чтобы порадовать мальчика, а я лишь впоследствии понял, что он жертвовал мне свое драгоценное время, тогда же, боюсь, Ценил это далеко не достаточно. Однажды он отвез меня в театр, усадил на отличное место и простился со мной, сказав: "А теперь я должен оставить тебя и уйти, чтобы заработать пять фунтов".

Мы виделись с ним в день открытия Выставки 1851 года, которой он посвятил свою прекрасную "Оду майскому дню". Он только что вернулся, полный впечатлений, и выглядел необыкновенно счастливым и сияющим.

После этого я в течение нескольких лет виделся с Теккереем значительно реже, поглощенный учебными занятиями, а затем своими обязанностями учителя в Итоне, но в 1859 году получил от него письмо с сердечными поздравлениями по поводу моей помолвки. Вот случай, рисующий душевную - и не только душевную щедрость Теккереев.

Однажды я прогуливался со своей невестой по лондонским улицам, и мы остановились перед витриной Лэмберта, известного ювелира. Внезапно нас окликнул Теккерей и тут же повел внутрь магазина, где купил в подарок моей нареченной красивую золотую брошь.

Помню, как он сказал мне, когда завершил какую-то из своих книг: "Что ж, мой урожай не так уж плох".

ЭЛИЗАБЕТ БАРРЕТ-БРАУНИНГ И РОБЕРТ БРАУНИНГ
ИЗ ПИСЕМ

Элизабет Баррет-Браунинг

Мэри Рассел-Митфорд 30 апреля 1849 года

Мы только что закончили "Ярмарку тщеславия". Очень умно, оставляет сильное впечатление, но жестоко по отношению к природе человека. Болезненная книга, но боль ее не очищает и не возвышает. Суждения его пристрастны и оттого, в конце концов, не здравы. Однако я никак не ожидала, что у Теккереев достанет силы ума на такую книгу. И эта сила огромна.

Элизабет Баррет-Браунинг

сестре 20 декабря 1853 года

Был Теккерей. Жаловался на скуку - скука лишает его работоспособности. Он не может "сесть за работу без хорошего обеда дома накануне и двух выездов в гости за вечер". И на такой почве

вырастают "Ярмарки тщеславия"! Он довольно занятный Человек-Гора и очень любезен с нами, но я никогда с ним не полажу - он чужд мне по духу.

Элизабет Баррет-Браунинг
сестре 9 мая 1854 года

Мистер Теккерей завоевал мое сердце своим добрым отношением к Пенини, а что касается его дочек, я, кажется, готова полюбить их: они искренни, умны и привязчивы - три замечательные качества. Я буду рада повидать их в Лондоне снова этим летом.

Роберт Браунинг
Изабелле Блэгден ок. 1855 года

Его недостатки были достаточно заметны, но и сквозь них просвечивала доброта. Я поражен, я сам не знал, пожалуй, что был так сильно к нему привязан все эти годы... Мне говорили, что в гробу он выглядел величественно. Теперь, когда все мелочное отлетит, он несомненно станет великим. Верю и надеюсь, что так и будет.

ШАРЛОТТА БРОНТЕ
ИЗ ПИСЕМ

У.-С. Уильямсу 29 марта 1848 года

Чем больше я читаю его книги, тем крепче становится моя уверенность, что он писатель особенный, особенный в своей проницательности, особенный в своей правдивости, особенный в своих чувствах (по поводу которых он не подымает шума, хотя это едва ли не самые искренние и непритворные чувства из всех, какие только находили себе пристанище на печатных страницах), особенный в своем могуществе, в своей простоте и сдержанности. Теккерей Титан, и сила его так велика, что он может себе позволить хладнокровно совершать труднейшие из подвигов Геракла: от самых героических его деяний исходит обаяние и мощь спокойствия, он ничего не позаимствовал у лихорадочной поспешности, в его энергии нет ничего горячего, это здоровая энергия, неторопливая и размеренная. Яснее всего о том свидетельствует последний выпуск "Ярмарки тщеславия". Это книга мощная, волнующая в своей мощи и бесконечно впечатляющая; она вас увлекает, как поток, глубокий, полноводный и неодолимый, хотя она всегда равно спокойна, словно размышление, словно воспоминание, некоторые ее части мне кажутся торжественными, точно прорицание. Теккерей не поддается никогда

своим страстям, он держит их в повиновении. Его гениальный дар покорен его воле, как слуга, которому не дозволяется, поддавшись буйному порыву, бросаться в фантастические крайности, он должен добиваться цели, поставленной ему и чувством, и рассудком. Теккерей неповторим. Большого я не могу сказать, меньше сказать не желаю.

У.-С. Уильямсу 14 августа 1848 года

Я уже говорила вам, что смотрю на мистера Теккерей как на первого среди современных мастеров пера, как на полноправного верховного жреца истины, и, соответственно, читаю его с благоговением. Он, как я вижу, прячет под водой свой русалочий хвост, лишь вскользь упоминая останки мертвецов и мерзостного ила, среди которых ему приходится лавировать, однако эти намеки красноречивее пространных описаний иных авторов, и никогда его сатира не бывает так отточена и так подобна лезвию ножа, как тогда, когда со сдержанной насмешкой и иронией он скромно предлагает публике полюбоваться собственной примерной осмотрительностью и терпимостью. Мир начинает лучше узнавать Теккерей, чем знал его год-два назад, но все же знает он его не до конца. Его рассудок соткан из простого, незатейливого материала, одновременно прочного и основательного, без всякой показной красоты, которая могла бы приманить и приковать к себе поверхностного наблюдателя; великое отличие его как подлинного гения состоит в том, что оценить его по-настоящему удастся лишь со временем. В последней части "Ярмарки тщеславия" пред нами предстает нечто "доныне не распознанное", нечто такое, чего не одолеть догадке одного лишь поколения. Живи он веком позже, он получил бы то, чего заслуживает, и был бы более знаменит, чем ныне. Сто лет спустя какой-нибудь серьезный критик заметит, как в бездонном омуте блеснет бесценная жемчужина поистине оригинального ума, какого нет у Бульвера и прочих современников, не лоск благоприобретенных знаний, не навыки, развитые учением, а то, что вместе с ним явилось в мир, - его природный гений, неповторимое отличие его от остальных, - вроде неповторимости ребенка, принесшее ему, возможно, редкостные горести и тяготы, но превратившее его сегодня в писателя единственного в своем роде. Простите, что снова возвращаюсь к этой теме, я не хочу вам больше докучать.

У.-С. Уильямсу 14 декабря 1849 года

Вчера я видела мистера Теккеря. Он был здесь на обеде среди других гостей. Это высокий человек, шести с лишним футов росту, с лицом своеобразным и некрасивым, пожалуй, даже очень некрасивым, хранящим большей частью какое-то суровое, насмешливое, хотя порой и доброе выражение. Ему не сказали, кто я, мне его не представили, но вскоре я заметила, что он глядит на меня через очки; когда все встали, чтобы идти к столу, он неторопливо шагнул мне навстречу со словами: "Пожмем друг другу руки", и мы обменялись рукопожатием. Он очень мало говорил со мной, но, уходя, вновь протянул руку с очень доброй улыбкой. Думается, лучше иметь его в числе друзей, а не врагов, - мне видится в нем что-то грозное. Все, что он говорил, было просто, хотя подчас цинично, резко и противоречиво.

У.-С. Уильямсу 14 февраля 1850 года

Мистер Теккерей держится очень просто, однако все взирают на него с каким-то трепетом и даже с недоверием. Речи его весьма своеобразны, они так аморальны, что не могут нравиться.

У.-С. Уильямсу 12 июня 1850 года

Я разговаривала с мистером Теккереем. Он пришел с утренним визитом и просидел со мною больше двух часов, в комнате все это время кроме нас был только мистер Смит. Потом он рассказывал, как это странно выглядело; должно быть, это и в самом деле было странно. Великан сел против меня и заставил перечислять его недостатки (разумеется, литературные), они по очереди приходили мне на ум, и я по очереди облекала их в слова и подбирала объяснение или оправдание. Он и сам защищался, как некий исполинский турок или язычник, и, надо признаться, извинения были порою хуже прегрешений. Все кончилось довольно дружелюбно, и если все будут здоровы, сегодня вечером мне предстоит обедать у него.

Джеймсу Тейлору 1 января 1851 года

Все, что вы говорите о мистере Теккерее, необычайно точно и очень характерно для него. Он вызывает у меня печаль и гнев одновременно. Почему он ведет такой рассеянный образ жизни? Зачем его насмешливый язык так изощренно отрицает его лучшие душевные порывы и лучшие стороны натуры?

Джеймсу Тейлору 2 июня 1851 года

Мы с ним долго говорили, и, думается, он знает меня теперь немного лучше, чем прежде, хотя я в том и не уверена: он человек

великий и странный.

Джеймсу Тейлору июнь 1851 года

Мистер Теккерей в восторге от успеха своих лекций, они, должно быть, немало споспешествовали его славе и достатку. Но он отложил свою очередную лекцию до следующего четверга, уступив просьбам графинь и маркиз, которые по долгу службы должны сопровождать Ее величество на Аскотские скачки как раз в тот день, когда было назначено читать ее. Я не стала скрывать от него, что, на мой взгляд, он поступает дурно, откладывая лекцию из-за дам, я и сейчас так думаю.

Джорджу Смиту 11 июня 1851 года

Я видела Рашель, ее игра была совсем иного свойства, чем все, что мне случалось видеть прежде, в ее игре была душа (и что за странная душа!), не стану входить сейчас в подробности, надеюсь вновь увидеть ее на сцене. Она и Теккерей - единственные существа, которые притягивают меня в огромном Лондоне, но он запродавал себя светским дамам, а она, боюсь, самому Вельзевулу.

РИЧАРД БЕДИНГФИЛД
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Помню, однажды я спросил Теккерей, что он писал в юности. "Разумеется, стихи, - ответил он, - и чертовски скверные, но в то время я был о них иного мнения". Действительно, в натуре Теккерей было что-то от поэта, что-то близкое Гуду, но искушенный светский человек, проницательный, остроумный, здравомыслящий и саркастический, не слишком склонен воспарять на крыльях "воображения и божественного дара", и, по-моему, Теккерей не устремлял свой взор ни в какие иные сферы, кроме реальной, земной жизни - только она занимала его воображение, из нее черпал он свое вдохновение.

Теккерей говорил мне, что читает много книг по истории, и советовал всем писателям стараться лучше узнать прошлое. "Читайте как можно больше книг по истории", - сказал он мне, когда мы вместе выходили из читального зала Британского музея... Мне кажется, к концу жизни он читал мало, поскольку как-то заметил в разговоре с нашим общим родственником, что, по его мнению, книги в своем большинстве - "ненужный хлам", за исключением энциклопедий и справочников...

В зрелые годы Теккерей, попав в большое общество, часто казался хмурым и замкнутым. После того, как к нему пришел успех, он утратил свойственную ему в юности веселость, неунывающую бодрость и вкус к жизни. За свою славу он дорого заплатил. По его собственному признанию, он так отчаянно стремился к ней, что подорвал здоровье, истощил ум и силы, и достигнутое благополучие уже не радовало его. Но от природы Теккерей был человеком мужественным и стойким и всегда старался подавлять приступы хандры. Однажды я застал его в крайне подавленном состоянии духа, и он признался, что не может написать ни строчки; он со страхом думал, что его дар начинает изменять ему...

В юные годы я тоже пытался сочинять, и как-то раз мой родственник Теккерей пригласил меня пообедать с ним в "Розовом коттедже" в Ричмонде, и разговор у нас зашел о стиле в литературе. Как и большинство юнцов, вступавших на поприще изящной словесности, я отдавал предпочтение цветистому, выпендренному стилю и не ценил, как ценю теперь, благородную англосаксонскую простоту слога. "Чем стиль проще и естественней, тем лучше", - заметил мой хозяин. Я возразил, что невозможно представить величайшие произведения искусства, самые совершенные образцы поэзии, написанные "так незатейливо, как писал, например, Голдсмит".

- Диккенс пытался передать мне свое восхищение поэзией Теннисона, сказал Теккерей, - но все возвышенное, идеальное не трогает меня. Держись от него подальше! Англичанам больше по душе ростбиф!..

Гений Теккерей был поистине из плоти и крови. Среди многих писателей ему менее всего свойственно буйство фантазии. По словам одного епископа, тонкого знатока литературы, у Теккерей "было все, кроме фантазии". Однако воображение у него несомненно было. Ему доставляли удовольствие красивые вещи, изящные и причудливые. Теккерей преклонялся перед Шекспиром, однако считал, что "он не всегда писал с естественной простотой".

Могучие страсти, которые так захватывают публику, вызывали у Теккерей весьма скептическое отношение. Все из ряда вон выходящее, страшное, мучительное отталкивало его. Когда я спросил, почему на одной известной иллюстрации он изобразил Бекки в образе

Клитемнестры, он ответил: "Я хотел сказать, что она совершила убийство, но я не имел в виду ничего ужасного".

Мать Теккерей, урожденная мисс Бичер, доводилась внучкой моей прабабушке, и была редкой красавицей: высокого роста, полной изящества и с весьма язвительным умом... Теккерей безгранично восхищался красотой матери. Мало кто так проникновенно чувствовал женскую красоту, как Теккерей. Я подозреваю, что в женщинах его гораздо более привлекала прекрасная наружность, нежели блеск ума. Умные женщины как таковые никогда не волновали его воображение, он отдавал предпочтение гармоничному сочетанию красоты и живой одухотворенности черт. Теккерей терпеть не мог "величественных красавиц", хотя в его матери чувствовалась властная натура. В устах Теккерей слова "Она сама естественность" были высшим комплиментом женщине. Так он отозвался о мисс Бичер, нашей родственнице, ныне супруге епископа Глостерского и Бристольского. Теккерей неизменно поклонялся природе, о чем бы он ни судил - о книгах, мужчинах, женщинах.

- Что это за удивительная актриса, миссис Стирлинг, от которой Уильям без ума? - спросила меня мать Теккерей. Необычайно искренняя игра этой замечательной актрисы произвела огромное впечатление на Теккерей. Никакие, даже самые выдающиеся образцы возвышенного искусства не доставляли ему такого наслаждения, какое испытывал он, глядя на картины Уилки или Хогарта или перечитывая Филдинга, Голдсмита и других. В беседе со мной он восхищался романами Купера из цикла о Кожаном Чулке. Перевернув последнюю страницу "Трех мушкетеров", Теккерей, по его словам, готов был начать роман с начала. Зато все вычурное почти неизменно подвергалось им беспощадному осмеянию.

В любом писателе, даже самом талантливом, он сразу же подмечал смешное и ходульное. Если ему встречалась какая-нибудь "знаменитость" с опущенным воротничком (ныне это общий стиль), усами и бородой (теперь их носит добрая половина человечества), он сразу же терял к ней уважение. Теккерей не терпел ничего броского - ни в поведении, ни в манере одеваться, ни в литературном стиле.

Многие англичане превыше всего ценят здравый смысл. Теккерей был истинным британцем - и ему нравилось чувствовать себя британцем до мозга костей, нравилась отвага и упорство,

свойственные нашей нации. В школе "он всегда ввязывался во все драки".

Гордость была не чужда Теккерее, но он никогда не смотрел свысока на тех, кто на общественной лестнице стоял ниже него.

"Я всегда обращаюсь к нему в письмах "Дорогой Джон", - рассказывал он, говоря о преданном старом слуге в доме его матери. Только на высокомерие мог он ответить надменностью...

Теккерее трудно было повергнуть в отчаяние, и голова его, если верить френологам, должна была иметь и шишку надежды. Как известно, у Теккерее было необычайно большая голова. Он отличался редкостной способностью поглощать вино в таком количестве, какое большинство людей не в состоянии употребить без пагубных для себя последствий. Я знаю с его слов, как пришлось ему оказывать помощь одному приятелю, который пришел его навестить и которому стало худо от чрезмерных возлияний, в то время как сам Теккереей был совершенно трезв.

У Теккерее была привычка писать лежа в постели - он рассказывал мне об этом - и откладывать работу до самого последнего срока; ему казалось, что лучше всего пишется, когда приходится работать второпях. Я спросил его, почему он дал своему роману такое название: "Пенденнис". "Не знаю, - ответил Теккереей. - Наверное, было бы лучше назвать его "Смит", но мне это не пришло в голову". И добавил, что не относит это произведение к числу своих удач...

Джерролд, о котором Теккереей сказал: "Он самый остроумный человек из всех, кого я знаю", не мог сравниться с ним в знании нравов и обычаев общества, не обладал он и свойственным Теккерее блистательным юмором и удивительной проницательностью. Теккереей проявил себя тонким критиком и притом чуждым всякой злобы. Его суждения отличали безупречный вкус и деликатность. Однажды мы заговорили о том, насколько уместны в литературном произведении описания сильных чувств, и Теккереей сказал, что, по его мнению, такие чувства необходимы, только все хорошо в меру...

Когда я вскользь сказал ему, что слушал лекцию Томаса Купера о Христе, Теккереей воскликнул: "А, Купер-чартист! По-моему, он делает из Христа реформатора! Просто диву даешься!"

В его мировоззрении, пожалуй, преобладал своего рода благочестивый скептицизм. Возможно, сомнение и вера были равно

близки ему. Его независимый ум и благоговение перед творцом так и не достигли гармоничного слияния, как это произошло у Браунинга. Напрасно было бы искать в произведениях Теккерея какие-либо ссылки на религиозные догмы. Нам мало что известно о его взглядах на религию, но во всяком случае по его книгам мы можем судить о них не больше, чем о религиозных воззрениях Шекспира по пьесам великого драматурга. Подобная сдержанность вряд ли объяснима одним лишь здравым смыслом, иначе как тогда следует понимать его слова, сказанные мне: "По-моему, скептицизм это от смиренномудрия"? Я пересказал Теккерею проповедь Роберта Монтгомери о грехопадении Адама, и когда я повторил его слова: "Каприз ребенка - вот пример первородного греха", Теккерей спросил: "Он так и сказал? Черт возьми! Вот бестия! Выходит, он совсем не глуп!.."

После лекции Эмерсона я поделился своими впечатлениями с Теккереем, и он сказал, что его приглашали встретиться с Эмерсоном, но он предпочел уклониться от встречи, поскольку не испытывал особенно горячего желания познакомиться с этим философом.

Теккерей совершенно не понимал трансцендентализма, но восхищался Томасом Карлейлем. С большим уважением отзывался он о "великом старце Гете". Однажды в разговоре о поэзии Теккерей заметил: "Да, Мильтон великий поэт, но он так адски скучен, что его невозможно читать!" Он был убежден, что поэта можно оценить по достоинству (если он того заслуживает) лишь лет через двадцать после его смерти, однако согласился, что "Вордсворта признали раньше". Теккерей любил лирическую поэзию и похвалил одно мое небольшое стихотворение.

Мать Теккерея рассказывала моей матери, что, когда ее сын собирался стать художником, он часами лежал, воображая, какие картины нарисует, и сетовал, что может легко придумать картину, но не может воплотить свой замысел. Ему с большей легкостью удавалось достичь пластической выразительности, совершенства и законченности в слове, чем на полотне. Но когда перо переставало слушаться его, он рисовал иллюстрации к своим книгам. "Тем самым я даю приятный отдых уму, - говорил он. - Их я могу рисовать без конца".

Никто не замечал блестящих художественных достоинств сочинений Теккерей, когда он был всего лишь сотрудником журнала. Сам он не слишком высоко ценил некоторые свои ранние произведения, но тем не менее в них столько свежести, искренности и выразительности, что они еще долго будут доставлять наслаждение. Я как-то признался ему, что "Записки Желтоплюша" нравятся мне меньше других его сочинений, и услышал в ответ: "Ужасная чепуха, но мне за нее хорошо заплатили. Приходится думать, как заработать на хлеб насущный". По его словам, в те времена "Панч" платил щедро", и "Толстый обозреватель" был весьма полезен нашему остроумному сатирику и балаганщику, но Теккерей не собирался навсегда оставаться сотрудником "Панча". Он рассказывал мне, как "мечтал в один прекрасный день встать рядом с "писателями-классиками". И ему это удалось. Вряд ли есть другой такой писатель, как Теккерей, которого можно было бы с полным правом назвать "классиком".

Однажды, заглянув к нему на Янг-стрит, в Кенсингтоне, я увидел на каминной полке бюст Георга IV. Я не смог скрыть удивления, а Теккерей, смеясь, объяснил: "Позавчера я заметил этот бюст в доме одного своего приятеля и воскликнул: "Как! Ты держишь у себя этого сноба?" На следующее утро бюст оказался у меня. Приятель отослал мне его домой". Теккерей рассказал мне, что Георг IV совершенно не умел писать по-английски. Он видел письма монарха, пестрящие грамматическими ошибками, с ужасной орфографией и отвратительным французским. "Первый джентльмен Европы" вызывал у Теккерей глубочайшее презрение. По-моему, он вообще без всякого почтения относился к монархам, равно как к хорошим, так и дурным. Однако я берусь утверждать, что Теккерей вовсе не был страстным демократом. На самом деле он не был свободен от аристократических предрассудков. Его мать восхищалась Фергусом О'Коннором, но, я думаю, он не разделял ее чувств. Когда на выборах в Оксфорде Теккерей потерпел поражение, уступив мистеру Кардуэллу, с каким благородством и великодушием отзывался он о своем противнике! Когда я сказал, что у меня не вызывает симпатий Дэниел О'Коннел, Теккерей возразил: "Возможно, он и мошенник, но великий деятель. Мы обязаны ему признанием прав католиков". О Дизраэли (человеке совершенно противоположных политических убеждений) он сказал: "Мне думается, он наделен незаурядными талантами". Если бы

Теккерей стал сенатором и дожил до наших дней, он несомненно был бы сторонником выдающегося министра мистера Гладстона...

- Мне очень понравился ваш кузен, мистер Теккерей, - сказала мне автор "Джона Галифакса". - Его привела ко мне миссис Проктер. Я представляла его совсем другим.

О самой миссис Мьюлок Теккерей сказал мне совершенно серьезно: "По-моему, она пишет премило". Это было в его устах похвалой. Я не знаю, высоко ли ценил он в женщинах ум, но свято верил, что муж должен быть умнее жены. Я напомнил ему о наших родственниках, одной супружеской чете, где жена была значительно умнее мужа, и несмотря на это, они жили вполне счастливо. "Не знаю, как это у них получилось, - ответил Теккерей. - Ну, думаю, именно из-за этого старый джентльмен не прочь был пошалить!" Мы заговорили о капитане Н. и его жене, о том, что в их доме не всегда царит мир. "Что ж, продолжал Теккерей, - мужу не следует быть домоседом. Это чревато семейными ссорами".

Моя знакомая, долго жившая с Теккереем под одной крышей, уверяла меня, что "нрав у Уильяма был просто ангельский". Она же рассказывала мне, что безденежье, похоже, вовсе не удручало его в молодые годы. В Париже он, случалось, заходил к ней и просил: "Полли, не одолжишь ли ты мне франк? Мне хочется купить сигар". То была богемная пора его жизни, пожалуй, самая счастливая.

Незадолго до выхода первых выпусков "Ярмарки тщеславия" я спросил Теккерей, будет ли "смешной" его новая книга, и он ответил: "В ней много комического". Он не любил пустого зубоскальства, бессмысленной легковесности фарса.

Теккерей нередко можно было встретить в читальном зале Британского музея, где я бывал, следуя его советам, и где он сам провел немало часов в прилежных занятиях. Мне кажется, он не был особенно широко начитан, но о многом судил с глубоким знанием предмета...

Теккерей нередко шел наперекор общепринятому мнению. Помню, как-то раз он стал оправдывать многоженство: "По-моему, в полигамии есть свои хорошие стороны". Но в таком случае, возразил я, и женщинам следует по справедливости предоставить такие же права, однако с этим Теккерей никак не хотел согласиться.

При том, что долгое время Теккерей вел жизнь завсегдатая клуба и лондонских гостиных, он, как ни странно, не был светским человеком в полном смысле слова. Он не вставал в позу циника, не изливал на собеседника пропитанных ядом сентенций, а в своих сочинениях не высказывал мрачного презрения к жизни, дарованной нам свыше. "Никогда не падать духом!" - в этом девизе, по сути дела, выразилось его оптимистическое отношение к жизни. Однажды Теккерей сказал, что судьба сыграла с ним злую шутку, он стал вдовцом при живой жене. "Но что бы я делал, - продолжал он, - будь я обременен многочисленным семейством? Так что все к лучшему".

Теккерей испытывал глубочайшее отвращение к Джеку Кетчу с его "кровавым ремеслом", ему были ненавистны любые проявления злобы и жестокости. Он не считал, что над миром тяготеет какое бы то ни было "проклятье", и горячо выступал против телесных наказаний в армии. Он не переносил развязных наглецов всех мастей и не отказывался пожать руку многим париям, отринутым обществом, как женщинам, так и мужчинам. Однажды он сказал мне, что, на его взгляд, особы известного сорта, о которых принято упоминать лишь намеками, хотя одну из них простил высший судья много веков назад, "вовсе не дурные женщины"...

Непоседливый дух вечно побуждал нашего романиста к поиску свежих впечатлений, к путешествиям и новым знакомствам. До меня доходили слухи, что он исчезал на день или два, а некоторое время спустя уже с континента извещал семью в Лондоне, что направляется в Рим. Он объявлялся в самых неожиданных местах и в самое неожиданное время.

Как разительно изменился его облик незадолго до смерти! Однажды я сказал ему:

- Мне кажется, Вы сильно располнели.
- Да, пожалуй, - последовал ответ.
- Вы знаете свой вес?
- Знаю, но не скажу. Я рассмеялся:
- Наверное, стоунов шестнадцать?
- Ничего подобного. Но если уж об этом зашла речь, скажу: всего лишь пятнадцать, - весело парировал он.

Но к пятидесяти годам Теккерей снова похудел; он утратил вкус к хорошей кухне и уже не баловал себя изысканными блюдами.

На мой вопрос, сильный ли он, Теккерей ответил:

- Нет, но я мог быть сильным, если бы давал работу мышцам.

Очевидно, Теккерей лелеял честолюбивую мечту войти в число наших законодателей. Как-то раз, говоря о парламентской деятельности, он признался мне, что ему очень хотелось стать членом парламента. "Весь ужас в том, что я не мастер держать речи. Вчера меня попросили выступить на обеде. Начал я уверенно, но сбился в середине и не сумел закончить. В жизни не чувствовал себя таким идиотом. Чтобы сгладить мой провал, все шумно зааплодировали. Никогда больше не соглашусь на это".

Помню, он брал французские романы, называл их неправдоподобными и непристойно карикатурными. Он терпеть не мог Поля де Кока и уничтожающе отзывался о пьесах Бусико. По его мнению, сочинения этих писателей проповедуют мораль более чем сомнительную.

По всем своим житейским привычкам Теккерей был истинный "завсегдатай клуба". У него дома я встречал людей, которые без почтения относились к требованиям светского этикета. "Быстро ты сбежал вчера после обеда у Х.! сказал Теккерей приятелю, которого, судя по его виду, мучила страшная головная боль. - Пожалуй, нам не следовало мешать разные вина!"

Последний раз случай свел меня с Теккереем летним днем недалеко от Трафальгарской площади. Я был потрясен его болезненным видом.

- Теперь, когда я достиг всего, к чему стремился, - сокрушался Теккерей, - мне не дано этим насладиться. Что ж, таков закон жизни. Одно теряем, другое находим. Но здоровье мне уже не вернуть, не вернуть бодрость и жизненные силы. Иногда я завидую последнему нищему.

На его бледном лице, некогда таком румяном, читалась усталость от жизни, следы "суеты и томления духа". Знаменитый писатель, которого не могли сломить никакие трудности, - и вот он, достигнув вершины благополучия, страдает, как простой смертный, ибо сполна заплатил фортуне разрушенным здоровьем и душевной усталостью. Жить ему оставалось несколько месяцев...

Общаясь с Теккереем, я заметил, что стоило коснуться великих вопросов бытия, как в ответ звучало неизменное: "Не знаю". Все же

мне кажется, наедине с самим собой он нередко задумывался о том, что ждет человека после смерти. Он однажды сказал мне, что материализм - это та видимость вещей, дальше которой не идет поверхностный ум в познании истины.

Зависть и мелкое тщеславие были совершенно чужды натуре Теккерей. Он искренне восхищался Диккенсом, горячо превозносил скромные таланты Томаса Гуда и готов был назвать его "Песню о рубашке" чуть ли не лучшим образцом лирики во все времена! Теккерей порой был слишком щедр на похвалы своим современникам. Если что-то вызывало его восхищение, он отдавался ему всей душой.

Теккерей умел бесподобно подражать Эдмунду Кину. Этого посредственного трагика он явно ставил выше Макреди. Когда я однажды заметил, что мисс К... великолепная актриса, Теккерей воскликнул: "Да, но она страшна как смерть!" Теккерей во всем был поклонником красоты - она была его слабостью. "Но как она красива!" - вырвалось у него однажды, когда он рассказывал о какой-то бурной размолвке с матерью. Он нежно любил ее, но признавался мне: "Мы почти на все смотрим по-разному. Старшему поколению трудно понять нас". В матери Теккерей была капля азиатской крови (что совершенно не проявилось в его внешности), и редкая женщина могла привлекательностью сравниться с ней. В свои пятьдесят лет она выглядела не старше сына.

Одна американская писательница, католичка, обиделась на Теккерей за то, что он буквально "срезал ее" (как она выразилась), когда она сказала, что ходит в "часовню" в Бромптоне. Он воскликнул: "Как! Неужели вы посещаете это заведение?" Он не жаловал папистов. Мне кажется, что, как и Карлейль, Теккерей был в своем роде верующим скептиком. Однако он никогда не высказывался о религии неуважительно и заметил по поводу покойного У.-Дж. Фокса (незаурядные способности которого высоко ценил): "Он как бы снисходил к Господу Богу!"

Теккерей всегда с глубочайшим благоговением говорил о Христе, и мне кажется, что в последние годы жизни его теологические воззрения были близки учению унитариев (в его современном варианте)...

Как истинный англичанин, Теккерей осуждал падение нравов на континенте и говорил мне: "Франции не суждено пережить

политическое возрождение, доколе в обществе будет царить такая распущенность". Он не любил Бальзака и Жорж Санд (хотя признавал их блестящие литературные таланты) из-за их вопиющего распутства (насколько я помню, он выразился именно так). О миссис Гор он сказал: "Она не глупее прочих, но столь же безнравственна".

Однажды я пригласил его на званый вечер, и он обещал быть, но узнав, что в числе гостей ожидается миссис Троллоп, воскликнул: "Боже мой! Нет, я не приду. Я только что разругал ее роман "Рексхиллский викарий" (1837). По-моему, то, что она пишет, насквозь фальшиво".

Помню, я как-то сказал, что не считаю Диккенса глубоким мыслителем. "Да, пожалуй, - согласился Теккерей, - но у него ясный и оригинальный ум, а это поважнее философии". Я ответил, что, на мой взгляд, он несколько переоценивает Диккенса. "Нет, мне кажется, он не уступает Филдингу и Смоллету - уж Смоллету во всяком случае. Правда, Диккенс не так широко образован, как Филдинг", - возразил Теккерей. Однако его перу, продолжал он, принадлежат "такие удивительные истории". Как верно и прекрасно сказано, подумал я. На мой вопрос, кто из ныне живущих писателей кажется ему наиболее достойным восхищения, последовал ответ: "Скорей всего Маколей. Ему нет равных". Теккерей явно покорила блестящий стиль лорда Маколей, но меня удивила такая высокая оценка.

Вряд ли можно отрицать, что в Теккерее поразительным образом сочеталось редкое благородство и некоторая доля цинизма, порожденного его проницательностью, ибо он постиг "человеческую природу в хитросплетениях людских отношений и поступков". На словах он мог быть циником, но никогда не подтверждал это делами, и скептические рассуждения не отражали его истинного образа мыслей. "Мошенник" было его любимым словечком, но он не вкладывал в него никакого обидного смысла. Я повторил ему слова Ноулза, сказанные об ирландцах: "Я не встречал людей приятнее", и Теккерей заметил на это: "Милый старый мошенник". Вероятно, то же самое он думал и о большинстве ирландцев, неслучайно он сказал мне: "У них вранье в крови".

Теккерей всегда одалживал деньги бедствующим литераторам, не рассчитывая на возвращение долга, и объяснял это тем, что сам может

оказаться в такой же нужде. Удивительно, что ему вообще удавалось откладывать деньги.

Когда Теккерей надоедали разговоры о политике и прочих серьезных материях, он сбегал к жене, что, как он уверял меня, совсем неплохо ради разнообразия - ее политика не интересовала. Когда не осталось надежды, что жена поправится и рассудок вернется к ней, он сокрушенно вздыхал: "Бедняжка! Видит бог, я был с ней удивительно счастлив".

Теккерей был не слишком высокого мнения о литературной братии. По его словам, среди писателей немного найдется людей достойных, а уж в невежестве мало кто может с ними сравниться. По-моему, Теккерей ужасно нравилось общество "персон", как он называл аристократов, хотя он сам подсмеивался над этой своей слабостью. Однажды, когда он прогуливался с моим дядей в Брайтоне, к Теккерей подошел некий джентльмен, и они обменялись несколькими фразами.

- Это герцог Девонширский, - объяснил Теккерей дяде, когда они остались одни. - Мне не хотелось пускаться с ним в долгие разговоры, чтобы он не пригласил меня на обед. Ведь мне следует воздерживаться от всяких излишеств.

Однако на следующий день брайтонская газета сообщила публике, что писатель обедал у герцога.

Я думаю, Теккерей слишком любил радости жизни и скорей всего сократил свои дни пристрастием к хорошей кухне и редким винам - но кто из нас, если может позволить себе это, откажется от таких удовольствий. И в то же время он был тружеником в литературе. Смысл своей деятельности Теккерей видел не только в обличении порока. Он презирал бездарных писак и преклонялся перед гениями. Однажды он сказал мне: "Браунинг прекрасный малый, но, по-моему, он не в своем уме".

УИЛЬЯМ ФРЭЗЕР

ВОСПОМИНАНИЯ ИЗДАТЕЛЯ

В Париже Теккерей сказал мне, что слышал от лучших французских литературоведов, будто для Франции характер Бекки Шарп так обычен, что там не вызвал бы никакой сенсации. А еще он сказал мне, с явным и заслуженным удовлетворением, что в главных колледжах Парижа читают лекции о "Ярмарке тщеславия" как о лучшем образце английской прозы нашего времени.

Обида Теккерея на все племя издателей имела глубокие корни. Кажется, шестнадцать издателей отказались дать ему мизерную сумму, потребную на печатание его бессмертного труда, "Ярмарки тщеславия". Ни у одного не достало интеллекта оценить ее.

Потоки своего гнева на них он изливает в "Пенденнисе", там они показаны публике, как глупейшие, эгоистичнейшие и вульгарнейшие торгаши. Этим он, как мне кажется, умалил себя. Мимоходом изничтожать тех, кто некогда с таким презрением отнесся к его таланту, было, может быть, и справедливо, однако недостойно: негоже, уже занимая высокое положение, тратить свой сарказм на создания, столь мелкие. *Aquila non captat muscas* {Орел не гоняется за мухами (лат.)}, особенно если эти мухи такие грязные, какими изобразил их романист.

Зайдя как-то со знакомым к одному издателю, он должен был подождать, и приятель этот потом рассказал мне такую историю: пол в приемной был устлан ковром кричащего красно-белого рисунка; когда хозяин наконец появился, автор "Ярмарки тщеславия" сказал: "Мы тут все любовались вашим ковром. Он как нельзя лучше вам подходит. Вы попираете ногами кровь и мозги авторов".

Помню, как-то в Германии я сказал Теккерею: "Пользоваться успехом как писатель, это, должно быть, замечательно". Он мрачно ответил: "Лучше бить камень на дорогах".

Вскоре после того как мы с ним познакомились, я пошел с ним в Theatre Francais {Французский театр (фр.)}. Играл Ренье, знаменитый актер. Публика была изысканная, аплодисменты оглушительные. Я повернулся к Теккерею и сказал: "Как, наверное, приятно - получать деньги в тот самый момент, когда они нужны". Он ответил печально: "Правильно. Это куда приятнее, чем написать столько книг".

Однажды я поспорил с Теккереем об одном писательском приеме - о повторении имен и характеров в нескольких книгах. Бальзак был гораздо более плодовит, что, быть может, и диктовало ему необходимость так поступать. Для Теккерея, я в том уверен, это было ошибкой. Помню, как в разговоре он набрасывал характер для одной еще не написанной книги. "Как Уоррингтон", не подумав, добавил я и заметил, что лицо у него слегка исказилось. По размышлению я пожалел о своих словах. Их можно было понять так, словно я

утверждаю, будто сила его воображения начала сдавать, хотя этого у меня и в мыслях не было.

Теккерей рассказал мне, что задумал написать три больших романа, в которых центральной фигурой должен был стать Саймон Фрэзер из Лавата, обезглавленный в 1747 году. Я от души сожалею, что он не написал их - не успел. Неудивительно, что такой драматичный характер, как лорд Лават, пленил его: он бы с упоением занялся интригами, какие велись в эту любопытную пору нашей национальной истории.

Однажды, когда я обедал у него на Янг-стрит в Кенсингтоне и сидел за столом довольно далеко от него, он мне сказал: "Я у вас в неоплатном долгу". Я поблагодарил его, но спросил: "Почему?" - "Вы научили меня полюбить "Рокингхем". В эту минуту я заметил, что одна дама, сидевшая напротив меня, подняла глаза от тарелки, и понял, даже не взглянув на нее, что она и Теккерей читали эту книгу вместе. "Рокингхем" - это был роман, опубликованный в 1849 году, который я сам читал в очередь с выпусками "Ярмарки тщеславия", - весьма романтическая история, написанная по-английски графом Жарнаком...

В тот же вечер Теккерей любезно проводил меня в прихожую. Он сказал: "Несколько вечеров тому назад здесь была автор первого и замечательного сенсационного романа миссис Кроу - "Сьюзен Хешли". Я посадил ее в карету. Рядом ждали еще две кареты, она повернулась ко мне и произнесла с глубоким пафосом и указывая на них: "Мистер Теккерей, это большой успех, большой общественный успех".

Должен честно признаться: Теккерей прискорбно разочаровал меня своей беспомощностью в искусстве разговора. Я видел его в тот раз (когда они только познакомились в 1851 году) и в других случаях, когда у него была полная возможность и повод говорить хорошо. Ни в одном обществе, в котором я его видел, несмотря на большое желание и все мои попытки уловить в его беседе что-нибудь оригинальное, стоящее запоминания, я не мог найти ничего такого, что оправдало бы мой интерес к нему. Он был отменно любезен, без малейшей аффектации, мое восхищение забавляло его, немного интриговало, но я тщетно ждал, что с языка его сорвутся какие-нибудь пророческие слова, которые я надеялся услышать. Помню вечер, на котором присутствовал граф д'Орсей, его старинный приятель, и другие

выдающиеся французы (французским он владел в совершенстве) и где не вспыхнула ни одна искра красноречия; да и позже, до самой его смерти, во всех случаях, когда мы оказывались вместе, не прозвучало ни единой фразы, как-то возвышавшейся над обыденностью. Кажется, за все это время с уст его не слетело ни слова, которое стоило бы запомнить.

Помню, на том обеде в Париже, о котором я уже говорил, я спросил его, правда ли, что он однажды сказал, будто все мужчины - Джорджи, имея в виду достаточно банальный персонаж "Ярмарки тщеславия". Он ответил: "Да, либо хотели бы быть ими. Я так сказал, я и сейчас так думаю". Я рискнул предположить, что он ошибается, что характер Джорджа очень обычный, но он не мог не встречать и людей более благородных. Нередко я замечал, что в разговоре он плоскоциничен и не поднимается до уровня грандиозных обобщений его книг. Мне казалось, что он воображает, будто собеседник ждет от него циничных высказываний и будет разочарован, если их не услышит. Это мнение сложилось у меня в результате долгих наблюдений, и я думаю, что, хотя у него было поразительное умение понять человеческую природу в целом, понять ее в отдельных случаях он едва ли умел. Я замечал это и у других, например, у Уайта Мелвилла, но в Теккере меня особенно поразило, что он не умеет проводить различий что понятия его о молодых людях, людях среднего возраста и стариках суть понятия самые общие, родовые, а не специфические.

В самом начале нашего разговора у графини де Граммон (в Париже) он мне сказал: "Вы ведь в лейб-гвардии?" - "Да, в первом полку". - "И как они для вас, достаточно умны?" - "Вполне". А через несколько лет я пригласил его пообедать в собрании моего полка, находившегося тогда в Риджентс-парке. По счастью, сборище было не большое, тем более по счастью, что все присутствующие были хорошими образцами исключительно интеллектуального разряда офицеров. Оба старшие офицеры полка отсутствовали, иначе это трагически снизило бы средний уровень интеллекта. Майор Биддульф, впоследствии дворцовый эконом и "личный кошелек" королевы, там был, и был еще капитан лорд Уильям Берисфорд, самый прекрасный мужчина, как в физическом, так и интеллектуальном смысле, из тех, что я встречал в жизни. Разговор зашел об Ирландии. Теккерей высказал свои взгляды, ему вежливо, но вполне обоснованно возразил

лорд Уильям. Кроме меня, никто не знал, что приглашен Теккерей, встреча оказалась случайной. Лорд Уильям показал ему не только, что знает об Ирландии больше, чем он, но и то, что книга Теккерей "Ирландские заметки" известна лорду Уильяму лучше, чем ее автору. Разговор шел в тоне самом изысканном. Я не удивился тому, какое впечатление он произвел на великого писателя. Войдя ко мне в комнату надеть плащ, он воскликнул: "Я удивлен! Ошеломлен! Никогда больше не напишу ни слова против военных". Я сказал: "Дорогой Теккерей, вы изобразили людей, о которых почти ничего или вообще ничего не знаете. В вашем портрете британского офицера примерно столько же правды, как было бы во мне, члене парламента от Девона, с чертами сквайра Вестерна. Теперь вы узнали, каковы офицеры на самом деле". Он ответил уныло: "Больше так никогда не буду, можете мне поверить".

В отеле в Фолкстоне я застал Теккерей, когда он пил чай с двумя своими дочерьми, и одна из них спросила меня: "Вы знаете, сэр Уильям, что случилось с папой?" - "Нет". - "В него влюбилась одна юная леди". - "А что тут удивительного?" - "Но вы не знаете сколько ей лет". - "Верно, не знаю". "Только что исполнилось шесть". Теккерей изобразил на лице безысходное горе и сказал: "Это очень печальная история. Чем меньше говорить об этом, тем лучше". Это единственный пример, какой я могу вспомнить, когда он подражал выражению чувства или проявил хоть что-то близкое к таланту комического актера.

Как большинство людей выдающегося ума, он любил пошутить. Пример этого могу привести. В шесть часов мы пообедали в старом клубе "Бифштекс", на задах театра "Лицеум", которым тогда владел мистер Арнольд. Никогда мне не забыть этого обеда: кусочки бифштекса, каждый на один зуб, прямо с огня, горевшего в соседней комнате, дверь туда стояла открытая, и огонь был виден. Каждый кусочек не столько утолял аппетит, сколько разжигал его, - иллюстрация к выражению "слюнки текут". Пообедав, мы перешли в ложу мистера Арнольда в "Лицеуме". Ложа была на просцениуме, на одном уровне со сценой. Пьеса была бурлескной, то, что французы называют *pièce aux jambes*, пьесой для ножек. В ложе находились шестеро, мы с Теккереем сидели сзади. Мисс Л. Т., которая была и до сих пор осталась актрисой весьма одаренной по этой части, стояла, прислонившись к ложе и демонстрируя отличные ноги, туго обтянутые

красным шелком. Теккерей смотрел на них, а потом проговорил быстро, не переводя дыхания: "Это значит, так сказать, держать зеркало перед природой, показывать доблести ее истинное лицо и ее истинное - низости. Кто из джентльменов, сидящих впереди, сделает мне одолжение, ущипнет эти ножки?"

Единственный похожий портрет Теккерей - работы Лоренса. Я внимательно изучил все его портреты - в красках, гравюры, скульптурные, и ни в одном не уловил ни малейшего сходства. На всех вид у него какой-то мертвый, безжизненный, какого у него никогда не бывало. Глаза его, за очками, горели очень ярко, цвет лица был матовый, с легким румянцем; вид не очень здоровый, скорее анемичный.

Как-то за обедом Теккерей сказал мне, что считает "Тома Джонса" безусловно лучшим из когда-либо написанных романов. И добавил: "Если бы вам пришлось писать ради хлеба насущного, вы бы знали, как это трудно".

Я спросил Теккерей, что из написанного им ему больше всего нравится. Он сразу ответил: "Джордж де Барнуэл", пародия на "Юджина Арама", роман лорда Литтона. Он сказал, что лучшим из написанного им считает песню врача в "Гарри Ролликере", а написал он ее на борту одного из пароходов австрийца Ллойда, в сильную качку.

О доброте Теккерей свидетельствует следующий пример: как я уже сказал, ему страшно нравился его "Гарри Ролликер", в особенности песня врача, но он не захотел пародировать плохой французский язык Левра, он знал, что это обидело бы его. А вот над тем, как безбожно Левр путает военную терминологию, - он издевался вовсю, и вполне заслуженно.

Главная мысль, которую Теккерей хотел внушить своей публике, была запечатлена на виньетке, изображавшей его самого как бедного шутника, с плоским и печальным лицом, держащего в руке ухмыляющуюся маску. Несомненно, это точно передает его настроение, которое, как у всех одаренных людей, нередко бывало печальным. Какой бесконечно трогательной и выразительной была картинка на желтых обложках первых изданий: грустный, смиренный юморист, повествующий о собственной печальной судьбе.

ДЖОН БРАУН

ИЗ КНИГИ АЛЕКСАНДРА НЕДДИ "ВОСПОМИНАНИЯ ДОКТОРА ДЖОНА БРАУНА"

Если не ошибаюсь, дружба доктора Брауна с автором "Ярмарки тщеславия" завязалась в Эдинбурге, куда Теккерей приехал читать лекции об английских юмористах. С тех пор он решительно отстаивал мнение, что об истинном характере писателя широкая публика имела самое превратное представление. И он терпеть не мог сравнений, которые постоянно проводились между Теккереем и другим знаменитым романистом, его современником. Нижеследующее письмо доктора Брауна, адресованное покойному Эндрю Ковентри Дику, его давнему другу, видимо, относится к первым дням его знакомства с Теккереем.

"...как я жалею, что последние две недели вас тут не было, и вы не видели и не слышали Теккерей, не познакомились с ним. Он бы пришелся вам по душе - человек большого ума, большого сердца, рассудительный, имеющий обо всем свое мнение. Он предпочитает Поупа Лонгфелло и миссис Баррет-Браунинг, Мильтона - мистеру Фестесу, а сэра Роджера де Коверли - "Пиквику", как и "Историю" Дэвида Юма - творению шерифа Элисона, а "стихи Э. В. К. своему городскому другу" - всему, что ему доводилось читать последнее время, как "полную страсти гроздь" всем прозаическим и поэтическим трудам сэра Бульвера-Литтона. Я часто с ним виделся, беседовал о самых разных материях и, право, - не считая вас, - более симпатичного мне человека не встречал. Он даже лучше и выше своих произведений... Роста в нем шесть футов три дюйма, лицо широкое, очень доброе, голова огромная, а манера выражаться и голос удивительно приятны. В обществе он выделяется, пожалуй, только добродушием и время от времени скромно говорит что-нибудь замечательное. Он настолько же превосходит Диккенса, насколько трехпалубный стодвадцатипушечный корабль жалкий пароходишко с единственной дальнобойной пушечкой на вращающемся лафете. Из-за него тут все принялись читать "Дневник для Стеллы", "Болтуна", "Джозефа Эндрюса" и "Хамфри Клинкера". Он обладает большой склонностью к политике, верными убеждениями и страстностью, и - судя по форме его черепа мог бы стать видным общественным деятелем. В нем много талантов, которые не могут найти выхода только в писательском призвании".

Сохранилось и письмо тому же другу, не датированное, но скорее всего относящееся к декабрю 1856 года, когда Теккерей читал лекции о "Четырех Георгах".

"...Сюда приезжал Теккерей и провел много времени с нами, и я от него даже в еще большем восторге - его манеры и разговоры удивительно естественны и непринужденны. Лекция о Георге III была великолепна. Он вызвал слезы у 2000 мужчин и дам, прочитав строки старика Джонсона на кончину бедного Леветта, хирурга..."

Мы не видели ни единого портрета мистера Теккерейя, который воздавал бы ему должное. Фотографии нам нравятся больше гравюр, и у нас есть старый, очень неплохой дагерротип, где он запечатлен без очков. Однако любой фотографии дано показать человека лишь в обычном его виде - а часто и очень обычном. Только сэр Джошуа Рейнольде с братьями может написать человека более похожим на себя, чем он выглядит внешне. Первый рисунок Лоренса во многом передает его породистость, но слишком уж вздернута голова. Фотография с более позднего рисунка, сделанного той же рукой, нам нравится больше - он один и читает, близко поднеся книгу к глазам. Переданы огромность и внушительность головы, приятность рта. Нам не довелось видеть портрет, исполненный мистером Уоттом, но если он столь же выразителен и тонок, как его портрет Теннисона, то можно только порадоваться.

Хотя мистер Теккерей ни в каком смысле не был эгоистом, он питал поразительный интерес к себе как к объекту изучения, и слушать его бесподобные рассказы о себе было чистым удовольствием. Он часто снабжал свои книги автопортретами. В своих "Фрэзеронах", помещенных во "Фрэзерс мэгезин", Маклиз приводит набросок времен его безвестной юности, а в "Мане", недолговечном журнальчике, который издавал Альберт Смит, есть очень смешная и довольно похожая карикатура не то Доила, не то Лича. Он изображен читающим лекцию - поза, бесспорно, наиболее для него выгодная. Ниже следует рисунок, который дает верное представление и о его внешности и о душевном состоянии:

Усталый, молодой, добрый остролов сидит по-турецки и глядит в никуда, а его маска и шутовской жезл покоятся, забытые, у него на коленях...

Нам хотелось бы упомянуть две главные черты его характера, в значительной мере отразившиеся в его произведениях, однако почти не отраженные в критике этих произведений. Во-первых, глубокая непреходящая меланхоличность его натуры. Он любил рассказывать, как однажды в Париже на открытии какой-то художественной выставки он с высоты своего роста поглядел через море голов в дальний конец переполненного зала и увидел, что оттуда на него пристально смотрит кто-то с комично-унылым лицом. Секунду спустя он сообразил, что видит в зеркале собственную грустную физиономию. Нет, он вовсе не был угрюмым и испытывал живую благодарность судьбе за все большие и малые радости, за счастье домашнего очага, за дружбу, за остроумие и музыку, за красоту во всех ее ипостасях, за удовольствие, даримое "старым верным золотым пером", которое то напишет какую-нибудь прелестную фразу, то игриво изобразит заглавную букву в забавной виньетке, - и даже за чисто плотские приятные ощущения. Однако обычно состояние его духа, особенно во вторую половину жизни, было глубоко *moigne* {Тоскливым (фр.)}, другого слова для этого нет. Порождалось это отчасти его темпераментом, а отчасти чутким проникновением в мелочность и подлость человеческую. Острое восприятие подлости и вульгарности реальной жизни вокруг, сталкиваясь с жившими в его душе идеалами, ни к чему другому привести не могло. Это чувство, усугубленное разочарованиями, когда оно воздействовало на суровую, необузданную натуру, породило свифтовское свирепое негодование, но воздействуя на добрую чувствительную натуру мистера Теккерея, пробудило только сострадательную грусть. Отчасти же его меланхолия объяснялась выпавшими на его долю несчастьями. Он часто намекает на них в своих произведениях, и для того, чтобы во всей полноте оценить ту глубокую трогательность, которую мы у него находим, необходимо знать, что сам он изведal много страданий. Как ни тягостна такая необходимость, но мы сочли нужным упомянуть об этом, потому что беды его породили много всяких историй, и далеких от правды, и даже клеветнических. Смерть его второго ребенка во младенчестве осталась для него непреходящей печалью, описанной в "Бриллианте Хоггарти" (гл. 12) в таких проникновенных строках, что приводить их тут, вырвав из контекста, было бы святотатством. Еще большим, не знающим утolenия горем был недуг его жены...

Его понятие о Высшей Силе, благоговение и страх перед ней, не столько выражены, сколько ощущаются во всем, что он писал, как то и должно быть. Чувство это возникает внезапно и сразу же прячет свою мощь. Так же бывало и при общении с ним - оно вспыхивало на миг точно молния в безоблачном небе, и он словно бы стыдился - нет, не благоговения, а того, что ему не удалось его скрыть.

Мы не можем удержаться и не рассказать тут об одном декабрьском вечере, когда он прогуливался с двумя друзьями по дороге к западу от Эдинбурга, с которой открываются великолепные виды. Вечер был чудесный, украшенный одним из тех закатов, которые не изглаживаются из памяти: темная полоса облаков пересекала солнечный диск, опускающийся за горы, которые купались в аметистовой дымке. Между облачной грядой и горами тянулась неширокая лента чистейшего эфира, золотого, как лютик, и райски прозрачного, так что каждый предмет выделялся на этом фоне, точно выбитый чеканом. В самом сердце этого сияния чернели деревья и скалы северо-западной оконечности Корстофайн-Хилла, и деревянный кран над каменоломней был повернут так, что принял форму креста, вознесенного в хрусталь небес. Все трое молча созерцали эту картину. И тут он тихим трепетным голосом быстро произнес одно слово, выразив их общее чувство: "Голгофа!" Друзья пошли дальше в молчании, а затем заговорили о другом. Весь вечер он оставался притихшим и серьезным и говорил о том, чего касался очень редко - о смерти, о грехе, о вечности, о спасении, выражая свою безыскусную веру в Бога и Спасителя.

Заключительная часть "De Finibus" {"О конце" (лат.).} - "Заметки о разных разностях" - проникнута ощущением угасания жизни. Заметка эта более похожа на монолог. Открывает ее рисунок: мистер Панч с непривычно кроткими глазами, перед тем как лечь спать, выставляет за дверь башмаки на высоких каблуках и обводит коридор печальным взором, словно желая ему и всему существу доброй ночи. Через пять минут он ляжет, задует свечу и останется во мраке. Наутро его башмаки будут найдены перед дверью, но маленькая владетельная особа все еще будет спать - последним сном. Заметка эта заслуживает самого тщательного изучения - она много говорит об его истинном характере и любопытным образом приоткрывает тайну его творчества, жизненность и непреходящую силу созданных им произведений... Но

тут мы хотели бы обратить особое внимание на грустную задумчивость строк, начертанных словно в предчувствии того, что уже близилось: "Еще раз написано Finis {Конец (лат.)}, еще один дорожный столб остался позади на пути от рождения до мира иного. Да, это тема для серьезных размышлений. Будем ли мы и дальше заниматься ремеслом рассказчика и сохранять словоохотливость до конца наших дней?" И - "Не пора ли болтуну придержать язык?" А кончает он так: "...Еще несколько глав, а потом - последняя. И тогда даже сам Finis достигнет конца и начнется Бесконечность..."

Он договорился со своим другом-хирургом, что тот посмотрит его во вторник, но из боязни неизбежной боли, столь свойственной людям, наделенным чувствительностью и гением, прислал ему записку с просьбой отложить визит, подписавшись "Ваш неверный У. - М. Т.". В среду вечером он вышел прогуляться и вернулся домой в десять. Ему было нехорошо, и он сразу поднялся в спальню, отослав слугу, который предлагал посидеть с ним. Он терпеть не мог причинять неудобства другим. Около двенадцати слуга услышал, как он заворочался, словно от боли... Затем все стихло... Вероятно, в эту минуту он и умер. Утром слуга вошел в спальню, поднял шторы и увидел, что его хозяин лежит мертвый, закинув руки за голову, словно силясь вздохнуть... Долгие годы печалей, трудов и страданий убили его до срока. После его смерти стало ясно, какой тяжелой была его жизнь. Благодаря пышным серебристым волосам и моложавому, почти детскому лицу он всегда выглядел очень свежим, однако от него осталась только тень, а руки его были руками восьмидесятилетнего старца.

УИЛЬЯМ РАССЕЛ

ИЗ ДНЕВНИКА

апрель 1852 года

Н пригласил ряд лиц в Уотфорд на охоту. Само собой, из дичи были только кролики и зайцы, впрочем, чего еще можно ожидать в апреле? Охотники, в число которых удостоился попасть и я, были из породы Уинкля: Теккерей, Диккенс, Джон Лич, Джерролд, Лемон, Ибботсон и кое-кто еще, кареты до Уотфорда были заказаны заранее. Мы уже было собрались выезжать, когда доставили извинительное письмо от Диккенса, которое Теккерей по его просьбе должен был вручить хозяйке. Мы подкатили к дому, и после всех приветствий

Теккерей отдал записку миссис N. Результат оказался не из приятных - миссис N помчалась через холл и все услышали, как она крикнула повару: "Мартин, рябчиков не надо, мистера Диккенса не будет!" Теккерей признался, что никогда не чувствовал себя таким униженным: "Вот вам проверка на известность! Пенденнису рябчиков не положено!"

Теккерей был одним из немногих, знавших мою тайну, и пока он со своей неизменной сигарой в зубах шел после завтрака из своего дома на Онслоу-сквер к Самнер-плейс, я с тревогой ждал, что он сегодня скажет. Я знал, что если это будет "Сегодня утром я лишь бегло просмотрел газету", значит, он не слишком мной доволен. Он безошибочно узнавал все мной написанное. Мне кажется, что он весьма не одобрял мой образ жизни. "Не зарывайтесь по уши в газету. Сейчас вы вырвались из плена, попробуйте работать на себя", - твердил он постоянно. Вотще! Появлялись десятки мелких домашних забот и тысячи других причин, мешавших мне из года в год внять доброму слову.

С тех пор прошло несколько лет, и как-то мы большой компанией, среди которой был и Теккерей, пришли в типографию посмотреть на новую печатную машину. Старая еще была на ходу - она вращалась, выбрасывая все новые и новые длинные бумажные ленты, усеянные буквами, сыто урча маховиком и повизгивая колесами поменьше, как и положено отлаженной машине. Засунув руки в карманы бриджей, Теккерей стоял перед ней и, задумавшись, глядел вверх очков, затем поднял руку и погрозил ей пальцем со словами: "Бездушное, ненасытное, всепожирающее чудовище! Какие славные умы ты поглотила! Сколько надежд ты сокрушила и сколько горя навлекла на нас, писателей!"

БЛАНШ КОРНИШ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Видимо, автор этих записок была еще очень молода в те парижские дни, когда мистер Теккерей впервые запечатлелся в ее памяти - во всяком случае, когда на бульваре Мадлен он подставил ей локоть, сказав, что все будут принимать их за мужа и жену, ее очень огорчило заблуждение, на которое обрекались французы, - будто такой высокий статный англичанин выбрал себе такую маленькую невзрачную жену. Чтобы дотянуться до его локтя, ей пришлось задрать

руку над головой, зато тетушки остались далеко позади, а впереди тянулась зеленая аллея, и они все шли, шли, и смотреть по сторонам было очень интересно. Однако вряд ли пройдено было такое уж большое расстояние, ибо на следующем же бульваре - бульваре Капуцинов - они остановились перед витриной Буасье, знаменитого кондитера. Прямо на уровне ее глаз лежали открытые коробки, а в них - красиво уложенные конфеты.

- Хочешь вон ту голубую коробку с шоколадками?

- Очень!

Я и теперь помню, какое смущение меня охватило, потому что мистер Теккерей тут же вошел в лавку, заплатил множество франков и распорядился, чтобы коробку прислали нам домой - и все из-за моей неблагоприятной несдержанности!

Но мое сердце преисполнилось безграничного обожания. У меня сохраняется кресло с прямой спинкой периода Луи-Филиппа, на пухлой ручке которого я любила примоститься рядом с бабушкой, миссис Ритчи, теткой великого романиста. В "бабушкином кресле" часто сиживал и мистер Теккерей, такой круглолицый, с такими мудрыми глазами за стеклами очков, такой красивый кудрявый, розовощекий! И было в нем что-то таинственное, что-то интригующее даже ребенка. Он словно бы всегда был один. Он только что приехал из Америки. Он собирался в Рим. Он появлялся и исчезал, как метеор. Он был очень грустен и молчалив. Он был таким шутником. А главное, он был добрым, и девочка, устроившись рядом с ним на ручке кресла, подвергла его допросу:

- Вы хороший?

(Вопрос с ручки.)

- Ну, не такой хороший, каким бы мне хотелось быть.

(Ответ мистера Теккерей.)

- Вы умный?

- Что же, я ведь написал одну-две книги. Так, может быть, я и не глуп.

- Вы хорошенький?

- Ну, нет. Нет! Нет! Нет!

(Помнится, мистер Теккерей тут расхохотался.)

- А я думаю, что вы хороший, и умный, и хорошенький.

Теккерей и детство связаны неразрывно повсюду, где в детских и классных комнатах читают "Кольцо и розу", сказку, нарисованную и написанную в Риме для Эдит Стори (графини Перуцци) к Новому году. А в то время, о котором я пишу, картинки рисовались для нас, индийских детей в Париже. В этих карандашных набросках мистер Теккерей отчасти воплотил своеобразную мораль феи Черная Палочка, но, разумеется, его карандаш с большим юмором воздавал по заслугам маленьким героиням в отлично обставленных детских. На одном из этих почти стершихся рисунков он, среди клубов пара над вечерней ванночкой, сурово смотрит сквозь очки на раскапризничавшуюся бунтовщицу. На хранящемся у меня с тех времен рисунке чернилами прелестная девчушка, несомненная предшественница Бетсинды, и патлатая девчонка, кутающаяся в платок, обитают в одной трущобе. Но кудрявенькая обзавелась плетеной коляской и солнечным зонтиком. Она катается в коляске, точно светская дама в Гайд-парке, зонтик держит чуть наклонно и блюдет свое достоинство. Вторая же, уже совсем замарашка, с замороженным младенцем на руках и с кувшином, бредет в кабак. И глядя на этот этюд характеров, мы понимаем, что, и став взрослой, девочка в платке все-таки будет с завистью смотреть на счастье своей соперницы.

Повседневные нравственные конфликты, будь то столкновение богатых и бедных или взрослых и детей, постоянно занимали мысли Теккерей. И он, казалось, никогда не забывал, что те, кто судит, сами будут судимы. Уже позже, снова в Париже, за непослушание на уроке (виновница никак не могла что-то понять) последовала кара: ее не возьмут на рождественскую "немецкую елку". Тут зашел мистер Теккерей, и ему было сообщено все! Добросердечная тетушка, сознавая, что приговор чрезмерно суров, понадеялась, что он замолвит словечко за наказанную. Но кресло с высокой спинкой грозно безмолвствовало. Казалось, наступил конец света. Тетушка и племянница были равно ошеломлены этим молчанием. Суровый мистер Теккерей не заступился, не попросил простить ее на этот раз. Нет, он заговорил о дисциплине - и без тени улыбки.

- Я знаю людей, которые шалили, когда были маленькими, а теперь ведут себя хорошо.

Не о себе ли он говорил? Было что-то такое в его тоне, и наказанной стало чуть легче. Однако, когда она все-таки поехала на

елку - видимо, приговор мистера Теккерей был сочтен достаточной мерой воздействия - заноза в сердце осталась: он не заступился!

Его манера все взвешивать внушала страх. Как-то утром предметом таких психологических изысканий стала кошка. Она вспрыгнула на стол с завтраком, за которым никто не сидел, и стащила кусок рыбы. Теккерей был в комнате один (если не считать девочки). Он задумчиво следил за маневрами кошки, а потом воскликнул с трагическим жаром:

- Que voulez-vous? G'est plus fort qu'elle! {Чего вы хотите? Это свыше ее сил! (фр.).} Парижский дом моей бабушки... хранил много литературных воспоминаний. Но глубоко личные мгновения говорят о Теккерее много больше, чем "золотой песок, выметаемый из гостиных", как назвала его разговоры в Риме Элизабет Браунинг. Вот одно из них. "Ньюкомы" дописывались в нашем доме. Его солнечные комнаты мои тетушки предоставили на сентябрь в распоряжение мистера Теккерей и его дочерей вместе с двумя горничными в крахмальных наколках и старой кухаркой Аннеттой. Вот она-то, по его словам, "войдя как-то в кабинет, увидела, что я распускаю нюни в углу - я доканчивал последнюю страницу "Ньюкомов". Описать смерть полковника Ньюкома без слез было невозможно, как, наверное, и прощание Гектора с Андромахой. Но что до Аннетты, свидетельницы душевных мук романиста, то auteurs anglaises {Английские писатели (фр.).} поражали ее главным образом своим гигантским ростом. "Monsieur Thackeray etait tres grand et de belle carrure, но его друг мосье Хиггинс etait encore plus grand! C'etaient des geants et de beaux hommes pourtant" {Господин Теккерей был очень высок и прекрасно сложен,... был еще выше! Настоящие великаны и очень представительные мужчины (фр.).}.

ТЕОДОР МАРТИН ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

У нас остались самые лучшие воспоминания о Теккерее. Он часто к нам заходил за завтраком, и мы подолгу разговаривали, он был открыт и искренен, словно мягкосердечный юноша, а не сложившийся мужчина, познавший жизнь во всех ее обличьях, иные из которых наводили на *pensieri stretti* {Мрачные мысли (ит.).}, к чему, по мнению посторонних, он был особенно склонен. Его натура, несомненно, жаждала участия. Он был исполнен нежности, которую охотно изливал

на всех, в чьем понимании был уверен. Пожалуй, я не знал другого человека, который был бы наделен такою нежною, по-женски нежною, душой.

Как-то раз мы с Теккереем, прохаживаясь по залам игорного дома в Спа, подошли к рулетке посмотреть игру. Теккерей легко тронул меня за локоть и указал мне на стоявшего поодаль у того же стола высокого человека в выдавшем виды коричневом сюртуке. Заметно было по всему, что это опустившийся джентльмен, еще не растерявший до конца хорошие манеры. Когда мы отошли в сторону, Теккерей сказал: "Вот прототип моего Дьюсэйса. Я не видал его с тех пор, как он меня увлек в кабриолет и повез в Сити, где я продал своему маклеру отцовское наследство и отдал ему все деньги". Теккерей рассказал дальше, что этот тип и еще один его дружок были осведомлены, что он получил капитал по достижении совершеннолетия, и залучили его играть в экарте, сначала позволяя ему выиграть, а после выманили у него если не все полученное им состояние, то кругленькую сумму в полторы тысячи фунтов. Все остальное погибло из-за провала "Конститьюшенл", краха Индийского банка и неудачных операций, предпринятых им самим и его опекунами. И можно не сомневаться, что когда он так выразительно описывал Бунделкундский банк, перед его мысленным взором стоял его собственный Раммун Лал, как и в другой раз - его собственный Дьюс-эйс. Однако в его словах звучала не горечь, которой явно не было в его душе, а жалость, и о своем старом знакомце он отозвался сочувственно: "Бедный малый, похоже, мои деньги не пошли ему на пользу". "Вы можете смело утверждать, - писал мне тот же любезный корреспондент, - что Дьюсэйс описан с натуры. Будьте совершенно уверены относительно того, что я сообщил вам. Я очень ясно помню мягкий, теплый летний вечер, выражение грусти на лице Теккерее, видно, воспоминания разбередили душевную рану, и хотя время было еще не позднее, он вдруг заторопился: "Пойду-ка лучше я к себе в гостиницу", что и сделал. Он мне рассказывал и многое другое, столь же поразительное, но думаю, что это было предназначено лишь для моих ушей. Бедняга, ему довелось испить горькую чашу".

ДЖОН КУК

ИЗ СТАТЬИ "ЧАС С ТЕККЕРЕЕМ"

На меня сразу же произвела огромное впечатление полная противоположность между живым человеком и злобными карикатурами на него, которыми пробавлялись английские критики. Перед тем, как приняться за его портрет, эти господа словно бы макали перья в желчь. Если им поверить, остается считать, что мир не знал более неприятного субъекта, чем автор "Ярмарки тщеславия". Люди, сколько-нибудь себя уважающие, его не выносят. Сердце у него холодное, взгляд на мир - циничный, а манеры такие надменные и отталкивающие, что всякий, кто с ним соприкасался, тотчас делался его врагом. Он не отвечает на поклоны друзей - если у него вообще есть друзья. Только пристально взглянет, или в лучшем случае чуть кивнет. Просидит ночь с приятелем до четырех утра, а днем по дороге в Гайд-парк проедет мимо того же человека и лишь слегка наклонит голову с таким ледяным безразличием, что бедняга застывает на месте. Он редко улыбается, в нем нет ни естественности, ни привлекательности. По словам одного из этих критиков: "Он держится холодно и сухо, разговаривает либо с откровенным сардоническим цинизмом, либо с вымученным добродушием и ласковостью. Обходительность его напускная, остроумие ядовито, гордость легко уязвима". И характер его ничем не лучше манер. В нем нет ничего кроме угрюмости и мизантропии. Цинизм - вот его философия, пренебрежительное презрение ко всем и вся - вот его религия. Не видя в человеческой природе ничего достойного любви или уважения, он беспощадно высмеивает ближних и уж особенно женщин. Если они добродетельны, то слабоумны, а если умны, то насквозь порочны, как доказывают Эмилия Седли и Бекки Шарп. Вообразив себя английским Ювеналом, он находит сказать что-нибудь обидное обо всех и обо всем. Помесь Тимона с Диогеном, он вечно хмурит брови, кривит губы в едкой насмешке, отказывается видеть хоть что-нибудь хорошее и выплевывает свою ненависть и яд на все человечество.

Если читатели усомнятся, что "добрый старина Теккерей", как его называли друзья, когда-либо малевался подобными красками, им достаточно будет пролистать некоторые английские газеты и журналы двадцатилетней давности, и они убедятся, что этого добрейшей души человека действительно изображали тогда именно таким.

И сам я был хорошо знаком с этими критическими замечаниями, а вернее, злобными карикатурами, когда как-то утром в 1856 году явился

к мистеру Теккерю с визитом и был - как я уже говорил - просто ошеломлен тем, насколько живой человек отличался от таких своих портретов. Я увидел высокого, румяного, простецкого англичанина, который радушно протянул мне руку и озарил меня дружеской улыбкой. Лицо его не хмурилось, не было оно и худым, желчным или злым, но пухлым и розовым, свидетельствуя об отличном пищеварении. Голос оказался вовсе не резким и сухим, а вежливым и сердечным - голосом воспитанного человека, встречающего гостя. Внешне, он был "крупным" - выше шести футов, если не ошибаюсь. Глаза его смотрели ласково, волосы серебрились сединой, а костюм был простым и скромным. Все в его внешности свидетельствовало, что всякое притворство ему претит. Держался он спокойно, говорил неторопливо и размеренно, не подбирая слов, но, видимо, излагая мысли по мере того, как они приходили ему в голову. Первые десять минут в его обществе позволяли твердо заключить, что он - светский человек в лучшем смысле этого слова и меньше всего Ювенал или замкнутый книжный червь. Собственно говоря, на типичного литератора он походил очень мало. Лицо его и фигура недвусмысленно выдавали большую склонность к ростбифу, дичи (о которой он говорил с восторгом), пудингам, бордо - он упомянул, что непременно выпивает за обедом бутылку этого вина - и вообще к простым радостям жизни. Большая печень и он казались несовместимыми. Иными словами, мистер Теккерей был бонвиван, не имел обыкновения откровенничать с первым встречным, ценил хорошее общество, любил комфорт и находил удовольствие в том, чтобы с удобством расположиться в кресле, рассказать или послушать хорошую историю, спеть приятную песню, выкурить отличную сигару и "хорошенько отвести душу" в беседе с близкими друзьями.

В общем тоне его беседы на меня особое впечатление произвели полнейшая непринужденность и добродушие, которое, по моему мнению, вопреки утверждению его критика, мистера Йейтса, ничуть не было "вымученным". Он казался искренним и простым... Он легко улыбался и, видимо, получал удовольствие от смешных сторон жизни, однако и в частном разговоре, как и во время чтения лекций о Свифте и прочих, в его голосе слышалась грусть. По складу ли характера или вследствие семейного несчастья, но мистер Теккерей к веселым людям не принадлежал. Он был добрым, обходительным, благодушным

человеком, но не шумным бодрячком, и как будто бы не считал нашу юдоль самым лучшим из миров. Его замечания о вещах и людях нередко бывали грустно-сатиричными. Жизнь словно бы представлялась ему комедией, где преобладают плуты и негодяи обоего пола, и свой долг писателя он полагал в том, чтобы высмеивать их и разоблачать. Возможно, его личный опыт послужил причиной того, что он видел больше пороков, чем добродетелей, и приобрел несколько мрачный взгляд на жизнь. Ведь известно, что ему выпал нелегкий жребий.

Однако перейдем к моей "беседе с Теккереем", которую читатели, быть может, сочтут не столь уж заслуживающей такого длинного вступления. Нет, у меня не было ни малейшего намерения "интервьюировать" мистера Теккерей, как в этот раз, так и в другие. Я виделся с ним наедине или в домах общих друзей, где он был почетным гостем, и с большим интересом слушал его мнения о людях и книгах, но у меня и в мыслях не было записывать и публиковать то, что срывалось с его губ в этих частных разговорах в тесном дружеском кругу. Теперь же, после его кончины такая публикация никому не повредит, и я благодаря кое-каким случайным заметкам без труда припомнил, что именно говорил мистер Теккерей во время одной из наших встреч, к которой теперь и вернусь.

У меня выдалось свободное утро, и я решил нанести ему визит. Он сидел в кресле в гостиной своего номера и курил, повинаясь одной из самых стойких своих привычек - хороших или дурных, пусть решает читатель. Он был большим любителем сигар, и я преподнес ему связку отличных "виргинских тонких", о которых он потом отозвался весьма высоко, жалуясь, что его приятель Джордж Пейн Джеймс, в то время английский консул в Ричмонде, Усердно его навещал и выкурил их все. Он тоже, видимо, был в это утро свободен и расположен немного поболтать. Куренье послужило начальной темой. Он сказал:

- Как видите, сигары - моя слабость. И писать я сажусь всегда с сигарой во рту.

- Я полагаю, после завтрака? То есть, я полагаю, вы пишете в первую половину дня?

- Да, сочиняю я по утрам. Вечером я писать не могу. Слишком возбуждаюсь, а потом долго не засыпаю.

- Разрешите спросить, вы никогда не диктуете секретарю?..

Мистер Теккерей ответил:

- Довольно часто. "Эсмонда" я продиктовал всего.

- Вот не подумал бы! Стиль такой законченный, что даже не верится. У нас в стране "Эсмонд" - один из самых любимых ваших романов. Мне самому особенно нравится глава, где Эсмонд возвращается к леди Каслвуд, "неся снопы свои", как сказала она.

- Я рад, что эта глава доставила вам удовольствие. Жалею, что не вся книга равно хороша. Но невозможно непрерывно играть партию первой скрипки.

- И эту главу вы продиктовали?

- Да. Весь роман. И я продиктовал всего "Пенденниса". Не могу сказать, что "Пенденниса" я ставлю очень высоко - во всяком случае исполнение. В середине он, бесспорно, затянут, но как раз тогда я заболел и ничего лучше сделать не сумел.

Я вновь вернулся к "Эсмонду" и к обрисовке герцога Мальборо в романе. Мистер Теккерей, задумчиво обронив "отпетый негодяй!", любезно осведомился, что написал я сам. Выслушав мой ответ, он сказал:

- На вашем месте я продолжал бы писать - рано или поздно вы напишете книгу, которая принесет вам благосостояние. Как Бекки Шарп - мне. Я рано женился и писал для заработка. "Ярмарка тщеславия" была первой моей книгой, имевшей успех. И Бекки мне очень нравится. Иной раз я думаю, что я разделяю кое-какие ее вкусы. Мне нравится то, что называют "богемой", и все люди, ведущие такой образ жизни. Я видел свет - герцогов и герцогинь, лордов и леди, писателей, актеров, художников, и, в целом, всем предпочитаю художников и прочую "богему". Они более естественны, не связаны пустыми условностями, носят волосы до плеч, если им это нравится, а одеваются живописно и небрежно. Вот и Бекки по моему наущению предпочла их и богемную жизнь высшему свету, в котором ей довелось вращаться. Может быть, вы помните, как в конце книги она утрачивает свое положение в обществе и живет в среде богемы, в среде людей, обитающих в мансардах... Мне нравится эта часть романа - по-моему, сделана она хорошо.

- Кстати, о Бекки, мистер Теккерей, - сказал я. - С ней связана одна тайна, которую мне хотелось бы разъяснить... В самом конце

романа есть иллюстрация: Джоз Седли - больной старик - сидит у себя в спальне, а из-за занавески с ужасным выражением лица на него смотрит Бекки, сжимая в руке кинжал... А под иллюстрацией надпись из одного слова "Клитемнестра"... Бекки его убила, мистер Теккерей?

Вопрос этот заставил глубоко задуматься того, к кому был обращен. Он сосредоточенно затянулся, словно ища решения какой-то задачи, а затем его губы тронула интригующая медлительная улыбка:

- Я не знаю.

Мы еще поговорили о Бекки Шарп, к которой вопреки ее безнравственности мистер Теккерей, что было легко заметить, питал втайне некоторую любовь, а вернее, не любовь, но снисходительную симпатию за то мужество и настойчивость, с какими она добивалась своих целей. А затем от слов и поступков этой дамы мы перешли к другим дурным персонажам мистера Теккерей и женского и мужского пола. Я сказал, что самым законченным и отпетым негодяем из всех них считаю графа Крэбса в очерках, посвященных "мистеру Дьюсэйсу". С этим мистер Теккерей был склонен согласиться, и я спросил, списан ли граф с какого-нибудь живого лица.

- Право, не знаю, - последовал ответ. - Не помню, чтобы я был знаком с человеком, который мог бы послужить оригиналом.

- Так, значит, он создан вашим воображением, из каких-то общих наблюдений?

- Вероятно... Не знаю... Может быть, я где-нибудь его и видел.

Некоторое время мистер Теккерей молча курил с тем задумчивым видом, который, вероятно, был хорошо знаком его друзьям, а потом добавил негромко, словно говоря с самим собой:

- Право, не знаю, откуда я взял всех этих негодяев, подвизающихся в моих книгах. Во всяком случае я никогда не жил бок о бок с подобными людьми...

О себе и своих произведениях мистер Теккерей говорил с полной откровенностью и прямоотой, пример которых я приведу в заключение своего очерка. Такими же искренними и честными были и его отзывы о других писателях. Особой его любовью как будто пользовался Дюма-отец, автор "Монте-Кристо" и "Трех мушкетеров".

- Дюма обворожителен! - воскликнул он. - Меня интересует все, что он пишет. Я прочел его "Мемуары", я прочел все опубликованные

четырнадцать томиков. Они восхитительны! Дюма изумительный, изумительный писатель. Он лучше Вальтера Скотта.

- Полагаю, вы имеете в виду его исторические романы - "Мушкетеров" и все прочие?

- Да. Я сам чуть было не написал книгу на тот же сюжет, сделав своим героем мосье д'Артаньяна, того самого, из "Трех мушкетеров" Дюма. Ведь д'Артаньян - вполне историческое лицо: он жил в царствование Людовика XIV и написал мемуары. Я купил потрепанный экземпляр в лондонской книжной лавке за шесть пенсов и собирался их использовать. Но Дюма меня опередил. Он захватывает все подряд. Он изумителен!

- Я рад, что он вам нравится, потому что я его тоже очень люблю, сказал я. - Его находчивость и бойкость пера просто ошеломляют!

- Да, бодрости духа ему не занимать. Он вас развлекает, поддерживает в вас хорошее расположение духа, чего я никак не могу сказать о многих писателях. Одни книги меня радуют и поднимают мой дух, другие действуют на меня угнетающе. Я не испытываю удовольствия, читая "Дон Кихота", у меня только становится грустно на душе.

Дальнейшая беседа о старом рыцаре из Ламанчи позволила заключить, что источником этой грусти была живейшая симпатия к безумному идальго - такое глубокое сострадание ко всем его бедам и химерам, что ни остроумие, ни грубоватый юмор Санчо не могли, по его мнению, рассеять черные тени.

Оставив литературные темы, мистер Теккерей перешел к своей поездке по Америке и сказал, как польщен он был оказанным ему приемом... А разговор о Виргинии, об особенностях этого края, его жителей и т. д. вернул мысли мистера Теккерей к тому, что тогда, как мне кажется, было лишь литературным замыслом - во всяком случае, воплощение его увидело свет лишь два-три года спустя.

- Я напишу роман, действие которого будет происходить там, - сказал он.

- В Америке? Я очень рад и надеюсь, что это произойдет очень быстро.

- Нет, я возьмусь за него года через два... Меньше чем за два года я не сумею собрать необходимые материалы и освоиться с темой.

Писать о том, что мне неизвестно, я не могу. Сначала я должен побольше прочесть и обдумать все.

- Но это будет роман?

- Да, и о вашем штате. То есть будущем. Назову я его "Два виргинца".

(Как известно читателю, название в конце концов стало короче и проще "Виргинцы".)

Когда я выразил естественное удовольствие, что автор "Эсмонда" создаст роман, рисующий общество и обычаи Виргинии, мистер Теккерей изложил свой замысел подробнее, и я подумал, - как думаю и теперь - что в его характере преобладали простота, прямота и отсутствие какой бы то ни было скрытности. Почти незнакомому человеку он без всякой утайки рассказывал о задуманном романе и во всех подробностях изложил основу сюжета.

- Местом действия будет Виргиния во время вашей революции, - сказал он. - Героями будут два брата, и один встанет на сторону англичан, а второй американцев, и оба будут влюблены в одну девушку.

- Чудесный сюжет, - сказал я. - Так значит это будет настоящий исторический роман.

- Да, в нем найдет место история того времени.

- И какая сильная есть у вас развязка!

- Развязка?

- Ну, да - Йорктаун.

Еще не договорив, я вдруг понял, какую допустил неловкость: ведь я, ничтоже сумняшеся, посоветовал англичанину сделать кульминацией своего романа капитуляцию лорда Корнуоллиса!

- Прошу у вас извинения, мистер Теккерей, - сказал я с некоторым смущением.

- Извинения? - сказал он, удивленно поглядев на меня.

- За мои неуместные слова.

Его удивление стало еще больше: он, видимо, не понимал, что я имею в виду.

- Я как-то забыл, что говорю с англичанином, - сказал я. - В Йорктауне капитулировал лорд Корнуоллис, так что развязка эта, пожалуй, не так уж уместна.

- А-а! - произнес он с улыбкой. - Какие пустяки! Я давно смирился с Йорктауном.

- Да, я знаю, вы восхищаетесь Вашингтоном.

- О, да. Таких великих людей мало в истории.

Видимо, упоминания об этих давних исторических событиях не задевали его чувствительность, и я сказал с улыбкой:

- Теперь все любят и уважают Вашингтона, но не странно ли, как результаты меняют точку зрения? В семьдесят шестом году Вашингтон для англичан был бунтовщиком, и если бы вы его взяли в плен, так, возможно, и повесили бы.

На это мистер Теккерей ответил с большим чувством:

- Уж лучше нам было лишиться Северной Америки!

На этом кончается мой краткий рассказ о часовой беседе с этим человеком, наделенным великими и разнообразными талантами. Он был так же глубок, как его книги, и я почти готов сказать, что мне он показался даже интереснее своих книг. Это необычайное сочетание юмора и грусти, сарказма и мягкости, контраст между его репутацией сардоничнейшего циника, изрыгающего горчайшие анафемы на своих ближних, и живым, на редкость приветливым человеком, чей голос порой становился изумительно нежным и музыкальным, все это слагалось в интригующе-интересную личность, глубину которой трудно измерить.

УИТУЭЛЛ И УОРВИК ЭЛВИНЫ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

"Я знал только троих людей, чей гений, словно башня над равниной, высился над прочим человечеством. То были Броум, Теккерей и Маколей... Казалось, будто от природы они наделены гораздо большей массой мозга, нежели другие". Из всех троих отец отдавал пальму первенства Теккерее.

Это была самая горячая дружеская привязанность в жизни Элвина. В 1885 году "Тайме" опубликовал рецензию на появившихся в печати "Ньюкомов", автор которой ополчился на нравственное и религиозное содержание романа, и это больно задело чувства Теккерей. "Что касается религии, - писал он Элвину 6-го сентября 1855 года, - видит бог, мне кажется, что мои книги написаны горячо верующим человеком, что же касается нравственности, то пишу я о тщете успеха, как и всего в жизни, кроме любви и добродетели, не

таково ли и учение Domini nostri {Господа нашего (лат.)}? Вы как-то заметили, что у вас нет возражений против моей этики. Возможно, написав об этом, вы вывели бы сей бестолковый мир из заблуждения на мой счет". Элвин взялся откликнуться на книгу и напечатать в "Куотерли" теплый отзыв и дал роману весьма высокую оценку. "Вы слишком добры и снисходительны, - написал Теккерей по получении корректуры, - с каким удовольствием это прочтет моя любимая старая матушка!" Встретив затем отца 8-го октября на обеде у Джона Форстера, Теккерей принялся горячо доказывать, что главный редактор перехвалил его. "Я возразил, - пишет Элвин, - что его книги глубже, чем он думает, ибо, как я подозревал, работал он под действием инстинкта, не сознавая до конца, что вышло из-под его пера". "Да, я и сам не знаю, - признался Теккерей, - откуда что берется. Я никогда не видел тех, кого описываю, не слышал разговоров, которые они ведут между собой. Порой я сам бываю удивлен, читая то, что получилось". "Его чистосердечие не знало меры, - продолжает Элвин, - оно превосходило все, что мне случалось слышать. Его крупная голова казалась воплощением интеллектуальной мощи".

В ту пору Теккерей собирался в свое лекционное турне по Америке. Когда он возвратился, они с отцом случайно встретились на Пикадилли 10-го октября 1856 года, и отец пошел провожать его домой. Они беседовали, и Элвин спросил, работает ли он сейчас над чем-нибудь. "Я было начал одну вещь, ответил Теккерей, - но у меня не получилось, и я сжег ее... Я знаю, мне не перепрыгнуть "Ньюкомов", но нужно прыгнуть хоть до той же метки". Элвин стал расспрашивать, из-за чего он сжег написанное, и получил такой ответ: "Все покатилося по знакомой колее. Я истощил характеры, которые мне хорошо известны, ну а придумать новые совсем непросто. Сейчас у меня есть два, даже три новых замысла. Один из них таков - перенести повествование во времена доктора Джонсона". "Не делайте этого, - взмолился Элвин, - "Эсмонд" замечательная стилизация, но вы и сами не возьметесь утверждать, что никогда не погрешаете в деталях, ибо поневоле заимствовали их у других авторов. Писатель может воссоздать лишь собственное время. Вы намекнули в "Ньюкомах", что собираетесь поведать нам историю Джей Джей". - "Именно это я и пробовал писать, - ответил Теккерей, - но впал в какой-то безотрадный тон. Мне бы хотелось вывести жизнелюбивого героя, а это очень

трудно, ибо в таком характере должна быть глубина, дающая ему значительность, внушающая интерес. Пожалуй, невозможно выдумать героя, в котором не было бы доли грусти. По-моему, оптимисту следует играть вторую скрипку, он должен быть веселым, славным плутом. Но люди постоянно сетуют на то, что мои умные герои негодяи, а добродетельные - дураки". Элвин стал уговаривать его описать поэзию семейной жизни, противопоставить простым, домашним радостям томление и тщету великосветского рассеяния. Но Теккерей воскликнул с горечью: "Мне ли описывать прелести семейного очага! Я их не знал, вся моя жизнь прошла среди богемы. Да и описывать в домашнем счастье почти нечего. Такой картине с неизбежностью не доставало б живости. Я собирался показать Джей Джея женатым, изобразить те тяготы, которыми обременяет нас супружество. Потом он должен был влюбиться в жену друга и превозмочь свою любовь привязанностью к собственным малюткам". "Но и эту книгу, - сказал Элвин, - я умолял его не сочинять".

Пожалуй, не было другого человека, чье общество отец ценил бы столь же высоко, как общество Теккерей. "Все, связанное с ним, я вспоминаю с радостью, - слышал я от отца в 1865 году. - Я не способен говорить о нем без боли, я так его любил. Он был прекрасным, благородным человеком, простосердечным, как ребенок, в нем не было и тени кичливости или манерности. Его беседа была в высшей степени непринужденна". В свою очередь, и Теккерей испытывал к отцу большую теплоту. Оба они были словоохотливы, но ладили прекрасно, так как их интересы совпадали: оба любили литературу и ценили юмор. Теккерей привлекала в Элвине какая-то особая бесхитрость и, в то же время, даровитость. Он называл его доктор Примроз и так и обращался к нему в письмах, относящихся к той поре, когда они сошлись и стали близкими друзьями. Но есть еще одна причина привязанности Теккерей к Элвину, которая видна в одной его записке более позднего времени: "Не все любят меня, как вы. Мне кажется подчас, что я непопулярен по заслугам, и мне это порою даже по душе. С чего бы мне желать, чтобы я нравился Тому или Джеку?.. Я знаю, какого Теккерей воображают себе эти люди: эгоистичного, бездушного, хитрого, угрюмого, коварного. Какая желчь и горечь стекают с моего пера! Это у вас в душе нет ни единой червоточинки, мой дорогой Примроз, но примулы и розы плохо цветут в нашем климате..."

В мае 1857 года оба они с огромным удовольствием провели несколько дней в Норвиче, куда Теккерей приехал читать лекции о "Четырех Георгах". Он был в прекрасном расположении духа, чувствовал себя в своей стихии, был оживлен, касался в разговоре многих тем. Элвин вел тогда краткие записи, иные из которых стоит процитировать дословно: "Он очень тихо говорит, я напрягаю слух, чтоб ничего не пропустить. Он не тратит времени на развитие мыслей, а только намечает их, что как бы придает отрывочность его беседе. Мне кажется, что он не беспокоится о том, раскрыл ли он наилучшим образом и до конца ту или иную свою идею, а иногда - даже о том, успел ли собеседник уловить ее. Ему присущи две манеры - одна очень спокойная, очень серьезная, очень глубокомысленная, почти высокопарная, и другая (гораздо больше ему свойственная) - когда он всем играет, как мячом, небрежно и легко подбрасывая вверх не ведающей промаха рукой любые темы: забавные и важные, пустячные и значимые - и обращая в шутку каждую. Но если речь заходит о религии, он говорит без тени юмора, с торжественной серьезностью".

"Если бы даже вы не знали, кто перед вами, вас первым делом не могло не поразить, что он, как чародей, видел людей насквозь. Вы ощущали, что за пять минут он успевал составить опись обстановки в комнате и взвесить всех присутствующих на неких внутренних весах. Он две минуты спокойно вглядывался в чье-нибудь лицо и отворачивался, будто расшифровав все до последней черточки. Он постоянно обращая внимание на лица и говорил: "какое скверное лицо", или: "лицо висельника". В его глазах порочность перечеркивала всякую одаренность. Так, отмечая чей-то ум, он тотчас добавлял: "Но это скверный человек", как будто был не вправе восхищаться живостью ума плохого человека, и в то же время он неустанно всем подыскивал смягчающие обстоятельства: "Конечно, N присуща такая-то слабость, но нужно помнить, что для нее есть следующее извинение", или: "Не нужно забывать и о его хороших качествах". Казалось, от него не укрывалась и крупница доброго в душе у человека".

"Ему было пора собираться на лекцию, и он удалился. А я хотел побыть с детьми после обеда. По дороге из столовой он зашел к нам и сказал без тени улыбки и очень торжественно: "Я пришел проститься с вами на ночь", - после чего он подержал ручку каждого ребенка, затем

шагнул на балкон, достал из кошелька шиллинг, бросил игравшему под окнами духовому оркестру и со словами "Ну, а теперь пора на проповедь" отправился в гостиницу".

"Он просто и непринужденно говорит о собственных романах и, пересказывая содержание, по ходу дела объясняет, что собирался показать такую-то черту того или иного персонажа: "Мне часто говорят, что мой очередной герой надуман, но я-то знаю, что он такой и есть и взят из жизни".

"Он явно не придает особого значения своим творениям. Как будто он не приложил или, возможно, был не в силах приложить больших усилий к их созданию и потому не верит, что, будучи плодом не столь великого труда, они так много значат". "О моем восторженном отношении к его произведениям он отзывался так: "По-моему, вы бредите, это особый вид умопомешательства". Я спросил его однажды, как он нашел свой стиль в литературе, ведь ранние его произведения были написаны в иной манере, и он ответил, Что стал писать, когда его настигли беды, а стиль оттачивался постепенно".

"Он очень жалел, что отдал "Ньюкомов" другому иллюстратору. Я возразил ему, что и лицо, и фигура полковника Ньюкома найдены очень удачно. "Это я сам нарисовал его для Дойла", - объяснил Теккерей".

"Он смеялся, когда с ним говорили о посмертной славе, отвечал, что не понимает, зачем заботиться о славе, коль скоро сам ты мертв".

"Он рассказывал, что его мать была необычайно хороша собой и очаровывала всех, кого встречала на своем пути. "Когда я был ребенком, вспоминал он, - матушка взяла меня с собой на концерт в Эксетер. Она казалась герцогиней, так замечательно она была одета, такой у ней был выезд и все прочее. В свой следующий приезд в Эксетер я сам был в роли циркача-канатоходца и взял с собою дочерей. Слуга в гостинице почел их за участниц представления и ждал, когда они натянут на себя усеянные блестками трико, выйдут на сцену и споют куплеты. Мы ходили смотреть место, где Пенденнис поцеловал мисс Костиган, и все его довольно точно опознали".

"Первый писатель, которого мне довелось увидеть в жизни, - рассказывал Теккерей, - был Кроули. Я сидел на империале дилижанса, катившего в Кембридж; мне было лет семнадцать. Кто-то из соседей показал мне Кроули - в шестнадцать лет я прочитал

"Салатиеля" и был в восторге. Я обернулся и проводил писателя долгим взглядом. В эту минуту тот же спутник произнес: "Ну все, пропал человек", - он понял по моим глазам, что так может смотреть только писатель на писателя".

"Когда-то я ссудил знакомому, собиравшемуся в Индию, 300 фунтов на экипировку, - мы были соседями в Темпле. Он должен был вернуть мне долг, когда сумеет, что он и сделал в свое время. Когда он приехал в Англию, я отправился его проведать и пригласил отобедать со мною ровно через три недели - волею обстоятельств то был мой первый свободный вечер. Я трижды приглашал его, но он ни разу не явился. В конце концов, он сделал мне признание: "Честно сказать, я просто не могу прийти. Если бы ты приехал в Индию, двери моего дома были бы открыты для тебя, да и не только для тебя, но и для всех твоих друзей, - я бы их принял с распростертыми объятиями. Но вот я приезжаю в Англию и ты меня зовешь обедать через три недели!" Все дело в том, что, пока все эта люди живут в Индии, они лелеют в сердце образ Англии, радушия, родного дома, а когда приезжают, их ждет разочарование. Помните, брат приглашает полковника Ньюкома на обед ровно через три недели после встречи?"

"Возьму-ка я девочек и поеду в будущем году в Индию. Мне бы хотелось увидеть страну, где я родился. У меня там есть друзья в каждом судебном округе. Достанет дюжины лекций, чтобы оплатить поездку. Уитуэлл удивился, услышав о таком его желании, и заметил: "Я полагаю, вы бродяга по натуре". "Если бы я мог, - ответил Теккерей, - я никогда бы не жил дома". - "А вы умеете писать не дома?" - "Мне всюду пишется намного лучше, чем дома, и дома я работаю гораздо меньше, чем в других местах. Я и десяти страниц "Ньюкомов" не написал у себя в Бромптоне. Там только и написано, что две лекции. Вторая часть "Ньюкомов" написана в Париже. А лучше всего работается тут (он имел в виду гостиницу). Мы плотно завтракаем, и я сажаю одну из девочек записывать за мной. Это занятие неспешное, порой за четверть часа не продиктуешь ни единой фразы. С чужими у меня не получается. А с девочками все идет как нужно, да и они довольны. Не так давно пришел ко мне наниматься в секретари шотландец, я пробовал работать с ним, но он был глух, как тетерев. Я диктовал: "В ту минуту, когда леди Анна вошла в комнату, капитан

заметил графине..." - "Что-что?" - "Капитан сказал графине..." Это, знаете ли, невозможно было вынести".

Говоря о том, как утомляют его лекционные поездки, он прибавил: "Но есть в них что-то очень славное. Меня повсюду принимают очень радушно и по-доброму, зовут в дома, там завязываются дружеские отношения с новыми людьми, так что при расставании порою щемит сердце. Меня нередко просят расписаться в альбоме для автографов, где уже стоит множество имен певцов и скрипачей. В толк не возьму, зачем может быть нужен автограф скрипача. Я как-то расписался под синьором Твонкидилло. "Теперь укажите свой адрес", сказали мне. Но это уже было слишком, и адрес я не стал писать".

"Он сказал, что за такую-то лекцию получил 70 фунтов: "Я каждый год читаю благотворительную лекцию. Приятно ощущать, что у тебя в кармане всегда есть двадцать фунтов для бедных".

"Одна дама голубых кровей сказала мне на званом обеде в Нью-Йорке: "Меня предупреждали, что вы мне не понравитесь, и вы мне не понравились". А я ответил: "Мне совершенно безразлично, понравился я вам или не понравился". Ее это невероятно удивило".

Уитуэлл рассказывал, что во время их совместной пешеходной прогулки из Норвича в Торп ему было приятно наблюдать, с каким удовольствием отзывался Теккерей на красоту дороги и чудесного погожего дня. Уитуэлл похвалил его живость и приметливость, достойную истинного художника, но Теккерей возразил, что, к его величайшему огорчению, он больше не способен замечать так много, как в былое время.

"Он сказал мне, что чудесно провел время, гуляя по старому городу, который назвал "прелестный старый город". Ему нравился Эксетер, но Норвич нравился больше. Он восхищался красотой кафедральных соборов и монастырей, обошел замок (который служит в наши дни тюрьмой) и признался, что ему там словно не хватало воздуха, так больно ему было видеть "арестантов в полосатой одежде", он "рвался выбраться оттуда". Рассказывал он об этом с искаженным от горя лицом и был не в силах унять дрожь.

Он собирался в Ярмут, а Уитуэлл его отговаривал, убеждая, что там нет ничего интересного. "Я хочу увидеть Великий Океан и место, где жил старый Пеготти", - объяснил он".

Зимой 1857 года Элвин болел и был в подавленном состоянии духа, но он неизменно оживлялся при виде Теккерей. 6-го января 1858 года Элвин неожиданно для себя - увидел Теккерей на обеде у Форстера и с криком радости бросился к нему навстречу, забыв поклониться хозяйке дома. Джон Форстер попенял ему, сказав, что это на него не похоже. "О нет, похоже, - отозвался Теккерей и, быстро повернувшись к Элвину, промолвил: - Но так и быть! Я вас прощаю!" За обедом Элвин назвал новое стихотворение Теккерей "Перо и альбом" его лучшим стихотворением. "Я, к сожалению, не могу вам подарить перо, которым оно было написано, так как выронил и сломал его, когда был в Неаполе, но подарю вам пенал", - и он достал из кармана серебряный пенал с золотым пером и протянул их Элвину.

После обеда Элвин и Теккерей вместе вышли от Форстера, и по дороге Теккерей говорил о "Виргинцах", над которыми только начинал тогда работать, рассказывал, что собирается ввести в повествование Голдсмита - "изобразить его таким, каким он был на самом деле: маленьким ирландцем, потрепанным, жалким, с шаркающей походкой", Гаррика, которого он так хорошо воображал себе по многочисленным портретам, что даже знал, как он смеется, Джонсона и других славных людей эпохи королевы Анны. Он полагал, что для него нет ничего проще, как изобразить их, но по прошествии некоторого времени признался Элвину, что не способен это сделать. Неудача первоначального замысла его обескуражила, и во второй, вяло тянувшейся части романа давала себя чувствовать нехватка материала.

"Не приедете ли вы в Лондон, - спрашивал Теккерей у Элвина в письме от 24-го мая 1861 года, - взглянуть на новый дом, который я себе сооружаю? Такой хороший, светлый и удобный, и целиком построенный на выручку от "Корнхилла". Элвин рассказывал, что, когда он был в июне в Лондоне, они с Теккереем вместе завтракали и ходили осматривать дом. "Мой дядюшка, - сказал тогда Теккерей, - очень меня задел, сказав, что дом мой следовало бы назвать "Ярмарка тщеславия". "А почему же вы обиделись?" - "Да потому что так оно и есть. По правде говоря, дом слишком для меня хорош".

Во время этой встречи Элвин очень хвалил "Приключения Филиппа", печатавшиеся в ту пору в "Корнхилле". Но Теккерей, знавший в чем слабость его повести, не согласился с ним: "Я уже сказал свое слово по части сочинительства. Конечно, я могу с

приятностью исполнить старые напевы, но у меня в запасе нет ничего нового. Когда я болен, мне делается тошно от моих писаний и поневоле в голову приходит мысль: "Бог мой! К чему вся эта чепуха?" Мисс Теккерей спросила у него за завтраком, будет ли он обедать дома или в каком-нибудь трактире на реке. "Разумеется, на реке, - ответил он, - поеду в Гринвич, напишу "Филиппа". "Писать "Филиппа" в гринвичском трактире!" - воскликнул Элвин. "Я не могу писать в уюте собственного кабинета и сочиняю, главным образом, в гостиницах и клубах. Я заражаюсь оживлением, которое царит в общественных местах, оно заставляет мозг работать".

ДЖОН КОРДИ ДЖИФРИСОН ИЗ ВОСПОМИНАНИЯ

Сам я тщательнейшим образом заранее разрабатывал планы своих произведений, метод же, с помощью которого Теккерей создавал свои романы характеров, полные юмора, но относительно лишенные четкой интриги, был прямо противоположен моему. Он рисовал в воображении образы двух-трех главных персонажей и начинал писать, - но с перерывами, с передышками - и так от главы к главе, лишь примерно представляя себе повороты сюжета в следующих главах. "Своими персонажами я не управляю, - сказал он мне как-то. - Я в полной их власти, и они ведут меня, куда хотят".

Кое-какие острйки вмели обыкновение посмеиваться над снисходительностью Теккерей к столь странному протезе, но в конце концов он заставил их умолкнуть, воскликнув с горячностью: "Я не позволю, чтобы малыша Хэмстида поносили в моем присутствии. Я люблю малыша Хэмстида! Слышите, я люблю малыша Хэмстида, а что до его стихов, над которыми вы потешаетесь, так скажу одно: читая его стихи я получаю больше удовольствия, чем читая вашу прозу!" За что высокообразованный и разборчивый Теккерей вдруг полюбил старомодного карлика-клерка, на редкость лишенного каких-либо привлекательных качеств? Чтобы внятно ответить на этот вопрос, я должен подробнее описать первого секретаря нашего клуба. Он был не только мал ростом, но еще и горбат, причем ходил с трудом, опираясь на трость... Хотя я никак не могу согласиться с мистером Германом Меривейлом и мистером Фрэнком Марзелсом, будто Теккерей отличался истовой религиозностью и глубоким благочестием и что религия оказала большое влияние на его характер и образ жизни,

они, по-моему, правы в том, что разочарование - то есть глубокая непреходящая печаль, которую оставили в его душе различные несчастья, оказалось благодетельным для его благородной натуры и способствовало проявлению многих из лучших его качеств. Горе не только не притупило и не извратило его сострадательность, но, напротив, обострило ее и маленький горбун, секретарь нашего клуба представлялся ему слабым существом, нуждающимся в его защите по нескольким причинам. Собственное его лицо хранило следы несчастного случая, и добряк Теккерей увидел в старом клерке собрата-страдальца, которого судьба изуродовала куда более жестоко. Сам сложенный как великан Теккерей жалел малыша Хэмстида за его крохотность... Мы все называли его "дорогой Хэмстид", но только у Теккерей сердце было настолько большим и горячим, что он мог полюбить скучного маленького горбуна.

Любящая дочь, пусть даже она знает всю его жизнь, все-таки не лучший биограф, когда речь идет о жизнеописании великого юмориста, принадлежавшего богеме до конца своих дней, и чье семейное несчастье породило обильные следствия, которые необходимо не опускать или затушевывать, но наоборот показывать с достойной откровенностью и деликатностью - ведь историк тут должен представить потомству человека, настолько интересного, что даже его недостатки и заблуждения заслуживают почти такого же подробного разбора, как высочайшие его добродетели и таланты.

Он нередко повторял, что для создания джентльмена требуются три поколения, благородных от рождения. "Следовательно, вы не очень высоко ставите влияние благородного происхождения? - сказал он однажды в ответ на какое-то мое замечание. - Тем не менее я убежден, что для создания джентльмена требуется три таких поколения... Разрешаю вам, юноша, посмеяться над тем, как я горжусь своим безвестным родом, я ведь и сам прекрасно понимаю, насколько это нелепо. Я смеялся над собой, когда писал о генерале Брэддоке, что он, "человек далеко не знатного происхождения, глупо чванился несуществующими предками". Я не свободен от слабостей моих не самых примерных ближних, которых так ловко бичую моих книгах. И я сказал правду, самым четким шрифтом назвав себя снобом на титульном листе известной вам книги".

Теккерю не было и тридцати лет, когда он лишился общества жены из-за ее неизлечимого душевного недуга, который обрек его жестокому жребию вдовца, лишенного права вступить во второй брак, а так как бедная женщина пережила его, он пребывал в этой жестокой ловушке до самой смерти. Горе от потери подруги жизни и печальные размышления над ее злополучной судьбой все же, мне думается, меньше угнетали его дух и уж во всяком случае меньше вредили его здоровью, чем косвенные следствия этого семейного несчастья, которое разрушило их семейный очаг и обрекло его до конца дней влачить существование в тягостных условиях противоестественного безбрачия. Бесспорно, все, что было беспорядочным или вредным в образе жизни Теккеря после 1840 года, восходит главным образом к его потере. Если бы его брак продолжал еще двадцать пять лет дарить ему то же счастье, какое дарил до появления первых признаков нервной болезни его жены, Теккерей, возможно - и даже вероятно, все равно сохранил бы излишнюю склонность к веселью и радостям жизни, однако, влияние жены оберегло бы его от гастрономических излишеств, а тем самым и от болезней, которые в конце концов лишили мир его чудесного гения. То же влияние спасло бы его от недуга, который на закате дней так часто заставлял его обращаться к сэру Генри Томпсону за хирургическим лечением. Вскоре после кончины великого романиста лорд Хотон написал своей жене: "Вот и Теккерей умер. Впрочем, я не был удивлен, зная, как съела его болезнь, которой во многом объяснялась неровность, а порой и некоторые уклонения в его поведении". Болезнь и некоторые уклонения в поведении явились следствием катастрофы, сгубившей домашнее счастье Теккеря на тридцатом году жизни.

Последствия этого страшного несчастья были очень печальны, но сказать того же о последствиях утраты отцовского наследства я не могу, хотя несколько серьезных авторов и видели в ней один из тяжелейших ударов, выпавших на долю Теккеря в молодости. Принимая во внимание три особенности характера романиста - гордость, чувствительность и природную лень - я более радуюсь, нежели сожалею, что он пустил на ветер это наследство, едва его получив... Едва ли те, кто знал Теккеря-человека, будут оспаривать, что жгучий кнут бедности, о котором он столь часто и столь трогательно упоминал, достигнув благосостояния, побуждал его к

усилиям, каких он никогда бы не делал, если бы ему не надо было заботиться о дневном пропитании. На мой взгляд, Теккерей, располагая пятисотфунтовым годовым незаработанным доходом, скорее всего не стал бы искать литературных занятий, а с умеренным успехом занимался бы адвокатской практикой и кончил бы чиновником канцлерского суда или судьей, и не написал бы ни "Ярмарки тщеславия", ни "Ньюкомов".

ГЕРМАН МЕРИВЕЙЛ
ИЗ КНИГИ "ЖИЗНЬ ТЕККЕРЕЯ"

Внимание моего толстого старого друга сейчас же отвлеклось от прочих источников интереса. Он вступил в беседу с наставницами, пересчитал девочек по головам и задержал всю процессию. Мало ему было, чтобы каждая получила по шестипенсовику и могла истратить его на что-то давно облюбованное. Нет, он пожелал разменять всю сумму на новенькие шестипенсовики и каждой малышке дать ее монетку и погладить по голове. Сказано - сделано, и казалось, что смотришь на одну из картинок Лича, когда та же процессия девочек проследовала дальше, теперь уже в живописном беспорядке, что немало смущало наставниц, и с твердым намерением поместить капитал в такие ценности, какие в ту минуту каждой казались наиболее надежными. Если о великодушии поступка можно судить по удовольствию, какое он доставляет, у Стернова ангела-регистратора было в тот раз чему порадоваться. Как радовался дарящий, об этом я догадался по влаге на стеклах его очков. Если бы я ходил в очках, очень сомневаюсь, что они остались бы сухими. Это мое самое характерное воспоминание о человеке, который был не только, как всем известно, одним из величайших и мудрейших англичан, но и к тому же, - что известно далеко не всем, - одним из самых добросердечных.

Как все добрые и неиспорченные души, он любил театр. Однажды он спросил приунывшего приятеля, любит ли тот театр, и в ответ услышал обычное: "Да-а, если пьеса хорошая". "Да бросьте вы, - сказал Теккерей, - я сказал театр, вы этого даже не понимаете". Он любил слушать, как настраивают скрипки, любил усаживаться на свое место заблаговременно, еще до начала акта, чтобы ничто не мешало получать полное удовольствие, и высидивать все до конца... Когда я был еще совсем мальчишкой, помню, он пригласил меня и моего

товарища, который в это время гостил у нас (в этом был весь он - пригласить меня, а когда я дал понять, что у меня живет гость, сказать: "Ну и его приводи с собой, приводи хоть дюжину, если у тебя найдется столько приятелей, я мальчиков люблю"), пригласил нас пообедать с ним в старом историческом "Гаррик-клубе" на Кинг-стрит, а оттуда в другое, ныне тоже не существующее более заведение, в театр Виктории в Новом проезде, "личный театр королевы Виктории", как называла его мисс Браун, посмотреть заречную мелодраму, что гремела в те дни... Хозяин наш, мне думается, больше, чем его юные друзья наслаждался действием и страстями театра "Вик". Мы как раз достигли возраста, когда могли только оскорбиться такой "тканью, с начала и до конца сотканной из невероятностей", как наш покойный барон Мартин назвал однажды "Ромео и Джульетту". Но романист был не таков. Он, мне кажется, с большей охотой написал бы викторианскую мелодраму, чем "Ярмарку тщеславия". Ему всегда хотелось писать пьесы.

Волосы Теккерей для мужчины были прекрасны: мягкие, как шелк, и чисто белого цвета. Погруженный в страдания любимой горничной королевы Виктории, он сидел, склонившись над барьером, сжав голову руками (кресел в партере в театре "Вик" не было). Какой-то викит на галерее примерился и плюнул аккуратно в самую ее середину. Славный старец даже головы не поднял, он только воспользовался носовым платком и заметил: "Языческие боги, кажется, никогда так не поступали". Да, это была сказочная, незабываемая ночь. Когда он баловал малышкой, то неблагородная мысль отправить их спать пораньше ему и в голову не приходила. После театра он повез нас к Эвансу, где Пэдди Грин встретил его радостным "мой милый", и там мы ели такую печеную картошку, какой никто с тех пор не пек, и до утра слушали божественные голоса мальчиков в обрамлении богатейшей коллекции портретов бывших театральных знаменитостей. Как же Теккерей любил мальчишьи голоса!

Несколько лет спустя я спросил моего тогдашнего хозяина, помнит ли он, как мы в тот вечер обедали с ним в "Гаррик-клубе". "Конечно, - сказал он, и помню, чем я кормил вас. Бифштексом и омлетом с абрикосами". Я, придя в восторг от того, как хорошо он нас помнит, сразу же вырос в собственных глазах, о чем и сказал ему. "Да,

да, - сказал он и подмигнул неподражаемо, как никто, кроме него, не умел, - мальчиков я всегда кормил бифштексом и омлетом с абрикосами".

Один раз - всего один раз! - пьеса прославленного романиста была поставлена. Она шла лишь один вечер, и я имел честь быть в числе актеров. А ему пришлось сделать то, что делали многие менее значительные люди - ставить пьесу самому и быть собственным антрепренером. Был это, впрочем, чисто любительский спектакль и принимали его соответственно. До этого пьесу показали Альфреду Вигану, самому в то время известному знатоку комедий, и тот решил, что для сцены пьеса не годится. Я думаю, что Виган был прав. Да, написана она была превосходно и полна тонких шуток и деталей, какие мог выдумать только ее автор, но ей не хватало драматизма, движения...

Афиша Теккерей и сейчас лежит передо мной, и начинается она словами "Спектакли в Бес-Публик-холле". Больше всего на свете Теккерей обожал каламбуры, и чем хуже был каламбур, тем больше он им восхищался. Эту афишу он придумал сам и на двух вещах настоял: во-первых, чтобы было такое объявление: "Во время спектакля театр _не будет_ надушен патентованным распылителем Риммеля" - этой новинкой тогда дурманила публику половина лондонских театров, во-вторых, - чтобы "Бес-Публик-холл" подписал афишу. Я смиренно пытался убедить великого человека, что подобные шутки недостойны его, но он заявил, что они остроумнее всего, что есть в пьесе, и он обязательно так и сделает, только и всего. Милый вечный ребенок!

Из обычной критики, некрологов и прочего, что последовало за смертью Теккерей, стоит отметить один отклик. Он принадлежит перу Энтони Троллопа. О Теккерее-человеке там сказаны очень верные слова, что у любящих его чувство их было сродни любви к женщине. Так оно и было, а было потому, что он сам обладал чисто женским нежным обаянием: находясь с ним, не чувствовать этого было невозможно; и женской капризности тоже в нем хватало. Если Теккерей мог писать такую прозу, значит, он был поэтом, и не просто сочинителем стихов, а настоящим поэтом. Смерть Элен Пенденнис - это поэзия. Чтобы не говорить попусту о писателе, я пытался показать его как человека. В этом куске перед нами весь человек, каким я знал его.

Это был самый чувствительный из смертных. Он ощущал, вероятно, некий изъян в своих манерах, некую робость, неумение с первым встречным быть запанибрата, и поэтому ему нравилось нравиться, он любил, чтобы его любили. Постоянным его желанием было, чтобы о нем хорошо говорили и думали, и случалось, что ей ежилась и хмурился, видя, что широкая публика его не понимает. А иначе и быть не могло. Ему была свойственна не только чисто женская мягкая доброта, но и другая женственная черта - болезненная восприимчивость. В нем больше, чем в ком бы то ни было, я замечал непере译имое гетевское Ewigweiblichkeit {Вечно женственное (нем.)}. В неподходящей атмосфере он сжимался, как от холода. От присутствия одного неприятного ему человека сразу замолкал. Он не любил много говорить и не блистал в разговоре. Больше всего радости ему доставляло сидеть в тесном кружке близких друзей, где он мог безнаказанно (да простится мне это выражение) валять дурака. Desipere in loco (дурачиться, когда это кстати. Гораций) было его любимым занятием. Он огорчался, если кто-нибудь не мог его понять и разделить это настроение. Известно, что в дни "Корнхилла", когда он трудился на нелегкой стезе редакторства, которое ему никак не давалось (как он говорил - обязанности эти заставляли его ощущать себя лягушкой под зубцами бороны), он умолкал, когда в комнату входил один из виднейших сотрудников, а потом объявлял: "А вот и мы, теперь надо говорить всерьез". Между тем человек этот отлично ладил с людьми. Теккерей же не принадлежал к числу тех, у кого "нет врагов".

Не знающий вражды в с дружбой незнаком.

"Он ничего" - и это все, что скажут о таком.

{Пер. Д. Веденяпина.}

Очень хороший малый может быть очень дурным человеком. Два главных секрета великого Теккерей, как я это понимаю, были следующие: разочарованность и вера. Первое было ядом, а вторая - противоядием, и, как всегда случается, противоядие одолело яд. Разочарованность его легко объяснима. Сначала богатый молодой человек, потом разорившийся художник, потом журналист, признанный в среде даже собратьев по перу, но, подобно остальным, почти неизвестный вне этого круга, и наконец романист и знаменитость: ему было уже тридцать восемь лет, когда появился

первый выпуск "Ярмарки тщеславия". До этого его по-настоящему и не знали, а в пятьдесят два года он умер.

Почитаемый и нежно любимый друзьями, самыми избранными и достойными, он сумел сохранить их и сохранить так чудесно, что через двадцать пять лет после смерти он остается для них более живым, чем воловина населяющих землю...

"Я был увлеченным и, хочется думать, искушенным поклонником Теккерея, - пишет Санг, - но лично с ним познакомился только в 1849 или 1850 году. Случилось это в старом клубе Фиядинга, где мы оказались как-то вечером одни. Великий человек вступил со мной в беседу, и общество его показалось мне восхитительным. Не зная Теккерея в лицо, я понятия не имел, кто со мной разговаривает. Мы вместе вышли из клуба уже на рассвете, он отправился к себе в Кенсингтон, а я пошел по Сент-Джеймс-стрит к себе на квартиру. На прощание мой спутник очень тепло пожал мне руку и сказал: "Молодой человек, вы мне нравитесь, приходите ко мне в гости. Меня зовут Микеланджело Титмарш". Я продолжал время от времени встречаться с ним, хотя в настоящую близость это знакомство перешло только в 1852 году, в Вашингтоне, где несколько лет я являлся атташе при английской миссии. В тот год Теккерей читал в Соединенных Штатах лекции, и мы часто встречались. Я там и женился, и написал Теккерее, который был в Нью-Йорке, пригласив его на свадьбу. Из длинного ответного письма я привожу отрывок:

"Я женился в вашем возрасте, имея 400 ф. годовых от газеты, которая через полгода после этого прогорела, и мне приятно услышать о молодом человеке, который вот так же смело бросает вызов судьбе. Если увижу, как можно вам помочь, помогу. Брак мой, как вы знаете, окончился крахом, но я и теперь так поступил бы, точно так же, ибо Любовь - это венец и завершение всего, что есть на земле доброго. Человек, который боится судьбы, не достоин и счастья. Лучший и приятнейший дом, какой я знал в жизни, существовал на 300 ф. в год".

В 1853 году Синги приехали в Англию, и Теккерей, который в это время гостил с дочерьми у своей матери в Париже, узнал об этом из списка пассажиров парохода. Он тут же пересек Ла-Манш, чтобы повидаться со своим молодым другом в Министерстве иностранных дел, потом посетил его жену в квартире, где они остановились, и сказал ей: "Дорогая моя, мы, англичане, очень хороший народ, но

некоторые из нас не так дружелюбны и радушны, как ваши соотечественники. Я не могу разрешить вам быть одной в квартире, где о вас и позаботиться некому, пока ваш муж на службе. Будьте так добры, поедem со мной в мою развалюху на Янг-стрит. Я сегодня же должен вернуться в Париж, но и я, и мои дочери приедem к вам как только сможем. И помните, что дом этот ваш, а мы ваши гости". Он не стал слушать никаких возражений и увез-таки молодую жену к себе. Синги прожили на Янг-стрит, в довольстве и лучах его ласковости, до конца года, когда он, нехотя и после долгих уговоров, разрешил им снять себе квартиру в Вестминстере. Много лет он постоянно бывал у них, а они проводили много времени в его доме. Приходя к ним, он никогда не забывал заглянуть к инфантам этого семейства, которые до сих пор помнят, как "высокому моралисту" приходилось пригибать голову, чтобы пройти в дверь детской.

Не то чтобы Теккерей, как свидетельствует его старый друг Синг, мог написать или произнести что-нибудь с намерением оскорбить чьи-то чувства. Ведь даже дядя Тоби не мог бы сравниться с ним в мягкосердечии; но он никогда не претендовал на взвешенность каждого своего слова и не притворялся, что более свободен от предрассудков, нежели Чарлз Лэм, который назвал себя человеком "с гуморами, фантазиями, беспокойным сердцем, требующим книг, картин, театров, болтовни, сплетен, шуток и чудес, и кто его знает чего еще". Следует помнить, что я часто, иногда подолгу, гостил в семье Теккерей, что он был совершенно откровенен со мной и очень часто жалел, что в сердцах писал и говорил такое, что, по размышлению, считал несправедливым.

Ссылаясь на того же свидетеля, можно привести образчик поэзии, какой мистер Теккерей в самые неожиданные минуты любил отдать дань. Когда за обедом речь естественно зашла о гастрономии и высказывались серьезные мнения по этому вопросу, некая прелестная соседка обратилась к нему с серьезной просьбой: сказать, какая часть птицы, на его взгляд, лучшая для жаркого. Он ответил ей проникновенным взглядом и произнес:

"Не скушать ли крылышко утки?"

Бедняжка моя прошептала.

Потом она охнула жутко,

Свалилась и больше не встала.

{Пер. Д. Веденяпина.}

В другом случае его любовь к стишкам, похожим на вирши Лира, заставила его вместе с дочерьми и другом Сингом, по обыкновению, помочь какому-то несчастному переводить немецкие стихотворные подписи к картинкам; получилась популярная книга шуточных стихов, известная посвященным как "Бюджет Бамблби Бога".

Однажды порядком обтрепанный ирландский джентльмен, нечто вроде знаменитого Костигана, не будучи представлен, заговорил с ним. Акцент его был густ и благороден, но в какой-то момент он сказал: "Вы не поверите, сэр... но я - ирландец". - "Боже мой! Не может быть, - отозвался Теккерей, а я вас принял за итальянца!" Теккерей сохранил озорное пристрастие к Ирландии и ирландцам и многие из его ирландских баллад не уступают по лихости балладам Левера. Но эта его причуда не была правильно понята. Его добродушное зубоскальство сочли насмешкой. А однажды в конюшне у Энтони Троллопа любопытный старый конюх, услышав имя Теккерей, сказал ему: "Я слышал, вы написали книжку про Ирландию, вы всегда над ирландцами смеетесь. Вы нас не любите". "Боже упаси, - сказал Теккерей и отвернулся, а глаза его наполнились слезами, - я как раз больше всего люблю все ирландское". Об ирландских странностях он любил потолковать и на лекциях в Америке, с упоением рассказывая, что однажды в Сент-Луисе слышал, как один официант-ирландец сказал другому: "Ты знаешь, кто это?" - "Нет", - ответил тот. "Это, - сказал первый, - знаменитый Теккер". - "А что он сделал?" - "А шут его знает".

О том, как он в последний раз виделся со своим другом мистером Сингом, я решил рассказать точно, с его слов. "Перед самым моим отъездом на Сандвичевы острова, - пишет Синг, - когда я еще жил в доме мистера Теккерей на Пэлас-Грин, - мы с моим хозяином встретились однажды в библиотеке. Он начал: "Хочу вам кое-что сказать, больше я вас не увижу. Я чувствую, что обречен. Я знаю, что это вас огорчит, но загляните в эту книгу и там найдете что-то, что, я уверен, вас порадует и утешит". Я достал с полки книгу, на которую он указал, из нее выпал листок бумаги, на котором он написал молитву. Всю ее я не помню: знаю только, что он молился о том, чтобы никогда не написать ни слова, несовместного с любовью к Богу и любовью к человеку, чтобы не распространять собственных предубеждений и не

потакать чужим, чтобы всегда говорить своим пером правду и никогда не руководствоваться любовью к наживе. Особенно хорошо помню, что заканчивалась эта молитва словами "именем Иисуса Христа, Господа нашего".

УИЛЬЯМ БЛЭНЧЕРД ДЖЕРРОЛД

ИЗ КНИГИ "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: ДЕНЬ С ТЕККЕРЕЕМ"

Можно ли забыть, хоть раз увидев, эту осанистую фигуру и величественную голову? Вот он идет, всегда один, без спутников, по холлу "Реформ-клуба" или по тихим, просторным коридорам "Атенеума", высматривая уголок, где можно поработать час-другой, исписывая четким почерком, таким же, как у Питера Кэннингема или у Ли Ханта, крохотные листки бумаги - они всегда лежали у него в кармане; вот он глядит в окно задумчивым или печальным и усталым взором, неторопливо шествует по Флит-стрит по направлению к Уайт-Фрайерс или в "Корн-хилл" - странная фигура, словно не от мира сего. Кто из знавших его не помнит, как славный старина Теккерей - так нежно называли его близкие друзья - грустный или веселый шагает по лондонским улицам? Он, как и Диккенс, был яркой и неотразимой личностью. Наверное, не было на свете двух людей, столь разных по уму и по характеру, как два этих писателя, увенчанные мировым признанием, и все же по влиянию на окружающих они были равны и схожи. У Диккенса сила была живая, быстрая, дышавшая здоровьем и словно исходившая от мощного мотора, разогреваемого изнутри огнем; у Теккерей она была спокойная, величественная, легко и широко струившаяся, подобно полноводному ручью. О внешности и об осанке Готорна кто-то сказал, что они "скромно-величавы", я нахожу, что это можно отнести и к Теккерейю. Я много раз дивился про себя тому, как много общего у этих двух людей, идет ли речь об умственных или физических особенностях. Как и Готорн, Теккерей шел по жизни "одиноким, словно туча", впрочем, то была туча с серебряной подкладкой, о чем нам всем не нужно забывать. Лица обоих становились и печальны и серьезны, когда они считали, что на них никто не смотрит, и оба временами бывали "замечательно подвержены веселью". В обоих зачастую проглядывало что-то детское, мальчишеское, но это чувствовалось и в таланте Диккенса, и в даре моего отца. Когда я слушаю рассказы Филда о том, как Готорн радовался морю или как он, такой большой и одинокий, смотрел в

ночное небо, мне кажется, что это сказано о Теккерее. Теккерей напоминал Готорна и тем, что грустное, торжественное выражение, подобно маске, вдруг слетало с его лица, мгновенно покрывавшегося тысячью морщинок, и раздавался громкий и веселый смех. Я помню, как однажды потешался мой приятель, рассказывая в "Реформ-клубе", что только что у двери "Атенеума" расстался с Теккереем, который, будучи не в силах торговаться с привезшим его извозчиком, задумал разрешить возникший спор орлянкой на таких условиях: если выигрывает Теккерей, противной стороне достанутся два шиллинга, а если счастье отвернется от писателя, извозчик получает шиллинг. Фортуна улыбнулась Теккерею, и он потом неподражаемо описывал, с каким достоинством, как истый джентльмен, извозчик принял поражение. Впрочем, бывало и совсем иное. Не раз случалось так, что он не мог освободиться от брони суровости даже при встрече с близким другом, попавшимся ему на улице. Вдвоем с приятелем, который знал и Теккерея, мы как-то встретили его, трусившего верхом по Флит-стрит в сторону Уайт-Фрайерс, - он выглядел так странно. Мой спутник бросился к нему, но он едва коснулся шляпы кончиками пальцев и, не сказав ни слова, не дрогнув ни единым мускулом лица, застывшего, как гипсовая маска, проехал дальше. Топнув ногой от удивления, мой друг воскликнул: "Поверите ли вы, что мы не расставались с ним до четырех часов утра, что он был веселее всех в компании и распевал "Наш преподобный доктор Лютер"?"

Не нужно забывать, что Теккерей был человеком слабого здоровья и не щадил себя в работе. На протяжении многих лет его терзали разные недуги, которые он выносил стоически и к миру храбро обращал свое спокойное, прекрасное лицо "великого Ахилла, которого мы знали" и любили - любили тем нежней, чем лучше знали. Конечно, миру внешнему, тем посторонним, среди которых он бывал впервые, он не внушал любви, а часто даже и приязни. В таком кругу он был невозмутим и холоден, словно поверхность металлического зеркала. В "Бриллианте Хоггарти", в той восхитительной главе, где Сэмюел Титмарш едет в карете леди Бум, есть следующий отрывок: "Хоть я и простого звания и слышал, как люди возмущаются, если кто так дурно воспитан, что ест горошек с ножа, или просит третью порцию сыру, или иными подобными способами нарушает правила хорошего тона, но еще более дурно воспитанным я почитаю того, кто обижает малых

сих. Я ненавижу всякого, кто себе это позволяет, а строит из себя светского господина, и по всему этому я решился проучить мистера Престона" {У. М. Теккерей. Собр. соч. в 12-ти томах, т. I, пер. Р. Облонской.} Сэмюел Титмарш и впрямь проучил мистера Престона. В этих словах содержится разгадка светского поведения писателя. Он был кумиром малых сих, но обливал презрением проныр, старавшихся втереться в общество аристократов и вымещавших все свои пинки и унижения на тех, кто был от них зависим. Малейшее проявление любви и доброго расположения со стороны простых людей необычайно трогало писателя, и это замечательное чувство (достойное лишь просвещенной личности) нигде не выразилось ярче, нежели в тех диковинных словах, в которых автор посвящает "Парижские очерки" своему портному мосье Арцу:

"Сэр, увидеть и восславить добродетель, где бы она ни открывалась нам, и рассказать о ней своим собратьям в назидание и с тем, чтоб вызвать в них заслуженное восхищение, благой удел для всякого, кто бы он ни был. Несколько месяцев тому назад, представив автору сих строк довольно скромный счет за изготовленные вами по его заказу сюртуки и панталоны и услышав в ответ, что неотложное удовлетворение означенной претензии его бы чрезвычайно затруднило, вы так ему сказали: "Mon Dieu {Боже мой (фр.)}, не думайте об этом, сэр, и если вы испытываете денежные затруднения, что так естественно для джентльмена, живущего в чужой стране, у меня дома есть тысячефранковый билет, которым вы вольны распорядиться, как вам заблагорассудится". Знание истории и жизни подсказывает мне, что люди редко совершали столь достохвальные поступки, и, получив такое предложение от портного и человека мало мне знакомого, я счел это событием настолько поразительным, что, сделав вашу добродетель общим достоянием, довел до сведения английской нации и ваше имя, и достоинства, за что прошу у вас прощения. Позволю себе к этому прибавить, сэр, что вы живете в бельэтаже, что ваше платье превосходно и сидит отлично, а ваша плата и разумна и умеренна, и разрешите положить к вашим стопам сей скромный дар в знак восхищения".

Будем же лицезреть его, когда он благорасположен, когда этот огромный человек с большой сереброкудрой головой, по временам суровый, молчаливый и торжественный, добр к малым сим и

страждущим, любим детьми и женщинами; будем же лицезреть "великого Ахилла, которого мы знали".

ДЖОРДЖ ЭЛИОТ

ИЗ ПИСЬМА К СУПРУГАМ БРЭЙ

13 ноября 1852 года

"Эсмонд" - самая обескураживающая из всех книг, какие только можно себе помыслить. Помнишь, дорогая, как тебе не понравился "Франсуа-найденыш" Жорж Санд? Так вот, в "Эсмонде" та же коллизия: герой на протяжении всей книги любит дочь, а под конец женится на матери.

ЭДИТ СТОРИ

ИЗ ВОСПОМИНАНИИ И ДНЕВНИКОВ

Я вывозила Анни (его дочь) на ее первый бал в Ратуше, и меня привело в умиление, как заботился отец о том, какое платье она наденет, как будет выглядеть и весело ли ей будет на балу. Он не ложился спать, дожидаясь ее возвращения, чтобы услышать от нее подробный рассказ, пока впечатления были еще свежи в ее памяти, и от души наслаждался восторженным описанием увиденного ею великолепия. Выходя на прогулки, он нередко навещал нас, беседовал с Эдит о всякой всячине, вместе с ней обсуждал ее наряды и даже пересчитывал носки "mon petit frere" {Моего братца (фр.)}, к которому относился с живым интересом. Зимой следующего года Теккерей приехал в Бостон и, помню, обедал у нас на Роу-стрит в день рождения нашего Уолдо, когда тому исполнился год; Теккерей называл его "Генрихом Восьмым" и подарил малышу первый в его жизни золотой. (Возвращаясь к горестной зиме в Риме, когда умер ее старший сын, миссис Стори вспоминает, что) в то время мы умоляли его забыть о нас, не погружаться с нами в бездну скорби, а отдохнуть душой среди своих близких, согреваясь столь заслуженной им сердечной любовью и заботой. Но Теккерей не желал слышать об этом и постоянно приходил к нам. Невозможно забыть, с каким душевным участием и состраданием разделял он наше горе, словно сам потерял сына. Однажды мне попался старый детский башмачок, который пробудил во мне столько мучительных воспоминаний, и Теккерей до глубины души тронул меня, когда вместе со мной плакал над этим башмачком. Мало кто мог бы понять так, как он, что значила для матери эта маленькая вещица. Те, кто судил о Теккере по внешности и манере

держаться, называли его циником, но природа наделила его самым чутким и верным сердцем на свете, он умел глубоко сострадать и щедро протягивал руку помощи. Мне думается, он был искренне привязан к нам - и мы отвечали ему горячей любовью и получали истинное удовольствие от встреч с ним. В узком кругу он говорил много и охотно, но в большом обществе казался неразговорчивым.

Теккерей бывал у нас постоянно. Когда он впервые появился в моей комнате, то показался мне добрым великаном, и я сразу же потянулась к нему всем своим детским сердцем. Разница в возрасте совсем не смущала меня, я просто не замечала ее. По сей день я помню Теккерей таким, каким увидела его тогда: большое тело, огромная голова, внимательный взгляд, очки в золотой оправе, - по моему детскому разумению, единственная деталь в его облике, заставлявшая усомниться в том, что он настоящий великан.

В те дни, когда добрый великан не приходил, ничто не радовало меня, и глаза мои то и дело обращались к двери в беспокойном ожидании. Тогда я еще не догадывалась о том, что смогла оценить лишь с годами, - какое же отзывчивое сердце было у этого человека, если он отказывался от прогулок по Риму, где все для него было интересно, отказывался от встреч со своими многочисленными друзьями и шел туда, где в полутемной комнате ждал его больной ребенок, прикованный к постели. Теккерей садился на край кровати или же очень близко придвигал к ней кресло и, о радость, читал мне "Кольцо и розу" главу за главой. Когда чтение заканчивалось, мы обсуждали то, что происходило с героями сказки так, как если бы они были реальными живыми людьми. Я держала в руках страницы, исписанные знакомым бисерным почерком, и никак не могла взять в толк, как это великан может писать такими "мелкими буквами", и в конце концов решила, что ему, верно, помогал какой-нибудь гном-переписчик. Когда я сказала Теккерей об этом, он только улыбнулся в ответ, и я обрадовалась, что угадала!

Иногда Теккерей просил меня: "А теперь ты расскажи мне что-нибудь интересное", и я ужасно старалась вспомнить какой-нибудь забавный случай или же сама сочиняла сказку. А тем временем он садился к столу и карандашом или чернилами рисовал иллюстрации к моим рассказам... Прощаясь перед отъездом, он обещал, что напечатает "Кольцо и розу" как настоящую книгу и обязательно

подарит мне первый экземпляр и другой, переписанный сказочным гномом.

Последний раз я видела Теккеря в его доме на Пэлас-Грин... Мы сидели за столом, как вдруг лицо его исказилось от боли, он быстро вышел в соседнюю комнату, все поспешили за ним. Он ужасно страдал, а я сидела беспомощно в углу, не в силах пошевелиться от страха за него, пока взрослые старались хоть чем-то облегчить его мучения. Понемногу боль утихла, Теккерей открыл глаза и, увидев мое испуганное, залитое слезами лицо, позвал меня: "Подойди-ка ко мне, Иди Охилтри. Видишь, дитя, ничего страшного".

ЭНТОНИ ТРОЛЛОП ИЗ КНИГИ "ТЕККЕРЕЙ"

Теккеря нередко называли циником. Разумеется, о человеке, который посвятил себя служению общественному благу, следует судить по его деяниям. Если в своих сочинениях Теккерей выказал себя циником, - а здесь не место это обсуждать - то, возможно, правы те, кто упрекает его в этом. Но думая о Теккерее как о человеке, я утверждаю, что цинизм был совершенно чужд ему. Его самой яркой особенностью, помимо удивительного литературного дара, я назвал бы почти что женственную мягкость натуры. Для него не было большего удовольствия, чем порадовать окружающих каким-нибудь пустяком - подарить школьнику соверен, а девушке перчатки, пригласить приятеля на обед, сказать женщине комплимент. Его отзывчивость поистине не знала границ. И доброта его была бесконечной. С одним нашим хорошим знакомым приключилась беда, ему срочно потребовалось много денег - около двух тысяч фунтов, но к кому бы он ни обращался, никто не мог одолжить ему такую внушительную сумму, и он был в полном отчаянии. Раздумывая, как помочь бедняге, с которым я только что простился, я шел по улице мимо здания Конной гвардии и возле двух бравых конногвардейцев, несущих караульную службу, встретил Теккеря. Я рассказал ему, в какую беду попал наш приятель. "Вы хотите сказать, что я должен найти две тысячи фунтов?" - спросил он сердито, добавив к этому несколько выразительных слов. Я уверил его, что у меня и в мыслях не было ничего подобного, я думал только посоветоваться с ним. Вдруг он как-то по-особенному улыбнулся и, подмигнув мне, сказал вполголоса, словно бы стыдясь подобной мелочности: "Я обещаю половину, но кто-то должен дать

остальное". Через день-два он действительно одолжил обещанную сумму, хотя этот джентльмен был всего лишь одним из его многочисленных знакомых.

Я с удовольствием могу сообщить читателям, что в скором времени деньги были ему возвращены. Можно вспомнить немало подобных историй, но ни к чему занимать ими место, да к тому же если их пересказывать одну за другой, они покажутся однообразными.

Таким я знал Теккерея, которого многие называли циником, а я считаю одним из самых сердечных людей, добрым, как само Милосердие. Он прошел свой жизненный путь, оставив нам бесценное наследие, делая людям добро и никому не причинив зла.

Любое "надувательство", лицемерие, фальшь выпренной сентиментальности, наигранность поэтического пыла, не имеющего ничего общего с истинными человеческими чувствами, вызывали у Теккерея столь сильное отвращение, что порой он был даже готов счесть - или по крайности объявить во всеуслышание, - что так называемая "возвышенная поэзия" лжива. Он ненавидел ложь в любых обличиях и блестяще высмеивал ее, создав целую вереницу таких персонажей, как Желтоплюш, Кэтрин Хэйс, Фиц-Будл, Барри Линдон, Бекки Шарп и другие.

Неподражаемое своеобразие стихотворений Теккерея, как и его прозы, - в тесном переплетении юмора, чувствительности и благородного негодования. В любой строфе у Теккерея мы непременно найдем и юмор, и сатирическое обличение, но тот, кто умеет смотреть глубже, всегда обнаружит нечто, способное растрогать душу. Что бы ни говорил и ни писал Теккерей, он неизменно обращался к нашему чувству юмора, но никогда это не было для него целью. В каждой его шутке есть высокий смысл - пробудить сострадание к людским несчастьям или возмутить нас картиной творимого человеком зла.

Я далек от утверждения, что Теккерей займет почетное место среди корифеев английской поэзии. Да он первый посмеялся бы над подобным предсказанием. И все же я думаю, что его стихи не забудутся в отличие от опусов многих прославленных ныне поэтов, и с течением лет интерес читающей публики к ним возрастет.

Излюбленным приемом Теккерея было изобразить самый омерзительный порок прячущимся под маской добродетели и благородства - тем самым он достигал удивительной силы

разоблачения. Однако мрачный юмор таких пародий многим был не по душе, в нем видели попытку обелить порок, выдав его за добродетель. Как мы осудили бы сыщика, который бражничал ночь напролет с преступником, чтобы выудить у него доказательства совершенного им убийства, так подвергался осуждению и Теккерей, обвиненный в том, будто в своих произведениях он настолько запанибрата с отпетыми негодьями, что читатель сбит с толку и сомневается, а не забыл ли автор, о каких проходимцах он ведет рассказ. В "Барри Линдоне" такая сатирическая манера Теккерея получила наиболее яркое воплощение. По мнению некоторых критиков, Барри вызывает у нас столь дружеское участие, что, следя за драматическими перипетиями его судьбы, мы склонны скорее сочувствовать этому негодяю, чем осуждать его. Дойдя до того места, где Барри оправдывает свой промысел шулера, иной читатель может рассудить: "Ну разве этот человек мошенник? Да он просто герой". На самом деле, Теккерей ни в чем не отступает от законов жанра и, используя бурлеск и пародию, показывает, как ловко проходимец старается скрыть свою низкую сущность. Я допускаю, многие упрекнул автора в том, что он слишком глубоко упрятал разоблачение. Но, на мой взгляд, это вершина мастерства юмориста - и нравоучителя.

Теккерей отличался несравненным даром пародиста, а между тем следует помнить, что этот жанр юмористической литературы таит в себе определенную опасность. Нередко пародист достигает лишь внешнего сходства, подобно тому, как плохой ювелир выдает грубую подделку за настоящую драгоценность. Пародии Теккерея, большого мастера этого жанра, никогда не были оскорбительны. Они так и блещут остроумием, и хотя порой кажется, что юмор льется в них через край, чувство меры не изменяет автору, и ни единым словом не принижает он подлинника, с которого писал свою пародию. Теккерей умел создавать карикатуры, никого не обижая грубой насмешкой, и достигал поразительного сходства, никогда не греша безвкусицей. Поклонники "Конингсби" не перестанут восхищаться этим романом Дизраэли, прочитав "Котиксби". "Юджин Арам" не утратит своей привлекательности в глазах ценителей романтической литературы после превосходно написанной истории о карьере Джорджа де Барнуэла. Строгие судьи могут сказать, что никакому фарсу не под силу осмеять "Айвенго" и повредить славе этого бессмертного

творения. Разумеется, в повести "Ревекка и Ровена" Теккерей и не думал посягать на эту святыню. Роман нисколько не стал хуже после пародии Теккереем, его достоинства ничуть не пострадали, и все же я не знаю более совершенной пародии, написанной на английском языке. Каждый персонаж узнаваем, и все события воспринимаются как естественное продолжение романа Скотта. Создав удивительно точный шарж на знаменитый роман, Теккерей не придал ему характер, оскорбительный для автора "Айвенго". Между тем сам пародист преследовал цель большую, нежели простая забава. Он высмеивает лицемерных жен, деспотов на троне, бездельников-лордов и епископов. Шутка ради шутки пустое занятие, но когда в насмешке есть глубокий смысл, перед пером такого мастера, как Теккерей, она может обрести немалую силу.

Теккерей взял на себя тяжкую миссию бичевать пороки и высмеивать людскую глупость. Не стоит забывать, что любого автора сатирического произведения можно назвать циником... Такая слава укрепилась и за Теккереем. Но те, кто обвинял его в этом, судили, не вдаваясь в суть. Чтобы понять любого писателя, следует читать не только в его книгах, но и в его сердце. Когда сатириков упрекают в цинизме, обычно говорят, что они брались за перо не для того, чтобы заклеить порок, а чтобы излить свою злобу. Но утверждать подобное о Теккерее, человеке и писателе, представляется мне глубочайшим заблуждением.

"Проповедуя, он возвышал свой голос" в надежде, что на земле станет меньше зла. Каждый из нас, писателей, проповедует свое слово истины, но мало кто столь рьяно. Теккерей метал громы и молнии, нападая на своих современников, бичуя и порицая с такой горячностью, что порой забывал обратить взор на то благое, что есть в жизни. Однако и его душа жаждала отдохновения, и тогда, остыв от праведного гнева, он прославлял добродетель. Так появились Доббин, Эсмонд, полковник Ньюком. И все-таки в его книгах анафемы звучат куда громче. Как я заметил, это нередко случается с особенно страстными проповедниками.

ДЖОРДЖ ХОДДЕР

ВОСПОМИНАНИЯ СЕКРЕТАРЯ

Приступая к рассказу об Уильяме Мейкписе Теккерее, я невольно испытываю смущение, даже робость, и то, что этого всемирно

прославленного писателя нет больше среди нас, нисколько не прибавляет мне смелости. Решаясь повести речь о Теккерее, человеку выдающегося ума, редком знатоке человеческого сердца, сознаешь, что берешься за нелегкое дело. Но как пишутся биографии? Ведь для них недостаточно суждений и знаний одного, пусть самого близкого человека. Биография любого деятеля в конце концов складывается из рассказов многих людей, которые к просвещению и назиданию потомков хотят поведать о том, чему им суждено было стать свидетелями. Добрая сотня почитателей могла бы написать воспоминания о Теккерее, и все же задача нарисовать во всей полноте портрет человека и художника под силу лишь будущему историку, истинному подвижнику, который соединит воедино детали и эпизоды, рассеянные в книгах и воспоминаниях современников, облечет их в достойную и завершенную форму. Откровенно говоря, писать биографию Теккерея будет необычайно трудно, поскольку мало кому раскрывал он не таясь свою душу - свойственная ему от природы сдержанность порой усугублялась холодностью в отношениях с людьми. Это и породило известные сомнения в том, что Теккерей бывал приятным собеседником, как о том рассказывали его близкие. Однако все, кому доводилось видаться с Теккереем в непринужденной обстановке, когда он чувствовал себя раскованно, знают его как "весельчака" (это его словечко), который всех покорял своим юмором. В нем не оставалось и следа обычной сдержанности, и казалось, не было на свете человека с более открытой душой. Но временами он замыкался в себе, односложно отвечал на вопросы, а то и вовсе ограничивался жестами. При встрече он мог, улыбаясь, дружески приветствовать вас, а в иные дни лишь кивал и характерным движением руки показывал, что не расположен к беседе. Так, многие знавшие Теккерея по клубу рассказывали, что порой он проходил мимо, никого не замечая, а иной раз сам завязывал оживленный разговор, и тогда, глядя на него, нельзя было и представить себе, что он может быть угрюмым или держаться с холодной отчужденностью. Не стоит забывать, что долгие годы давала о себе знать болезнь Теккерея, и при свойственной ему обостренности восприятия общение с окружающими подчас бывало для него утомительным. Словом, Теккерею почти всегда нелегко было справиться с волнением, он не мог похвастаться необходимым самообладанием, позволяющим

неизменно блистать в обществе... Для него было настоящей пыткой выступить с речью, он никогда не стремился задавать тон в общей беседе. Короче говоря, куда проще было бы узнать за несколько дней многих людей, нежели за несколько лет - одного Теккерея, ибо он отнюдь не следовал правилу *semper idem* (всегда тот же), талант его был изменчивым и прихотливым, но никто не вправе упрекать за это художника... Нет сомнений в том, что сердце этого великого романиста и сатирика было исполнено великодушия и сострадания к людям... Даже несколько коротких писем, которые я получил от него, говорят о том, что, несмотря на внешнюю суровость, он был удивительно отзывчив, и этот особый дар участливости, пожалуй, самая примечательная особенность его натуры.

Вскоре я воочию убедился в этом. В то время только что вышел роман "Ньюкомы", и как-то раз, разглядывая книжные полки в библиотеке Теккерея, я увидел там один-единственный экземпляр этого романа в новом переплете. Но нигде не обнаружил я ни "Ярмарки тщеславия", ни "Пенденниса", ни "Эсмонда". Я не мог скрыть своего удивления, столь необычно было отсутствие у автора его собственных сочинений, и заметил, что, насколько мне известно, у Чарлза Диккенса все его произведения аккуратно переплетены и расставлены строго в порядке их выхода в свет. "Я знаю, - ответил Теккерей, - у Диккенса так заведено. Мне тоже следовало бы поступать подобным образом, но как я ни стараюсь, ничего не получается. Мои книги или берут почитать, или просто крадут".

С тех пор прошло уже немало лет, и я не могу со всеми подробностями восстановить в памяти мои встречи с Теккереем, но я храню его письма, дорогие для меня свидетельства его неизменно доброжелательного отношения к тем писателям, которым, возможно, не суждены были вершины литературной славы.

Отрывок из письма Теккерея, который я собираюсь далее привести, представляется мне лучшим тому доказательством. В то время я встречался с Теккереем лишь несколько раз в доме моего приятеля, наши краткие беседы касались разнообразного круга тем, и трудно было предположить из них, что в скором времени наши отношения превратятся в тесное деловое сотрудничество. Теккерей прислал мне это письмо, когда я оказался в стесненных обстоятельствах после того, как в редакции газеты, с которой я был

связан, произошли некоторые изменения. Письмо датировано 19 мая 1855 года, и в нем говорится: "Я с огорчением узнал о Вашем затруднительном положении и посылаю Вам небольшую сумму денег, возвращенную мне весьма кстати одним моим знакомым. Не сомневаюсь, что, когда Ваши дела поправятся, Вы отдадите мне эти деньги, и они, возможно, пригодятся еще кому-нибудь, а пока я предлагаю их Вам от чистого сердца, они в Вашем распоряжении".

Как мне потом рассказывали, для Теккерея в этом не было ничего особенного. Подобно многим добрым людям, он давал кому-то в долг несколько фунтов, а потом эти деньги переходили от одного знакомого к другому, так он выручал тех, кому приходилось туго. Когда Теккерею возвращали долг, он не прятал деньги радостно в кошелек, а с удовольствием отдавал их очередному нуждающемуся...

В назначенный час утром я пришел на Онслоу-сквер. Мистер Теккерей уже ждал меня в кабинете. Но вместо того, чтобы тут же объяснить мне мои обязанности, он повел меня наверх в спальню, где все было оборудовано для работы. Там я узнал, что Теккерей трудится над лекциями о четырех Георгах, а поскольку от него ушел прежний секретарь, ему понадобился новый помощник. От меня требовалось писать под диктовку и по указаниям Теккерея делать выписки из книг у него в библиотеке или в Британском музее. Каждое утро я появлялся в спальне, и, как правило, Теккерей встречал меня уже готовый к работе. Правда, иногда он не мог сразу решить, как лучше начать - сидя или стоя, расхаживая по комнате или лежа на кровати. Он нередко закуривал сигару и, походив с ней несколько минут, забывал ее на каминной полке, но принимался диктовать с удвоенной энергией, словно "благоухание" "благородного табака" вселяло в него вдохновение...

Непоседливость Теккерея во время работы, его привычка то и дело менять положение вовсе не казалась мне смешной, и похоже, наиболее непринужденно он чувствовал себя в самых неудобных позах. Писать под его диктовку не составляло труда, поскольку он выговаривал слова ясно и четко, и "обдумывал каждое слово, прежде чем вдохнуть в него жизнь". Теккерей редко поправлял себя, так что секретарю почти не приходилось вносить изменения в текст во время диктовки. Погруженный в работу, Теккерей всегда бывал спокоен и сосредоточен и излагал свои мысли с той же рассудительной

вдумчивостью, с какой читал лекции. Я отметил одну его характерную особенность, которая особенно бросалась в глаза - когда я не мог удержаться от смеха, записывая его очередную шутливую фразу, сам он хранил полнейшую невозмутимость, как это делал комик Листон, который всегда принимал такой вид, будто ему невдомек, чем он так позабавил публику. Иногда Теккерей, неожиданно прервав диктовку, спрашивал, хорошее ли перо и какого сорта бумага. Если ему казалось, что я не вполне успеваю за ним, он предлагал попробовать перо с более широким или узким кончиком, а затем рассматривал бумагу, на которой я писал, и советовал пользоваться особым сортом с более грубой, шероховатой поверхностью. По словам Теккерей, он отдавал ей предпочтение за то, что она "тормозит" перо, а гладкую шелковистую бумагу он не любил, перо слишком легко скользило по ней. Если же непредвиденная задержка давала ему желанную передышку, он не устраивал никаких проверок.

Рассказывая о таких мелочах, я хочу показать, что Теккерей подчас готов был воспользоваться любым предлогом, лишь бы ненадолго отвлечься, если слова не шли к нему сами собой. Мне кажется, для скромного труженика на литературном поприще будет некоторым, пусть и слабым утешением знать, что даже самый блистательный гений не всегда волен над своим даром. Многие писатели признавались, что не могут диктовать свои произведения. Теккерей умел и любил это делать, и наиболее ярко это раскрылось в лекциях о четырех Георгах, удивительных по глубине мысли и выразительности языка.

Мы работали целыми днями, иногда моя помощь требовалась Теккерей и по воскресеньям. Мне особенно запомнилось одно, кажется, последнее воскресенье перед его отъездом в Америку, Теккерей встретил меня в необычайно приподнятом настроении и был явно более склонен беседовать, а не диктовать. Он заговорил о предстоящем путешествии, о том, сколько он рассчитывает получить за лекции в Америке. По его словам, ему было нужно еще несколько тысяч, после этого он будет считать, что заработал достаточно. Конечно, добавил Теккерей, он достиг определенного жизненного благополучия, - слава богу, выплатил половину стоимости дома (в котором писатель жил в те годы) и до отъезда в Америку собирался погасить остальную часть долга. Затем разговор перешел на его

литературные дела, и Теккерей заметил, что его финансовое положение улучшилось за последние несколько лет, поскольку чтение лекций гораздо прибыльнее, чем публикации в журналах. Рассказывая о своих друзьях, сотрудниках "Панча", он несколькими уверенными штрихами рисовал их портреты, метко подмечая их достоинства и недостатки, что не всегда подтверждало его слова о том, как почитает он братство юмористов.

Когда мы заговорили о литературных журналах, Теккерей сказал, что он хотел бы выпускать свою газету или журнал, если появится такая возможность после возвращения из Америки. Я робко на это заметил, что, надеюсь, он откажется от публикации анонимных статей, чему так привержены редакторы многих изданий, и Теккерей ответил: "Неприменно. По-моему, это дурная традиция". Речь снова зашла о поездке в Соединенные Штаты, и когда он обмолвился, что, возможно, ему, как и в прошлый раз, потребуется секретарь, я немедленно выразил готовность сопровождать его, если у него нет никого другого на примете. Теккерей обещал подумать и сообщить мне свое решение, но тут же добавил, что скорей всего в дороге ему понадобится не секретарь, а слуга. На следующее утро он сказал, что, не надеясь на здоровье, решил взять с собой слугу, и сдержанно пояснил: "Я могу попросить слугу подержать мне таз, но вряд ли обращусь к секретарю с подобной просьбой". Он произнес это с улыбкой, но я прекрасно понял, что, хотя он и шутит, речь идет о серьезных вещах, поскольку при обострении болезни он действительно не мог обойтись без помощи слуги. Молодой человек, в то время служивший у него (Чарлз Пирмен), пользовался полным доверием Теккерей и своим уходом за ним и заботой снискал его благодарность.

Поезд уходил рано утром, и когда я пришел на Онслоу-сквер проводить Теккерей (как мы заранее условились), он ждал меня в кабинете, а обе дочери - все в слезах - сидели в столовой, и я думаю, не ошибусь, сказав, что это был именно тот случай, когда мужская сила отступает перед женской слабостью. Когда мистер Теккерей смотрел на дочерей, слезы навертывались ему на глаза, и он не мог их скрыть, как ни старался. Все же до отъезда он уладил некоторые срочные финансовые дела и дал мне распоряжения относительно четырех томов его избранных сочинений, которые были в печати, попросив меня проследить за их изданием и, если потребуется, сделать кое-

какие примечания. Но вот настала минута расставания! Экипаж ждал у дверей, багаж был уложен, слуги собрались в прихожей, всем своим видом показывая, сколь они опечалены отъездом хозяина. "Этой минуты я больше всего боялся!" - воскликнул Теккерей, входя в столовую, чтобы на прощание обнять дочерей. Сбегая по ступенькам крыльца, он знал, что они стоят у окна, "проводя его печальным долгим взглядом". "До свидания!" - сдавленным голосом пробормотал Теккерей, направляясь к кебу, и попросил меня: "Встаньте так, чтобы они не видели, как я сажусь в экипаж".

Едва дверцы кеба захлопнулись, он прижался в угол и закрыл лицо руками. Так я простился с мистером Теккереем перед его отъездом из Лондона во вторую поездку по Соединенным Штатам. Думаю, рассказанное мною достаточно убедительно свидетельствует о том, что этот беспощадный насмешник, бичующий людскую глупость и пороки, светский человек, умеющий держаться с холодноватой отчужденностью, был наделен необычайно отзывчивым сердцем, что подтверждают его сочинения, и знал искренние душевные порывы, делающие честь каждому человеку.

Мистер Теккерей в халате и шлепанцах принял нас в спальне, где, как я уже говорил, он работал по утрам. Поскольку кабинетом ему служила небольшая комната за столовой на первом этаже, куда проникал шум с улицы, он распорядился перенести письменный стол и все необходимое на второй этаж, где две комнаты соединили в одну - в глубине была спальня, а другая, большая часть комнаты гостиная. Помещение получилось просторным, и Теккерей мог, сделав паузу в работе, свободно размяться, прилечь на кушетку, вытянув ноги, и в конце концов принять любое удобное положение, поскольку диктовка избавляла его от тягостной необходимости сидеть за столом. В то утро какие-то домашние неурядицы вывели его из равновесия, и по его резкому тону было ясно, что он намерен вести переговоры сугубо "по-деловому". После обмена светскими любезностями (эти церемонии Теккерей, видимо, в глубине души находил "смертельно скучными") мистер Бил с присущей ему почтительностью изложил свои условия, а Теккерей, будучи прирожденным дипломатом, уверил его, что считает такую цену вполне достойным вознаграждением за свои труды.

Обусловленный гонорар составлял пятьдесят гиней за каждую лекцию... (Поскольку у Била возникли сомнения, шла ли речь о фунтах

или о гинейях, он вернулся уточнить это.) Бил задал вопрос напрямик, и Теккерей ответил с внушительной краткостью: "Безусловно, в гинейях. Только в гинейях". Мистер Бил не возразил ни слова, и сделка состоялась на условиях Теккерейя. Этот эпизод весьма характерен для Теккерейя. Хорошо известно, что во всех своих финансовых делах он тщательно следил за тем, чтобы ничем не уронить свое достоинство писателя, и это могут подтвердить многие наши издательские фирмы. "Всегда требуйте сполна, - говорил он, - и тогда меньше потеряете, если ваша цена не вполне устроит издателя". Судя по всему, Теккерей остался доволен сделкой с мистером Билом, и когда мы увиделись на следующее утро, он воскликнул:

- Вот это условия! Пятьдесят гиней за вечер! Подумать только, несколько лет назад за статью во "Фрэйзерс мэгезин" мне не платили и половины этой суммы.

- Я не сомневаюсь в успехе, - сказал я, - и думаю, мистер Бил тоже не прогадает.

- Надеюсь, - ответил Теккерей. - По крайней мере мы оба должны сделать для этого все от нас зависящее - пусть Бил организует рекламу, а уж я поработаю на совесть.

Благодаря контактам с фирмой "Креймер и Бил" мне предложили сопровождать Теккерейя в качестве администратора и секретаря. Я с великой радостью взял на себя эти обязанности, ибо научился понимать и ценить великого Титмарша - так по-прежнему называли Теккерейя в кругу его многочисленных друзей, - и надеялся, что ему тоже будет приятно видеть меня в этой роли... Стоит уточнить, что из пятидесяти гиней должны были оплачиваться все путевые расходы, поэтому в итоге гонорар получался не такой уж большой, как казалось поначалу, к тому же Теккерей совсем не умел соблюдать экономию. Он знал, что светлым своим умом всегда сможет заработать денег, и не беда, если они быстро утекают из кармана. Казалось, для него не имело особого значения, сколько останется в результате всего этого предприятия - много или мало. Поскольку я сопровождал Теккерейя как официальное лицо и не зависел от него, я старался не быть навязчивым, всегда ехал в другой карете и останавливался не в той гостинице, которую он почтил своим присутствием. Вот почему, как это ни парадоксально, мы прекрасно ладили друг с другом, а поскольку лекции начинались каждый вечер в восемь часов, то нам не

приходилось слишком много общаться, хотя иногда Теккерей приглашал меня пообедать с ним в привычное для него время. "Прелестная комната, - радовался он, если из окна открывался вид на сельский пейзаж и в комнату заглядывали деревья и цветы. - Здесь неплохо работается!" Хотел бы я знать, где ему не работалось? Однако в то время появились первые признаки того, что работа над рукописью - то есть запись текста как такового становилась для него обременительной. Нередко Теккерей жаловался, что не успевает закончить в срок очередной выпуск и смутно представляет себе, что будет дальше. Бесспорно, некоторые свои лучшие творения Теккерей создал уже в преклонном возрасте, но, намереваясь приступить к "Виргинцам", он ворчливо сетовал: "От меня хотят нового романа, но я понятия не имею о чем. Все, что мог, я уже написал". Пожалуй, о той поре уже не скажешь, что Теккерей писал "currenre calamo" ("беглым пером"). Правда, он слишком строго судил себя и уверял, что другие могли бы создать нечто гораздо более достойное. Свойственное ему от природы великодушие в какой-то степени предполагало и сомнение в своих силах, зато он никогда не скупился на похвалы писателям-современникам. И коли я решился заговорить об этом, то считаю своим долгом рассказать о тех случаях, когда я был свидетелем тому, как Теккерей несправедливо принижал себя, говоря о своих собратьях по перу.

ТЕККЕРЕЙ-ЖУРНАЛИСТ, ИЗДАТЕЛЬ, ЛЕКТОР
ЧАРЛЗ МАККЕЙ
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Еще в 1839-40 году мистер Теккерей довольно часто печатался в своей любимой "Морнинг кроникл", хотя постоянным ее сотрудником так никогда и не стал. Однако с членами редакции он неизменно поддерживал прекрасные отношения и в блаженные субботние вечера, когда не надо было готовить следующий номер, частенько заглядывал к одному из помощников редактора, покойному мистеру Томасу Фрэзеру - "Веселому Тому", которого позднее он прославил в своей "Балладе о буйабесе"... Я постоянно встречался с мистером Теккереем за гостеприимным столом мистера Фрэзера как в Лондоне, так и в Париже, задолго до того, как свету открылось, какой великий романист хочет привлечь его внимание. Его слава, в отличие от славы Диккенса, пришла к нему далеко не рано, и, быть может, запоздалость, с какой он

обрел любовь читателей, хотя никогда не сомневался в своем праве на нее, как раз и породила в более поздних произведениях привкус цинизма, совершенно чуждого его сердцу.

В те дни, когда я только познакомился с мистером Теккереем, он слыл среди своих друзей неподражаемым импровизатором и, бесспорно, обладал редким талантом мгновенно сочинять отличные стихи, и в приятном ему обществе всегда был готов этим талантом блеснуть. Как-то раз, когда все присутствующие, кроме меня, закурили, а я объяснил ему, что не курю и терпеть не могу табака, он выбрал меня в жертву своему остроумию и разразился стихами "О радостях курения", заключая каждую строфу двестишестью:

Только злосчастный упрямец Маккей

Слышать не хочет о табаке!

Лишь эти строки и сохранились в моей памяти, однако сам он ничуть не утратил вдохновения и, покончив со мной, не обошел вниманием никого из присутствующих - а было нас там человек семь-восемь, - изображая слабости каждого весьма смешно, но без малейшей злости.

Его лекции о "Четырех Георгах" не пользовались в Старом Свете такой же популярностью, как в Новом. Слишком уж они шли вразрез с укоренившимися предрассудками, да и преданностью Ганноверскому дому тоже. Помню, как однажды я заглянул в клубную библиотеку и увидел, что он сидит там один и сжимает в руке газету с таким видом, будто вот-вот порвет ее в клочья. Столь гневное выражение его лицо принимало очень редко. Оказалось, что недавно он говорил о "Четырех Георгах" в одном модном городке в центре Англии, и тамошний священник был ведущим корреспондентом местной газеты. Приход этот был очень богатым, и отец священника получил его с правом передачи по наследству благодаря протекции Георга IV. Сын, принявший приход после кончины отца, благоговейно чтит память монарха, облагодетельствовавшего их семью. Портрет Георга IV, нарисованный мистером Теккереем, разъярил достопочтенного джентльмена, и он написал возмущенную статью, которую мистер Теккерей и дочитывал, когда я вошел в комнату. Начиналась она так: "Старый нечестивый буффон по имени Теккерей читал в городе лекции на тему о четырех Георгах". Боюсь, тут я не выдержал и засмеялся. Однако мистер Теккерей не находил в этой фразе ничего

смешного и грозил вчинить автору иск за клевету с возмещением в тысячу фунтов. Я попытался утишить его гнев и сказал, что, по моему мнению, как бы ни были оскорбительны эти слова, никакой юрист не признает их клеветническими. Назвать человека старым это не клевета, разве что эпитет был бы адресован молоденькой даме.

- Но клевета - назвать человека нечестивым! - возразил он.

- В каком смысле? - сказал я. - Благочестивейший человек в мире тем не менее может быть назван нечестивцем теми, кто исповедует иную веру. Ну, а буффон... Ни один джентльмен не позволит себе назвать так другого джентльмена, а потому вам следует отнестись к нему с заслуженным презрением.

- Все это очень мило, - ответил он, - но очернили ведь не вас! Мы все с величайшим хладнокровием сносим любые обиды, если только их наносят не нам.

Иска он, однако, не вчинил.

Мистер Теккерей подобно доктору Джонсону - и всем древним авторам - был удивительно равнодушен к красотах природы и предпочитал наблюдать беспокойное кипение жизни на лондонских улицах, вместо того, чтобы любоваться чудесными видами гор, лесов, величавых рек, озер и морей, а уже тем более отправляться ради них в путешествия. Рассказывали, что в Америке его друг и спутник советовал ему посетить прославленное чудо Нового света Ниагарский водопад, вблизи которого они оказались - поездка туда не заняла бы и полутора часов. Но он отказался наотрез, пренебрежительно бросив: "Все снобы обязательно посещают Ниагару, и я не хочу попасть в их число". Когда эта история стала известна в Англии, он с негодованием отверг побуждение, приписанное ему слухами, но не отрицал, что на водопад не поехал, хотя теперь и жалел об этом...

Сардоничность многих острых афоризмов Теккерей была порождением ума, но не сердца - ему не занимать было доброты, если он мог услужить кому-нибудь, и уж тем более другому писателю. Когда злополучный Энгус Рич умер от переутомления совсем молодым и его вдова осталась без всяких средств к существованию, Теккерей, который почти не был знаком с этим собратом по перу, незамедлительно пришел на выручку, только потому, что речь шла о собрате по перу.

ДЖОН ЧЭПМЕН

ИЗ ДНЕВНИКА

12 июня 1851

Присутствовал на лекции Теккерея о Стиле и был очень разочарован. Больше всего она походила на длиннейшую проповедь и вовсе не выигрывала от того, что произносилась вслух. Торнтон Хант познакомил нас. Теккерей сказал, что хотел бы купить за "установленную цену" кое-какие из моих атеистических публикаций.

14 июня 1851

Заезжал Теккерей. Я предложил ему написать статью о современных романистах для "Вестминстера". Он отказался, якобы потому, что в денежном отношении произведения его пера приносят много больше, когда публикуются иными путями, и к тому же в его положении он не может критиковать своих современников - единственный, кого он мог бы разобрать по косточкам и хорошенько высечь, это он сам! Он пожаловался на пристрастное отношение к себе и всячески раздуваемое соперничество между ним и Диккенсом раздуваемое, по-моему, не без участия глупых друзей, вроде Форстера.

Как я обнаружил, в религиозных воззрениях он склоняется к вольнодумию, но не собирается рисковать своей популярностью, открыто в этом признавшись. По его словам, он долго раздумывал, надлежит ли ему принять мученический венец во имя своих убеждений, и пришел к выводу, что нет. Его главная цель, видимо, - зарабатывать деньги. Ради этого он собирается в Америку. В личном разговоре он показался мне много интереснее, чем позволяли надеяться его лекции, но, боюсь, успех начинает его портить.

ДЖОРДЖ СМИТ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О "КОРНХИЛЛЕ"

Когда журнал завоевал огромный успех, я почувствовал, что его редактор имеет право разделить с ним этот успех, и сказал Теккерей о своем намерении послать ему чек на сумму вдвое больше оговоренной, как вознаграждение редактору. Теккерей совершенно этого не ожидал и на мгновение потерял власть над собой, его губы задрожали, и он заплакал, пробормотав, что не привык к подобному. Впрочем любой знак доброты всегда его трогал. Наша дружба стала очень тесной и мы уже не чинились друг с другом. Теккерей в собственных делах был весьма непрактичен и поверял мне свои неприятности. "Ну что же, шутливо отвечал я, слегка перефразируя Шекспира, - источник

ведом вам, где дикий тмин растет". Однако самоуважение мешало ему часто прибегать к чужой помощи. Способ, каким он показывал мне, что чек пришелся бы кстати, был совершенно в его духе: он входил в мой кабинет на Пэлл-Мэлл, вывернув оба брючных кармана, - безмолвное и выразительное доказательство того, что они пусты. Я доставал чековую книжку и вопросительно поглядывал на него. Он называл требуемую сумму, и деловая операция завершалась.

Наши труды на ниве "Корнхилла" мы скрашивали ежемесячными обедами. Более или менее постоянные сотрудники журнала все время, пока мы оставались в Лондоне, каждый месяц собирались за моим столом на Глостер-сквер, и эти "корнхиллские обеды" были удивительно приятными и интересными. Теккерей не пропускал ни единого, хотя часто недомогал. За таким обедом Троллопу предстояло познакомиться с Теккереем и он предвкушал это знакомство не меньше, чем сам обед. И вот я подошел к Теккерее и представил ему Троллопа со всеми положенными комплиментами. Теккерей буркнул: "Как поживаете?" и - к моему удивлению и гневу Троллопа - повернулся на каблуках и отошел. В то время он был нездоров и именно в эту минуту испытал мучительный спазм, но мы, разумеется, об этом и не подозревали. Никогда не забуду выражения лица Троллопа в ту минуту! Все, кто знал Троллопа, помнят, какой свирепый принимал он вид, если у него был достаточный - а иной раз и недостаточный повод оскорбиться! На следующее утро он явился ко мне, кипя негодованием, и объявил, что накануне не хлопнул дверью только потому, что был у меня впервые, а затем поклялся, что больше в жизни не раскланяется с Теккереем и т. д., и т. п. Я постарался его успокоить, насколько было в моих силах. Он же при всей своей вспыльчивости и раздражительности был прекрасным, добрым человеком и, мне кажется, ушел от меня успокоенным. Потом они с Теккереем стали близкими друзьями.

Скрашивали мы деловые будни не только ежемесячными обедами. Всякий раз, когда предстояло заключить какое-нибудь новое литературное соглашение с мистером Теккереем, он шутливо заявлял, что голова у него бывает особенно ясной в "Гринвиче", тем более если его пищеварению способствует некий рейнвейн, которым мистер Харт, трактирщик, поил своих гостей по пятнадцати шиллингов за бутылку. При этом всегда присутствовал сэр Чарлз Тейлор, очень милый

человек, член "Гаррик-клуба", друг Теккерей и мой хороший знакомый. В наших переговорах сэра Чарльз участия не принимал, ограничиваясь редкими остротами - да, признаться, никаких "переговоров" и не было, так как я не запомню случая, когда бы мистер Теккерей не принял сразу моего предложения но его светские таланты делали эти обеды в тесном кругу еще уютнее.

Теккерей редактировал "Корнхилл" с 1860 года по май 1862 года. Честно сказать, хорошим редактором в деловом смысле его назвать нельзя, и часть работы мне приходилось исполнять самому. Для меня это было удовольствием, так как я питал к нему огромное восхищение и теплую привязанность. Я заранее обусловил себе право накладывать вето на материал для номера, ибо знал, как непоследователен и капризен Теккерей в своих суждениях, и такая мера предосторожности была совершенно необходима, поскольку на его выбор легко могли повлиять обстоятельства, никакого отношения к интересам журнала не имеющие. Подобные отношения между издателем и редактором в подавляющем большинстве случаев ни к чему хорошему не привели бы, но натура Теккерей была такой благородной, а мое уважение к нему таким искренним, что никаких недоразумений между нами не возникало.

Почти каждое утро я приезжал в его дом на Онслоу-сквер и мы обсуждали рукописи и темы. Однажды он протянул мне рукопись статьи и сказал:

- Надеюсь, Смит, уж на нее вы вето не наложите?

- А что? - спросил я. - По-вашему, она так уж хороша?

- Да нет, - ответил он. - Этого я не сказал бы. Но написала ее такая хорошенькая женщина! Прелестные глаза, чудесный голос!

На мой более прозаический взгляд все это еще не составляло веского основания для того, чтобы напечатать произведение ее пера в "Корнхилле". Я прочел рукопись и, не находясь под обаянием красоты авторши, на следующее утро объявил Теккерей:

- Для нас это совершенно не подходит!

- Ну, что же, - со вздохом отозвался Теккерей. - Мне очень жаль.

Когда я собрался уходить, он, желая, - как я решил, - показать, что мое упрямство его нисколько не обидело, пригласил меня отобедать у него в такой-то день и посадил меня за столом рядом с авторшей статьи! Надо сказать, что вечер я провел весьма приятный.

- Ну, а что вы теперь скажете об этой статье, мой юный друг? - с торжеством осведомился он при следующей нашей встрече. Я ответил, что автор мне понравился много больше статьи и будь возможно поместить на страницах "Корнхилла" ее самое, я возражать не стал бы. А так статью придется отослать назад.

У Теккерея было слишком доброе сердце, и, редактируя журнал, счастлив он быть не мог. Отвечая "нет", он сам расстраивался не меньше того, кому отказывал, и делал все, что мог - и гораздо больше, чем кто-либо еще из известных мне редакторов! - чтобы смягчить отказ... Свои печали как редактора Теккерей излил в одной из "Заметок о разных разностях". Озаглавлена она "Иголки в подушке" и дает прекрасное представление и о теккереевском юморе, и о тяготах его обязанностей, как редактора. Любой человек, читавший эту заметку, не мог бы не согласиться, как согласился я, что мистер Теккерей поступил очень мудро, когда отказался и дальше редактировать журнал, ради сохранения своего покоя и душевного равновесия. Мне радостно думать, что хотя бы в последние дни шипы редакторского жребия не язвили нежное сердце этого благородного гения. Но теперь, обращаясь мыслью к прошлому, я иногда горько сожалею, что волей-неволей обрек его на выполнение тяжелых для него обязанностей и не сделал того, что мог бы, для облегчения его ноши.

Теккерей написал мне: "И, кстати, посылаю вам небольшую вещицу "Маленькие школяры", заставившую запотеть мои родительские очки. Статью эту я думал послать в "Блэквуд", но почему "Корнхилл" должен лишиться такой прелестной вещи только потому, что ее написала моя милая девочка? Однако отцы - плохие судьи, и вы сами решайте, печатать нам ее или нет".

Однажды, когда я как-то вечером уходил из дома на Онслоу-сквер, меня подстерегла Энни, вложила мне в руку небольшой пакет, шепнула: "Вы не поглядели бы?", и скрылась в столовой. Я сунул пакет в карман, а дома тотчас его развернул. Это была "История Элизабет". Я послал Теккерею корректурные листы, а при встрече спросил, прочел ли он их.

- Нет, - сказал он. - Не смог. Прочел несколько, а потом почувствовал, что у меня просто сил нет. Она такая чудесная девочка!

ЭНН РИТЧИ

ИЗ КНИГИ "ГЛАВЫ ВОСПОМИНАНИЙ"

Я словно и сейчас вижу, как отец бродит по дому, заходит то в одну комнату, то в другую, садится и снова встает, обдумывая планы и название нового журнала.

Я помню, как в день выхода первого номера то и дело являлись посыльные, извещая редактора, что публика требует еще тысячи и тысячи экземпляров. А позже нас известили, что наборщики остались работать на всю ночь. Вспоминается мне и небольшая подробность, про которую тогда упомянул мистер Джордж Смит - она произвела на меня большое впечатление. Неожиданно огромный спрос свел на нет доход от рекламы. Сумма, оплачивающая 10 тысяч рекламных объявлений, полностью съедается, если их напечатано 120 тысяч. И владельцы журнала понесли убытки, когда оговоренная цифра оказалась намного превышенной.

В третьем номере была помещена просьба редактора к авторам не присылать свои произведения ему на дом, а только в редакцию. По мере ухудшения здоровья отца чисто рутинные обязанности начали утомлять его все больше, и он обнаружил - как мне кажется, подобно многим другим редакторам, - что особые хлопоты им доставляет не печатаемый материал, а тот, который приходится отвергать. Всего лишь неделю-две тому назад я выбросила целый ворох этих старых иголок, и без труда могу себе представить, какой мукой для человека с чувствительными нервами и живым воображением было отвечать отказом на бесчисленные письма, предложения и просьбы, приходившие с каждой почтой.

В один прекрасный день Джексон подал к дверям нашу голубую коляску, куда уселись: отец - необычайно элегантный, с бумагами в руках, приехавшая из Парижа бабушка и мы с сестрой, лошадь тронулась, и все наше взбудораженное семейство покатило в Залы Уиллиса, где отцу предстояло прочесть первую лекцию об английских юмористах XVIII века. Он, несомненно, очень волновался, но, чтобы скрыть это от нас, шутил, не умолкая. Мы вместе поднялись по лестнице, устланной ковром, и вскоре он удалился. Последующие полчаса оставили в моей душе малоприятные воспоминания. Вокруг зияли пустотой незанятые кресла, появлявшиеся слушатели переговаривались шепотом, как в церкви; в распахнутые окна - их там было очень много - заглядывало небо, ярко синевшее над крышами; стук сердца отдавал в ушах; сначала погромыхая издали, потом все

ближе, ближе подкатывали экипажи, и я вдруг ощутила, что если бы сию минуту наступил день Страшного суда и положил конец этой невыносимой муке, я бы, пожалуй, была рада, и эта жуткая мысль доставила тогда мне истинное облегчение...

Отец за сценой раскладывал страницы своей рукописи по порядку, а мы сидели в зале, который все быстрее заполнялся публикой, и впереди, и сзади, и вокруг - повсюду были люди, они расстегивали верхнее платье, раскланивались друг с другом, усаживались поудобнее. Залюбовавшись на сидевшую неподалеку даму, которая сняла свой капор и осталась в маленьком квакерском чепчике, я не заметила, как на сцену вышел отец и замер перед полным залом. Мы с нетерпением ждали этого мгновения, и все же пропустили его. Сначала я даже не узнала напряженный, чужой голос, произнесший: "В лекциях об английских юмористах я прошу Вашего позволения говорить не столько об их книгах, сколько о них самих и о прожитой ими жизни" {У. М. Теккерей. Собр. соч. в 12 томах, т. 7, пер. В. Хинкиса.}. Но понемногу голос становился мягче, глубже и вскоре приобрел знакомое звучание, и мне подумалось, что отец, пожалуй, выглядит таким же, как всегда, в жилете, со свисающей цепочкой от часов, так что и ощущение кома в горле, и головокружение стали проходить.

Теперь я уже радовалась, что Судный день еще не наступил. Я, кажется, не поняла ни слова после первой фразы, но не сводила глаз с отца и постепенно успокаивалась, видя, что все идет как нужно. Среди немногого, что я могла тогда заметить, было спокойное, просветленное, сиявшее гордостью лицо бабушки, а как же вспыхнули ее прекрасные, серые глаза, когда в конце лекции, не менее внезапно, чем ее начало, раздался гром аплодисментов, и дама в квакерском чепчике стала завязывать свой капор (кто-то шепнул мне, что это герцогиня Сазерландская). Люди потянулись к лектору, стараясь обменяться с ним словцом, рукопожатием. Домой мы возвращались радостные, Джексон пустил лошадь в галоп, отец смеялся и шутил - остроты сами собой слетали с его уст, мы ему вторили веселым смехом, и каждый поворот дороги и толчок казались нам забавным происшествием.

Со временем лекции стали неотъемлемой частью нашего существования, как книги и статьи, которые писал отец, - их вечно

дождался в холле, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, какой-нибудь типографский рассыльный. Колледжи и провинциальные агентства на севере и на юге страны приглашали отца выступить с лекциями. Он приезжал и снова уезжал. Порою он читал их в пригородах, порой в каком-нибудь знакомом доме - у миссис Проктер или где-нибудь еще. Однажды, кажется, по просьбе горячо любимых им миссис Элиот и мисс Перри, он читал у нас дома. Если чтение происходило не очень далеко от Лондона, он брал с собой и нас. Мне и сегодня радостно, когда я вспоминаю ясный летний день, сады и островерхие крыши Оксфорда, куда сестра и я приехали впервые и где, стоя у входа с нашим хозяином Сент-Джоном Теккереем, разглядывали спины слушателей, ломившихся на лекцию отца.

ДЖОРДЖ САЛА

ИЗ КНИГИ "ТО, ЧТО Я ВИДЕЛ, И ТЕ, КОГО Я ЗНАЛ"

Эти девять или десять месяцев сотрудничества в "Корнхилле" я считаю счастливейшей порой в моей жизни... Помню первый банкет по случаю выхода журнального номера. На председательском месте, понятное дело, Теккерей, по левую руку от него, если не ошибаюсь, всем известный баронет сэр Чарлз Тейлор, а по правую - славный старый фельдмаршал сэр Джон Бергойн. Еще там были Ричард Монктон Милнз, он же позднее лорд Хотон; Фредерик Лейтон и Джон Эверетт Миллес, оба молодые, красивые, уже широко известные и с большими перспективами; кажется, присутствовал Джордж Г. Льюис; и безусловно - Роберт Браунинг. Все время привлекал к себе внимание Энтони Троллоп, он оспаривал каждого говорящего, потом каждому же старался сказать что-нибудь приятное и время от времени задремывал, сидя на диване или в кресле... Сэр Эдвин Ландсир; Сайке, автор обложки "Корнхилла", Фредерик Уокер, чье совсем еще юное лицо все светилось талантом; и Мэтью Хиггинс, который печатался в "Тайме" под псевдонимом "Якоб Омниум" и ростом превосходил даже своего приятеля Теккерей, - все они тоже были гостями на том незабываемом пиру по случаю рождения нового журнала.

Когда убрали со стола скатерть, Теккерей, естественно, полагалось произнести речь. Как мне уже довелось, кажется, писать раньше, великий автор "Ярмарки тщеславия" не обладал талантами послеобеденного оратора. Читал он на публике превосходно, с большим изяществом и верностью интонаций, помню себя в толпе

слушателей, набившихся в большой зал на территории старого Зоологического сада Саррея, чтобы услышать его первую лекцию из цикла "Четыре Георга". Я страдаю частичной глухотой, сидел я довольно далеко от помоста, однако же разобрал каждое слово, произносимое лектором, и был в восторге не только от того, что он говорил, но и от того, как это все великолепно звучало. Но в роли послетрапезного оратора Теккерей был, бесспорно, далек от совершенства. Я это знал. И так как я не только преклонялся перед его литературным гением, но питал почтение и любовь к нему как к человеку, я, радуясь своей с ним близости, дававшей право на вопросы, решил заранее справиться у него, хорошо ли он приготовил свою речь. Поэтому я приехал к нему на Онслоу-сквер, когда он еще сидел за завтраком, и спросил, как обстоят дела с речью. "Комар носу не подточит, - ответил мне Теккерей. - Вчера вечером я продиктовал ее секретарю, потом выучил наизусть и только что произнес перед дочерьми". Я почувствовал частичное облегчение; но на всякий случай все-таки приехал вечером на Гайд-парк-сквер десятью минутами раньше назначенного времени и стал дожидаться Теккерей. Когда он прибыл на банкет, я встретил его и шепотом поинтересовался: "Как речь? Все в порядке?" - "В полнейшем, - ответил он. - Два раза повторил ее в карете. Пойдет как по маслу". Увы! Когда мастер поднялся, чтобы сказать свое слово, поначалу все действительно шло великолепно. "Джентльмены! - приступил Теккерей, - мы захватили восемьдесят тысяч пленных". Это был тонкий и остроумный намек на тираж первого номера "Корнхилла"; уважаемое собрание отозвалось гулом одобрения. Если бы только этим гулом все и ограничилось! Но нет, нечистый дух побудил сэра Чарлза Тейлора звучно выкрикнуть: "Слушайте! Слушайте!" А у достопочтенного баронета была такая особенность выговора, что слово это прозвучало как "Шлюшайте", Кто-то засмеялся. Тогда Теккерей, сразу потеряв нить, вспылил и заорал: "Ей-богу, сэр Чарлз, еще одно слово, и я замолчу и сяду!" - после чего пробормотал кое-как несколько несвязных фраз и действительно сел, вне себя от негодования, при горячем сочувствии всех собравшихся.

ДЖОРДЖ ХОДДЕР

ВОСПОМИНАНИЯ СЕКРЕТАРЯ

Мне вспоминается и другой случай, - их можно было бы привести немало, подтверждающий, что Теккерей недооценивал самого себя и готов был превозносить других, принижая собственный талант. Как-то утром он был необычайно разговорчив, довольно скоро объявил, что сегодня не склонен утруждать себя работой и предложил просто побеседовать. Заговорив о достоинствах писателей, в ту пору привлекавших к себе всеобщее внимание, и об успехе "Домашнего чтения" у широкой публики, Теккерей заметил, что на страницах этого журнала печатаются многие способные литераторы.

- Среди них я бы выделил одного, очень умного, - с воодушевлением заключил он. - Это Сала. Мне редко попадались такие прекрасные эссе, как его "Ключ на улице". Я не смог бы так написать. А жаль.

Я позволил себе возразить ему, что хотя эссе, о котором он говорил, отмечено несомненными достоинствами и в литературных кругах считается одной из лучших публикаций журнала, он тем не менее ошибается и несправедливо судит о себе.

- Нет, нет, - повторил Теккерей с еще большей убежденностью. - Мне такого не написать. Скоро будет выходить мой журнал, и я надеюсь, этот человек станет нашим автором.

Разумеется, Теккерей был верен своему слову, и в объявлении о новом журнале "Корнхилл мэгезин" под редакцией Теккерей одним из первых в списке авторов стояло имя Джорджа Огастеса Салы...

Что касается нашего времяпрепровождения в поездке с лекциями по стране (к рассказу о которой я вновь возвращаюсь), то ничего примечательного мне не запомнилось, все дни походили один на другой - каждый вечер к восьми часам мы направлялись в зал, где Теккерей предстояло читать лекцию, а я занимался необходимыми приготовлениями и получал плату за входные билеты. Теккерей старался как можно лучше исполнить свою миссию, а после лекции всегда заинтересованно спрашивал меня, велика ли выручка. Как правило, сборы превышали сумму, необходимую для оплаты расходов и гонорара Теккерей, и он всегда бывал этим доволен, поскольку беспокоился, как бы мистер Бил не оказался внакладе...

При подготовке к лекции нередко возникали некоторые осложнения. Дело в том, что Теккерей настойчиво требовал, чтобы в каждом городе, куда мы приезжали, ему предоставляли кафедру

определенных размеров, дабы при своем высоком росте он мог читать не наклоняясь. Это необычное требование явно было не по душе некоторым местным агентам. Они или забывали о нем, или, получив соответствующее уведомление, просто не придавали ему значения. Поэтому нередко перед началом лекции приходилось тратить время на кое-какие столярные работы. Однако это не доставляло особенно много хлопот, поскольку Теккерей отличался терпением и доброжелательностью, и если лекция начиналась вовремя, то публика ни о чем не догадывалась.

Теперь о манере, в которой читал Теккерей. Работая над лекциями о Георгах, он обыкновенно просил меня изобразить "аудиторию", чтобы проверить, достаточно ли громко звучит его голос и насколько выразительны интонации. В одном углу большой комнаты он сооружал нечто вроде кафедры нужной высоты, а я становился в противоположном углу. Теккерей читал, положив перед собой рукопись, и решал, какой почерк ему легче разбирать - свой собственный, автора этих строк или секретаря - моего предшественника.

Как правило, Теккерей оставался доволен репетицией, голос его звучал ясно и звонко, говорил он свободно и вполне отчетливо. Но то, что казалось приемлемым в обычной комнате, едва ли годилось для больших аудиторий. Несмотря на это, Теккерей почти не старался говорить громче во время своих выступлений. Именно поэтому многим не нравилась простая и непринужденная манера, в которой он читал свои лекции. Казалось, самого лектора несколько не беспокоит, как слышат его в зале, он предоставлял заботиться об этом слушателям. И тем не менее благодаря крупной внушительной фигуре Теккерей, благородной серьезности его речи, лекции всегда проходили при почтительной тишине в зале. И даже когда Теккерей выступал в очень больших аудиториях, его плохо слышали только сидящие в задних рядах.

мы встретились у него дома в Лондоне. Когда он стал жаловаться на проклятую болезнь, отравлявшую ему жизнь, я спросил его, советовался ли он с лучшими медицинскими авторитетами. Они щедры на советы, последовал ответ. "Но какая от них польза, если они невыполнимы?" - продолжал Теккерей. - Мне не разрешают пить, но я пью. Не разрешают курить, но я курю. Не разрешают есть, но я все

равно ем. Словом, делаю все, что нельзя, и поэтому надеяться мне не на что".

У меня чуть было не вырвалась банальность, она напрашивалась сама собой, но я сдержался и только сказал, что его здоровье нужно не ему одному, а всем ценителям литературы. Сотни людей, открыв роман "Пенденнис", прочитали посвящение доктору Элиотсону. Какой радостью было бы для него узнать, что его подопечный исцелился от всех недугов.

ФАННИ КЕМБЛ

ИЗ КНИГИ ВОСПОМИНАНИЙ

Он должен был читать в Залах Уиллиса, там же, где читала и я, и, прибыв туда заранее, до того как ему начинать, я застала его стоящим посреди комнаты и озирающимся - потерянный, безутешный гигант. "О господи! - сказал он, пожимая мне руку, - мне так страшно, что даже тошнит". Я произнесла какие-то слова утешения и хотела уйти, но он схватил меня за руку, как испуганный ребенок, и воскликнул: "О, не покидайте меня!" - "Но послушайте, Теккерей, нельзя вам здесь стоять, ваша публика уже начала собираться", - и увела его из скопления стульев и скамеек, которые уже заполнялись, в соседнюю комнату, примыкавшую к лекционной зале, - после моих собственных чтений обе были мне хорошо знакомы. Здесь он стал ходить из угла в угол, в припадке отчаяния буквально ломая руки. "Ну, что мне теперь делать, сказала я, - побыть мне с вами, пока не начнете, или оставить вас одного, чтобы пришли в себя?" - "Ох, - сказал он, - если бы мне только достать эту окаянную штуку (лекцию) и еще разок заглянуть в нее". - "А где она?" спросила я. "Датам, в той комнате, на кафедре". - "Ну так, - сказала я, если не хотите сами за ней сходить, я вам ее принесу". И хорошо помня, где стоял мой столик для чтения, у самой двери в эту комнату, я прошмыгнула в залу, надеясь схватить рукопись, не привлекая внимания публики, уже почти собравшейся. Я привыкла читать сидя, у очень низкого стола, но мой друг Теккерей читал свои лекции стоя и распорядился, чтобы на сцене поставили кафедру, приспособленную к его очень высокому росту, так что когда я подошла взять рукопись, она оказалась прямо у меня над головой. Это меня немного смутило, но я твердо решила не возвращаться с пустыми руками, поэтому подскочила и схватила папку, причем листы из нее (они не были скреплены), каждый в отдельности, полетели вниз. Не

могу сказать точно, что я сделала, но кажется, опустилась на четвереньки в страстном желании собрать разбросанные листы, а потом, удалившись с ними, протянула их бедному Теккерей, крича: "Нет, вы только посмотрите, что я наделала, какой ужас!" "Дорогая моя, - сказал он, - ничего лучше для меня вы не могли бы совершить. Мне здесь нужно ждать еще ровно четверть часа, а примерно столько же времени мне понадобится, чтобы все это опять разобрать". С какой бесконечной добротой он утешал меня, а я чуть не плакала, потому что, как мне казалось, еще усугубила его отчаяние и страхи. Так я и оставила его читать первый из этого блестящего цикла литературно-исторических эссе, которыми он чаровал и обучал бесчисленные аудитории в Англии и в Америке.

На что похожи его лекции? Они, конечно, очень хороши, их безусловно стоит послушать, но на что они похожи? Похожи на его разговор, на его книги, на него самого. Вероятно, они близки к тому, чего ждала та публика, что собралась в четверг, чтобы ответить на этот вопрос. Все мы уже раньше знали, как мягко и нежно обращается Теккерей с безумствами, которые подвергает сатире. Он сатирик, но он не высокомерен. Теккерей на трибуне такой же, как Теккерей за столом или на печатной странице, вся разница в том, что он на трибуне. Его лекция - это длинный монолог, в котором он делится своими взглядами на предмет. Но каковы его взгляды и какова манера! Теккерей на трибуне, сказали мы, точно такой же как Теккерей в других местах, чуть более серьезный, возможно потому, что читает, или беспокойный от сознания, что должен один вести разговор с таким избранным обществом. Но фигура, которая возникает перед вами за этим темно-красным столом, неизменна; то же странное, двойственное впечатление: лицо и общий вид ребенка, который нахально решил, что нравится, причем нравится именно своим нахальством, и вырос, не лишившись младенческой округлости и простодушия; грустные серьезные глаза, что глядят сквозь очки, которые им помогают, а вас сбивают с толку своим пустым блеском, выглядывающие из глубочайших впадин этого обширного черепа поверх веселой заразной улыбки; волосы, вьющиеся как в юности, но поседевшие от лет, что до времени принесли с собой столько горестей и размышлений.

Всем, кто впервые видел Теккерера вчера, пришлось изменить свои впечатления от его внешности и манеры говорить. Мало кто ожидал увидеть такого гиганта, в нем по меньшей мере шесть футов и четыре дюйма; мало кто ожидал увидеть такого старого человека: похоже, что волосы его словно хранят свое серебро свыше пятидесяти лет; а ведь раньше многим казалось, что в его внешности должно быть что-то лихое и фривольное, но одет он был совершенно просто, выражение лица было серьезно, тон - без малейшей аффектации, такой, какого мы могли бы ожидать от воспитанного немолодого человека. Его речь тоже удивила многих, кто почерпнул впечатления в английских журналах. Голос его - великолепный тенор и иногда дрожит в патетических местах, что заражает вас волнением, в целом же манера речи совершенно соответствует содержанию лекций. Его дикция выше всяких похвал. Каждое произнесенное им слово было слышно в самых дальних уголках залы, но ни разу не показалось, что он старается говорить громче по сравнению с обычной речью. Самая поразительная черта его чтения - отсутствие какой бы то ни было искусственности. Он не разрешил себе показать, что представляет особый интерес для публики, и не разрешил себе более серьезной провинности - притворства, что ему все равно, интересуется он публику или нет. Другими словами, он внушил публике уважение к себе, как человек, достойный того восхищения, какое уже внушили его книги. Самую лекцию как произведение искусства трудно перехвалить. Написана она с крайней простотой и без видимой заботы об эффектах, однако для нее характерно все лучшее, что есть в Теккерее. О Свифте, например, нигде не написано ничего умнее...

Была на лекции Теккерера. Тема "Прайор, Гэй и Поуп". Теккерей высокого роста, крепко сложенный, с той утонченной небрежностью, какая характерна для большинства англичан в хорошем обществе; волосы не по возрасту седые, голос сильный, ясный и мелодичный, манера естественная, разговорная, без притязаний на ораторские эффекты. Прайор и Гэй, да впрочем и Поуп, в его интерпретации, были ему безусловно по плечу, но когда он взял на себя смелость сказать, что конец "Дунсиады" не превзойден в английской поэзии по образности, мыслям и языку, он показал свое неумение судить о большой поэтической теме. И все же там, где тема ему по плечу, лекция была очень любопытна, а в речи его было мужество,

независимость и ясность, столь характерные для английских джентльменов.

Каждая черта Теккерея была отмечена американской прессой, и во всяком случае один раз он был описан подробно. "Что касается самого лектора, это крепкий, здоровый широкоплечий мужчина с коротко подстриженными седеющими волосами и серыми внимательными глазами, очень зорко глядящими сквозь очки с очень сатирическим фокусом. Видимо, он крепко стоит на собственных ногах и не даст легко сдунуть себя с места, ни повалить боксерскими ударами; человек с хорошим пищеварением, который принимает жизнь легко и чует всякую фальшь и обманы, растирает их между большим и указательным пальцами, как поступил бы с понюшкой табака.

Было в чтении Теккерея что-то такое, чего не уловил никто. Оно не поддавалось анализу и ускользнуло из памяти. Его голос, каким он мне запомнился, был глубокий и низкий с особыми неопикуемыми перекатами; манера речи - сама простота. Держался он спокойно и внушительно, руки его двигались, лишь когда он протирает очки, переворачивая страницы рукописи. Стихи он читал восхитительно".

Лекция "Милосердие и юмор" была подана совершенно спокойно никакого актерства - прочитана, как по писаному. Он бегло коснулся ранних юмористов, но когда дошел до Диккенса, заговорил с ласковым воодушевлением. "У меня дома есть маленькая девочка, та не бывает счастлива, если под подушкой у нее не лежит какая-либо из его книг". Его благословение Диккенсу прозвучало искренне, как благодарственная молитва. Кроме того, он прочел кое-что из "Панча" и отрывок из "Прогулки священника", такой трогательный и комичный, что мог бы подтвердить правило о милосердии истинного юмора. Это он сам написал, как сообщил он нам без всяких околичностей.

В 1857 году Теккерей читал свой цикл "Четыре Георга" в Гулле. После первой лекции он послал за Чарлзом Купером, молодым журналистом, уже давшим сообщение о ней в местной газете. "Известно ли вам, сэр, - сказал он, - что вы сделали все, что могли, дабы лишить меня хлеба насущного? Читателям, уже имеющим такой полный и точный отчет, в голову не придет идти на лекцию". Журналист извинился и уже собрался уходить, но тут Теккерей спросил его, как ему понравилась лекция. "Я нашел, что она очень

умна, отвечал я, - а также что вы употребили немало ума, стараясь скрыть доброе сердце под дешевым цинизмом.

- Черт побери, - воскликнул Теккерей, - вы достаточно откровенны. Но что, по-вашему, значит "дешевый цинизм"?

- На этот вопрос так сразу не ответишь.

- А вы попробуйте ответить. Звучит это как очень резкая критика.

- Но, пожалуйста, учтите, что это критика очень молодого человека. Может быть, это нахальство?

- Я уверен, что вы не хотели быть нахальным, и очень интересуюсь, что вы имели в виду.

- Я подумал, что лекция была циничная. С этим вы, я думаю, согласитесь.

Он кивнул, и я продолжал: "Меня поразило, что цинизм - это то, к чему должен прийти любой мыслящий человек, поэтому я и назвал это "дешевый цинизм".

- Спасибо, - сказал он с улыбкой. - Возможно, вы правы. Но ничего такого никто мне еще не говорил. Не бойтесь, я не обижен. *Ex oribus parvulorum* {Устами младенцев... (лат.).} - дальше вы знаете.

Я знал и почувствовал себя оскорбленным. Но его ласковый тон быстро снял это чувство. Да, я был перед ним младенцем, и оказался не в меру дерзким".

УИЛЬЯМ ОЛЛИНГЕМ

ИЗ ДНЕВНИКОВ

В отеле "Бристоль" я застал Теккерей с двумя дочерьми. Он себя чувствовал неважно - часто за полдень оставался в постели и лежа работал над "Виргинцами", - но вечерами приходил в себя.

Я рассказывал ему, что виделся здесь в Париже с Браунингами.

- Браунинг был у меня сегодня утром, - сказал Теккерей. - Сколько в нем душевного огня, на мой вкус, при моем теперешнем недужном состоянии, даже избыток. Чуть было не спалил подо мной кровать.

- Да, замечательная личность.

- И представьте, не пьет.

- И без того достаточно на взводе.

- Даже слишком. Но его поэзия мне не по зубам. А ваше мнение?

Я высоко отозвался об его стихах.

- Ну, не знаю. Мне лично нравится, когда поэзия музыкальна, когда стихи льются и ласкают слух.

- Мне тоже.

- Но это к вашему другу Б. уж никак не относится!

Я стал рассуждать, что зато у Браунинга имеется множество других достоинств и что поэтому он сам себе высший закон. Но Теккерей только улыбнулся и не стал дальше спорить.

- Во всяком случае, он крепко верит в себя. Наверно ему безразлично, хвалят или ругают его другие.

- О нет, отнюдь не безразлично.

- Да? В таком случае я напишу о нем что-нибудь в журнале.

Теккерей повез меня обедать в Пале-Руаяль. Он, посмеиваясь, обращал мое внимание на всякие мелочи, например, картинный жест, с каким официант поставил перед нами блюдо остендских устриц. А пригубив вина, посмотрел на меня сквозь свои большие очки и торжественно произнес: "Первый за день бокал вина - это событие".

Обед был восхитительный. Теккерей разговаривал со мной дружески и непринужденно, будто я был его любимым племянником.

После обеда он предложил отправиться в театр Пале-Руаяля, но когда мы вышли из ресторана, передумал и сказал, что лучше нам зайти навестить отца Праута. "Он живет здесь поблизости. Вы ведь знакомы?"

- Да, я немного знаю этого сладкогласого патера.

Тот был парижским корреспондентом "Глоба", и письма, которые он там печатал, пользовались успехом. Рассказывали, что из-за пристрастия Мэхони к классическим цитатам, типографии "Глоба" пришлось приобрести несколько комплектов греческого шрифта. Мы застали ученого и остроумного патера в большой комнате с низким потолком в первом этаже дома, расположенного в переулке за Пале-Руаялем. Одетый в просторное одеяние, он сидел, развалившись, перед раскрытой книгой и бутылкой бургундского. Встретил он нас приветливо, но сказал вполголоса: "Добрый вечер, ребята, у меня тут в углу спит один парень". И действительно, в углу, в своего рода нише, мы увидели нечто вроде постели. Теккерей заинтересовался, кто бы это мог быть, и Праут объяснил, что это юный Пэдди из Корка или окрестностей, прокутившийся в Париже до последней нитки. Праут нашел его "в стесненных обстоятельствах" и, будучи знаком в Ирландии с его родней, пригласил к себе жить и столоваться до прибытия помощи.

Такой гуманный поступок, как вы понимаете, пришелся Теккереею очень по душе. По поводу же бургундского он сказал, что вино чересчур крепко, и попросил себе коньяк и воду.

Среди прочих тем речь зашла о Диккенсе. Я сказал, что, по-моему, повести Диккенса много выиграют, если человек с хорошим вкусом пройдет по страницам редакторским карандашом и кое-что повычеркивает.

В ответ на что Теккерей произнес с нарочитым ирландским выговором:

- Эй, эй, приятель, не наступай мне на фалды! Я посмотрел на него с недоумением.

- То, что вы сейчас сказали, относится и к писаниям вашего покорного слуги.

ФРЭНСИС БЕРНАНД

ИЗ СТАТЬИ "ЗАПИСКИ СОТРУДНИКА "ПАНЧА"

Эту историю я лично слышал от самого Эндрю Арсидекни в "Гаррик-клубе", он рассказывал мне много разных анекдотов о своих стычках с Теккереем, в которых верх всегда - это подтверждают надежные свидетели одерживал он. Казалось бы, странно, - ведь по справедливости победителем полагалось бы выходить Теккереею. Но Арсидекни был большой оригинал, настоящий шут в жизни - а вот на сцене, даже любительской, актер из него получался никакой, так что самым доброжелательным зрителям, готовым бросать медяки ему в шляпу, когда он отваживался, к примеру, показаться в роли Джема Бэгса из "Странствующего менестреля", в которой так прославился Робсон, ничего не оставалось, как осыпать его насмешками. В последние годы сравнительно короткой жизни Арсидекни мы с ним "приятельствовали". Он очень смешил меня, в особенности своими рассказами о "Гаррик-клубе" и о Теккерее. Зная, что всегда найдет во мне заинтересованного слушателя, он, когда мы, бывало, оставались в курительной клуба с глазу на глаз, "пускался во все тяжкие" и в своей особенной, невозмутимой манере делился со мной воспоминаниями, и не только о Теккерее, но и о многих других литературных и театральных знаменитостях, которых знал лично. Теккереею он всю жизнь не мог простить, что тот вывел его в "Пенденнисе" в образе Фокера, и никогда не упускал случая свести счеты с великим романистом, которого, впрочем, всегда любовно именовал "Старина

Тек". А порой, но только в самом шаловливом и веселом настроении, он звал Теккерей "Тек, мой мальчик". Бывало, стоит Теккерей в курительной спиной к камину, сушит фалды своего фрака, а мысли его поглощены очередной книгой, гранки которой, может быть, лежат у него в кармане, и вдруг потихоньку входит коротышка Арсидекни, озирается вокруг, делает вид, будто не заметил писателя, и только открыв уже дверь, чтобы выйти, оборачивается и говорит скрипучим, гнусавым голосом: "Здорово, Тек, мой мальчик! Распалаете воображение?" После чего незамедлительно ретируется. Воплощенные Наглость и Достоинство! Или же Арсидекни ждал, покуда Теккерей усядется с сигарой в кресле, и только-только тот примет, наконец, свою излюбленную позу: голова задрана, правая нога перекинута через левую, и подошва на виду, - как появляется прототип Фокера, напевая какую-нибудь популярную мелодию, - его любимой была "Вилли со своей красоткой" - в левой руке у него сигара, а в правой - спичка. Проходя мимо задумавшегося гиганта, пигмей Арсидекни прерывал пение, восклицал: "Здорово, Тек, мой мальчик!", и весело крякнув, словно по наитию свыше вдруг чиркал спичкой о подошву Теккерей, раскуривал сигару и прихрамывая (он страдал подагрой) удирает прочь, а Теккерей оставался сидеть, онемев от "такой возмутительной дерзости". "Отличный парень был старина Тек, - любил приговаривать, заключая свои рассказы, Арсидекни. - Вот ей-богу, он на меня нисколько зла не держал. Но я его иногда доставал, это уж точно. Он бывало так с разинутым ртом и сидит".

Я описал, в качестве предисловия, манеры, приемы и особенности юмора "Веселого Эндрю" Арсидекни, чтобы понятнее была история о том, как он посоветовал Теккерей использовать в своих публичных лекциях музыку. Было это так. Теккерей выразил опасение, что его вторая лекция не будет иметь успеха - первая, как ему казалось, была принята плохо. Тогда присутствовавший Арсидекни, предусмотрительно отойдя к двери (его обычный "ретирадный маневр", вроде как боксер падает, чтобы избежать удара), оглянулся с порога и мрачно произнес: "Ах, Тек, мой мальчик, что же вы выступаете без рояля?" И хихикнув, удалился. Это вполне в стиле Арсидекни. Я передаю его собственные слова, и это действительно очень на него похоже, но немыслимо, например, для Джерролда. Точно так же, как и другой широко известный эпизод, когда он осведомился у

Теккерей, что должно последовать за его "Четырьмя Георгами". "У вас еще уйма возможностей, Тек, мой мальчик, - серьезно заметил Арсидекни. - Два Карла, восемь Генрихов, шестнадцать Григориев..." И подкинув эти ценные предложения, как всегда, поспешил удалиться. Вообразите себе вид Теккерей, тем более, когда он сообразил, что это - мечь за Фокера. Про Эндрю Арсидекни ходило много забавных анекдотов.

ЭНТОНИ ТРОЛЛОП ИЗ КНИГИ "ТЕККЕРЕЙ"

В 1837-38 годах "Фрэзерс мэгезин" печатал "Историю Сэмюела Титмарша и знаменитого бриллианта Хоггарти". Ныне эта повесть хорошо знакома всем читателям Теккерей, и не вдаваясь в подробности, нелишне напомнить, что принято мнение, будто при первой публикации она имела большой успех. Между тем, как рассказывал Теккерей одному нашему общему знакомому, когда он представил рукопись повести в журнал, сотрудники редакции вовсе не пришли в восторг от его нового произведения и попросили сделать сокращения. Едва ли найдется автор, который не упал бы духом, услышав подобную просьбу, тем более если речь идет о его хлебе насущном.

Стоит ли говорить, как огорчило Теккерей известие, что, по мнению редакции, его повесть чересчур велика по объему. В силу особенностей своего характера Теккерей никогда не был уверен в прочности своего положения, а в то время и подавно ничто не внушало ему такой уверенности. Мне думается, Теккерей всегда верил в свое призвание, но что касается всего остального, то тут его одолевали сомнения. Он сомневался, как встретит его сочинение публика, увенчаются ли его усилия действительно бесспорным успехом, хватит ли ему упорства в достижении поставленной цели, удастся ли преодолеть природную лень, улыбнется ли ему удача и минует ли он благополучно те подводные рифы, которые подстерегают литераторов на их пути к признанию. Хотя Теккерей прекрасно сознавал силу своего дарования, но даже на закате дней он терзался сомнениями, одержит ли он победу над собственным несовершенством. От природы Теккерей был не слишком усидчив - он всегда откладывал работу до последнего, а потом ругал себя за потворство своим слабостям. Он знал толк в удовольствиях жизни и не мог устоять перед соблазнами

света. Если утром в понедельник ему удавалось найти предлог, чтобы не браться сразу за работу, он испытывал невыразимое облегчение, но по мере того, как понедельник близился к концу, радость сменялась глубоким раскаянием, едва ли не угрызениями совести. Ему не дано было верить в себя с той неколебимостью, какая отличает иных с первых шагов на литературном поприще. Вот почему предложение сократить "Историю Сэмюэла Титмарша" было для Теккерея тяжелым ударом.

Мало кто может легко поделиться своей бедой с первым случайно встреченным знакомым. Теккерей несомненно был из этой редкой породы людей. Он никогда не старался скрыть все те мелкие уколы, которые наносились его самолюбию. "Распродано всего лишь столько-то экземпляров моей новой книги". "Вы читали, как разнесли последний выпуск моего романа?" "О чем же мне теперь писать? Мои романы надоели. Их не читают", - сетовал он в разговоре со мной после публикации "Эсмонда". "Итак, вы не хотите меня печатать?" спросил он напрямик одного издателя, встретившись с ним в большом обществе. Другие обычно помалкивают о своих неприятностях. Мне чаще доводилось слышать, как писатели гордо заявляли, будто издатели наперебой стараются заполучить их новые произведения и их книги выходят четвертым, а то и пятым изданием. Один писатель хвастался при мне, что в Англии распроданы тысячи экземпляров его романа и десятки тысяч в Америке, но я не знаю случая, чтобы кто-нибудь из наших знаменитостей во всеуслышание заявлял, что его шедевр никто не читает и что сочинения его приелись публике. И никто иной как Теккерей, когда ему исполнилось пятьдесят, заметил, что в такие лета уже не стоит писать романы.

Теккерей не владел в совершенстве искусством светской беседы. Насколько я могу судить, он не блистал в большом обществе. Его нельзя было причислить к искусным говорунам, коим цены нет на званых обедах. Зато в узком кругу близких Теккерей буквально расцветал и всех заражал своим весельем. Как правило, он умел рассмешить бесподобными шутками и розыгрышами, а не зубоскалил на житейские темы. Уже давно нет с нами Теккерея, но его старые друзья до сих пор вспоминают строчки из его шуточных стихов, которые он сочинял без всякого усилия по любому поводу. Хотя у него бывали приступы дурного настроения, даже скорей меланхолии, к

нему быстро возвращалось его чувство юмора, и забавные стишки так и сыпались из него в изобилии, подобно тому, как под его пером рождались бесчисленные карикатуры.

Теккерей беспрестанно рифмовал. Однажды, задолжав мне пять фунтов, семнадцать шиллингов и шесть пенсов, свою долю по счету за обед в Ричмонде, он отправил мне чек вместе с шуточным посланием в стихах. Я отдал его стихотворение как автограф писателя и не могу привести его здесь по памяти. Все это не стоящие упоминания пустяки, скажет читатель. Вполне возможно. Но Теккерей, и шутя, всегда оставался неизменно серьезен. Нельзя понять его характер, забыв о том, что шутка была для него спасительным средством от меланхолии, а сатира - оружием в обличении людской низости. Словно сам дух пародии сделал его своим избранником, но как бы ни был беспощаден его смех, Теккерей всегда сохранял уважение к тому великому, что есть в мире...

Хотя при такой публикации писателю недостает последовательности в работе, договор с издателем на подобных условиях не слишком обременителен для автора и дает определенные выгоды. Но, увы, прельщенный обманчивой легкостью, писатель позволяет себе расслабиться. Публикуя свое сочинение по частям, он может заработать деньги и литературное имя, еще не завершив свой труд. Создав в муках одну часть, он чувствует себя вправе дать себе передышку, поскольку к следующей части приступит лишь некоторое время спустя. Теккерей порой не мог устоять перед соблазном, начав новый роман, печатать его выпусками, и нередко не успевал закончить работу в срок. Когда неумолимо приближался день сдачи рукописи очередного выпуска, а она была еще далека от завершения, Теккерей осыпал себя упреками и жалобно стонал. Слышать это было смешно и в то же время грустно: он оплакивал свою горькую участь с таким юмором, что невозможно было удержаться от смеха, хотя его близкие прекрасно понимали, что тяжелая болезнь вновь одолела его и мучительные приступы не позволяют ему работать в полную силу.

"Корнхилл мэгезин" имел большой успех, но справедливости ради стоит сказать, что из Теккерей не получился хороший редактор, как не вышел бы из него государственный служащий или член парламента. На посту редактора ему не хватало прилежания. Мне представляется

сомнительным, чтобы Теккерей слишком утруждал себя чтением всех рукописей, которые в огромном количестве приходили в редакцию.

Однажды я договорился, - правда, не с самим Теккереем, а с владельцами журнала, - о публикации одного рассказа. Но Теккерей, не сочтя возможным напечатать этот рассказ, вернул его мне. В сущности его возражения сводились к одному. Подумать только, в моем рассказе некий джентльмен задумал бежать с замужней женщиной! Правда, он не осуществил свое намерение. В письме Теккерей постарался всячески смягчить отказ, он рассыпался передо мной в извинениях, сожалея, что вынужден отвергнуть произведение постоянного автора журнала. Но - увы! Я убежден, что Теккерей не прочитал рассказ. Он доверился своим сотрудникам, и какому-то ревнителю морали показался предосудительным - несомненно, с полным на то основанием - даже намек на подобный поворот сюжета, и он посоветовал редактору употребить власть, расторгнув договор. Для Теккереев было явной мукой писать такое письмо, он, боже упаси, не хотел меня обидеть, напротив, желал мне только добра. Я отправил ему большое письмо, попытавшись придать ему в меру моих способностей как можно более шуточный тон. Через несколько дней Теккерей ответил мне в том же духе со своим неизменным юмором.

ТЕККЕРЕЙ-ХУДОЖНИК

ЭНН РИТЧИ

ИЗ КНИГИ "ГЛАВЫ ВОСПОМИНАНИЙ"

Отец часто говорил, что вследствие выработавшейся у него многолетней привычки ему лучше всего думается с пером в руках. У него было любимое золотое перо, которым он писал лет шесть и которым были созданы рождественские повести. До этого он рисовал карандашом и пользовался гравировальной иглой или очень острым резцом и кисточкой.

Зимой 1853 года, когда мы были в Риме, много волшебных слов было написано этим золотым пером. Им было начато "Кольцо и роза". В одном письме отца есть следующие строки: "Мое рубиновое перо испортилось, оно больше не хочет стоять прямо, и я доканчиваю свою писанину золотым, которое не хочет строчить в наклонном положении". У отца перебивало много золотых перьев, но лишь к одному, любимому, он был по-настоящему привязан. Им написал он свои лучшие страницы и сделал рисунки для лучших своих гравюр,

среди которых иллюстрации к "Кольцу и розе". Когда оно исписалось, он стал жаловаться, что не может подобрать другое, столь же удобное, и перешел на гусиные. Он любил, чтобы у него под рукой на письменном столе лежали острые ножницы, которыми он подрезал гусиные перья под нужным ему углом, обратным тому, который делают обычно. Все это может показаться не стоящими упоминания мелочами, но перья и карандаши, и письменный стол так же неотделимы от образа отца, как, скажем, его очки или часы. Его карандаши были нашей мечтой, мы не могли на них налюбоваться, так ровно и остро были они отточены.

Когда он сочинял стихи, они приводили его в гораздо большее волнение, чем проза. Бывало, страшно возбужденный, он входил в комнату и говорил нам: "Еще два дня ушло напрасно. Я ничего не написал. Два рабочих утра потрачены на то, чтобы произвести на свет шесть строк". Но после некоторых борений все налаживалось. Воспоминание о том, как он писал маленький стишок "Рыбак и рыбачка", сохранилось в жизнеописании леди Блессингтон: он было в отчаянии совсем хотел оставить эту стихотворную затею, но под конец ему пришли в голову очаровательные строчки. У меня доныне хранятся надорванные черновики его стихов, часть из них написана карандашом.

И дома в Лондоне, и в солнечном Париже, и в зимнем Риме, где нам пришлось довольно трудно, работа над "Ньюкомами" двигалась вперед. Как я уже отмечала, он обычно диктовал, но, подойдя к критическому месту, отсылал записывавшего и сам садился за перо. Он всегда говорил, что лучше всего ему думается с пером в руке: перо для писателя, что палочка для волшебника: оно повелевает чарами.

Отец часто заговаривал с нами о "Дени Дювале", постоянно о нем думал, тревожился. Помню, он говорил, что "Филиппу" не хватает фабулы и эта новая работа непременно завоюет признание, вот только нужно написать ее как следует. У него появилась привычка носить в пальто главу-другую и часто вытаскивать странички из кармана, чтоб бросить взгляд на какое-нибудь место. Он признавался, что им владеет суеверное чувство, будто писать необходимо ежедневно, пусть хоть одну-единственную строчку, здоров он или болен. Сколько помнится, он лишь однажды попытался продиктовать какое-то место из "Дени Дюваля", но очень быстро отказался от этой мысли, сказав, что должен

писать сам. От этой поры у меня осталось одно приятное воспоминание. Как-то летним вечером, очень довольный и оживленный, он вернулся после небольшой поездки в Уинчелси и Рай. Он был просто очарован этими старыми городками, осмотрел и зарисовал старинные ворота, побывал в древних храмах, в домах давней постройки, стоявших некогда у моря, но отступивших потом вглубь суши. Уинчелси оправдал его самые смелые надежды. В те последние, закатные дни он постоянно хворал, и когда к нему ненадолго возвращалось здоровье и веселье, в доме воцарялся праздник. Моя золовка, в ту пору совсем еще девочка, впоследствии записала некоторые свои воспоминания: "Из посещений Пэлэс-Грин в дни моего отрочества мне ярче всего запомнилось, как мистер Теккерей работал над "Дени Дювалем". То было летом 1863 года, писатель был, по-моему, совершенно счастлив отдаться вновь после долгого перерыва стихии исторического романа. Конечно, я тогда не сознавала этого, а только видела, что все вокруг проникнуто "Дени Дювалем", который с каждым днем набирал силу. О ходе работы мы узнавали из бесед писателя с дочерьми, говорил он и с моей сестрой и со мной - он очень любил нашего отца. Порою вдохновение заставляло себя ждать, порою возвращалось и подчиняло себе и автора, который ловил благоприятную минуту, и всех в доме. Карету подавали к крыльцу, она стояла час, другой - мистер Теккерей не появлялся, а его дочери лишь радовались, что из-под его пера каждые десять минут выходит новая страница. Наконец, сияя радостью, он показывался в дверях, усаживался рядом с нами, и мы отправлялись в Уимблдон или Ричмонд. По дороге он вслух читал все вывески на всех встречавшихся лавчонках - искал имена для контрабандистов, которых собирался вывести в романе, и комментировал каждую фамилию. Его присутствие наполняло смыслом каждую минуту. Вспоминая это время, я и сейчас, хоть знаю, что писатель умер, не думаю о том, что книга осталась недописанной..." Всего за несколько дней до смерти отец, вернувшись после прогулки, сказал, что до сих пор не может привыкнуть к тому, что столько незнакомых людей раскланивается с ним на улице, снимает шляпу при виде него. Он был очень приметной фигурой, мимо него нельзя было пройти, не обратив внимания, неудивительно, что прохожие узнавали его, как Теннисона, Карлейля и других известных людей своего времени.

Когда мы жили на Янг-стрит, воскресные утра, свободные от занятий, мы проводили обычно в отцовском кабинете, помогая ему в работе над гравюрами, он часто поручал нам соскребать неудачные рисунки и смывать мел с досок. Мне навсегда запомнился тот страшный день, когда я смыла законченный рисунок, которого в холле дожидался рассылный из "Панча". Порою, к нашей радости, нас звали вниз из классной комнаты, где мы по будням готовили уроки, - отец посылал за нами, чтобы мы позировали для рисунков, которые он делал для "Панча" и для "Ярмарки тщеславия". Позже, когда мне исполнилось четырнадцать лет, он стал использовать меня как секретаря - диктовал свои книги.

Могу также засвидетельствовать, что однажды к нашей двери подкатил кеб, откуда выпорхнула крохотного роста дама, самая прелестная и ослепительная, какую только могло вообразить себе, она необычайно нежно и с блистательной учтивостью поздоровалась с отцом и через минуту, вручив ему большой букет свежайших фиалок, снова упорхнула. Больше я никогда не видела очаровательную маленькую особу, с которой, по мнению многих, была скопирована Бекки, отец только смеялся в ответ, когда его об этом спрашивали и так ни разу до конца и не признался. Он повторял не раз, что никогда не списывает ни с кого своих героев. Но, несомненно, разговоры о прообразах доходили и до него. Что касается прототипов "Ярмарки тщеславия", то я на эту тему приведу цитату, совершенно справедливую, по моим воспоминаниям. Чарлз Кингсли пишет: "Я слышал не так давно историю о нашем глубоком и гениальном юмористе, который выказал себя теперь и самым глубоким и гениальным романистом. Одна дама сказала ему: "Я в восхищении от вашего романа, герои так естественны, все, кроме баронета, которого вы, конечно же, утрировали, у людей его ранга не встретишь такую грубость нрава". Писатель засмеялся: "Он чуть ли не единственный портрет с натуры во всей книге..."

В ту пору гравюры занимали важное место в нашей жизни, дом был завален оттисками, рисунками, блокнотами с набросками, альбомами с вырезками. Друзья нередко служили моделями для гравюр и офортов... Одна наша юная приятельница, Юджиния Кроу, часто позировала моему отцу, по очереди представляя то Эмилию, то девиц Осборн, а мы с сестрой, гордые оказанным доверием,

изображали детей, дерущихся на полу. Помню целую композицию, состоявшую из вышеупомянутой Юджинии-Эмилии с диванной подушкой на руках вместо младенца и высокого стула на том месте, где полагалось стоять Доббину с игрушечной лошадкой под мышкой, которую он принес в подарок своему крестнику.

Отец редко сохранял свои рисунки, и мы не сберегали их заботливо. Привычный поток картинок и набросков тек мимо нас, мы их любили, но не придавали им значения, поэтому из множества его работ лишь очень немногие остались в семейном архиве. Не помню, чтобы окантовали хоть одну из них. Как-то, когда я была ребенком, мне дали для игры огромный альбом с вырезками и разрешили делать что захочется, и лишь однажды, помню, увидев, как я изукрасила его наброски, истыкав их концами ножниц, он спросил меня, зачем я это сделала. В последующие годы я, по его приказу, смывала рисунки с множества досок, однажды даже в своем усердии смыла плод трудов целого дня. Он никогда не испытывал чрезмерного почтения к своей работе, хоть и дорожил ею, - все, что было связано с его писательством и с искусством иллюстратора, исполнено было для него самого глубокого смысла, неистощимого интереса и новизны... И только когда дело доходило до гравировальной иглы и до резца, рисунки нужно было перевести на доску, - он начинал жаловаться, что это трудно и что ему не хватает умения, мы всегда мечтали о том, чтобы его картинки попадали в книги в первоначальном виде, без промежуточных стадий и без посредничества гравера и типографа. Подобные попытки совершались раза два, но ничего из этого не вышло.

После дневных трудов отец стремился к полной перемене обстановки и рода занятий. Мне кажется, что он всегда был рад сменить чернильницу на дорогую его сердцу кисть. Он часто отправлялся в город на крыше омнибуса или в одноконной карете, порою брал с собой и нас, и с этой целью посылал за кебом (который мы с сестрой предпочитали прочим видам экипажей), и мы все вместе совершали долгие прогулки в Хэмпстед, Ричмонд, Гринвич и в дальние кварталы города, где находились ателье художников. Бывали мы у Дэвида Робертса, который нас всегда встречал радушно и разрешал до бесконечности листать свои альбомы, - мы обожали этим заниматься, рисунки в них были такие тонкие, правдивые и точные,

что, если долго их разглядывать, слегка кружится голова. Несколько раз мы посещали мастерскую Каттермола, укрытую среди развалин и плюща на Хэмпстедских холмах. Должно быть, Дюморье в ту пору еще там не жил, иначе я бы помнила, как мы въезжаем на вершину. Проходят годы, и люди видят с огорчением, что время и судьба разводят тех, кто был бы счастлив вместе. Бывали мы порой и на прекрасной усадьбе сэра Эдвина Ландсира в Сент-Джонс-Вуд и наслаждались обществом художника. Из всех историй, какие он имел обыкновение рассказывать, не отрываясь от какого-нибудь очередного громадного холста, мне помнится такая - об одной его собаке. После работы он каждый день ходил с ней на прогулку, чего та терпеливо дожидалась с самого утра, а около пяти часов ложилась у его ног и норовила заглянуть в лицо; однажды, увидав, что все ее намеки тщетны, она принесла из прихожей шляпу хозяина и положила перед ним.

Любили мы заглядывать и к мистеру Чарлзу Лесли, который был соседом сэра Эдвина и тоже жил в чудесном доме. Кроме домашних и детей художника, там были и другие его детища, ничуть не менее исполненные жизни. Я помню и сейчас, как мой отец, посмеиваясь, одобрительно глядит на Санчо Пансу в Саут-Кенсингтонском музее, где тот изображен безмерно мудрым и столь же нелепым, с задумчиво приставленным к носу пальцем. Прекрасная герцогиня, портрет которой выставлен теперь на обозрение публики, тоже жила в этом доме, вернее, не она сама, а те, с кого она была написана. Заглядывал туда и Диккенс: мне кажется теперь, хоть я не поручусь за точность своих слов, что вечерами там за окнами сверкали фейерверки.

Я помню (или это только кажется?), как в карете мы едем к мистеру Фрэнку Стоуну на Тэвисток-сквер, и вот уже хозяин мастерской и мой отец смеются, вспоминая прошлое. "А помните портрет, который я писал с вас на холсте, где была женщина с гитарой?" - и тотчас из какого-то чулана извлекается картина, где мой отец изображен цветущим, бодрым человеком, с густыми темными волосами и румяным, молодым лицом - таким я никогда его не знала. Картину мы берем с собой, она хранится у меня и ныне, и в рдеющем пятне на заднем плане и сейчас просматривается красное платье прежней модели художника. Как хорошо, что те, с кого по большей части пишутся портреты, обычно в эту пору счастливы, здоровы,

находятся в зените жизни. Когда листаешь каталоги академии, нельзя не обратить внимание на то, что в основном портреты пишут с тех, кто получил сан епископа, или произведен в генерал-губернаторы, или стал спикером, почти все дамы - новобрачные в прелестных новых туалетах и брильянтах. Скорбь опускает голову, недуг старается укрыть лицо, они не просят на полотно художника, впрочем, действительность порой противоречит сказанному, и нас теперь буквально завалили полотнами с предсмертными сценами и сестрами милосердия.

В те годы, о которых я пишу, мистер Уотс еще не переехал в Кенсингтон и не построил себе мастерскую в "Маленьком голландском домике", это счастливое событие случилось много позже, когда мы распростились с золотой порой детства, определившего всю нашу будущность (к этой поре и обращаюсь я в этих своих воспоминаниях).

Мистер Уотс нередко повторял, что хочет написать отца, но до сеансов дело, к сожалению, не дошло. И все же я могу вообразить себе такой портрет он отражал бы ту таинственную правду жизни, ту верность настоящему мгновению, что не подвластна времени и сроку.

И все же самое большое удовольствие от общения с друзьями отец наш получал, встречаясь с Джоном "Ничем, которого увидел в первый раз еще в Чартерхаусе. "Какой-то мальчуган, совсем еще малыш в тесном, глухо застегнутом голубеньком форменном костюмчике пел, стоя на скамейке, "Родина, милая родина" пред мальчишками, которые его к тому принудили", - часто рассказывал отец с улыбкой. Когда я познакомилась с художником, он выглядел уже отнюдь не мальчиком, я вижу его беседующим с отцом в столовой у камина мы жили тогда в нашем славном старом доме на Янг-стрит - и тут же де ля Плюш накрывает ужин. Лич был высок, очень хорош собой, застенчив, добр, с чуть хриловатым, благозвучным голосом - мы, дети, его просто обожали. Одет он был всегда изысканно, и мы всегда смотрели в окна, когда он подъезжал к дверям на превосходном, до глянца вычищенном скакуне. Обычно он являлся с каким-нибудь приятным предложением: звал на прогулку или пообедать с ним и его женой в Ричмонде, или что-нибудь еще в том же роде. Отец любил нас брать с собой, и, думая сейчас об этом, я не могу не удивляться доброте его друзей, не забывавших никогда позвать и нас, двух очень беспокойных юных гостей. Нас приглашали рано, и потому мы

прибывали в странный для визитов час. Обычно мы обедали с хозяевами и как-то проводили время в доме, а к ужину являлся наш отец; во время трапезы и позже, пока он оставался покурить с мужчинами, мы с терпеливою хозяйкой дома ждали наверху. Мы очень часто навещали миссис Брукфилд, которая жила тогда на Портмен-стрит, миссис Проктер и разных родственников, в том числе и индийских кузин отца, проводивших в Лондоне сезон с мужьями-полковниками и всеми чадами и домочадцами. Мы ездили и к Личам, в ту пору поселившимся на Бранзуик-сквер. Там мы играли с их малюткой, разглядывали толстенные альбомы и, помнится, ходили на прогулки с добрейшей миссис Лич, а иногда - правда, случалось это очень редко - нас допускали в комнату, где за столом, который отгорожен был экраном из папиросной бумаги, рассеивавшим свет, сидел над досками Джон Лич. Среди столов, заваленных блокнотами для рисования, альбомами с эскизами и досками (очень большими - раза в четыре больше тех, что были у нас дома), уже готовыми к отправке в "Панч", видна была спина склонившегося над работой мастера, но, инстинктивно чувствуя, что мы ему мешаем, мы торопились вниз, где перелистывали вновь и вновь альбомы с этюдами и карандашными набросками (иные из таких едва намеченных и беглых зарисовок хранятся у меня и ныне). Впоследствии они преобразались и обретали выразительность и окончательный свой вид, который неизменно вызывал улыбку и очаровывал своим добросердечным юмором. Они несут с собою образ прежних лет и мест; перебирая их сейчас, я поневоле думаю о том, что скромные, на первый взгляд, дома, где красота и радость - дело рук хозяев, мне несравненно интереснее роскошных и заботливо обставленных покоев, некогда ослеплявших своим великолепием, где все, на что вы обращали взор, было оплачено и куплено. В конце концов, вся тайна жизни заключена лишь в том, что может быть сотворено руками, украдено либо получено за деньги.

Кое-кто из авторов и карикатуристов "Панча", среди которых был и мой отец, любили ужинать у Лича, и зачастую на исходе дня являлись всей компанией к нему домой. То были мистер Тенниел, мистер Персивал Ли, мистер Шерли Брукс, а в более поздние годы и Миллес, знаменитый представитель совсем иной профессии, ставший теперь деканом Рочестерского собора. Порою вместо ужина на

Бранзуик-сквер или в Кенсингтонском доме, куда впоследствии переселились Личи, все отправлялись в Ричмонд, прихватив и нас с сестрой, и, сидя на террасах, наслаждались красотой заката.

Отец наш очень радовался, когда спустя лет десять Лич и его семья обосновались в Кенсингтоне, с живейшим интересом он следил за тем, как обставлялся их прекрасный старинный дом. Как-то утром я шла по Кенсингтон-роуд в сторону Пэлас-Грин и вдруг увидела отца, который осторожно нес две голубые голландские фарфоровые вазы - он выкрал их из собственного кабинета. "Хочу посмотреть, как они будут выглядеть в столовой Лича на каминной полке", - объяснял он мне. Я последовала за ним в надежде, что вазы не придутся к месту (нам с Минни часто доводилось сокрушаться о то и дело исчезавших из дому красивых безделушках и фарфоровой посуде). Точно я уже не помню, но, надо думать, люди удивлялись, глядя, как он идет по улице с вазами в руках, зато я помню, что ему было весело и очень любопытно, чем все это кончится, и помню, что чугунные ворота, как и все двери, стояли нараспашку, но дом был пуст - хозяева еще не прибыли. По комнате деловито сновали рабочие, прибывавшие ковры и распаковывавшие мебель. Мы пересекли прихожую и прошли в устланную новым турецким ковром прекрасную старинную столовую, высокие окна которой выходили в сад. "Я знал, что тут они придутся кстати", - сказал отец, поставив голубые вазы на высокий, узкий выступ, и с той минуты они всегда стоят там в моей памяти.

Статью о творчестве Джона Лича отец опубликовал в "Куотерли ревью". Там есть слова: "Пока мы живы, мы должны смеяться". Не мало ли мы смеемся? Наши отцы смеялись лучше нас. Не переели ли мы плодов с древа познания? Трудно сказать. Искусство последователей Лича еще не вышло из-под его волшебной власти, но родственные виды человеческой деятельности - риторика, литература и другие, по мнению иных, не отличающихся широтой кругозора критиков, скатились до излишней, неприглядной откровенности. Порой я задаю себе вопрос, как отозвался бы о нас писатель-моралист, живи он в наши дни. Не знаю, как оценят нынешнюю пору молодые, когда, став взрослыми, оглянутся на это столь запутанное время. Теперь овечьи шкуры не в чести, и в моде больше волчьи, но и они не настоящие. Мечтающий о роли льва кажет ослиные уши, и фарисей старается пройти по людной улице под ручку с мытарем, чтобы

задобрить избирателей. Понять это непросто, еще трудней извлечь благой урок. И тем не менее, в один прекрасный день, пока мы топчемся на месте и разглагольствуем о пустяках, тихо войдет какой-то новый гений, какой-то неизвестный Лич, коснется самого привычного и - раз! - зальет всю землю новым светом и в мире снова расцветет улыбка. "Разве бывает слишком много правды, доброты, веселья, красоты?" - сказал о Личе тот, кто с ним дружил всю жизнь.

ГЕНРИ ВИЗЕТЕЛЛИ

ИЗ КНИГИ "ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ"

Когда я пришел по указанному мне адресу - дом на Джермин-стрит, восемь или десять подъездов от Риджент-стрит и через несколько подъездов от нынешнего Музея геологии - и постучал в дверь для квартирантов, молодая служаночка в ответ на мой вопрос пригласила меня следовать за ней наверх. Я поднялся за ней под самую крышу и, передав свою карточку, был приглашен войти в первую комнату, где высокого роста худощавый джентльмен лет тридцати - тридцати пяти, с приятной улыбающейся физиономией и с носом без переносицы, в халате безусловно парижского покроя, поднялся мне навстречу от небольшого столика, стоявшего у ближайшего окна. Став на ноги, он из-за низкого потолка показался еще выше ростом, а в нем и правда было шесть футов с лишком. Комната была более чем скромно обставленной спальней - простые стулья с плетеными сиденьями и крашенная французская кровать, а на голых, холодных и невеселого вида стенах - ни зеркала, ни картин. На столе, из-за которого мистер Теккерей поднялся, была постелена белая скатерть, на ней стоял поднос со скудным завтраком - чашка шоколаду и тарелка с гренками, а на другом конце лежали тесно сдвинутые письменные принадлежности, два-три номера "Фрэзерс мэгезин" и несколько листов рукописи. Я вручил ему письмо мистера Никкисона и объяснил цель моего прихода, и мистер Теккерей сразу же предложил, что может писать о живописи, рецензировать те книги, какие ему вздумается, да изредка давать статейку об опере - главным образом о ее завсегдатаях, добавил он, а не с точки зрения критика. Он был так доволен тремя гинеями в неделю, которые я предложил за несколько столбцов, что в шутку выразил готовность подписать на этих условиях хоть и бессрочное соглашение.

По тому, с какой готовностью он согласился получать дополнительно 160 фунтов стерлингов к своему доходу, я понял, что предложение мое ему весьма выгодно. Во всяком случае, смиренное жилище, где он тогда обитал, указывало на то, что как раз в это время строжайшая экономия была его обычаем.

Мистер Теккерей в тот период болезненно ощущал, как ему не хватает умения гравировать, и просил меня найти ему кого-нибудь, кто отгравировал бы фронтиспис к томику "Каир" с его акварельного наброска. Я отдал эту работу одному нашему молодому мастеру по фамилии Туэйтс, который в дальнейшем перенес на дерево несколько набросков Теккерей к "Балу у мистрис Перкинс" и немного оживил руки и другие детали, нарисованные на форме самим Теккереем... Благодаря небольшим услугам, которые я мог оказать ему, я с ним очень сблизился и, пока печатались рисунки к "Балу у мистрис Перкинс" и другие его рождественские повести, которые у нас шли, много с ним видался, потому что он оказался почти таким же придирой в отношении того, как его наброски переводились на дерево, как несколько позже оказался мистер Рескин. Однажды, когда он зашел на Питерборо-корт, у него был с собой небольшой пакет в оберточной бумаге, и, развернув его, он мне показал два своих рисунка для иллюстраций в первый выпуск "Ярмарки тщеславия". Вместе с ними была завернута рукопись начала романа, о котором он несколько раз говорил со мной, особенно в связи с причудливым характером, жившим в Чизик-аллее, неподалеку от места, где я тогда обитал. В тот день он собирался повидать Брэдбери и Эванса и предложить свою работу им. Хотя Теккерей никогда не давал понять, что ищет похвалы, - что бы ни говорил по этому поводу сержант Баллантайн, - пренебрежительные замечания всегда повергали его в тоску, и я был рад случаю расхвалить оба его рисунка, качество которых, как он уверял, вызывало у него сомнения, а заодно и поздравить его с замечательным заглавием всей работы, которое я тогда услышал от него впервые.

Через каких-нибудь полчаса Теккерей появился снова и с сияющим видом сообщил мне, что дело улажено. "Брэдбери и Эванс, - сказал он, - согласились с такой готовностью, что я, черт возьми, жалею, почему не запросил с них на десятку больше. Я уверен, что они пошли бы на это". Потом он объяснил мне, что попросил пятьдесят

гиней за каждую часть, в том числе два листа буквиц, гравюр и заставки в начале каждой главы. Текст, как я помню, он считал по 25 шиллингов за страницу, две гравюры - по шесть гиней штука, а заставки в начале глав подкинул задаром. Так сам мистер Теккерей оценивал себя в 1846 году нашей эры как автор и иллюстратор.

Басня о том, будто "Ярмарка тщеславия" обошла чуть ли не всех издателей, пока нашелся на нее покупатель, печаталась десятки раз и несомненно будет еще повторяться как разительный пример тупости лондонских книгопродавцев прошедшего поколения. А между тем в ней нет ни на йоту правды. Если поднять издательские архивы тех времен, я уверен, что там не найдется ни слова о том, что рукопись эта когда-либо им предлагалась... Недоразумение с "Ярмаркой", так описанное, предполагает, конечно, что рукопись была закончена и предложена в таком виде полудюжине болванов, которые с благодарностью ее отвергли; но я-то не сомневаюсь, что когда он заключил договор с фирмой "Брэдбери и Эванс", они могли знать о ней только то, что мистер Теккерей мог сообщить им в очень коротком разговоре, и кроме первой главы тогда не было написано ничего.

Я не сомневаюсь, что издатели купили "Ярмарку" - как покупается до сих пор большая часть произведений известных писателей, - исходя только из тогдашней репутации автора, которую сильно повысила публикация в "Панче" "Книги снобов". Мне доподлинно известно, что, когда "Ярмарка" начала выходить, большая часть романа писалась под нажимом типографии, и нередко окончательная порция "текста", нужная для заполнения оговоренных тридцати двух страниц, создавалась, когда мальчик из типографии уже дожидался в прихожей на Янг-стрит. Такое часто бывало с работой, которую мистер Теккерей сдавал ежемесячно, и удивительно то, что, рождаясь в таких невыигрышных условиях, она продолжала быть одинаково и отменно хорошей.

Я с удивлением прочел у декана Хоула, что Теккерей, когда бывал в разговорчивом настроении, говорил столь блистательно, что остроты сталкивались и душили одна другую. Во всяком случае, ни я сам этого не замечал, и никто из многих других, кто был с ним коротко знаком. За те семь или восемь лет, что я часто с ним видался, мне ни разу не показалось, что ему хочется блеснуть в разговоре - он вообще не говорил ради эффекта, не пытался завладеть беседой. Обычно он

вставлял от себя какой-нибудь шуточный комментарий и проявлял большее терпение к занудам, чем свойственно людям столь талантливым. Когда разговор становился скучным или утомительным, он оживлял его каким-нибудь остроумным сатирическим замечанием и уводил в новое русло. Из маленьких проповедей "в сторону", которые он произносил в своих книгах, в разговор не попадало ничего. В этот период его карьеры присущая ему безмятежность характера и очаровательная любезность пленяли всех, кто с ним встречался, несмотря на легкую саркастичность его шуток.

Из множества случаев, когда я наблюдал мистера Теккерея не скованным светскими условностями, не могу припомнить ни одного, когда он показал себя взволнованным какой-нибудь неприятностью. А между тем он был необычайно чувствителен, это явствует хотя бы из корнхиллского эссе "Иголки в подушке". По-моему, он смотрел на жизнь легко и философски и брал от нее все невинные удовольствия, какие мог получить. И уж конечно не было в нем в то время и следа той замкнутости или суровости, какие ему приписывали в последующие годы, когда "время кудри его покрыло серебром".

Когда я опять перебрался на житье в Кенсингтон, мне часто приходилось встречаться с мистером Теккереем в связи с иллюстрациями к его рождественским повестям или с гравюрами для его романов, с которыми я ему по-прежнему помогал, добывая иногда какого-нибудь помощника, чтобы делать механическую часть работы. Было время, когда я проводил у него два утра в неделю, и так как вставал он обычно поздно, он приглашал меня к себе в спальню, а потом, одеваясь, угощал сигарой и непринужденной беседой на всевозможные темы и говорил со мной просто, как с равным. Из этих разговоров я уловил, что он завидует, хотя не зло, огромному влиянию, приобретенному Диккенсом среди читательниц, которых, как он говорил, умиляли до слез злоключения его юных героев и героинь.

Несмотря на замечание Теккерея, что ту часть "Лавки древностей", где речь идет о Нелл, он прочел только раз, а Дика Свивеллера и Маркизу знает наизусть, нет сомнения, что трогательные страницы Диккенса действовали и на него. Теккерей по любому случаю восхвалял Диккенса как писателя, однако же никто лучше его не понимал, как преувеличена привлекательность этих характеров, в то время вызывавшая столь безграничное женское сочувствие.

Все мы помним изречение Теккерей: "Когда я говорю, что знаю женщин, я хочу сказать, что знаю, что не знаю их" ("Письма мистера Брауна к племяннику", Э 11). Однако одно можно утверждать с уверенностью: он жаждал их восхищения. Он открыто в этом каялся, я сам слышал, и мало того, по-ребячески гордился, когда ему удавалось завоевать это восхищение. Может быть, упоминание об этом - дурной вкус, но я не раз получал от него рисунки на дереве к рождественским повестям, завернутые в листы от писем корреспонденток, без должной скромности позволявших себе иногда отвлекаться от обсуждения достоинств его книг. Таких посланий было не так уж много, чтоб они попались мне на глаза случайно. Думается мне, что ему хотелось оповестить пошуре, что он просто изнемогает от женского обожания.

Сейчас, когда слава Дугласа Джерролда пошла на убыль, странно вспомнить, что это был единственный литератор, к которому Теккерей, когда он был на вершине известности, серьезно ревновал. Ранние выпуски "Панча" приходили на Янг-стрит, и я отлично помню, как нервно Теккерей срывал обертку и восклицал: "Посмотрим, посмотрим, что юный Дуглас имеет сказать на этой неделе..."

Теккерей не любил плохо отзываться о людях и очень редко говорил недоброжелательно о ком бы то ни было. Однако скрывать свое презрение к демократическим заявлениям Джерролда он не считал нужным. Я помню, как он заметил у графа Карлейля одну из книг Джерролда с такой надписью: "Высокопочтимому графу Карлейлю, КП, КОБ {Кавалер ордена Подвязки, кавалер ордена Бани.} и проч. и проч.". "Да, - сказал тогда Теккерей, - вот так ваши несгибаемые бескомпромиссные радикалы всегда подлизываются к великим". В одной из своих книг он заметил: "У английской аристократии есть какой-то запах, от которого плебеи пьянеют". Что и говорить, между этими двумя людьми симпатии не было...

Особенно хорошо Теккерей относился к молодежи, я лично видел от него только величайшую доброту. Ему словно особенно приятно было принимать у себя молодых людей, поощрять их, чтобы те чувствовали себя как дома, и в то же время вызывать их на откровенные разговоры. Я помню время, когда несколько бойких молодых людей, чей успех придал им мужества, чтобы отвернуться от богемы с ее очень уж вольными нравами, но не приучил еще уделять достаточно внимания собственной внешности, часто усаживались у

Теккерея за обеденный стол, где их знатный хозяин проявлял к ним подчеркнутую учтивость. После одного из таких обедов я слышал, как он заметил, конечно же в надежде, что намек будет передан по адресу: "Все это отличные ребята, но им не помешало бы надевать рубашки почище". До того, как подросли его дочери и пока он работал над "Ярмаркой", Теккерей не приглашал по многу гостей и как будто был доволен вечерами, проведенными подальше от клуба и от поздних ужинов у Эванса, которые он одно время посещал почти бессменно...

Пока книжки выходили одна за другой, я по просьбе мистера Боуга обратился к мистеру Теккерею (с которым тогда постоянно общался и у которого в одной главе "Книги снобов" содержалось больше остроумия, чем в любой десятке "Физиологии" Альберта Смита и Энгуса Рича) с просьбой написать любое, по его усмотрению, количество томиков по цене сто гиней штука. Так как это было вдвое больше того, что Теккерей получал тогда за один месячный выпуск "Ярмарки" (включая несколько гравюр), он честно сознался, что предложение это соблазнительно, но в конце концов отказался от него, так как очень уж не хотелось ему связываться с Альбертом Смитом.

Теккерей, не терпевший ничего вульгарного, не мог стерпеть Смитова *mauvais gout* {Дурного вкуса (фр.)}. Вынужденный с ним встречаться, он относился к нему с презрительной терпимостью, внешне как будто и вежливой, но саркастические замечания, которые он себе позволял, выдавали его действительное отношение к шутовству Альберта. Позже, когда я предложил Теккерею от лица фирмы "Смит и Элдер" тысячу фунтов за роман, он сразу согласился, и результатом стал "Эсмонд", который был закончен, кажется, только через два или три года. Издатели, считавшие, что роман будет из современной жизни, сперва были разочарованы, но позже я узнал от мистера Смита Уильямса, в то время их литературного консультанта, что успех "Эсмонда" так превзошел их ожидания, что мистеру Теккерею был вручен чек на 250 фунтов больше, чем было оговорено в соглашении.

ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ

ЭНН РИТЧИ

ИЗ КНИГИ "ГЛАВЫ ВОСПОМИНАНИЙ"

Однажды отец сказал нам, что подумывает отправиться с лекциями в Америку. Он собрался плыть туда после того, как кончит

книгу, которую писал тогда. Нам с Минни предстояло в ожидании его возвращения жить зимой у бабушки в Париже. "Я должен возместить промотанное в юности отцовское наследство и обеспечить бабушку и вас: вы погостите у нее зимой, прилежно занимаясь французским языком и музыкой, как в колледже, - чтоб убаюкивать меня своей игрой по вечерам, когда я снова буду дома". Увы! из нас с сестрой не вышло музыкантш, которые могли бы убаюкивать его по вечерам, зато своей игрой мне часто удавалось выжить его из гостиной. Стоило мне сесть за инструмент в его присутствии, как у меня деревенели руки, волосы становились дыбом, и даже самые любимые произведения срывались с пальцев, точно поезда, попавшие в крушение.

В ту пору Америка была от нас намного дальше, чем теперь, когда несметное число Колумбов еженедельно пересекает океан, кивнув небрежно на прощанье и припася билет домой. Лето 1854 года было омрачено предстоящей разлукой. Оно, к тому же, было долгое и знойное, казалось, даже сумерки, даже сады на задних дворах и побуревший дерн в аллеях Кенсингтон-гарденс были раскалены от зноя. Там над аллеями и лужайками стояло что-то вроде марева - не мгла, не гроза, не туман, а, как мне думалось, самый дух Лондона парил над прямыми зелеными квадратами Кенсингтона. Отец был погружен в работу, он торопился кончить книгу, которую иные до сих пор считают лучшей. Ее читали и тогда, когда она лишь вышла из печати, читают, перечитывают и сегодня. Чаще всего он работал в кабинете, затененном виноградными лозами, обвивающими окна, а мы обычно делали уроки, шили и читали в передней гостиной с эркером. Как-то сидели мы там с нашей гувернанткой, и вдруг туда вбежал взволнованный отец. "Только что один молодой человек принес мне тысячу фунтов, он хочет напечатать мою книгу на столь заманчивых и выгодных условиях, что даже как-то неловко ловить его на слове, он ведь еще почти мальчик. Его зовут Джордж Смит. Ну, мне пора к нему. Он ждет там, в кабинете", - проговорив все это и походив по комнате, он удалился. Так когда-то еще на заре наших дней мы услышали впервые имя человека, который стал нам добрым другом на всю последующую жизнь.

Отъезду отца в Америку предшествовало множество приготовлений, предполагалось даже сдать в аренду дом, в котором, в конце концов, закрыли комнаты, оставив для охраны старых слуг, -

надо сказать, что слуги редко покидали моего отца. Прежние издатели подарили отцу в дорогу серебряную чашу для пунша, а новые (не нужно забывать, что я пишу о событиях полувековой давности) - превосходную шкатулку для писем, и нам с сестрой - чудесный карандашный портрет отца работы Сэмюэла Лоренса, чтоб мы смотрели на него и не скучали. Наконец, подошло время отъезда. Сначала мы втроем отправились в Европу, чтоб встретиться там с бабушкой и дедушкой, потом часть пути проделали все вместе, но вот, нужно было расставаться. Я помню и сейчас, как на какой-то железнодорожной станции, кажется, в Олтене, он стоял возле деревянного столба, потом наклонился, поцеловал нас и усадил в вагон. У всех было тяжело на сердце, и, пока поезд набирал скорость, он все стоял на том же месте, такой высокий и прямой, и долго провожал нас взглядом. Мы так и не привыкли к расставаниям, хотя обычно он возвращался в добром здравии, веселый, довольный и поездкой, и ее плодами...

ДЖЕЙМС ФИЛДС

ИЗ КНИГИ "ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ С ПИСАТЕЛЯМИ"

Я имел возможность наблюдать за литературной работой Теккерея как в Америке, так и в Англии, и на мой взгляд, он сочинял вполне легко, просто у него была привычка тянуть и медлить. Почти все свои сочинения он писал для журналов месячными порциями, когда редакторы стояли у него над душой. По его собственному признанию, начиная роман, он часто не знал даже, сколько в нем будет действующих лиц, и вообще, как он выражался, не имел четкого представления об их моральном облике. Иной раз, в особенности когда накануне он допоздна засиживался за ужином и утром бывал не в духе, его тянуло изображать их коварными злодеями; если же он вставал в хорошем настроении, с ясной головой, тут уж он щедро позволял своим героям и героиням совершать бесчисленные благородные поступки. Сочинив удачный пассаж, который ему самому нравился, он хватал шляпу и бежал из дому на поиски кого-нибудь из знакомых, чтобы не откладывая прочесть ему написанное. Гилберт Уэйкфилд, признанный знаток древнегреческого языка, любил повторять, что достиг бы гораздо большего, если бы начал свои штудии раньше; но, к сожалению, он занялся этим языком только в пятнадцать лет. А Теккерей, приведя это замечание Уэйкфилда, сказал мне: "Я бы тоже

гораздо лучше владел английским языком, если бы взялся читать Филдинга, когда мне еще не было десяти лет". Это очень ценное высказывание, поскольку оно свидетельствует о том, кого Теккерей считал своим учителем.

Однажды, снежной зимой 1852 года, я встретил Теккерей на Бикон-стрит (в Бостоне) - он мужественно шагал, презрев непогоду, а под мышкой у него были новенькие томики "Генри Эсмонда" (только что вышло английское издание). Завидев меня издалека, он с радостным гоготом поднял книжки над головой. А когда мы сблизались, сказал: "Вот самое лучшее, на что я способен, несу Прескотту в награду за первый обед на американской земле, которым он меня угостил. Этой книгой я горжусь и готов оставить ее как память после себя".

Поскольку он писал месячными порциями и склонен был откладывать работу над очередными главами до последней минуты, у него часто случались большие неурядицы. Как-то летом, в сентябре 1859 года, я оказался в составе большой компании, которую Теккерей пригласил к шести часам в Гринвич на обед. Мы должны были все приехать из Лондона, собраться в вестибюле гостиницы и ровно в шесть встретиться там с ним. Соответственно мы сели на пароход и точно в назначенное время были там, где уговорились. Пробыло шесть - пригласивший нас к обеду Теккерей, со своей стороны, уговора не выполнил. Дородная фигура хозяина не появилась среди гостей... В недоумении мы провели так целый час ни Теккерей, ни обеда... Какой-то толстяк с голодным блеском в глазах доверительным шепотом сообщил нам, что все блюда давно перестоялись и уже полчаса как стали несъедобны. Но в эту минуту за дверью раздался жизнерадостный гогот, и вошел Теккерей. Он даже не переоделся к обеду, не отмыл чернила с пальцев. Хлопая в ладоши и кружась на одной ноге, он провозгласил: "Хвала небу, последний лист "Виргинцев" ушел в типографию!" И не извинившись за столь позднее появление, никого никому не представив, он со всеми по очереди радушно поздоровался за руку и пригласил нас поскорее к столу. Его радость по поводу окончания книги затмила все другие чувства, и мы разделяли ее - хотя блюда, которые нам подали, и вправду оказались все переваренные и пережаренные.

Притом что Теккерей так великолепно, элегантно читал лекции, если ему случалось держать речь перед большим собранием, это у него часто кончалось конфузом. Бывало, произнесет две-три фразы, и дело застопорилось. Он заранее очень тщательно готовил выступления и считал, что вот сейчас непременно произведет фурор. И когда как обычно терпел фиаско, то нисколько не унывал, а забыв, что хотел сказать, преспокойно садился на место, и его аудитория улыбалась вместе с ним так же благодушно, как и он сам. Раз он пригласил меня съездить вместе с ним из Лондона в Манчестер и послушать, как он будет произносить большую речь по случаю учреждения бесплатных библиотек в этом городе. В пути он много рассуждал о том, какими приемами красноречия собирается воспользоваться, чтобы отцы города Манчестера не устояли перед его призывом и раскошелились. Вот этим пассажем он проймет богатых купцов, этим пронзит сердца духовного сословия, и так далее. Хотя до него будут выступать Диккенс, Бульвер и сэр Джеймс Стивен, все записные краснобаи, на этот раз случай особенный и он намерен их превзойти... Действительно, тогда был особенный случай. Вставая, чтобы начать свою речь, он подмигнул мне из-под очков, словно говоря: "Ну, а теперь держитесь все. Предыдущие ораторы выступили отлично, но я сейчас продемонстрирую такое искусство, какое им и не снилось". В блестящей, изящной манере он начал свою речь, и минуты три все шло безупречно. Но вот в середине самой проникновенной и самой замысловатой фразы он вдруг замолчал, с комическим отчаянием воздел очи к потолку, спрятал руки в карманы брюк и сел. Присутствующие, как видно, были к этому готовы - услышав очередную неоконченную речь Теккерей, никто в зале не выразил ни удивления, ни недовольства. А он так и остался преспокойно сидеть у всех на виду, и когда после собрания мы возвращались домой, без тени смущения сказал мне: "Мой милый, выражаю вам мое глубочайшее сочувствие: сегодня по совершенно случайным причинам вам не удалось услышать самую лучшую речь, когда-либо сочиненную для произнесения перед публикой, великим оратором Британии". И больше я не слышал от него об этом ни слова.

Теккерей никогда не гулял - в противоположность другому знаменитому романисту наших дней, о котором всем известно, как много часов ежедневно он проводил на свежем воздухе. В настоящее

время можно почти наверняка утверждать, исходя из единодушных свидетельств английских друзей Теккерея и знавших его медиков, что причина его преждевременной смерти - в этом небрежении законами природы. Крепкий организм сулил ему долголетие, но Теккерей недопустимо перегружал свой мозг и не давал необходимой нагрузки ногам. "И жизнь с размахом, и мысль с размахом", - любил повторять он, переиначивая строку известного стихотворения.

Теккерей был очень чувствительный человек и легко поддавался влияниям, его ничего не стоило подбить на поступки, которые мир считает нелепыми, так что он мог совершать глупости, подобные тем, какие сам же беспощадно высмеивал в своих романах. Никто так сокрушительно не разил снобизм, как Теккерей, но при этом он сам себя постоянно называл неизлечимым снобом. Бесспорно, это было преувеличением, но в его самоукоризне имелась крупица истины, и она не могла укрыться от его зоркого взгляда, как бы ни был ему близок объект наблюдения...

Когда он в ноябре 1852 года приехал в Бостон, ему страшно понравилась непривычная американская еда. Он еще в Лондоне с любопытством расспрашивал, например, об американских устрицах, наслышавшись удивительных рассказов об их невероятных размерах. Мы позаботились, чтобы его недоуменному взору предстали самые крупные, отборные экземпляры, и при этом, извинившись, сказали, что вот, мол, удалось достать только мелочь, но в следующий раз оплошность будет исправлена. А на тарелке перед ним лежали в раковинах шесть моллюсков вызывающе-фальстафовой упитанности. Вижу, Теккерей занес вилку и смотрит в нерешительности, потом оборачивается ко мне и озабоченным шепотом спрашивает: "А как их есть?" Я живописал ему способ, каким свободнорожденные жители Америки справляются с такой задачей. Уверовав, что она выполнима, Теккерей выбрал из полудюжины устриц самую маленькую (а большую отодвинув, потому что, как он объяснил, она напоминает ухо первосвященникова раба, отсеченное апостолом Петром) и наклонил над нею голову, будто читал молитву. Все глаза следили за тем, как великий английский писатель будет выходить из непривычного положения. А он разинув рот во всю ширь, поднапрягся - и дело было сделано. В жизни не забуду, с каким комическим ужасом он глядел на остальные пять великанских раковин.

Нарушив полнейшую тишину, я осведомился, что он чувствует. "Глубокую признательность, - ответил Теккерей, отдуваясь. - И тяжесть в животе, будто заглотал целого младенца".

Я провел в обществе Теккерей много счастливых вечеров и в Англии, и в Америке, но особенно ярко мне вспоминается один. В тот вечер за его гостеприимным столом обедали вместе с нами веселые сотрудники "Панча", а во главе стола стояла серебряная статуэтка самого мистера Панча в полном облачении. Эта серебряная фигурка возвышалась над столом всякий раз, как собирались вместе Том Тейлор, Марк Лемон, Шерли Брукс и вся честная развеселая компания закадычных друзей...

Характерной чертой Теккерей было чисто школярское озорство, нередко он напоминал ученика, только что освободившегося от занятий. Вдруг, в самый разгар серьезного разговора замолчит и просит позволения присутствующих спеть комические куплеты или отбить короткую чечетку, для того чтобы разрядить напряжение. Барри Корнуэлл рассказывал мне, как однажды, когда они с Чарлзом Лэмом подбирали компанию для званого обеда, Чарлз попросил ни в коем случае не приглашать одного их общего знакомого. "Это такой человек, - объяснил Лэм, - который умудряется наводить тоску даже на похоронах". Я часто сравнивал странное свойство этого мрачного господина с удивительно веселым нравом Теккерей и Диккенса. Они оба словно всегда были залиты солнечным светом и других старались вывести из-под туч.

8 первый приезд Теккерей в Америку его жизнерадостность не знала границ, подчас, когда он шел по улице, его приходилось сдерживать. Я хорошо помню, как он во всю глотку загоготал и пустился в пляс, услышав, что абонементы на первый цикл его лекций все распроданы, и когда мы ехали из гостиницы в лекционный зал, он непременно хотел высунуть свои длинные ноги в оконце экипажа, чтобы, как он объяснял, приветствовать великодушных бостонцев, купивших абонементы. Но в тот вечер, на который было назначено его первое публичное выступление, я столкнулся с его склонностью к проволочкам. Лекция должна была начаться в половине восьмого, он же, узнав об этом, сказал, что постарается быть готовым к восьми, но очень сомневается, что ему это удастся. Я ужаснулся и сделал попытку внушить ему, насколько важна пунктуальность, когда он будет

отвешивать свой первый поклон перед американской публикой. И ровно в четверть восьмого заехал за ним. Я застал его не только неодетым и небритым, но еще и с увлечением рисующим для какой-то дамы картинку-иллюстрацию к "Страданиям молодого Вертера" Гете, и он не желал ничего слышать: пока не будет готов рисунок (прелестный, кстати сказать, он ведь был отличным рисовальщиком), он ни шагу не сделает в направлении нашего (опускаю эпитет) "Мелодиона". Комический случай произошел, когда он покидал зал после своей первой Бостонской лекции. В вестибюле к нему бойко подбежал непрезентабельный, дурно одетый господин, схватил за руку и, представившись "владельцем Крысы-Великана", предложил обменяться абонементом на весь сезон. Теккерей с самым серьезным видом взял у него карточку, дал свою и пообещал завтра же посетить выдающееся четвероногое.

Девиз Теккерея был: "Старайся по возможности не делать сегодня того, что можно отложить на завтра".

Получая за свои сочинения большие деньги, он без особого труда добивался того, чтобы его траты не отставали от поступлений, а подчас и вырывались вперед. Второй раз он приехал в Америку со специальной целью, как он объяснил, запасти "горшок с золотом" для дочек...

Однажды в Лондоне я вдвоем с Теккереем (инициатива, разумеется, исходила от меня) объездил все адреса, где он работал над своими книгами. И помню, в Кенсингтоне, на Янг-стрит, он с шуточной торжественностью сказал: "На колени, негодник, ибо здесь была написана "Ярмарка тщеславия"! Я и сам преклоню колена, поскольку высоко ценю этот опус". Он всегда был до конца искренен в оценке собственных произведений, трогательно было слушать, как он сам себя хвалит, когда мог бы просто спросить других.

Но самое смешное и интересное воспоминание сохранилось у меня о том, как мы с Теккереем лет пятнадцать или двадцать назад были на концерте м-ль Зонтаг. Мы сидели неподалеку от двери, и кто ни входил в зал, мужчина или женщина, Теккерей говорил, что это его знакомые, и успевал, пока человек пробирался к месту, сочинить ему имя и краткое жизнеописание. Дело было в Бостоне, он прожил там всего два или три дня, почти никого из присутствовавших не знал и выдумывал почему зря. А я был знаком с некоторыми и от души

забавлялся, слушая, как великий знаток характеров воздавал каждому по заслугам... Один из тех людей жив и теперь, я время от времени встречаю его на улицах и всякий раз вздрагиваю, вспоминая, как безошибочно осветил когда-то Теккерей скрытую суть неизвестного ему человека.

Один раз мне довелось слышать его блистательную фантазию на тему о том, как Шекспир жил в Стратфорде и общался с соседями. Наглядно, как только умел он один, он описывал великого барда, шагающего по деревенской улице, - вот он бредет безо всякой величавости в осанке, останавливается перекинуться словцом с фермерами, озабоченно обсудить виды на урожай. "Деревенские дружки, конечно, относились к нему не как к замечательному поэту,

Витающему полновластно
В лазурной неба синеве.

Для них он был всего лишь крепкий добрый малый, с кем всегда приятно позубоскалить. Я так и вижу его, - продолжал Теккерей, - остановившимся у соседской калитки, чтобы на досуге отведать у доброго хозяина домашнего пивка и справиться о здоровье хозяйки и ребятишек". Задолго до того, как Теккерей вставил эти слова в свою лекцию, я слышал их из его уст: "Я был бы счастлив чистить Шекспиру сапоги, только бы жить в его доме, быть у него на побегушках, молиться на него, смотреть в его светлое, прекрасное лицо". Я собственными ушами слышал, как Теккерей в своей изящной манере подробно описывал воображаемые прогулки и разговоры Шекспира, когда вернувшись из поездки в Лондон, великий бард будто бы обходит простодушных деревенских друзей и делится с ними столичными новостями. И этого впечатления я, сколько буду жив, никогда не забуду.

Что журнал "Корнхилл мэгезин" печатался огромными тиражами, когда его главным редактором стал Теккерей, это - литературно-исторический факт. Узнав от издателей, что 1-ый номер разошелся в количестве 110 000 экземпляров, достославный редактор чуть с ума не сошел от восторга и принужден был даже съездить на день-другой в Париж - немного развеяться и спустить пары. Я договорился встретиться с ним там и застал его в гостинице на рю де ла Пэ он был вне себя от восторга и расточал громкие хвалы своему замечательному издателю Джорджу Смиту. "Лондон для меня теперь тесен! - упоенно

восклидал он. - Мне пришлось расширить свою резиденцию и распространиться на Париж. О небо! - Он раскинул длинные руки. - И ведь это не предел. Глядишь, мы еще доберемся до Рима и Вены. Если дальше так пойдет, я захвачу и Нью-Йорк, и только Скалистые горы поставят преграду моему победному шествию!" Эти несколько дней в Париже мы провели бесподобно. Заходили во все мыслимые и немыслимые рестораны. Бродили по ослепительной площади Пале-Руаяля, заглядывая в витрины ювелиров, и мне стоило невероятных усилий удерживать Теккерея, чтобы он не ворвался внутрь и не заказал себе горсть брильянтов и "прочих пустяков", как он выражался. "Надо же с чего-то начать, - спорил он, - а иначе я не сумею растратить королевский гонорар, который платит мне Смит за редактирование "Корнхилла"!" Если он видел на улице группу из трех-четырех человек, возбужденно что-нибудь обсуждающих, как было в обычае у тогдашних милых парижан, он, горячо жестикулируя, шептал мне на ухо: "Смотрите, смотрите! Хорошая новость уже достигла Парижа, а со времени последней сводки цифра может быть еще возросла". Он все время находился в необыкновенном возбуждении и признавался, что ночью не может заснуть, потому что "без конца подсчитывает будущих подписчиков".

Сам я по собственному опыту хорошо понимал его редакторские тревожения и на свой скромный лад им сочувствовал. Легко ли, человек отвечает за целый журнал. С приличными авторами он, по его словам, вполне ладил, а вот всякие вымогатели и пасквилянты доводили его до умопомешательства. Он рассказывал смешные истории о своих мучениях с "милыми дамами", как он именовал самозванных поэтесс. Они одолевали его своими виршами, проходу ему не давали, даже дома (он жил тогда на Онслоу-сквер) он не чувствовал себя в безопасности. "Эти нежные созданыя требовали, чтобы я переиначивал за них их писанину, коль скоро я находил ее неудобопонятной, - рассказывал он, - и выправлял их корявые строки. Своими усладительными и слабительными виршами они меня чуть в могилу не свели, ей-богу, сил моих не было. И я спасся бегством во Францию".

Зато он пришел в совершеннейший восторг от первой заметки, которую написала для "Корнхилла" его юная дочь. Не забуду, как он усадил меня рядом с собой на извозчика, чтобы по пути поделиться со

мною радостной новостью: он только что прочел рассказ дочери "Маленькие школяры". "Я читал и плакал, как дитя, - признался он. - Так хорошо написано, просто, правдиво, и все, от первого до последнего слова, она написала сама, моя малышка".

Услышав однажды поутру, как я рассуждаю о том, сколько всего интересного в Лондоне для человека приезжего вроде меня, Теккерей перебил меня и добавил: "Самого потрясающего в Лондоне вы еще не видели. Поедем со мной сегодня в собор Святого Павла, услышите хор приютских детей". Мы отправились, и я видел, как этот "первый циник в литературе" и "ненавистник рода человеческого" (так обозвал его один дубина-критик в "Таймс"), низко опустив залитое слезами лицо и весь содрогаясь от сдавленных рыданий, слушал хвалу Всевышнему, льющуюся из уст этих детей нищеты.

В последний раз я расстался с Теккереем на лондонской улице ночью - это было за несколько месяцев до его смерти. "Корнхилл мэгезин" под его началом процветал, и празднуя успех, издатели ежемесячно задавали в его честь большой банкет. На одном из таких банкетов мы тогда засиделись за полночь, и наконец, я решил, что лично мне, пожалуй, все же следует удалиться, пока еще не встало солнце. Теккерей, заметив, что я собрался уйти, захотел непременно отвезти меня до места в своей коляске. Когда мы вышли на крыльцо, слуга Теккерей, видя своего хозяина с незнакомым человеком, вежливо осведомился, куда нас везти. Шел второй час ночи, пирующим давно пора было разъезжаться по домам. Но Теккерей соорудил серьезную мину и ответил на вопрос Джона так: "Я думаю, пожалуй, нанести утренний визит его преосвященству епископу города Лондона". Джон хорошо знал шуточный обычай своего господина и, разумеется, не принял эти слова за чистую монету, я назвал свой адрес, и мы поехали. Когда мы подъезжали к дому, где я остановился, часы пробили два. В предутреннем воздухе ощущался пронизывающий холод. Я умолял Теккерей проститься в коляске, но он не послушал, вышел и проводил меня по тротуару до самых дверей, с комической отвагой призывая небеса в свидетели, что "стыдно было бы чистокровному британцу бросать беззащитного янки на произвол судьбы посреди улицы, где рыщут грабители и воры". Потом он распахнул мне объятия и пропел мой любимый куплет. Так скрылся у меня из виду великодушный автор "Пенденниса" и "Ярмарки тщеславия". Но для меня он и сегодня

по-прежнему, величественно раздвигая толпу, разгуливает по людным улицам Лондона, заглядывает в "Гаррик-клуб" или сидит у окна в "Атенеуме" и наблюдает, как через весь этот славный город катится мощный и вечный поток жизни.

Теккерей был мастером во всех смыслах этого слова. Он жил как бы удвоенной жизнью: здоровый юмор и возвышенная сентиментальность удивительно уживались в нем, так что он представлялся то незаконным потомком Рабле, то братом-близнецом Стратфордского Провидца. В нем не было ничего бесформенного, незначительного. За что бы он ни брался, все исполнялось безупречно. Во всем, что бы он ни писал и ни говорил, чувствовался его собственный теккереевский стиль. Он безошибочно подмечал добро и зло, где бы оно ни таилось. Верный глаз, глубина понимания, безграничная правдивость вот его черты. Две его музы - это сатира и сочувствие, как говорил когда-то, много лет назад, в Эдинбурге председатель на пиру, который был дан в его честь. А Джорджу Бримли принадлежит замечание, что он не мог бы так живописать Ярмарку Тщеславия, если бы перед его внутренним взором не стоял светлый образ Эдема. Его сочинения характеризуются потрясающей пронизательностью и бездной тонкости и простоты. Кому довелось слышать, как этот же голос, изничтоживший память Георга IV, декламирует оду Аддисона: "Просторный синий свод небес", на всю жизнь сохранит об этом ярчайшее воспоминание, и мне даже немного жаль тех, кто родились слишком поздно и не могли слышать и понимать его лекции. Впрочем, они имеют возможность их прочесть, и я призываю читателей оценить не только сарказм Теккерея, но также и нежность, присущую его гению.

ДЖОРДЖ ЛАНТ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ТЕККЕРЕЕ

Говорили мы, главным образом, о городе, который вызвал у Теккерея глубокое изумление. "Подумать только, - недоумевал он, - в нем не заметно никакой новизны; все солидное, основательное, совсем как в Англии"... Я в шутку осведомился, что же он ожидал у нас увидеть? Бревенчатые избы? Вигвамы? Дощатые бараки? Нет, конечно, ответил он, но уж во всяком случае он не думал, что город имеет такой благообразный, благоустроенный облик, так и кажется, что находишься где-то в Европе.

А вскоре мистер Теккерей близко сошелся с бостонцами, в обществе ему оказывали всевозможное внимание, особенно во второй его приезд в 1855 году, когда его жизнь за пределами лекционного зала состояла из непрерывной череды званых обедов и вечерних развлечений. И в 1852 и в 1855 годах я обедал с ним за одним столом в "Тримонт-Хаусе" чуть не ежедневно (если он не был приглашен куда-нибудь еще) и имел честь наслаждаться его беседой не только в ресторане, но и в его комнатах, однако совершенно не наблюдал в нем тех "приступов внешней холодности", о которых рассказывают Блэнчерд Джерролд и некоторые другие.

Наоборот, мне лично мистер Теккерей показался человеком очень воспитанным, любезным и внимательным, с умом и чувствами настоящего джентльмена; он правда часто задумывался и как бы прислушивался к себе, но при этом ни на минуту не ослабевал его интерес к тому, что происходит вокруг. Если он и бывал порой "внешне холоден", то, как я понимал, лишь потому, что с головой уходил в свои литературные замыслы и мечтания.

Впрочем, пока он находился в Соединенных Штатах, особенно предаваться литературному творчеству ему не приходилось, поскольку, как джентльмен, он не считал возможным писать о нас и наших заботах, в то время как он пользуется нашим гостеприимством и обогащается за счет тех, кто посещает его лекции, и у него оставалась уйма времени для светских удовольствий. И чувствовал он себя, по моему, вполне как дома, порой, в веселые минуты, позволяя себе некоторые вольные замечания, которые не всегда благожелательно воспринимались более ранимыми из его собеседников. Так бывало, что на него обижались, когда он вовсе не хотел никого обидеть. Обычно это случалось из-за его чисто английской прямолинейности в таких случаях, когда американский джентльмен вообще не стал бы переходить на личности.

Мы часто с удовольствием отправлялись вместе на прогулки, он - чтобы размяться, а я - послушать его рассуждения на литературные темы и замечания о людях и зрелищах, - всем том, что он видел и что намеревался посмотреть в нашей стране. Замечания эти, подчас сатирические, были в основном выдержаны в доброжелательном, мирном тоне, нетрудно было понять, что при всей остроте и даже язвительности отдельных высказываний, относился он к предмету

разговора в целом снисходительно. Мастером застольной беседы, каких нарочно приглашают на званые вечера для поддержания общего разговора, он мне никогда не казался, не замечал я в нем и желания покрасоваться перед людьми; то, что он говорил, было разумно и уместно и выражалось языком просвещенного и безукоризненно воспитанного человека, который вовсе не ставит себя выше остальных, а держится со своими случайными собеседниками самым естественным и непринужденным образом.

Во второй приезд Теккерея в Соединенные Штаты, зимой 1855 года, я общался с ним еще больше и ближе, чем во время его первого лекционного турне... После обеда я часто заходил поболтать к нему в номер, состоявший из спальни и гостиной и представлявший собой лучшее помещенье во всем "Тримонт-Хаусе". В один из таких вечеров он продекламировал мне свою "Балладу о буйабесе"... Он произносил трогательные строки выразительно, с глубоким, нежным чувством. "Но увы, - заключил он, - они не достигли цели", - имея в виду публикацию в одном из лондонских журналов... Я с похвалой отозвался об общем духе стихотворения и выраженных в нем чувствах, и видно было, что мои слова доставили ему удовольствие.

Однажды я справился у Теккерея, который из своих романов он считает лучшим, и он, не задумываясь, ответил, что выше остальных ставит "Эсмонда".

Теккерея очень забавляло, что он, серьезный господин средних лет, философ и моралист, отнюдь не красавец, седовласый, в очках, всегда ведущий себя сдержанно и с достоинством, сделался объектом восторженного поклонения, как эстрадная знаменитость. Боюсь, что он не без основания относил подобные всплески восторга на счет более свободных манер американских девиц в сравнении со сдержанными поведками его знакомых английских барышень. Разумеется, этим он не хотел бросить тень на американскую нравственность, если только отвлечься от того обстоятельства, что манеры и есть внешнее выражение внутреннего нравственного чувства. Мне известно, что одна миловидная американочка из отдаленного города преследовала Теккерея до самого Бостона, так что почтенный папаша в конце концов принужден был приехать за ней и пресечь ее донкихотские странствия. Я знал ее в лицо, и однажды, когда мы шли с Теккереем по Бикон-стрит, эта влюбленная особа

попалась нам навстречу. Он вежливо поздоровался и не задерживаясь прошел мимо, с явным облегчением пробормотав себе под нос, но достаточно внятно: "Ну, слава тебе господи, эта трубка выкурена". Меня поразило, что такой человек мог высказаться с подобной откровенностью. Это было, бесспорно, не очень красиво. Но ведь я и не пытаюсь изобразить Теккерей иным, чем он был на самом деле, чем он бывал по временам, под влиянием разных настроений...

Мистер Теккерей, как и всякий мужчина, обладающий тонкими чувствами и верным вкусом, преклонялся перед женской красотой. В Бостоне ему, естественно, встретилось немало образованных и обаятельных женщин, но на мой взгляд, больше остальных ему нравилась одна замужняя дама, с которой он поддерживал скорее домашнее, чем светское знакомство, я часто встречал его по вечерам в ее гостиной. Атмосфера там царила вполне семейная, Теккерей, по-видимому, чувствовал себя там как дома и часто рассказывал об оставленных в Англии близких, по которым так тосковал на чужбине. О хозяйке же этого дома, отличавшейся красотой и безупречным вкусом, он всегда говорил: "В любой другой стране она была бы графиней", - и эта похвала в его устах стоила немало, ведь он был вхож в аристократическое английское общество и водил дружбу с настоящими графинями и герцогинями. Разумеется, Теккерей нигде не упускал возможности наблюдать особенности человеческого характера. В Бостоне люди примечательные, я думаю, встречались ему достаточно часто, только гляди по сторонам; хотя конечно в целом здесь, как и повсюду в Америке, знакомства его были иного рода, чем как на родине, где он, случалось, засиживался с друзьями в каких-нибудь "Гротах гармонии" чуть не до четырех часов утра, распевая свои куплеты про "почтенного доктора Лютера". Впрочем, и среди американцев насчитывалось, пожалуй, несколько человек, чье общество было ему приятно... С ними он вполне мог бы бражничать в заведении, подобном вышеупомянутому "гротам" - если бы в Бостоне (при том, что там имеются вертепы вполне низкого разбора) существовали заведения, пригодные для отдыха джентльменов со слегка богемными наклонностями и вкусами... По временам общение с такими людьми ему было заметно приятнее, чем с более респектабельными членами Бостонского общества... Бывало, они собирались вечерами небольшой компанией, и несколько раз я имел

честь составить с ним партию в игорном доме Портера, который тогда славился на всю бостонскую округу...

Наш простецкий обед в "Тримонте" начинался в половине третьего. За одним столом с нами часто обедала та приятная дама, о которой шла речь выше; и, по-моему, Теккерею эти непритязательные трапезы были больше по душе, чем поздние парадные обеды, принятые в фешенебельном Лондоне, у него были простые вкусы и вполне скромные потребности. Нам подавали вино, обычно херес, который он пил очень умеренно, и вдобавок к хересу часто еще полбутылки шампанского. Беседа за столом нередко касалась литературы, и однажды он во время обеда спросил меня, читал ли я его стихи о Шарлотте и Вертере; к стыду своему я вынужден был ответить отрицательно и выразил настоятельное желание их услышать; в ответ он прочитал свое стихотворение монотонно, внятно, сохраняя каменное выражение лица, - впрочем, иногда во время этой торжественной декламации хитро подмигивая мне сквозь очки...

Мне очень понравились эти занятные куплеты, и я попросил их у него. Он ничего не ответил, но к чаю, то есть, где-то в шесть - полседьмого, сошел вниз, держа в руке листок, и с торжественным видом, будто закончил важный труд, преподнес мне стихи, переписанные его удивительно четким почерком, да еще с картинкой - это был один из его несравненных рисунков пером. Я от души восхитился. Меня поразило, как мало времени ему потребовалось и как превосходно все было выполнено.

ЛЮСИ БЭКСТЕР ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Он приходил к нам, когда только мог, совершенно свободно, без всяких церемоний. Напрашивался к нам пообедать перед лекциями, которые и поначалу его тяготили, а к концу стали просто мукой; однообразие бесконечного повторения одного и того же, необходимость быть готовым к определенному часу, независимо от того, был ли он в разговорчивом настроении или нет - это было жестоким испытанием. Он очень привязался к моей матери, чье тихое сочувствие успокаивало его, и перед каждой лекцией занимал свое место за столом, по правую руку от нее и с графином кларета возле его прибора. Иногда он вдруг замолкал среди начатого разговора и произносил проникновенным голосом начальные фразы лекции,

которую ему предстояло прочесть, а мы все смеялись, так комично было его отвращение к предстоящей пытке. Он не любил лекторскую трибуну, и если б не поток "американских долларов", залог будущего благополучия его нежно любимых дочерей, несомненно отказывался бы от многих приглашений, которые шли к нему со всех концов страны. Из его писем явствует, как часто он боролся с искушением нарушить все обещания и сбежать в Англию ближайшим пароходом.

Он с большим интересом входил во все наши планы и развлечения и однажды, когда обсуждался костюм моего старшего брата для юношеского маскарада, взял перо и лист бумаги и, не переставая болтать, сделал несколько набросков костюмов пажа различных эпох с полным знанием всех деталей для того или иного костюма. Он сказал, что забавная фигурка с большими манжетами и в широкополой шляпе очень похожа на маленького печального Генри Эсмонда, когда его впервые увидела добрая леди Каслвуд и с ласковой улыбкой поглядела в его серьезное лицо ("Эсмонд", кн. 1, гл. I).

После обеда мистер Теккерей часто оставался поболтать и болтал, пока моя сестра одевалась на бал, куда, возможно, он и сам собирался ехать. В один из таких вечеров, перелистывая "Пенденниса", который лежал на столе рядом с ним, он сказал, улыбаясь: "Да, очень похоже, право же, очень похоже".

- На кого, мистер Теккерей? - спросила моя мать.

- На меня, конечно. Пенденнис очень похож на меня.

- Да нет же, - возразила моя мать, - Пенденнис был таким слабым.

- Ох, миссис Бэкстер, - сказал он, пожимая массивными плечами и с комической гримасой, - ваш покорный слуга тоже не особенно сильный.

Американская бальная зала очень его забавляла. Веселый разговор, оживленные девушки, пышущие радостью, которую не боялись проявить, сильно отличались от более сдержанных развлечений в Лондоне. Моя сестра в то время много выезжала, ей еще не было двадцати лет, она была и умница, и красавица. В образе Этель Ньюком, когда та собирает вокруг себя придворный кружок на одном из больших лондонских балов, Теккерей передал свое впечатление от этой нью-йоркской девушки. Досада Этель на обманы светской жизни, ее раздраженные замечания и резкая критика вполне могли быть отражением споров с моей сестрой в библиотеке Браун-Хауса, где

мистер Теккерей провел много часов в разговорах и веселых и грустных.

В декабре проходил курс его лекций в Бостоне, и в первых письмах оттуда он писал о людях, с которыми там познакомился. В одном из писем он говорил о встрече с миссис Стоу и как ему понравилась ее внешность и манера держаться.

Как-то незадолго до его возвращения из Бостона, моя мать предупредила младшее поколение, что если он появится в тот день, лучше не приглашать его остаться обедать. "Не тот у меня сегодня обед, каким бы мне хотелось угостить его", - сказала она.

Как показало дальнейшее, о каком бы недостатке обеда ни шла речь, моей матери пришлось махнуть на него рукой. Перед самым обедом, находясь в столовой, она давала какие-то распоряжения горничной, когда в парадную дверь позвонили. Дверь отворили, и чьи-то шаги проследовали через прихожую прямоком в столовую. Мать удивленно оглянулась - кто бы это мог быть так поздно - в дверях стоял высокий человек с добрыми глазами и серебряной шевелюрой, ставший нам уже таким знакомым, с пачкой рисунков, чтобы показать ей. Он обратился к ней со словами:

- Ну, а теперь угостите меня обедом.

Молодежь наша была в восторге от растерянности матери. Едва ли мистер Теккерей обнаружил в обеде какой-нибудь недочет. Он всегда смеялся над нашим американским представлением, будто для одного гостя следует устраивать "пир"; говорил, что мы не понимаем, как можно попросту позвать приятеля на баранью ногу.

В новом году мистер Теккерей начал выполнять свой контракт на Юге, и в письмах мы получали рисунки с неграми, чьи повадки и словечки очень его забавляли. До поездки в Чарлстон он побывал в Нью-Йорке, где прочитал лекцию в пользу Швейного общества унитариев, которым особенно покровительствовала миссис Фелт. Во вступлении он привел стихотворение Гуда "Мост вздохов". Кто слышал его, не скоро забудет, как взволнованно звучал его голос в строфе:

Окружи прекрасную
Радостью безбрежную
Всю такую ясную,
Всю такую нежную.

{Пер. Д. Веденяпина.}

Никто так чутко не откликался на любую весть о чужой беде, невзгодах, чем этот великий писатель (хоть он и слыл циником!). Кошелек его всегда был к услугам друзей, а то и просто знакомых, что не шло на пользу его финансам, а стекла очков туманились, когда он говорил о печалях, о которых узнавал изо дня в день. Щедрость его к тем, кто ему прислуживал, была безгранична.

Вернувшись с Юга, мистер Теккерей узнал, что у нас предстоит небольшое торжество - мой семнадцатый день рождения. Предполагалась музыка, танцы и цветы для того, что в те времена именовалось "малым вечером". Мистер Теккерей сделал этот случай памятным, прислав мне вместе с цветами стихи. При цветах была и коротенькая рифмованная записка в более легком тоне. Стихи эти я всегда очень ценила, но первый вариант кажется мне более привлекательным, чем более короткий, который был впоследствии опубликован. Месяц май увез мистера Теккерей домой в Англию, и после этого он попал в Америку только в 1855 году.

Второй курс лекций, о четырех Георгах, был, как мне кажется, принят в Америке не так хорошо, как первый, об английских юмористах. Он упоминает об этом в одном из поздних писем, когда говорит, что эти лекции были гораздо более популярны в Англии, чем "в штатах". В этот последний приезд мы с ним виделись гораздо реже, чем в первый. В Браун-Хаусе произошли кое-какие перемены. Моя сестра, как он выразился, "упорхнула с улыбкой, под руку с мужем", и пустота эта никак не заполнялась. В феврале мы встретились в Чарлстоне, куда я ездила погостить к сестре и зятю, и о нас троих он очень по-доброму написал моей матери. В Чарлстоне же я один раз увидела другую сторону характера мистера Теккерей. До этого мы никогда не видели той "грубости", которую ему приписывали, когда он был чем-нибудь раздосадован. На одном званом обеде, куда я поехала с ним одна, потому что сестра прихворнула, присутствовала некая дама, которая с первого же знакомства восстановила мистера Теккерей против себя. Это была умная женщина, даже блестящая, но она успела написать несколько никудышных романов, которые если и были кому известны, так только в ее родном городе. На этом обеде, как и в других случаях, она как будто поставила своей целью привлечь внимание мистера Теккерей, чем вызвала его досаду. И вот, когда кто-то сказал

что-то относительно треволнений, ведомых писателям, она, наклонившись вперед, обратилась к нему через стол, очень громко: "Мы с вами, мистер Теккерей, как товарищи по несчастью, можем это понять, ведь правда?"

Наступило мертвое молчание. Грозовая туча опустилась на лицо мистера Теккерей, и все оживление кончилось. Хозяйка дома, без сомнения, возблагодарила судьбу, когда писатель, сославшись на то, что скоро начинается его лекция, стал прощаться. Конечно, одна из гостей впервые в своей жизни испытала облегчение, когда дверь закрылась за ее добрым другом. Эта бестактность со стороны дамы явилась кульминацией многих атак на него и переполнила чашу. В одном из писем к моей матери дама эта упомянута как "некий индивидуум".

В нашем общении с мистером Теккереем мы видели только добрую, участливую, любящую сторону его широкой натуры. Нам казалось невероятным опасаться в нем цинизма или злости, о которых говорили иные. Он не мог не видеть слабость человеческой природы, но отдавал должное - или, как он говорил, снимал шляпу перед всем, что в человеке благородно и чисто. К слабости характера он тоже относился очень терпимо, но притворства и лицемерия не выносил. Все это уже не ново, но я чувствую, что обязана подтвердить такое мнение о нем личным своим опытом.

В мае, как можно судить по его письмам, мистер Теккерей принял внезапное решение и, никого не предупредив, отбыл в Англию. Моя мать, да и все мы, были просто в отчаянии, что он уехал так, без слов прощания, но он, видимо, этого и хотел избежать. Больше мы его не видели, хотя письма время от времени получали. В последние годы письма его были полны нескрываемого участия к нашей великой тревоге и горю.

БАЯРД ТЕЙЛОР ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

В известном смысле Теккерей не был понят публикой, он ушел из жизни, не успев получить истинное признание, которого жаждал всей душой. Его громкая и поистине заслуженная слава не могла восполнить ему недостаток такого понимания, ибо не сердце, а ум ценили в этом писателе. Пусть другие воздадут должное его литературным заслугам. Я же по праву друга, который хорошо знал и

любил его, возьму на себя смелость рассказать, каким он был человеком... За семь лет нашей дружбы мне открылись те его черты, какие писатели стараются оберегать от посторонних глаз, чтобы своей откровенностью не дать пищу злым языкам и избежать докучливой навязчивости глупцов.

Я познакомился с Теккереем в Нью-Йорке в конце 1855 года. Когда я впервые пожал его большую руку и взглянул в его серьезные серые глаза, то сразу же ощутил глубочайшее благородство его натуры - его честность и полную достоинства прямоту, которая порой граничила с дерзостью, неизменную, словно бы стыдливую отзывчивость и окрашенную горечью печаль моралиста, - ту, что публика упорно объявляла цинизмом. Узнав его ближе, я убедился, что первое впечатление не обмануло меня, и впоследствии я не изменил своего высокого мнения о нем. Хотя от природы Теккерей был раздражителен и вспыльчив, насколько я помню, ему не удавалось скрыть досаду, лишь когда в его произведениях видели язвительную насмешку там, где сокрушался он о людских пороках. Он считал для себя унизительным оправдываться, коль его столь превратно понимают. "Я ничего не придумываю, - любил повторять Теккерей. - Я пишу о том, что наблюдаю в жизни". Он быстро и безошибочно подмечал слабости своих знакомых и тогда отзывался о них с разочарованием, подчас с негодованием, но и к собственным недостаткам не знал снисхождения. Теккерей не хотел, чтобы друзья думали о нем лучше, чем допускала его взыскательная требовательность к себе. Я не встречал человека более правдивого по натуре, чем Теккерей.

В ту нашу первую встречу речь зашла о Соединенных Штатах, и Теккерей заметил:

- В Америке меня поражает ваша способность усваивать культуру, признаюсь, я еще не встречал ничего подобного. Вот... (он назвал два-три известных в Нью-Йорке имени) насколько я знаю, они поднялись из самых низов, но это не мешает им чувствовать себя совершенно свободно в любой светской гостиной. Их не смутит общество знаменитостей и аристократов, и им не составит труда поддерживать непринужденную беседу, как сегодня с нами. В английском же обществе, тот, кто, подобно им, выбился в люди, лишен чувства собственного достоинства. Где-то в глубине души он всегда остается

лакеем. Лично я не испытываю этого чувства, как и все, кто меня окружает, но все же мне недостает уверенности в себе.

- Помните, - спросил я его, - что сказал Гете о мальчишках Венеции? Он объясняет их природную смышленность, раскованность и достоинство тем, что каждый из них может стать дожем.

- Возможно, в этом все дело, - ответил Теккерей. - В вашей стране, как нигде, будущее открыто перед молодыми людьми, которые своим трудом пробивают себе дорогу в жизни. Будь у меня сыновья, я отправил бы их в Америку.

Некоторое время спустя, когда мы встретились в Лондоне, Теккерей привел меня в студию барона Марочетти, скульптора, в ту пору его соседа на Онслоу-сквер в Бромптоне. Оказалось, барон обещал Теккерейю гравюру работы Альбрехта Дюрера, которым Теккерей глубоко восхищался. Вскоре после нашего прихода скульптор снял со стены небольшую картину и передал ее Теккерейю со словами: "Отныне она ваша".

На гравюре был изображен святой Георгий, повергающий дракона.

Теккерей некоторое время восхищенно рассматривал ее, а затем, обратившись ко мне, серьезно сказал:

- Я повешу ее в спальне, у изголовья кровати, и каждое утро буду смотреть на нее. У всех нас есть свои драконы, с которыми нам приходится сражаться. Вам известны ваши? Своих драконов я знаю: их у меня не один, а два.

- Что же это за драконы? - удивился я.

- Лениость и склонность к излишествам!

Я не мог сдержать улыбки, услышав эти слова от человека, который столь многого достиг на литературном поприще и в скромном доме которого я не заметил никакой роскоши.

- Я не шучу, - продолжал Теккерей. - Мне всегда стоит немалых усилий взяться за перо: я работаю только по необходимости. Когда выхожу размяться, то обязательно присмотрю какую-нибудь безделушку, совершенно бесполезную, и мне ужасно захочется ее купить. Иногда месяцами изо дня в день хожу мимо одной и той же витрины и борюсь с искушением. И вот когда я уже уверен в своей победе, вдруг в один прекрасный день сдаюсь. Мой врач советует мне вести здоровый образ жизни и пореже бывать на званных обедах, но я

не в силах отказаться от этого удовольствия. Теперь же эта гравюра будет постоянно напоминать мне о моих драконах, хотя сомневаюсь, что когда-нибудь поборю их.

После того, как в Нью-Йорке Теккерей прочитал лекции о четырех Георгах, на него обрушились с грубой бранью в Канаде и других британских провинциях. Приезжая в Англию, наши американские англоманы готовы терпеть пренебрежительное отношение к себе как правительства, так и общества, и с истинно христианским смирением отвечают на унижения угодливым верноподданничеством, далеко превосходя в нем самих англичан. Многие газеты обвиняли Теккерей в стремлении угодить предвзятым мнениям американской публики и заявляли, что он не осмелится выступить с такими лекциями по возвращении в Англию. Само собой разумеется, Теккерей послали газеты, предупредительно отметив эти статьи, чтобы он сразу же обратил на них внимание. Но он, презрительно отбросив газеты, сказал: "Эти молодцы увидят, что я не только прочту свои лекции в Англии, но и сделаю их еще более обличительными именно потому, что слушать меня будут англичане". Свое обещание он сдержал. Лекция о Георге IV не вызвала таких ожесточенных нападок газет, как в Канаде, но среди английской аристократии поднялась буря возмущения, и некоторая часть лондонского света попыталась в отместку подвергнуть Теккерей остракизму. Когда я навел на него в Лондоне в июле 1856 года, он весело рассказывал мне об этом:

- Вот, например, лорд Н. (известный английский политический деятель) уже три месяца не присылает мне приглашений на свои обеды. Ну что ж, он убедится, что я прекрасно обойдусь без его общества, но посмотрим, обойдется ли он без моего.

Через несколько дней лорд Н. возобновил приглашения.

Тогда же я оказался свидетелем забавной сцены, которая показала мне, сколь высоко ценилось мнение Теккерей в аристократических кругах. Он всегда без колебаний говорил то, что думал, в глаза своим хулителям. Его смелость и прямота, должно быть, обескураживали. И вот лорд Н., аристократический дилетант от литературы, занимавший видное положение при дворе, отозвался (не помню, в устной беседе или на страницах печати) весьма резко о том, как Теккерей изобразил Георга IV. Однажды у модного портного мы встретили лорда Н.

Теккерей сразу же направился к нему и, наклонившись с высоты своего роста к смущенному защитнику венценосного Георга, отчетливо произнес глубоким мягким голосом:

- Мне передали ваши слова, сказанные обо мне. Разумеется, вы правы, а я заблуждаюсь. К сожалению, я не догадался посоветоваться с вами, прежде чем приняться за работу.

Лорд Н. явно растерялся, не зная, принять ли ему эти слова за чистую монету или как насмешку. Он пробормотал что-то в ответ и с облегчением вздохнул, когда великан покинул мастерскую.

Однако в других ситуациях Теккерей бывал добр и внимателен. Навестив писателя в июне 1857 года, я застал его в мрачном и подавленном состоянии, он только что вернулся с похорон Дугласа Джерролда. Теккерей заговорил о нападках прессы, сокращавших ему жизнь, и повторил то, что я уже не раз слышал от него:

- И мне недолго осталось - быть может, год или два. Я уже совсем старик...

Теккерей всегда с готовностью приходил на помощь тому, кто в ней нуждался, и при этом старался остаться в тени. Я знаю, что и в Америке и в Англии он изобретал, как одолжить деньги бедствующему знакомому или соотечественнику, не задев его гордости. В Нью-Йорке он делал все, что было в его силах, стараясь помочь известному английскому литератору, который в то время оказался в стесненных обстоятельствах. Тот скорее всего и не подозревал, чем он обязан Теккерее. В ноябре 1857 года, когда в Америке разразился финансовый кризис, я невзначай пошутил, что надеюсь, это не грозит мне прекращением денежных переводов. Теккерей тут же вынул записную книжку, перелистал ее и сказал: "У банкира на моем счету 300 долларов. Воспользуйтесь ими, если вам нужны деньги. Или мне лучше сохранить их для вас на будущее?" Мне не пришлось принять его великодушное предложение, но я никогда не забуду, с каким искренним порывом доброты он вызвался помочь мне.

Я не раз убеждался в том, что Теккерей был удивительно справедливым и отзывчивым человеком. И здесь мне хотелось бы сказать, что он представлял собой редчайший тип широкомыслящего англичанина - глубоко и верно любя свою родину, он ясно видел ее недостатки и достоинства других стран. Более того, беспощадность, с какой он судил своих соотечественников, на его взгляд, давала ему

право критически высказываться о других народах. Но он никогда не разделял широко распространенного презрительного отношения к Америке и американцам: он не стал писать книгу об Америке, хотя это делал каждый второй английский литератор, побывавший в нашей стране, так как боялся, что она окажется легковесной и невольно создаст искаженное представление об американцах. Я замечал, как в Америке его коробило, когда он слышал злобные презрительные высказывания о "Джоне Булле", и в то же время я знаю, что дома в Англии он неизменно брал Америку под защиту. (По поводу книги Эмерсона "Черты английской жизни" Теккерей заметил, что Эмерсон "слишком щедр на похвалу. Он без всякой меры восторгается нашими достоинствами и не бичует нас за наши пороки, как мы того заслуживаем".)

В конце мая 1861 года мы встретились с Теккереем в Лондоне, и он сразу же заговорил о начавшейся войне. Он искренне жалел народ, будущее которого оказалось под угрозой, но особенно его огорчало то, что близкие ему друзья, а у него их было немало и на Севере и на Юге, теперь как враги должны воевать друг против друга. Как и у большинства англичан, его представления о причинах войны были весьма далеки от действительности. Он не знал ни об истинном характере, ни о масштабах заговора и полагал, что южане добиваются главным образом введения свободной торговли и что право на это дано конституцией. Я попытался раскрыть ему глаза, представив происходящее в истинном свете, и в заключение сказал:

- Вы можете не принимать мои слова на веру, но вы должны признать, что если таков наш взгляд на положение дел, мы вправе применить силу и подавить мятеж.

Теккерей ответил:

- То, что вы рассказали, чрезвычайно интересно. Для меня это полное откровение, и я уверен, многие в Англии даже не подозревают ни о чем подобном. Возьмитесь за перо и напишите статью, а я напечатаю ее в следующем выпуске "Корнхилл мэгезин". Это именно то, что нам нужно.

Однако издатель журнала, Джордж Смит, воспротивился публикации столь пристрастной статьи, опасаясь, что тем самым журнал неизбежно "посет политические разногласия". Теккерей,

глубоко огорченный, обещал порекомендовать статью в "Таймс". Он так и сделал, но из этого тоже ничего не вышло.

Друзьям Теккерей в Америке трудно забыть то чувство горечи и обиды, с каким читали они "Заметки о разных разностях", опубликованные в "Корнхилл мэгезин" (кажется, в февральском номере 1862 года), где известный писатель обвинил американский народ в тайном умысле конфисковать акции и другую принадлежавшую англичанам в США собственность в ответ на дело Трента. Более того, он поручил своим банкирам в Нью-Йорке продать все его акции, безотлагательно переправив вырученную сумму в Лондон. Нас оскорбило не возмущенное разоблачение мнимого предательства целого народа, а то, как легко он поверил клевете. Нам казалось, что Теккерей, как никто из англичан, должен знать американцев. И было обидно, что в какой-то недобрый час он поступил несправедливо, но мы верили, рано или поздно он сам поймет это.

Через три месяца (в мае 1862 года) я вновь приехал в Лондон. От Теккерей я не получал никаких известий после публикации в "Заметках о разных разностях" его письма нью-йоркским банкирам и не знал, остыл ли его гнев. Но помня, с какой бесконечной добротой относился ко мне Теккерей, и искренне поклоняясь ему, я со своей стороны не держал на него зла за допущенную несправедливость. Я пришел к Теккерей в новый дом на Пэлас-гарденс, в Кенсингтоне. Он встретил меня с прежним радушием, и когда мы остались наедине в тиши его библиотеки, он первый (я уверен, намеренно) затронул эту историю, поскольку понимал, что я не забыл о ней. Я спросил, что заставило его написать ту статью.

- Я был болен, - ответил Теккерей. - Вы знаете, на какие опрометчивые поступки я способен, когда меня мучает болезнь. После того, как в американских газетах появилось столь позорное предложение, и ни один голос не осудил их, я, естественно, возмутился.

- Но вы же знаете, - заметил я, - что такая газета, как ..., не выражает мнения американцев. Уверяю вас, что в Соединенных Штатах ни один честный порядочный человек и в мыслях не держал обмануть английских акционеров.

- Мне тоже хотелось так думать, - ответил он. - Но когда я прочел то же самое в ..., надеюсь, вы не станете отрицать, что это влиятельная и почтенная газета, я уже ничему не верил. Я знаю, что вы, американцы, импульсивны и вспыльчивы, и я действительно опасался, что вы затеете что-нибудь в этом роде. Теперь я вижу, что ошибся, и, кстати, уже поплатился за свою оплошность. Мои американские вклады приносили мне 8 процентов годовых, а здесь в Англии весь мой капитал лежит мертвым грузом. Думаю, мне не удастся его вложить выгоднее, чем за 4 процента.

Я пошутил в ответ, что пусть он не рассчитывает на мое сочувствие по этому поводу: вместе со многими его друзьями по ту сторону Атлантики я ожидал от него более верного понимания национального характера.

- Ничего не поделаешь, - сказал он. - Но довольно об этом. Я был неправ и признаю это.

Зная, на какие мучения обрекали Теккерея приступы тяжелой болезни, когда боль терзала его сильное тело и все в такие минуты виделось ему в мрачном свете - и люди, и вещи, нельзя не удивляться тому, что обремененный необходимостью непрерывно работать, он редко давал волю раздражению. В светлые минуты Теккерей судил себя с такой же беспощадной суровостью, как и ближних своих, и не менее пристально наблюдал за самим собой. Его обостренное чувство справедливости было всегда начеку и побуждало его к действиям. Развенчивая кумиров света, он никогда не стремился попасть в их число, с полным равнодушием относился к своему положению в литературе, и сравнения с другими писателями, которые порой проводились критиками, лишь забавляли его. В 1856 году он рассказал мне, что сочинил пьесу, но импресарио отвергли ее как никуда не годную.

- Мне казалось, я могу писать для сцены, - признался он. - Но, выходит, я заблуждался. Я решил поставить пьесу у себя дома. И сам сыграю в ней роль здорового лакея.

Однако замысел этот не осуществился, а сюжет пьесы впоследствии был использован, кажется, для романа "Ловель-вдовец".

Недавно я прочитал в одной заметке, что у Теккерея были свои маленькие слабости. Так, он мнил себя художником и упорно рисовал скверные иллюстрации к собственным сочинениям. Это совершенно

не соответствует истине. Теккерей получал огромное наслаждение, рисуя карандашом, и не раз говорил мне, что когда он иллюстрирует свои произведения, его рука и ум отдыхают после изнурительного писательского труда. Он плохо чувствовал цвет и признавал, что силен только в карикатуре. Среди рисунков Теккерей многие прекрасно смотрятся на клише, но, к сожалению, ему часто не везло с гравером. Иллюстрации автора к рукописи "Кольца и розы" восхитительны. Теккерей особенно любил рисовать жанровые сценки из эпохи XVIII века, и мне не раз доводилось слышать, как английские художники отзывались о нем как об одаренном жанристе; сам он считал себя всего лишь дилетантом и говорил, что рисует только из любви к искусству.

Теккерей очень радовал успех его лекций у публики, поскольку для него это было новое, непривычное дело. Хотя на торжественных обедах Теккерей произнес несколько замечательных речей, он уверял меня, что это чистая случайность и он совсем не умеет думать стоя.

- Даже во время лекции, - признавался он, - я часто ловлю себя на мысли: "Ну и мошенник! Удивительно, как тебя до сих пор не раскусили!"...

(Тейлор описывает библиотеку в последнем доме Теккерей.)

- Здесь, - сказал он мне во время нашей последней встречи, - собираюсь я написать свою главную книгу - "Историю правления королевы Анны". Вот собранный материал, - и он показал на полки, заставленные томами во всевозможных переплетах.

- Когда же вы приступите к работе? - спросил я.

- Как только закончу "Филиппа", - ответил Теккерей. - Хотя возможно, прежде напишу еще один роман. Но меня это не пугает. Я не спешу и даю своим замыслам созреть. Я хочу вчитаться в то, что написано об этом периоде признанными авторитетами, чтобы свободно владеть предметом и не отрываться от работы, то и дело сверяясь с тем или иным автором. Последнее время "История", как любимое детище, занимала все мои мысли. Я исподволь подготавливаю себя к работе над ней и уверен, стоит мне начать, как дело пойдет.

По-моему, он был очень цельной натурой. Там, где поверхностный читатель увидит лишь цинизм беспощадного сатирика, я вижу безграничное презрение к человеческой низости и лицемерию - праведный гнев души, жаждавшей добра, но слишком часто

испытывавшей разочарование. Он бичевал людские пороки с горьким негодованием, со слезами на глазах. Вот почему его возмущало, когда невежды возносили недостойных на пьедестал. Однажды, упомянув одного критика, который упрекал его за то, что в его книгах мало благородных и привлекательных персонажей, Теккерей сказал мне: "Это могут с успехом делать другие. Я знаю, в чем моя сила. И я тоже творю добро, только на свой лад".

АЙРА КРОУ

ВОСПОМИНАНИЯ СЕКРЕТАРЯ

I

В моей детской памяти сохранились фразы, свидетельствующие, что Теккерей искренне отдавал должное блестящему таланту "Боза" - псевдоним этот в то время испещрял лондонские стены. Без малейшей зависти, просто сообщая факт, Теккерей говорил жалобно: "Его книги расходятся тысячами экземпляров, а мои - лишь ничтожными сотнями..."

Кроме больших произведений, писавшихся относительно медленно, он в те годы еженедельно создавал украшения для страниц "Панча", обычно пленявшие непринужденностью, легкостью, словно удачные импровизации. Что иной раз за этим стояло, показывает случай, когда рассыльный из типографии явился за материалом в назначенный день, и ему было ведено подождать в коридоре. Теккерей, расхаживая по комнате, где старался выжать из себя какие-то мысли, воскликнул: "Через пять минут я должен стать остроумным!" Затем мужественно сел за письменный стол, и вскоре рассыльный уже удалился с листками, на которых только-только высохли чернила...

Я жил в Париже, когда появились первые выпуски "Ярмарки тщеславия". Как и с бессмертными "Записками Пиквикского клуба", вступительные главы были приняты далеко не с тем восхищением, как последующие. Затем я вернулся в Англию и в завершающие месяцы во время вечерних прогулок с Теккереем и другими разговор обычно шел не только об огромном уже завоеванном успехе, но и о возможной развязке романа. Теккерей предпочитал ставить в тупик излишнее любопытство, и на ходу сочинял самые разные финалы жизненного пути Бекки, Доббина и прочих, хотя, без сомнения, сам уже твердо решил, какой кого ждет жребий. Помню редчайший случай, когда чужое предположение он счел ценным. Случилось это в июне 1848

года. Теккерей присутствовал на званом завтраке в хэмпстедском доме моего отца, и Торренс Маккаллах, сидевший за столом напротив него, сказал:

- Как вижу, вы собираетесь убрать своих кукол в их сундук!

И Теккерей тотчас ответил:

- Да, и с вашего разрешения я воспользуюсь этим уподоблением.

Как искусно эта случайная фраза была развернута в предварении "Перед занавесом", известно всем читателям романа.

В поезде Бостон - Нью-Йорк мальчуган, продававший книги, предложил ему его собственные творения, даже не подозревая, что обращается к их автору. Поэтому, пока мы неслись среди пологих холмов Массачусетса, он перечел написанную им лет за двенадцать до этого "Мещанскую историю". Я же потратил двадцать пять центов на "Хижину дяди Тома", и повесть, рассказанная миссис Бичер-Стоу, свергла меня в надлежащую грусть. Однако Теккерей не захотел погружаться в ее скорбные события, заметив, что столь тяжелые темы вряд ли можно считать подходящими для литературы. К тому же благоразумные друзья всячески внушали ему, чтобы он ни в коем случае не принимал чью-то сторону в вопросе о рабстве, тогда чрезвычайно жгучем, иначе лекционное турне превратится для него в тяжелое испытание. Он предпочитал задерживать внимание на более светлых сторонах американской жизни - таких, например, как восьмеро детишек в соседних купе, которым он пожелал тут же подарить по полдоллара каждому.

Никогда не забуду удивления на лице писателя, когда он увидел перед собой длинные темные разделенные перегородками скамьи, а дальше - колонны и дубовую кафедру. Его явно ошеломила мысль, что он будет читать здесь свою светскую проповедь. Затем, взглянув на аналой, он спросил: "Не лучше ли будет убрать на время священные эмблемы?" И тут же добавил: "А когда я войду, орган заиграет?" Затем, оглянувшись на дверь в приделе, осведомился: "Вероятно, мне лучше всего войти через ризницу?" Ну, короче говоря, помещение было признано подходящим... Лектор поднялся на довольно высокую трибуну, воздвигнутую напротив кафедры, в сопровождении секретаря, мистера Уилларда Фелта, который, выждав, чтобы буря приветствий улеглась, представил его слушателям в нескольких весьма любезных словах, и сел на стул сбоку. Все прошло наилучшим

образом. Как и в Англии, репортеров заранее попросили не касаться подробно содержания лекций, а предпочтительно, почти его не касаться. Они благородно соблюдали это ограничение, но чтобы все-таки написать свои заметки (которые Теккерей на другой день прочел с большим интересом), в шутовском тоне повествовали о том, как он расправлял фалды сюртука и засовывал руки в боковые карманы - его обычная манера. Не упущен был и тот примечательный факт, что жестикулировал он мало. Первым и единственным свидетельством, что эти юмористические подробности задели воображение писателя, явилось напечатанное месяц спустя в январском номере "Фрэзерс мэгезин" безымянное, но несомненно принадлежавшее его перу описание столь забавной манеры рисовать словесные портреты.

Ни сумрак (темные панели, как всегда, поглощали свет ламп), ни скверная погода в день второй лекции не помешали бесстрашным дамам и джентльменам, сливкам нью-йоркского общества, собраться в молельню и аплодировать с начала и до конца...

Теккерей сам объяснил, что послужило источником его лекции "Милосердие и юмор". Когда мы опять вернулись в Нью-Йорк, кто-то из его знакомых задумал собрать средства для "Дамского общества обеспечения бедняков работой и вспомоществованиями", и он вызвался написать для этой цели новую лекцию. Созданию ее он посвятил целый день. Раскинувшись на кровати в своей любимой позе, он курил и диктовал фразу за фразой, как они приходили ему в голову. Я записывал их почти от завтрака до сумерек без перерыва, чтобы перекусить. Прозвучал обеденный гонг и рукопись была завершена. Он не удержался от радостного восклицания - не так уж часто у него выпадали столь плодотворные дни: "Просто не понимаю, откуда все это набралось!"

Несомненно, его вдохновляла благородная цель.

Решение уехать было внезапным, как удар грома. Рано утром я заглянул в спальню Теккерей. У него в руках была газета, и он сказал: "Оказывается, сегодня утром отплывает пароход компании "Кунард". Я сейчас же отправлюсь на Уолл-стрит и попробую взять каюту, а вы пока займитесь укладкой багажа". Мы давно привыкли к походной жизни, так что вещи были уложены и счета оплачены во мгновение ока. Проститься мы успели только с милой семьей Бэкстеров. Одна из дам, увы, шутовски написала некоторое время спустя: "Мы никогда не

простим мистеру Кроу его веселого лица, когда он прощался с нами!" Но кто же не стоскуется за полгода по родному дому, где бы это жилище ни находилось? Около одиннадцати мы уже неслись на извозчике по Бродвею к Ист-Ривер, а по сходням взошли под крик агента пароходной конторы: "Быстрее, он отчаливает!" И не успели мы подняться на борт, как уже приближались под всеми парами к Сэнди-Хуку.

ТЕККЕРЕЙ И ДИККЕНС
ТОМАС КАРЛЕИЛЬ
ИЗ ДНЕВНИКА

главным талантом был талант комического актера, и выбери он это поприще, он бы добился триумфа. Теккерей был много больше одарен в литературном отношении, но невозможно было не почувствовать, что ему, в конечном счете, не доставало убеждений, которые сводились к тому, что нужно быть джентльменом и не нужно - снобом. Примерно такова была окончательная сумма его верований. Главное его искусство заключалось в умении - и пером, и карандашом - чудесно передавать сходство, причем экспромтом, без предварительного обдумывания, но, как оказалось, он ничего не мог потом к тому прибавить и довести до совершенства (запись от 1880 года).

"Да, Теккерей гораздо ближе стоит к действительности, его хватило бы на дюжину Диккенсов. По своей сути они очень разные" (беседа происходила в конце 40-х годов прошлого века).

ЭНН РИТЧИ
ИЗ КНИГИ "ГЛАВЫ ВОСПОМИНАНИИ"

Я с удивленьем думаю сейчас о том, как много значил в нашей детской жизни дом Диккенса - ведь мы бывали там нечасто и жили далеко, но его книги занимали в наших душах не меньше места, чем отцовские.

Наиболее яркими событиями нашей с сестрою лондонской поры были, конечно, детские праздники у Диккенса, все остальное меркло рядом с ними. Ходили мы и на другие праздники, и нам бывало очень хорошо, но это было несравнимо с домом Диккенса: нигде мы больше не встречали эту легкость, блеск и неумное веселье. Возможно, я преувеличиваю - наверное, не все и не всегда там было дивным совершенством, как виделось тогда, но, несомненно, каждый ощущал

дух праздника и доброго веселья, которым так чудесно заправлял хозяин дома, имевший этот чародейский дар. Не знаю, как назвать его могучую способность вливать в других одушевление и радость. Особенно запомнился мне праздник, который, право, длился бесконечно, так много было музыки, веселья, маленьких детей, прибывавших и убывавших вереницами. На нас с сестрой были надеты впервые башмачки и ленточки, стеснявшие нас несколько своею новизной, к тому же было страшновато входить в залу самим, без взрослых, но миссис Диккенс нас окликнула и усадила рядом переждать, пока все дотанцуют долгий танец, при этом она беседовала с нами, как со взрослыми, а это очень лестно детям. Потом мисс Хогарт подвела к нам маленьких кавалеров, и мы влились в толпу танцующих. Помню, как я разглядывала белые атласные туфельки и длинные, с бантами кушаки маленьких девочек Диккенса, которые были нашими сверстницами, но несравненно более грациозными, в очень изящных платьицах. А мы носили клетчатые сине-красные пояса, преподнесенные отцу поклонником-шотландцем, и нам они совсем не нравились (надеюсь, это запоздалое признание не выглядит неблагодарностью?), и башмачки были у нас всего лишь бронзовые. Надо ли говорить, что эти маленькие тучки немного омрачали лучезарный горизонт? Впрочем, довольно было нам пуститься в пляс, и тотчас стало радостно и весело - как всем.

Когда мы потянулись после танцев в длинную столовую, где все было уже накрыто к ужину, я оказалась рядом с Диккенсом, а визави сидела очень маленькая девочка - гораздо меньше моего, вся голова ее была увита славными, напоминающими пружинки локончиками, на шейке красовалась нитка бус. Хозяин дома был с ней очень ласков, все уговаривал спеть что-нибудь собравшимся, и для того, чтоб приободрить, даже приобнял ее одной рукой за плечики (то была маленькая мисс Улла). И вот она - о чудо! - соглашается и запекает очень робко, с дрожью в голосе, но понемногу, все еще краснея и дрожа, поет свободней, лучше, и вот уже *jeunesse doree* {Золотая молодежь (фр.).} сыновья Диккенса и их приятели встают и рукоплещут, рукоплещут, а мистер Диккенс улыбается и тоже аплодирует. Вот, положив ладонь на стол, он произносит маленькую речь, благодарит *jeunesse doree* за рыцарскую вежливость и, улыбаясь, снова аплодирует, но тут мои воспоминания теряют ясность, зыбятся.

Я помню только, как мы танцевали, ужинали, снова танцевали, и вот мы, наконец, стоим в огромном, ярко освещенном вестибюле, украшенном рождественской омелой, и все вокруг мне кажется таким чудесным, исполненным значительности, и с каждым мигом, по мере появления гостей, поток которых неустанно прибывает, становится еще чудесней и значительней. Вестибюль переполнен, вдоль широкой лестницы двумя рядами выстроились мальчики по-моему, их там не меньше тысячи, и все в лад двигают руками, головами и ногами, шумят, кричат, и этот шум сливается, в конце концов, в ура, потом в еще одно ура - всем этим дирижирует старший сын Диккенса, - и вдруг мы замечаем нашего отца, который, разумеется, пришел за нами - над всеми возвышается его седая голова, тут в третий и последний раз звучит ура и кто-то приближается к отцу. Да это мистер Диккенс, который говорит ему с улыбкой: "Это в вашу честь!", и наш отец растроганно и удивленно и обрадованно оглядывает стоящих на лестнице и, наконец, надев очки, серьезно кланяется мальчикам.

КЕЙТ ПЕРУДЖИНИ-ДИККЕНС ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Мы с сестрой знали обеих дочерей Теккерей с детских лет, но только вскоре после моего замужества мне представился случай познакомиться с их великим отцом... Как-то утром я быстро шла по направлению к Хай-стрит, низко опустив голову, чтобы укрыть глаза от солнца, как вдруг кто-то огромный и высокий преградил мне дорогу и чей-то веселый голос произнес: "Куда, красавица, спешишь?" Я испуганно подняла глаза - передо мной стоял мистер Теккерей - и ответила: "Спешу я в лавку, добрый сэр". - "Позволь пойду с тобою дорогою одною", - и он галантно предложил мне руку, но повел отнюдь не в лавку, а в Кенсингтон-гарденс, и пока мы расхаживали туда-сюда по его любимой тропинке, говорил мне: "Ну, теперь, как и положено злему, старому великану, а я и есть тот самый великан, я захватил в плен прекрасную принцессу, привел ее в свой заколдованный сад и теперь хочу, чтобы она рассказала мне о другом известном ей великане, который заперся в своем замке в Грейвсенде". Так начались наши нескончаемые беседы о моем отце - предмете для Теккерей очень занимательном. Образ жизни отца, его повседневные рабочие навыки, симпатии и антипатии - все было полно для Теккерей неизбывного очарования, мои рассказы он мог слушать бесконечно. Порою, но то

уже было много позже, он критиковал сочинения отца, а я, узнав его поближе и осмелев, всегда была готова встать на защиту того, кто был, на мой взгляд, едва ли не полным совершенством, и горячо возражала, хотя его замечания никогда не грешили суровостью и были всегда мудры и основательны. Стоило ему подметить на моем лице первые признаки обиды, как у него в глазах загорались веселые искорки; вскоре я догадалась, что ему нравится меня поддразнивать...

Одно время добрые отношения между моим отцом и Теккереем омрачились недоразумением, которого могло бы и не быть, если бы его не раздули своим неосторожным вмешательством некоторые друзья, считавшие, что действуют из лучших побуждений и могут поправить дело. Но облако враждебности по-прежнему висело, не рассеиваясь, холод разрыва, словно промозглый густой туман, спустившийся на землю после теплого ясного дня, - сменил приятельство недавних дней. Я знаю, что Теккерей немало размышлял над происшедшим, но долгое время обходил болезненную тему молчанием. Однажды, - это было в моем доме - он вдруг произнес: "Нелепо, что нам с вашим отцом досталась роль ярых противников. - Да, в высшей степени нелепо. - Что может примирить нас? - Не знаю, право, разве только... - Вы хотите сказать, что я должен принести извинения, - подхватил Теккерей, живо ко мне повернувшись. - Нет, не совсем так, - пробормотала я неуверенно, - но если бы вы могли сказать ему несколько слов... - Вы знаете, что он виновнее, чем я. - Пусть так, продолжала я, - но он стеснительнее вас, ему заговорить труднее, к тому же, он не знает, как вы воспримете его слова. Боюсь, что он не сможет извиниться. - Что ж, значит, примирение не состоится, - решительно ответил он, сурово глядя на меня через очки. - Как жаль, - сказала я сокрушенно". Последовала продолжительная пауза. "А мне откуда знать, как он воспримет мои слова? - обронил он задумчиво через минуту. - О, я могу за него поручиться, - ответила я, обрадовавшись, - мне даже не придется пересказывать сегодняшний наш разговор, я не передам ему ни слова, только заговорите с ним, дорогой мистер Теккерей, только заговорите, вы сами увидите". Теккерей и в самом деле заговорил с ним, после чего пришел, сияя, к нам домой и рассказал о происшедшем. "Как это было? - спросила я его. - О, ваш батюшка сказал, что он не прав и принес свои извинения". Настала моя очередь глядеть на него с суровостью: "Вы

же знаете, что ничего этого не было, нехороший вы человек. Расскажите-ка лучше, как все произошло на самом деле". Он посмотрел на меня очень добрым взглядом и произнес совсем просто: "Мы встретились в "Атенеуме", я протянул ему руку, сказал, что мы наделали довольно глупостей или что-то в этом роде, ваш отец ответил мне сердечным рукопожатием, и вот мы вновь друзья, благодаренье богу!"

У Теккеря случались периоды подавленного настроения, впрочем бывали они не чаще и не серьезней, нежели у "другого великана, закрывшегося в своем замке в Грейвзенде". Однажды он заглянул к нам по дороге в клуб, в тот день ему изменило его обычное безмятежное расположение духа, и после нескольких неудачных попыток поддержать светскую беседу, вдруг помрачнел, замолк и сел, задумавшись. Так случилось, что я в то время читала стихотворный сборник, в котором были и его стихи, о чем я ему и сообщила и, процитировав приводившиеся там строки, сказала, как они мне нравятся. Теккерей не был тщеславным человеком, но ничто человеческое не было ему чуждо, он откровенно радовался искренней похвале и восхищению. Он попросил меня прочесть еще раз полюбившееся мне стихотворение, стал вспоминать, когда и где оно было написано. Потом мы перешли к прелестным строкам, которые Бекки поет на вечере шарад в Гонт-Хаусе. "Я рад, что вам нравятся мои стихи, - сказал он, не скрывая удовольствия, как мальчик, - я подумываю написать кое-что еще", с этими словами он поднялся, чтобы уйти, но попрощавшись и уже подойдя к двери, вернулся вновь. "Мне что-то нездоровится. Пора мне прибегнуть к услугам доктора Брайтона, возможно, после нескольких глотков его животворящих вод мне станет лучше; если поправлюсь, я напишу для вас стихи". От него и в самом деле пришло письмо, в которое были вложены стихи, впоследствии появившиеся в печати под названием "Фонарь миссис Кэтрин". Возможно, они запомнились тем, кто встречал их в "Корнхилл мэгезин" или в других изданиях; я приведу последние шесть строк:

И кто все зубы потерял,
Уж не поет, как встарь певал,
Как он певал, когда был юн,
И не поникли нити струн,

Когда был юн, как вы сейчас,
И свет любви в окне не гас...

ДЖОРДЖ ХОДДЕР

ВОСПОМИНАНИЯ СЕКРЕТАРЯ

Одновременно с публикацией "Ярмарки тщеславия" печатался также в традиционной форме месячных выпусков и роман великого современника Теккерея, Чарлза Диккенса. Один роман выходил в зеленой обложке, другой - в желтой. (К сожалению, вопреки всем справедливым протестам принято сравнивать этих двух писателей, и в зависимости от пристрастий того или иного критика возвеличивать одного, принижая достоинства другого.) Теккерей с нетерпением ждал каждого нового выпуска "Домби и сына" и не скрывал своего восхищения романом. Когда появился пятый выпуск, в котором смерть маленького Поля описывается столь трогательно, что у читателей сжимается сердце, Теккерей был потрясен, какой властью над душами обладает Диккенс, единственный из всех живущих писателей. Сунув пятую книжку "Домби и сына" в карман, Теккерей помчался в типографию "Панча" и, влетев в кабинет редактора, где в это время находились я и сам мистер Марк Лемон, бросил книжку на стол и в необыкновенном возбуждении воскликнул:

- Разве может что-либо в литературе сравниться с этим - нечего и пытаться! Прочтите главу, где умирает маленький Поль: какой талант - это потрясает до глубины души!..

Спустя несколько лет, когда я уже работал секретарем у Теккерея, как обычно утром, я вошел к нему в спальню и застал его в постели (чтобы не возникло впечатления, что Теккерей поздно вставал, хочу сказать, что мы принимались за работу спозаранку, когда на часах еще не было девяти). Рядом на столике стоял небольшой чайник и лежал засохший гренок. Я остановился поодаль, но Теккерей подозвал меня и пожаловался, что провел беспокойную ночь.

- Очень жаль, что сегодня Вам, судя по всему, нездоровится, посочувствовал я.

- Да, - пробормотал Теккерей, - нездоровится. А тут еще этот проклятый обед, на котором нужно говорить речь.

Я сразу вспомнил, что сегодня Теккерей председательствует на ежегодном обеде театрального фонда, а мне было хорошо известно, что Теккерей терпеть не мог выступать в такой роли.

- Не волнуйтесь, мистер Теккерей, - успокоил я его. - Все будет отлично.

- Глупости! - воскликнул он. - Я болен и не в силах произносить речи. К черту! Это старина Джексон втянул меня в эту историю! Почему бы им не пригласить в председатели Диккенса? Вот уж кто умеет говорить и притом блестяще. Я на это не гожусь.

Не отрицая справедливости слов, сказанных им о Диккенсе, я выразил мнение, что он недооценивает прозорливости тех, кто предложил ему эту миссию, и заметил, что к Диккенсу не могли обратиться с подобной просьбой, так как он всего лишь год или два назад председательствовал на таком же обеде.

- Они забывают о том, что я всегда очень волнуюсь, - негодовал Теккерей. - А вот Диккенсу волнение не знакомо...

О торжественном обеде, на котором председательствовал Теккерей (29 марта 1858 года), следует рассказать с полным уважением к памяти писателя и в то же время ничего не приукрашивая, ибо он сам поступил бы точно так же. Как и обещал, Теккерей занял председательское место и взял бразды правления в свои руки, словно решив принять вызов и показать, что эта задача ему вполне по силам. Но, к несчастью, Чарлз Диккенс как президент фонда сел по правую руку от него, и когда пришло время сказать заключительный тост, нервный и впечатлительный Теккерей пришел в ужас от мысли, что сейчас в присутствии своего великого современника он покроет себя позором, обнаружив свое полное бессилие. Приготовив заранее ученую речь, Теккерей начал издали, припомнил колесницу Феспиды и историю ранней античной драмы, но вдруг смешался и быстро закончил несколькими банальными фразами, которые едва ли можно было назвать связными. Он остро переживал свой провал, и его не ободрили даже теплые прекрасные слова Диккенса, предложившего тост за председательствующего. Теккерейу казалось, что теперь его репутация безнадежно подорвана, и дождавшись первого удобного момента, он поспешил уйти вместе с одним из своих старых друзей.

ЭНТОНИ ТРОЛЛОП
ИЗ КНИГИ "ТЕККЕРЕЙ"

Невозможно устоять перед искушением и не сравнить Теккерей и Диккенса в этот период их жизни - сравнить не по художественным достоинствам, а по положению в литературе. Диккенс был на год

моложе Теккеря, но в конце 30-х годов уже приближался к зениту своей славы. А Теккеря в эту пору все еще терзали сомнения, он только пробивал себе дорогу. Имя Чарлза Диккенса было у всех на устах. Уильяма Теккеря знали лишь в кругу людей осведомленных. В то время гораздо шире, чем ныне, пользовались псевдонимами, особенно при публикациях в журналах. Если сегодня появляется произведение, вызвавшее широкий интерес, имя автора, скрывшегося под псевдонимом, сразу же становится известно. В прежние времена все обстояло иначе, и хотя читающая публика год за годом знакомилась сначала с Джимсом Желтоплюшем, потом с Кэтрин Хэйс и другими героями и героинями Теккеря, узнать имя их автора было совсем не просто. Помню, покоренный бессмертным Джимсом, я безуспешно старался выяснить, кто его создатель. А в это самое время Чарлз Диккенс был известен всем и каждому как автор замечательных романов, читаемых в Англии ничуть не меньше, чем драмы Шекспира.

Так почему же Диккенс был знаменитостью, в то время как Теккерей пока еще оставался безвестным тружеником в литературе?

На мой взгляд, ответ кроется не в степени и не в природе таланта каждого из них, а в различном душевном складе, что по их произведениям может заметить любой, умеющий видеть. Один был упорен, трудолюбив, настойчив, не ведал сомнений, знал, как подать себя в наилучшем свете и умело поддерживал свою репутацию, внутренний разлад был незнаком ему, он не переживал минут слабости, когда кажется, что все усилия напрасны и цель недостижима, сколько бы ты ни потел. Его окружала любовь друзей, но он не особенно в ней нуждался. Его высокое мнение о себе никогда не оспаривалось суровой критикой. Напротив, критики превозносили его и находили подтверждение своим восторженным оценкам в количестве распроданных экземпляров его романов. Он твердо стоял на ногах, почти всегда был верен себе, и поняв силу своего дара, мастерски пользовался ею.

Пожалуй, не будет преувеличением утверждать, что Теккерей был полной его противоположностью. Нерешительный, подверженный лени, он не отличался упорством в достижении цели и, сознавая силу своего ума, тем не менее не доверял себе и на редкость не умел показать себя с выигрышной стороны. Хотя сочинения Теккеря проникнуты глубоким чувством, блещут юмором, написаны с

любовью и состраданием к человеку, неизменно утверждают верность правде и честь, порядочность в мужчинах и благонравие в женщинах и, на мой взгляд, отмечены достоинствами, перед которыми бледнеют многие другие образцы нравоучительной литературы, все же в них словно бы недостает какой-то необходимой малости. Я имею в виду тот едва заметный отпечаток неуверенности, который говорит о том, что перо автора вовсе не летало с легкостью по бумаге. Скорей всего Теккерей замыслами устремлялся к величайшим высотам, но падал духом и говорил себе, что ему не под силу парить в тех лучезарных сферах. Я могу представить, как все написанное за день, каждая страница, казалось ему никуда не годным хламом. У Диккенса же ни одна его страница не вызывала и тени сомнения.

ГЕНРИ ВИЗЕТЕЛЛИ

О СКАНДАЛЕ В "ГАРРИК-КЛУБЕ"

Теккерей, как известно, проявил нелепую чувствительность, занесся и отругал Йейтса как провинившегося школьника, на что последний ответил тем, что было, конечно, нахальством по отношению к человеку в положении Теккерей и настолько старше Йейтса. Как все мы знаем, болезненно чувствительный автор "Ярмарки тщеславия" предъявил эту переписку в президиум "Гаррик-клуба", в результате чего за безобидную болтовню, проступок пустяковый в сравнении с тем, что позволял себе сам Теккерей в своей развеселой юности, Йейтс был исключен из клуба, где и он и Теккерей состояли членами, и наступил долгий период отчуждения между Теккереем и Диккенсом, который стал советчиком и главным защитником Йейтса, когда скандал достиг неприятного размаха.

Я упомянул об этой литературной грызне потому, что ссора, вместо того, чтобы быть приконченной категорическим решением клубного комитета, поддерживалась со стороны Теккерей полускрытыми намеками на Йейтса в "Виргинцах", а со стороны Йейтса - язвительными замечаниями о новых произведениях Теккерей в колонке "Бездельник" газеты "Иллюстрейтед таймс" (которую Визетелли редактировал). Некоторые из поклонников Теккерей в штате газеты решили, что за все, появляющееся на ее столбцах, ответственны и они, и когда Йейтс среди конкурсных стихотворений к столетию со дня рождения Бернса предложил довольно злую пародию на балладу Теккерей "Буйабес", они уговаривали меня усмирить вольность, какую

он дал своему перу. Инкриминировали ему, я припоминаю, такие строфы:

Я обнажаю все изъяны,
Все страсти, что терзают вас,
Все ваши мерзостные раны
Я выставляю напоказ.
Мужчины - воры, слов не хватит
На женщин, дети - просто дрянь;
Кричу, а мне за это платят
Тем больше, чем жесточе брань.
Смешны мне всякие красоты!
Надежней бичевать порок!
Я желчный циник - оттого-то
Всегда набит мой кошелек.
{Пер. Д. Веденяпина.}

Отрицать здесь предвзятость невозможно. При всем цинизме Теккерея никто из знавших его близко не станет отрицать, что это был один из либеральнейших и добрейших людей. Однако поскольку он капризно продолжал свою травлю Йейтса, я отказался вмешаться, хотя Теккерей сам попросил меня об этом через Ханнея - ответив, что несправедливо по отношению к Йейтсу было бы закрыть единственный доступный ему канал, через который он мог бы ответить на эти беспричинные нападки. Это едва не вызвало разброда в нашей небольшой компании: человек пять-шесть основных сотрудников пригрозили, что уйдут все разом, если зловерный стихоплет не будет безоговорочно уволен. Однако требование их не было удовлетворено, и они, подумав немного, воздержались от выполнения своей неразумной угрозы.

ЭДМУНД ЙЕЙТС
СКАНДАЛ В "ГАРРИК-КЛУБЕ"

В 1855 году в "Иллюстрейтед таймс" у Генри Визетелли я основал "колонку сплетен", как это позднее стало называться. Моя рубрика "Бездельник в клубе" была, как я с иронией отмечал, началом того стиля "личной журналистики", который так достоин осуждения и так невероятно популярен. 22 мая 1855 года, всего за несколько недель до своего злосчастного очерка о Теккерее, мне предложили сходную работу в "маленьком, безобидном и тихом листке под названием "Таун

Ток" ("Городские пересуды"), который только что начал выходить. Примерно на третьей неделе, после того как я стал там работать, я по окончании рабочего дня поехал в типографию, которая помещалась на Олдерсгейт-стрит, близ почтамта, чтобы завершить работу. Все, что мне предстояло опубликовать, было уже набрано, и я думал, что проведу там всего каких-нибудь полчаса, чтобы проверить, "все ли в порядке", но к ужасу своему узнал от старшего наборщика, что из-за болезни Уотс Филлипс (один из постоянных авторов) прислал ему меньше обычного и совершенно необходим еще целый столбец текста. Делать было нечего. Я засучил рукава - буквально, потому что вечер, помнится, был теплый, залез на высокий табурет перед высокой конторкой и стал ломать себе голову.

Случилось так, что в номер за предыдущую неделю я дал зарисовку о Диккенсе, которая заслужила одобрение; я подумал, что самое милое дело будет дать теперь такой же портрет его великого соперника. И вот что я написал:

"Мистеру Теккерю сорок шесть лет, хотя из-за серебристой седины он выглядит несколько старше. Он очень высокого роста, шесть футов и два дюйма, и так как держится очень прямо, обращает на себя внимание в любом обществе. Лицо его бескровно и не особенно выразительно, но запоминается сломанной переносицей, результатом несчастного случая в ранней молодости. У него маленькие седые бачки, но ни усов ни бороды он не носит. Встретив его, каждый сразу распознает в нем джентльмена: держится он холодно и отчужденно, тон разговора либо откровенно циничный, либо наигранно добродушный и благожелательный, его *bonhomie* {Благодушие (фр.)} натянуто, остроумие едко, самолюбие весьма уязвимо; но общее впечатление как от холодноватого, лощеного, безукоризненно воспитанного джентльмена, который, что бы ни чувствовал, не допустит, чтобы это нашло свое внешнее выражение. (Далее следует очерк его литературной карьеры.) Его успех, начавшись с "Ярмарки тщеславия", достиг вершины в "Лекциях об английских юмористах XVIII века", которые посетили весь лондонский двор и высший свет. Цены были непомерно высокие, льстивость лектора к происхождению и положению была непомерна, успех был непомерен. Никто не умеет лучше мистера Теккеря приспособляться к публике. Здесь он льстил аристократии, но когда пересек Атлантику, кумиром

его сделался Джордж Вашингтон, а предметом самых злобных нападок - "Четыре Георга". Эти последние лекции в Англии попросту провалились, хотя как литературные произведения они великолепны. По нашему личному мнению, успех его сейчас клонится к закату. Его писаний никогда не понимали и не ценили даже средние классы, аристократов охладили его американские наскоки на аристократию, а людей образованных и утонченных слишком мало, чтобы составить его постоянную публику. Более того, во всем, что он пишет, чувствуется недостаток сердечности, что не уравнивается самым блестящим сарказмом и самым совершенным знанием того, как устроено человеческое сердце".

Как только этот маленький очерк был написан, едва высохли чернила, я протянул его наборщику и ушел. Корректуру я не видел. И в мыслях к нему не возвращался. Что в нем есть что-то оскорбительное или предосудительное, или сулящее мне неприятности, я просто не мог подумать, ибо в тот же вечер в "Гаррик-клубе" упомянул в разговоре с широко известным литератором, которого в то время считал своим другом, что имею новую работу, и примерно обрисовал, в чем она состоит. Я не сомневаюсь, что именно от этого человека Теккерей узнал, кто был автором очерка.

Через два дня я получил от Теккерей следующее письмо, в котором очерк о нем был не только назван оскорбительным и недружелюбным, но клеветническим и лживым, и кончалось оно так:

"Мы встречались в клубе, где, когда вас еще на свете не было, я и другие джентльмены привыкли разговаривать даже не думая о том, что наши разговоры дадут материал продажным разносчикам "Таун Ток", а вне клуба я, кажется, не обмолвился с вами и десятком слов. Так разрешите сообщить вам, что разговор, который вы там услышали, не предназначался для газетной заметки, и просить вас - на что я имею право - в дальнейшем воздержаться от печатания комментариев к моим частным разговорам; далее - отказаться от рассуждений, пусть нелепых - о моих личных делах и впредь считать, что вопрос о моей личной правдивости и искренности никак не может быть предметом вашей критики".

Думаю, что самый беспристрастный читатель будет вынужден признать, что письмо это строго до жестокости, что какова бы ни была глупость и нахальство моего очерка, едва ли он был рассчитан на то,

чтобы вызвать такой силы отпор его автору; что по сравнению с моей провинностью нагоняй, который я получил от мистера Теккерея, смехотворно раздут. Напрашивается вопрос: как объяснить такое расхождение между греховным сочинением и уничтожающе гневным и злобным откликом на него? К этому я еще вернусь. Здесь скажу только, что письмо мистера Теккерея потрясло меня до глубины души. Но хотя я тогда понятия не имел о мотиве, заставившем Теккерея подчеркивать, что именно клуб был единственным местом, где мы могли встречаться, а значит, что именно там я что-то узнал о нем, - я чувствовал, что эта фраза дает мне законный повод для вполне логичного возражения.

Поэтому я тут же сел и написал мистеру Теккерею письмо - не только опроверг резоны, которые он мне приписал, но осмелился напомнить ему кое-какие его погрешности в прошлом. (Будь это письмо отправлено, на том все могло бы и кончиться, но к несчастью, как Йейтс почувствовал позднее, он посоветовался с Диккенсом, и тот, сочтя это письмо "слишком сердитым и слишком опрометчивым", уговорил его послать более вежливый протест.) Теккерей передал это письмо, а также и все дело в президиум "Гаррик-клуба", который 26 июня поддержал его и предложил мне принести извинения либо положиться на решение общего собрания членов клуба. Это было очень тревожное время, происходили частые совещания, в которых участвовали Джон Форстер, У. - Г. Уиллз, Альберт и Артур Смиты, а также Диккенс и я. Как раз в это время вышел седьмой (если не ошибаюсь) выпуск "Виргинцев", в котором имелась совершенно не идущая к делу и притянутая за волосы ссылка на меня под именем "юного Грабстрита". Ее расценили как удар, несовместимый с правилами честной игры и недостойный человека, занимающего такое положение, как мистер Теккерей. {10 июля Йейтс был исключен из клуба. Он решил было действовать через суд, но когда выяснилось, что у него не хватит на это средств, взял свой иск обратно.

Тем временем 24 ноября Диккенс написал Теккерею личное письмо, уговаривая его уладить это дело без суда. Теккерей, неприятно пораженный тем, что "вы, оказывается, явились советчиком Йейтса в нашем споре", ответил, что дело это теперь не в его власти, подписавшись "Ваш и проч.". "А будь он проклят, - вспыхнул друг Диккенса Джон Форстер, - с его "Ваш и проч.!"")

Разумеется, как тогда, а с тех пор повторяли и повторяют еще и поныне, весь этот скандал был борьбой за первенство, либо взрывом ревности между Теккереем и Диккенсом, а моя роль свелась к роли козла отпущения или же волана.

Между ними не было близости, не было даже ничего похожего на дружбу, хотя на людях поддерживалась видимость сердечности. Диккенс председательствовал на банкете, устроенном в честь Теккерея в 1855 году, и сослался на "сокровища остроумия и мудрости, заключенные в желтых обложках". Теккерей, говоря о "будничных проповедниках", заявил, что божественная благодать препоручила Диккенсу усладить человечество. Но Диккенс читал мало, а ценил поздние сочинения Теккерея и того меньше. Однажды, когда я говорил о том, как безжалостно отнеслась "Сатердей Ревью" к "Крошке Доррит", Теккерей, в общем согласившись со мной, добавил с этим своим полушутливым-полусерьезным видом: "Хотя, между нами говоря, дорогой Йейтс, в "Крошке Доррит" много глупостей".

Такова история, в которой ничего не смягчено и ничего не подсказано злобой, история очень важного события в моей жизни. Я рассказал о нем не для того, чтобы оправдаться, ибо никто не понимает лучше меня, как глуп и безвкусен был тот очерк - и конечно же не для того, чтобы бросить тень на память о мистере Теккерее, ибо я твердо верю: если б он остался в живых, он признал бы, что строгость наказания, которому он меня подверг, никак не соответствует моей провинности.

Теккерей умер. Самый чистый английский прозаик XIX века, романист, знавший человеческое сердце лучше, чем кто бы то ни было, за исключением, может быть, Шекспира или Бальзака - внезапно был вырван из нашей среды... Истинно так! Ни одна знаменитость, будь то писатель, государственный деятель, художник или актер, не казался столь неотъемлемой частью Лондона. Эта "добрая седая голова, знакомая всем", узнавалась так же легко, как голова того, о ком это было сказано - герцога Веллингтона. Не проходило, кажется, дня, чтобы его не видели в кварталах возле Пэлл-Мэлл, и лондонец, показывая провинциальным родичам чудеса столицы, обычно умел устроить им встречу с великим английским писателем. Казалось бы, "Таймс" могла уделить побольше места, чем три четверти столбца для рассказа о жизни и смерти такого человека. Казалось бы,

Вестминстерское аббатство могло распахнуть свои двери и принять бренные останки того, чье имя будет звучать до конца времен. И сейчас, когда я это пишу, меня вдруг осеняет мысль, что сам этот человек меньше всего мечтал о таких отличиях.

Во-первых, я очень прошу не забывать, в каких обстоятельствах был написан тот обидный маленький очерк. Пока машина ждала "горящий" материал "с пылу с жару", а метранпаж стоял рядом, и подгонял меня, и уносил наборщикам листок за листком. Вспомните, что мне было тогда только двадцать семь лет, я имел жену и троих детей и пополнял скудное жалование на почтамте журналистской работой. Три или четыре раза в неделю, отсидев на службе, в восемь часов вечера садился за стол и писал, не отрываясь, до полуночи. Вспомните, какому социальному унижению подвергнул меня Теккерей, - не в минуту ярости, а нарочно растянув эту пытку на шесть недель - и что это значило для безвестного человека, который еще ничем не отличился и едва сводил концы с концами в борьбе за кусок хлеба. Подумайте, что для меня значило быть исключенным из клуба, как если бы я был "шулер, обманщик, вор и волокита!". "Он был исключен из "Гаррик-клуба"!" На протяжении тридцати лет стоило раздаться этому кличу, и уж было не до подробностей; и только самые великодушные допускали, что причиной исключения могло быть разглашение в печати какой-нибудь клубной тайны. К тому же если рассмотреть с точки зрения "личностей" тот огромный камень, что поверг меня наземь, и сравнить его не только с ранними писаниями самого У. М. Т., но с тем, что пишут в наши дни. В моей злосчастной чепухе нет ни одного упоминания о семейной жизни Теккерей, ни о его клубе, нет никаких сплетен, ни намека - боже сохрани! на его домашние неурядицы, ни слова о чем-либо, что уже тогда было достаточно широко известно. И после этого обратите внимание на упрямое коварство, с каким меня преследовали, отклоняли все предложения компромисса, не желали ничего, кроме злобного ненасытного мщения. По натуре я человек крепкий, и я это пережил, но в те времена я тоже был чувствителен и чуть не сломился, а того, что выстрадали моя жена и моя мать, я никогда не забуду.

Все эти тридцать лет Теккерей как писатель не имел более преданного поклонника; даже сейчас я выдержал бы любой самый строгий экзамен на знание его сочинений, и не только "Ярмарку

тщеславия", "Пенденниса", "Ньюкомов" и "Баллад". Но о Теккерее-человеке я до последнего моего вздоха буду думать и говорить, что его обращение со мной было одним из самых злобных, жестоких и позорных проявлений тиранства из всех когда-либо существовавших на земле.

ДЖОН КОРДИ ДЖИФРИСОН ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

О привлекательности и обаянии личности Теккерее свидетельствует то обстоятельство, что я через месяц, много два, нашего знакомства проникся к нему самым теплым чувством... Примерно год спустя, когда у него вошло в привычку называть меня "юноша" или "малыш" (так он обычно называл симпатичных ему молодых людей), великий романист, который до тех пор чаровал меня лишь самыми приятными чертами своего характера, на несколько минут предстал передо мной отнюдь не с казовой своей стороны. Мы встретились с ним в приемной Генри (ныне сэра Генри) Томпсона и коротали время ожидания разговорами, как вдруг он спросил:

- Малыш, что говорят о моей стычке с Йейтсом?

Я знал только, что "Теккерей переругался с Йейтсом из-за статьи в "Таун Ток", и, возможно, заметив по моему лицу, что я предпочел бы уклониться от откровенного разговора о таком щекотливом деле, он поспешно добавил:

- Ну, расскажите же мне, что вы слышали! Поставленный перед необходимостью взять на себя роль переносчика сплетен я сказал:

- Мне нет смысла рассказывать вам, что утверждают ваши враги и недоброжелатели или, наоборот, что говорят о вас ваши неумные поклонники, которых, хотя они и неистово одобряют любые ваши поступки, вряд ли можно сопричислить к вашим друзьям. Те же, кто вас глубоко уважает, все те люди, чье мнение тут хоть чего-нибудь стоит, все, чья оценка случившегося через двадцать пять лет станет общепринятой, дружно полагают, что вы совершили большую ошибку и забыли о своем достоинстве, отнесясь с таким раздражением к двум-трем непочтительным фразам и снизойдя до ссоры со столь молодым и малоизвестным человеком, как мистер Йейтс.

Теккерей едва дослушал и, побагровев от удивления и досады, воскликнул:

- Черт бы побрал вашу наглость, юноша!

Эта вспышка мелочной раздражительности заставила меня вскочить, и, пристально поглядев в глаза моего собеседника, я ответил:

- Простите меня, мистер Теккерей, за то, что я не стал льстить вам ложью, когда вы потребовали от меня правдивых сведений.

Несомненно, произнесены эти слова были с некоторой воинственностью, ибо юноше не понравилось, что его отправили к черту за его "наглость". Но я убежден, что в тоне не было и следа оскорбительности.

- Вы совершенно правы, - ответил Теккерей, - и просить прощения должен я. Вы поступили честно, сказав мне правду, и я вас благодарю за это. Со времени выхода "Ярмарки тщеславия" люди уже не торопятся говорить мне правду, как в те времена, когда этот роман еще не принес мне успеха. Но... но... - Тут он поднялся на ноги и посмотрел на меня с высоты своего роста: Но... но не думайте, малыш, будто я ссорюсь с мистером Йейтсом. _Я бью по человеку у него за спиной_.

К счастью, тут мой тет-а-тет с великим писателем прервало появление Генри Томпсона... Однако время полностью подтвердило правоту тех благоразумных и беспристрастных людей, которые в 1858 году считали, что Теккерей вел себя с Йейтсом неоправданно сурово, поддавшись гневу, мстительно и непонятным образом без тени великодушия... С течением времени будет легче доказать, что на заключительных стадиях этой яростной ссоры Теккерей руководило враждебное отношение к Диккенсу. Автор "Ярмарки тщеславия" сказал мне, недавнему и довольно юному знакомому, не более того, что говорил некоторым из ближайших и давних друзей о причинах, побудивших его раздуть свою ссору с молодым журналистом. Столь же прямо, как и меня, он убеждал их, что нанося удары Йейтсу, _он бьет по человеку у него за спиной_, и пока еще не опубликованные воспоминания со временем, конечно, дадут новые доказательства этих его разговоров с ними.

Сам я никогда лично с Чарлзом Диккенсом не соприкасался (хотя в 1858 году он написал мне два-три письма и чрезвычайно любезно пригласил меня когда-нибудь навестить его в Гэдсхилле), однако у меня есть достаточно веские основания полагать, что его действия в ссоре между Йейтсом и Теккереем ни в какой мере не диктовались ревностью к Теккерее, что он никогда Теккерее не завидовал, никогда

не считал себя конкурентом Теккерея в вопросе, кому принадлежит главенство в современной литературе, и что с первых дней успеха Теккерея по день его смерти соперничество двух романистов было абсолютно односторонним. Теккерей, бесспорно, был чувствителен к литературной славе Диккенса и страстно желал превзойти его. Бывали времена, когда это желание овладевало им с такой силой, что Диккенс словно бы превращался для него в навязчивую идею. В остром припадке этой болезни он как-то отправился в контору Чэпмена и Холла и принялся расспрашивать, как в среднем расходятся месячные выпуски последнего романа Диккенса. Когда ему показали итоги месячной продажи, он воскликнул с удивлением и горечью: "Как! Он настолько опережает меня?"

Поскольку зеленые листы Диккенса расходились куда шире желтых обложек Теккерея, невозможно понять, с какой собственно стати мог бы Диккенс завидовать Теккерею или видеть в нем конкурента, способного вот-вот оказаться впереди. Несомненно, Диккенс не завидовал ни его литературным свершениям, ни таланту - хотя он признавал силу его гения и восхищался "Ярмаркой тщеславия", "Пенденнисом" и "Ньюкомами", ставил он их все же не слишком высоко, а в последующих произведениях Теккерея не усматривал ничего особо выдающегося. Мистер Йейтс, близко знавший Диккенса и тонко его изучивший, сообщает нам в своей автобиографии, что "Дальнейшие произведения Теккерея Диккенс читал мало, а ценил еще меньше", - утверждение, которое, возможно, вызывает у читателей желание сказать: "Тем хуже для Диккенса!.."

С другой стороны, хотя нет достаточных причин подозревать Диккенса в зависти к Теккерею, этот последний, вне всяких сомнений, с первых дней своей славы до последнего года жизни горячо желал превзойти Диккенса в популярности и по временам болезненно досадовал, что никак этого не достигнет. Вряд ли среди близких друзей Теккерея найдется хотя бы один, который хотя бы раз не слышал, как автор "Ярмарки тщеславия" не говорил о себе как о сопернике Диккенса и не высказывал огорчения, что ему не удастся его превзойти...

Все, что я сказал о желании Теккерея превзойти Диккенса - желании, о котором он с обаятельной непосредственностью говорил не только друзьям, но и просто знакомым - не должно создавать у

читателя впечатления, будто в желании этом крылось хоть что-то непорядочное или оно грозило перейти в завистливую ненависть к более популярному писателю. Наоборот, оно было проникнуто истинным благородством и с ним соседствовало искреннее признание диккенсовского гения, горячее восхищение литературными достоинствами его произведений. Хотя он часто говорил со мной о Диккенсе и его книгах, он ни разу не произнес ни единого слова в умаление писателя, которого стремился превзойти... Он неоднократно признавался мне, как ему хотелось бы, чтобы его признали более великим романистом, чем Диккенс, но при этом всегда выражал бурное восхищение писателем, выше которого хотел бы стать. Как-то после долгого восхваления очередного выпуска нового романа Диккенса, он стукнул кулаком по столу и воскликнул: "Зачем мне тщиться обогнать этого человека или бежать вровень с ним? Мне его не опередить, мне его даже не догнать..."

В другой раз он сказал мне с благородной грустью, которая меня очень тронула: "Я выдохся. Теперь я способен лишь вытаскивать старых моих кукол и украшать их новыми ленточками. А Диккенс, доживи он хоть до девяноста лет, будет создавать все новые характеры. В своем искусстве этот человек великолепен". Мне известно, что и с другими людьми он говорил о романисте, которым столь восхищался, совершенно в том же духе и почти теми же словами.

Хотя автор "Ярмарки тщеславия" с большой добротой предоставлял мне множество случаев изучать его причуды и пристрастия, а не только лучшие его качества, хотя он говорил со мной о своем отношении к автору "Повести о двух городах" с полной откровенностью (как, видимо, со многими своими знакомыми), в соперничестве с Диккенсом я ни разу не почувствовал ничего мелочного, озлобленного или неблагородного. Напротив, во многом я находил это чувство прекрасным и достойным восхищения. Теккерей был бы куда счастливее, если бы писал свои романы, не обращаясь столь часто мыслью к Диккенсу и не принимая так близко к сердцу ни быстроту, с какой расходились его новые произведения, ни его власть над читающей публикой. Но великолепный талант любимого романиста "образованных классов" давал ему полное право меряться силами с любимым романистом всей страны, и я только еще больше

почитаю его за этот дух соревнования, столь высокий, столь великодушный и ни в чем не запятанный завистливой злобой.

Возвращаясь домой после моего разговора с Теккереем, в котором он объяснил мне, что наносит удары не Йейтсу, а человеку за спиной у того, я испытывал опасения, что он пожалеет о своей откровенности, и наши дружеские разговоры останутся в прошлом. Но страх этот совершенно рассеялся, когда мы случайно встретились несколько дней спустя, и он пригласил меня прогуляться с ним. С этого дня по 25 апреля 1863 года, когда я разговаривал с Теккереем в последний раз, я часто виделся со знаменитым романистом при обстоятельствах, которые усиливали мою симпатию к нему и заставляли чувствовать, что я делаюсь верным его сторонником. Но наше приятное знакомство не дает мне права причислять себя к его близким друзьям, так как он за все это время ни разу не пригласил меня к себе и ни разу не переступил порога моего дома. Нет, я всегда оставался для него лишь знакомым, с которым он любил поболтать, когда мы встречались под кровом общих друзей, в клубах и трактирах, в Британском музее, на улицах или в театрах.

Постоянно видясь с ним в доме Э 16 по Уимпол-стрит, я часто встречал его на лондонских улицах, и в таких случаях он обычно останавливался, чтобы обменяться двумя-тремя словами, или приглашал меня пройтись с ним. Не по своему почину, а по его просьбе я заглядывал к Эвансу - нет ли его там? когда вечером оказывался неподалеку от Ковент-Гардена по дороге домой из той или иной редакции, где я сотрудничал. Иначе я бы лишь очень редко спускался в подвальчик гостиницы Эванса, завсегдатаем которого был Теккерей. На мой взгляд, шумный душный приют, где журналисты и светские бездельники пили грог и горячий пунш, поглощая вредоносный ужин, вместо того, чтобы отправиться домой спать, меньше всего походил на Грот Гармонии и Услад. Теккерей же, напротив, получал большое удовольствие от музыки, шума и дымной атмосферы жаркого зала, слушая, как герр фон Йоель свистит и изображает "скотный двор" к вящему восторгу молодых фермеров. Заглядывая "на ночь" к Эвансу после спектакля, званого обеда или раута, автор "Ярмарки тщеславия" нередко отправлялся туда и пораньше, чтобы послушать, как хор мальчиков поет без аккомпанемента песни, мадригалы и наивные старинные баллады. Он

слушал их песню за песней - по часу... да нет, часами, и не произносил ни слова, пока они не кончали. Некоторые из этих мальчиков пели в церкви и как-то Теккерей сказал мне: "Я возвышаюсь душой куда больше, слушая их в этом погребке, чем в Вестминстерском аббатстве..."

Я не без задней мысли указываю, что встречался с Теккереем главным образом в трактирах, так как его привычка посещать подобные заведения ради возможности посидеть за столом с приятным собеседником, хотя он был членом трех столь почтенных и очень друг на друга не похожих клубов, как "Атенеум", "Реформ" и "Гаррик", бросает любопытный свет на некоторые черты его характера и отношение к обществу. Войдя в литературный мир в эпоху, когда профессиональные писатели большую часть досуга проводили в трактирах, когда молодой Альфред Теннисон имел обыкновение в пять часов вечера заглядывать в "Петуха" на Флит-стрит "выпить пинту портера", когда наиболее талантливые и известные из них тщетно выставляли свои кандидатуры в респектабельные клубы, Теккерей настолько пристрастился к трактирной жизни, что до последних дней посещал заведения вроде тех, где когда-то водил дружбу с Мэгинном и Мэхони. Пожалуй, он был последним из именитых писателей, кто предпочитал старомодные трактиры современным клубам, как места, где можно отдохнуть и беззаботно провести время в обществе друзей - последним великим английским писателем, которого можно с полным правом назвать трактирным завсегдатаем в самом лучшем и безобидном смысле этого выражения. Такое пристрастие к трактирам питалось как его близким знакомством с обычаями и нравами Лондона времен королевы Анны, так и симпатией к духу той эпохи...

Теккерей, с которым я болтал у Эванса и Кланна, в доме Э 16 по Уимпол-стрит и во время наших прогулок по улицам столицы, весьма непохож на Теккереев, чья "манера держаться" показалась мистеру Йейтсу "холодной и отталкивающей" и в ком мистер Фрит и мистер Баллантайн обнаружили множество неприятных качеств. Однако, хотя он чаровал меня добродушием, откровенным разговором и ласковым обхождением и внушил мне большое уважение к своей доброте и умению считаться с чувствами собеседника, я вовсе не ставлю под вопрос искренность и наблюдательность тех людей, кто в печати обвинял его в дурных качествах, которые за шесть лет нашего

знакомства он ни разу передо мной не обнаружил. Так как мистер Йейтс в молодости был (а теперь, в зрелые свои годы и остается) тонким наблюдателем человеческой натуры и человеком чести, я не сомневаюсь, что у него имелась причина заключить, что у Теккерея в манере держаться было что-то "холодное и отталкивающее". Хотя я ни разу не подметил в Теккерее хоть что-нибудь, что оправдывало бы резкость, с которой мистер Баллантайн признается в своей неприязни к писателю, но готов скорее признать, что в минуту слабости или раздражения Теккерей действительно мог дать повод приписать ему столь дурные качества, нежели предположить, будто саркастический адвокат не имел ни малейших причин назвать его отъявленным эгоистом, жадным до лести и до смешного обидчивым на всякую критику... Однако у меня есть все основания полагать, что в моих воспоминаниях автор "Ярмарки тщеславия" предстает не только в наиболее симпатичном, но и наиболее обычном для него виде. И я тем более убежден в своей правоте, что мой взгляд на его характер совпадает с мнением о нем нескольких моих друзей, которые были знакомы с Теккереем много дольше меня...

Я уже настолько полно описал привычки, погубившие здоровье Теккерея, что читатели этих страниц не будут удивлены, если я представлю его теперь хроническим больным, чей организм был непоправимо разрушен еще до нашего знакомства. Если бы он умел умерять свое пристрастие к радостям жизни особенно к радостям стола, - я был бы не вправе прибегать к столь сильным выражениям, говоря о состоянии его здоровья в начале моего знакомства с ним. Следуй он неуклонно советам врачей, и в 1860 году, а то и позднее, он мог бы вернуть себе здоровье и сохранить его до глубокой старости. Но у него не хватало воли выполнять их предписания...

"На званных обедах, - сказал он мне, - я веду себя, как ребенок, как школьник на рождественских каникулах - ем все, что мне предлагают и ничего не пропускаю. Лондонский сезон меня совершенно выматывает, потому что я часто обедаю в гостях, а за чужим столом я во всех смыслах слова уже не хозяин над собой. Впрочем и дома, принимая гостей, я тоже не в силах укротить свой злокозненный аппетит. Я умею соблюдать осторожность, пока в ней нет нужды, но с первым же бокалом шампанского моя осторожность исчезает, и я просто должен попробовать все, что ни подают!"

Он научил меня искать проявления его собственной природы в каких-то мелких штрихах характеров, созданных его воображением, когда сказал, что высмеивал собственную слабость, упомянув, как генерал Брэддок чванился несуществующими предками. Такой же урок преподавал он мне в другой раз, признавшись, что думал о собственном "непристойном обжорстве", когда потешался над тем, как юный Джордж Осборн, расправившись с обедом из пятнадцати блюд, принялся грызть миндальное печенье...

Не ограничивая себя в еде, он и пил больше, чем ему было полезно.

- Вы успели-таки порядочно выпить за свою жизнь! - как-то сказал я.

- Вполне достаточно, чтобы семидесятичетырехпушечный корабль не сел на мель, - шутливо ответил он. - С тех пор, как бедность осталась позади, я выпивал ежедневно не менее бутылки, а три дня из каждых четырех - по две. Меня можно назвать двухбутылочным человеком, и это помимо двух-трех рюмок днем и пунша и грога в полуночные часы.

Однако, хотя я постоянно видел, как он за два-три часа выпивал вчетверо, если не вшестеро больше вина, чем врач разрешил бы ему выпить за сутки, мне ни разу не довелось быть свидетелем того, чтобы он, как говорится, "хватил лишнего". Он пил вино, как его пили в дни Мэгинна и Теодора Хука, и словно бы не пьянел.

Разумеется, раз уж он столь усердно предавался приятной невоздержанности, его желудок - желудок нервного человека - не мог не бунтовать против своего владельца, столь мало считавшегося с его слабостью, и наказывал его судорогами, спазмами, припадками сильнейшей тошноты и рвотного кашля - последний такой припадок и убил его, вызвав разрыв сосуда в мозгу. Но чтобы более точно представить себе, как великий романист мучился на склоне лет от телесных недугов, читатели должны также помнить, что помимо желудочного недомогания, в конце концов сведшего его в могилу, он страдал еще одной болезнью, даже более изнуряющей нервы и угнетающей дух...

В марте 1863 года вышел мой роман "Переживите это", и Теккерей, когда мы с ним сидели у Кланна, одобрительно отозвался о нем, а затем добавил:

- Жаль, что вы до публикации не сказали мне, какое название решили дать своей книге, а то я купил бы его у вас. Предложил бы вам за него пятьдесят гиней.

- И мне жаль, что я не заговорил с вами о нем, пока еще было время! Такое предложение я, безусловно, принял бы.

- Да, я предпочел бы, чтобы это название принадлежало мне. Тут ведь в двух словах - целая книга! - подхватил он с чувством и продолжал с тихой грустью: - Превосходное название для истории моей жизни...

Последняя фраза дает основания предположить, что он подумывал об автобиографии.

Мое знакомство с Теккереем продолжалось столь же приятно, пока под влиянием вспышки гнева, которого я, право, не заслуживал, он лишил меня своего расположения.

Слабости этого великого человека были бы куда менее известны, если бы он сам не привлекал к ним внимания в своих книгах, частных письмах и дружеских беседах. А иной раз его слишком уж заботили собственное достоинство и слава. С особой, принадлежавшей к прекрасному полу, которая причинила ему боль, он вел себя невеликодушно. В раздражении, порождаемом более телесными недомоганиями, нежели качествами характера, он неоднократно делал свои личные обиды и досаду достоянием гласности. Хотя он никогда не был столь угодлив перед титулованными особами, как ему приписывал мистер Эндрю Арсидекни, случалось, что незаслуженное величие титулованной персоны производило на него впечатление, которое было не совсем к лицу человеку с его талантами. Хотя Чарлз Найт считал, что он "не преклонялся перед титулами", а Харриет Мартино попрекнули за то, что она с печалью сослалась на него, как на еще один пример "низкопоклонства природной аристократии перед аристократией по прихоти случая", нельзя признать, что Чарлз Найт так уж прав, а мисс Мартино так уж не права. Стоит заметить, что в письме, написанном миссис Брукфилд в 1851 году "из Грендж", Теккерей в какой-то мере признает себя поклонником аристократии, причем использует то самое выражение, к которому прибегла мисс Мартино, осуждая его к досаде и возмущению поклонников писателя.

"Все-таки я ловлю себя на том, - писал он своей корреспондентке, - что держусь с ней приниженно и даже заискивающе, как все прочие.

В этой женщине есть что-то властное (она ведь родилась в 1806 году, как вам известно) , и я ясно вижу, как мы все склоняемся перед ней. Почему мы не склоняемся перед вами, сударыня? Только маленькая миссис Тейлор словно бы чужда такого низкопоклонства " .

Но все недостатки Теккерея, как их ни раздували, кажутся ничтожно малыми в сравнении с его высокими Достоинствами и благородными качествами.

ТЕОДОР МАРТИН
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Охлаждение между Диккенсом и Теккереем, наступившее вследствие баталии в "Гаррик-клубе", завершилось в холле "Атенеума", где Теккерей догнал у подножья лестницы прошедшего мимо Диккенса, сказал ему несколько слов - в том роде, что для него невыносимы какие бы то ни было отношения, кроме прежних, и настоял на том, чтобы они обменялись рукопожатием. В следующий раз мне довелось увидеть Диккенса, когда он стоял, устремив взор в разверстную могилу своего великого соперника в Кенсал-Грин. Как он, должно быть, рад, подумалось мне, что они успели протянуть друг другу руки.

Я был связан с Теккереем в первую очередь профессиональными отношениями и считаю, что тот был на редкость лишен писательской зависти, ничто не доказывает это лучше, чем беглое замечание, которое мы находим в письме Теккерея к супругам Брукфилд: "Прочтите "Дэвида Копперфилда", ей-богу, он прекрасен и даст сто очков вперед известному типу в желтых обложках, который появился в этом месяце". То была истинно теккереевская манера восхищаться. Как-то один известный романист, желая подтвердить свои слова, сослался на Вальтера Скотта. "Не думаю, - возразил ему Теккерей, - чтобы нам с вами пристало говорить о сэре Вальтере Скотте как о равном. Людям, вроде нас, нужно снимать шляпу при одном звуке его имени".

ЭЛИЗА ЛИНТОН
ИЗ КНИГИ "МОЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ"

Помню, Джордж Генри Льюис рассказывал мне, как по-разному Теккерей и Диккенс приходили на помощь друзьям. Диккенс, сказал он, не расщедрился бы и на фартинг, но не скупился на хлопоты. Например, он, не жалея времени и сил, целый день искал бы для вас

подходящую квартиру. Теккерей же, прежде чем написать рекомендацию в две строчки, колебался бы и ворчал часа два, но тотчас бы сунул руку в карман и протянул бы вам горсть золотых и пачку банкнот, если бы вы в них нуждались. Мне самой не довелось узнать с этой стороны ни того, ни другого, и я только точно повторяю слова мистера Льюиса.

Кстати, очень любопытно, как часто о них говорят в противопоставлении. Каждый занял положение главы определенной школы мысли, отражавшей свои аспекты жизни, и у обоих были последователи и поклонники, которые почти все по собственному почину противостояли друг другу, так что лишь горстка беспристрастных критиков с одинаковым пылом восхищалась обоими писателями. Подобного рода антагонизм встречается очень часто. Так было с Дженни Линд и Альбони, с Лейтоном и Миллесом, с Эмерсоном и Карлейлем. Но источником всякий раз оказывались поклонники, а не кумиры, и вражда между Теккереем и Диккенсом раздувалась за них, а не ими.

Оба они иллюстрируют истину, которую люди видят редко, а признают еще реже: расхождение между интеллектом и характером, приводящее к тому, что людям благоугодно называть непоследовательностью. Теккерей, так ясно видевший грешки и слабости человеческой природы, обладал на редкость мягким, щедрым и любящим сердцем. Диккенс, чье воображение тяготело к почти болезненной чувствительности и сострадательности, как человек был несравненно менее чуток, менее склонен поступаться собой, менее сострадателен... Он никогда не прощал, если решал, что его оскорбили, и был слишком горд и самолюбив, чтобы допускать хоть бы тень лакейства. Он уклонялся от роли светского льва и ограничивался пределами собственного круга... Вот почему Чарлз Диккенс даже в зените славы не бывал в домах великих мира сего.

Теккерей же, как и Мур, любил изящество, дух благовоспитанности и природные привилегии тех, кто составляет так называемый "высший свет". Снобом он был не больше Диккенса и так же чуждался пресмыкательства, но из-за большей гибкости характера поддавался влиянию той чувственной склонности, когда привлекает беззаботная жизнь, хорошие манеры, очаровательные женщины и утонченные беседы. Диккенса красота, как красота, не

интересовала. Он был способен любить относительную дурнушку - и любил. Теккерей же пленяла красота, и один лишь ум без нее - покоривший Диккенса никогда бы не пробудил в нем страсти. Оба они были способны на глубокую, страстную, безумную любовь, что и доказали, но интимная история их жизни еще не написана. И уже никогда не будет написана. Что и к лучшему.

Но повторяю: по мировосприятию, темпераменту и характеру они были полной противоположностью. Один, писавший с таким состраданием, с такой чувствительностью, с такой сентиментальностью, отличался внутренней жесткостью, которая была словно железный стержень его души. Другой, принимавший род человеческий таким, каков он в действительности, видевший все его недостатки, оценивший его весьма низко, тем не менее не презирал того, чем не мог восхищаться, и был на редкость любящим, добросердечным человеком, чуравшимся негибкости.

Ни того, ни другого я близко не знала, но у нас было много общих друзей, и слышала я больше, чем наблюдала сама. Мне многое рассказывалось под секретом, и, разумеется, этого доверия я не нарушу, но оба они очень удивились бы, если бы им стало известно, насколько я осведомлена в том, что не занесено ни в какие анналы и никогда не публиковалось. Сознание такого даже не подозреваемого соучастия в чужой жизни придает своеобразную пикантность строгому соблюдению всех формальностей, которые правила вежливости предписывают в отношениях между малознакомыми людьми. Я особенно остро ощутила это, когда мистер Теккерей оказал мне честь, навестив меня в Париже. Я вела общее хозяйство с моей подругой, полу-англичанкой, полу-француженкой, получившей в наследство уютную двухкомнатную квартирку на пятом этаже. Обе мы обставили свои комнаты на французский манер, соединив спальню с гостиной, так что каждому предмету мебелировки приходилось исполнять двойную роль. И вот по пяти крутым лестничным маршам поднялся знаменитый, прекрасный, добрый человек, и я помню, как он предпочел сесть не в кресло, а на сундук, и повторил обычную ошибку французов, положив шляпу на кровать. Его дочери, тогда еще девочки, жили в Париже у бабушки, и его любовь к ним была удивительно трогательной. Он подробно расспрашивал меня о моей жизни и держался так ласково, так по-дружески!

ДЭВИД МЭССОН

ИЗ СТАТЬИ "ПЕНДЕННИС" И "КОППЕРФИЛД"

На наш взгляд, Теккерей как эссеист и критик выказывает больше мастерства, чем Диккенс. Но в то же время - больше и бесстрастия. Оттого ли, что душевное устройство Теккерей велит ему принимать мир как есть, оттого ли, что ему из собственного опыта известно, сколь неблагоприятно ремесло преобразователя, но так или иначе, он возвел свое бесстрастие в теорию, и можно утверждать со всей определенностью, что в сочинениях, которые он продолжал публиковать, уже войдя в число наиболее знаменитых наших авторов, он, в отличие от Диккенса, почти не занимался внешними закономерностями социальной жизни и редко представал перед читателем как критик общества и реформатор. Исключение составляют некоторые его эссе из "Панча" и особенно недавно появившиеся там сатирические зарисовки иезуитов и иезуитства, явно несущие на себе печать его писательской манеры. Но даже принимая вышеуказанные очерки, надо признать, что в целом предмет сатиры Теккерей не столько разные условности и закономерности общественного устройства, при котором живут человеческие особи, сколько сами эти особи - мужчины и женщины. Слабости и пороки, сомнительные сделки и кипение страстей - все то, что, по выражению Карлейля, происходит в маленьком мирке окружностью примерно в двадцать три дюйма, который прячется под шляпой каждого из нас, из этих нитей, а вовсе не из бурь или противоборствующих мнений, что сотрясают мир вокруг, сплетает Теккерей свои сказания. Писателю не интересны внешние условия, общественные и политические, определяющие весь недолгий век самоуверенного франта, престарелого развратника, сентиментальной маленькой шалуни и прочих смертных; он с увлечением следит за тем, как в заданных общественных условиях живут подобные им люди, и любит наблюдать, грустя и улыбаясь, как франт гордо шагает по Пэлл-Мэлл, как опустившийся старик спешит в игорный дом или как маленькая озорница тайком отвешивает братцу оплеуху. Но уж описывая это, он не знает жалости. Все, чем писатель дорожит в своих героях, все, что он ненавидит, презирает, клеймит или готов простить, названо им по имени с не оставляющей сомнения ясностью, но тем не менее не переходит в плоскость внешних обличений. Где бы ни шла охота: в

Понтии или в Англии, по ту или иную сторону реальной государственной границы, преследуемая им добыча - сноб как таковой; его не занимает окружающая обстановка; паря и с птичьего полета высматривая жертву, писатель настигает сноба и впивается в него, как коршун... Надо признать, немного есть такого в искусстве описания жизни, что было бы подвластно Теккерею, но было бы не по силам Диккенсу, и в то же время существует много тем и образов, которые весьма близки художественной манере Диккенса, но чужды дару Теккерея. Мир Диккенса-художника гораздо шире мира Теккерея, и, точно так же, его стиль возвышеннее. По сути, Теккерей является художником реальной школы, он представляет то течение в литературе, которое в искусстве живописи называют низким стилем. И сцены, и герои, им изображенные, точно очерчены и вплоть до мелочей верны реальной правде жизни. В этом заключено его неповторимое достоинство, и, думается, он бы, как Уилки, потерпел фиаско, если б, погнавшись за лаврами жреца высокого искусства, изменил своему предназначению художника реальной жизни. Тогда как Диккенс более склонен к идеальному. Нелепо говорить, желая похвалить писателя, будто его герои списаны с натуры. Не только его серьезные или трагические образы, такие, как Старый Хамфри, Мэйпол Хью, малютка Нелл и прочие романтические характеры, но даже лица комические и сатирические не умещаются в жесткие рамки реального. На свете не было ни подлинного Пиквика, ни подлинного Сэма Уэллера, ни миссис Никльби, ни Квилпа, ни Микобера, ни Урия Гиппа, ни Тутса, в том смысле, в каком существовал или же мог существовать живой майор Пенденнис, настоящий капитан Костиган, Бекки, сэр Питер Кроули и мистер Фокер. Природа нам, конечно, предоставила наброски личностей Уэллера и Пиквика, она не поскупилась на наметки и зародыши этих диковинных характеров и всюду обозначила следы их пребывания в мире, а уж пополнив ими нашу галерею вымышленных образов, мы не умеем сделать шагу, не натолкнувшись на живых людей, как будто созданных по их подобию, - так, добродушный лысый джентльмен всем нам напоминает Пиквика, любой приветливый, беспечный мот конечно, вылитый Микобер, подобострастный негодяй - "родной брат" Гиппа, и каждый не уверенный в себе юнец похож на Тутса. И все же эти образы реальны лишь в той мере, в какой они трансцендентально воплощают намеки,

брошенные невзначай самой природой. Писатель, уловив какую-то реально существующую в мире странность, уносится в иные, идеальные пространства, где, забавляясь, легко и играючи ваяет из нее все, что ему угодно, нимало не стесняемый ничем, кроме сюжета своего повествования. Поэтому добро и зло в его героях не выдержано в той пропорции, в какой оно встречается в природе, - это одно из следствий его творческого метода. Одни его герои идеально совершенны и прекрасны, другие столь же идеально отвратительны, и даже образы, в которых он хотел добиться смешанного впечатления, составлены по мерке, идеально сочетающей порок и добродетель. Совсем иначе пишет Теккерей. В финале "Пенденниса" он обращается к читателю и просит снисходительно судить о том, чье имя вынесено на обложку книги, не видеть в нем героя, а только "брата в человечестве", ибо он, автор, слишком откровенно выставил на обозрение все слабости его характера. И точно так же, создавая и другие образы, писатель будто задавался целью соединить дурное и хорошее примерно в той пропорции, в какой их смешивает самый искусственный фармацевт - Природа. Все сказанное, находясь в полнейшем соответствии тем принципам, которым следует в искусстве Теккерей, никак не означает, что метод Диккенса неверен. Создания Шекспира отнюдь не жизненны в обычном смысле слова. Они не списаны с живых мужчин и женщин, хотя не подлежит сомнению, что среди них есть замечательные образцы подобного искусства. Огромные гиперболы, рожденные дыханьем поэтической фантазии, они составлены из всех тех отблесков величия, какие только есть в природе, и представляют образ человечества, увиденного и запечатленного в самых высоких, крайних проявлениях, и даже более того, в минуты, когда ему приходится и говорить и мыслить за гранью самых крайних проявлений. Так, от героя греческой трагедии, автор которой представлял возвышенное, поэтическое направление в искусстве, никто не ждал, что это будет только "брат в человечестве", в пороках и достоинствах подобный каждому из зрителей, он ждал полубога, прародителя, величественного, недоступного, прекрасного.

"Искусство потому и называется искусством, - говорит Гете, - что оно не есть природа", и, значит, на такую его разновидность, как нынешний роман, распространяются все преимущества подобного подхода. Если считать заслугой Теккерей, как совершенно справедливо

делает он сам, правдоподобие художественного вымысла, это никак не означает, что следует считать ошибкой Диккенса, творящего в другой манере, гиперболичность его образов. Он заслужил иной и более обоснованный упрек, который сводится к тому, что, полноправно пользуясь гиперболой, он не всегда блюдет гармонию и переходит меру, описывая романтических героев, или доводит до гротеска черты своих комических характеров.

Но если Диккенс превосходит Теккерея широтою тем и поэтичностью изображения, то как художник и как мастер Теккерей - если судить о нем в масштабах его собственного стиля, круга тем и образов, - пожалуй, затмевает Диккенса. Его мазок точнее и правдивее, и он настойчиво стремится к совершенству. В какой-то мере это объясняется, наверное, тем, что Теккерей не только сочинитель, но и умелый рисовальщик. Как иллюстратор собственных романов он приучился делать зримыми творения своей фантазии, из-за чего и достигает большей точности и яркости, нежели тот, кто занимается одним словесным творчеством и для того, чтобы увидеть свои детища, должен доверить их чужим заботам. Но кроме иллюстраций, в которых виден несомненный дар их автора, есть и другое доказательство того, как ясно видит Теккерей описываемое, и это - меткие фамилии его героев. За Диккенсом установилась репутация очень удачливого в этом отношении писателя, и все-таки мы сомневаемся, не уступает ли он порою Теккерею.

Чем объясняется, что Диккенс, большею частью, добр и романтичен, тогда как Теккерей колок и язвителен, и сатиричен? Понятно, что такая непохожесть проистекает от глубоко разнящегося мирочувствия писателей и от того, к каким решениям они пришли в своих раздумьях о судьбе и назначении человека.

Первейший принцип диккенсовской философии, самую суть его моральных представлений составляет доброта. Он, может быть, и не отказывает боли и возмущению в праве на существование - известно, что немногие писатели способны столь же откровенно возмущаться вопиющим злом, как Диккенс, но в том, что можно было бы назвать его этическими принципами, главенствующее место занимает доброта. Нетрудно было бы составить том его речей - весьма ортодоксальных - в защиту этой добродетели. Все до одной "Рождественские повести" - это чудесные, диковинные проповеди о доброте, впрочем, и в крупных

своих произведениях он обращается к ней очень часто. Кому не ясно, что только любящее сердце, исполненное веры в эту истину, могло создать "Рождественскую песнь" и дивные страницы детства, которыми мы все зачитываемся в начальных главах "Копперфилда"? Однако, когда, отстаивая эту истину, писатель проявляет агрессивность, когда, уподобляясь Кобдену, который яростно сражается за мир, или тем людям, которым дали прозвище "фанатики терпимости", он непреклонно защищает доброту, нам представляется, что было бы уместно сказать ему увещающее слово. Разве провозглашенный догмат столь абсолютен и непогрешим, что каждый человек, в котором нет морального изъяна, обязан согласиться с ним или принять его безоговорочно? Мы так не думаем...

Здесь уже говорилось, что Теккерей - писатель менее догматический, чем Диккенс, менее склонный утверждать и отрицать какие-либо истины, и в его книгах мало строк, где автор излагал бы собственные взгляды от первого лица. Но исходя из некоторых признаков, из общего звучания его романов, а также пользуясь литературной аналогией, можно признать, что его ум по большей части, открыт для отрицания и скепсиса, чего нельзя сказать о Диккенсе, который, следуя определенной позитивной истине, описывает все, что видит в жизни и в природе. Но если автор прилагает много сил, чтобы с наибольшей живостью и полнотой представить pro и contra в некотором споре, нам кажется весьма правдоподобным, что он распределил все накопившиеся аргументы между двумя героями, которым он и передоверил разговор. Поэтому мы думаем, что в споре между Пенем и Уоррингтоном можно, не погрешая против истины, видеть, как проявляются важнейшие черты мировоззрения Теккерей. Иначе говоря, мы полагаем, что многие страницы Теккерей написаны с позиции Пенденниса, но часто в его книгах царит и дух Уоррингтона...

И все же есть позитивная истина, которую готовы признать оба: и Пен, и Уоррингтон, и выразителем которой в наши дни является, вне всякого сомнения, Теккерей, в той мере, в какой и Диккенс есть выразитель доктрины доброты. Можно назвать ее учением об антиснобизме. Удивительная история! В огромном Лондоне, где, как по ветру, развеялись и более давние, и более высокие верования, где обитают мириады смертных, по видимости, не стесненных никаким

этическим законом, возникло, словно в древней Мекке, нравственное убеждение, которым, словно меркой, меряют и себя и других. "Да не будешь ты снобом!" - такова первая заповедь современной этики снобов. Заметьте, сколько непритворной искренности скрывается за этим правилом, которое и впрямь обращено лишь к фактам - известным и достоверным. Это не есть великий принцип нравственности в полном смысле слова, а, так сказать, расхожая мораль, представленная лишь в эстетическом ее аспекте, как образец воспитанности, принятый в этической системе кокни. Ее наказания и заветы - это не всем известные "Не убий", "Да не будет у тебя иных богов перед Лицем Моим", "Не укради", "Не пожелай...", а другие: "Выговаривай начальные согласные", "Не обращай с официантом как с собакой", "Не хвастай, будто ты обедал с пэрами и членами парламента, если ты с ними не обедал". Сноб - тот, кто нарушает эти заповеди. Как бы то ни было, морализирующий кокни не проповедует того, во что не верит сам. Единственная разновидность нравственного зла, которая считается за таковую в Лондоне, единственный порок, не истребимый и караемый моральным осуждением, - это снобизм. Заметьте, как типично и непритязательно само звучанье слова "сноб" отрывистого, дерзкого и очень лондонского. Назвать кого-то снобом вовсе не значит ненавидеть или презирать его, просто вам лучше избегать такого человека или рекомендуется представить в смешном виде. Таков антиснобизм, который Теккерей, среди иных своих достоинств, имеет честь провозглашать и возвещать в литературе. Право, это учение не столь уж плохо, но и не таково, чтобы водителю его хотелось вверить собственную душу, готовясь встретить предстоящее и вечное, как первым согласился бы признать наш друг Уоррингтон, - и все-таки в нем есть свой смысл, и так тому и быть, пусть будут у него и летописцы, и проповедники.

БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ ТЕККЕРЕЯ

ТОМАС КАРЛЕЙЛЬ

ИЗ ПИСЕМ

Ричарду Милнзу 29 декабря 1863 года

Несчастный Теккерей! И десять дней не миновало с тех пор, как я его видел. С тяжелым сердцем я ехал в сумерках верхом вдоль Серпантина в Гайд-парке, когда меня окликнул из коляски кто-то из собратьев-человеков рядом с ним сидела молодая девушка - и осыпал

настоящим градом приветствий. Я поглядел вверх - то был Теккерей с дочерью, в последний раз он встретился мне в этом мире. У него было много прекрасных качеств, ни хитрости, ни злобы не ведал он к кому-либо из смертных. Души у него было очень много, но не хватало крепости в кости, дивная струя гения была в нем мощным ключом. Должен признаться, никто больше в наше время не писал с таким совершенством стиля. Я, как и вы, предсказываю его книгам большое будущее. Несчастный Теккерей! Прощай! Прощай!

БЛАНШ КОРНИШ

ТЕККЕРЕЙ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ

Тихий зеленый район вокруг Кенсингтонского дворца пока еще не претерпел изменений и по-прежнему будит память о Теккерее у всех тех, кто знал его в последние оставшиеся ему на земле годы. Он жил в доме Э 2 на Пэлас-Грин напротив мирных вязов, заслоняющих крыши дворца... Кирпичный особняк, для которого Теккерей одним из первых в Лондоне выбрал стиль королевы Анны, тесно связан с работой над "Дени Дювалем", тоже романтическим обращением к XVIII веку. Сам Дени, превосходнейшей души английский адмирал, стал для молодых гостей особняка совершенно живым человеком, и там их со всех сторон окружали чудесные старинные вещи, собранные рукой Теккерея. Мебель была для того Лондона столь же необычной, как и сам особняк: горки, полные дрезденского и чел-сийского фарфора, старинные стулья и кресла с высокими спинками выглядели несколько неожиданной оправой для тихой домашней жизни и занятий хозяина. Стены занимала небольшая коллекция картин. Среди них полотно Ватто, большой портрет королевы Анны кисти де Труа и портрет прелестного мальчугана с птичкой. Этот портрет Людовика XVII с лентой ордена Св. Духа мистер Теккерей нашел в Италии. Впоследствии его признали творением Греза - написан он в ранней манере художника, когда дни печального маленького двора Марии-Антуанетты в Тюильри были уже сочтены. Дени Дюваль должен был рассказать нам про эту французскую королеву. Мемуары его остались незавершенными - перо было положено, едва он приступил к описанию своего первого морского боя с французами, а ночью автор скончался, не проболев и одного дня, - как казалось нам, молодым и любившим его. Ни в его серьезных беседах, ни в его шутках не было

ничего, что указывало бы на переутомление и болезнь. Даже трудно вообразить, в каком увлечении писался "Дени Дюваль".

Мне хотелось бы передать впечатление от мирного приюта, где великий романист мог пребывать наедине со своей душой среди лондонского шума и суеты. Его дочери только что достигли возраста, когда могли стать ему идеальной опорой. В Риме, где они провели зиму 1854 года, друзья Теккерей с восторгом обнаружили их дарования. Элизабет Браунинг делилась с ними всем лучшим, что в ней было, а миссис Кембл и миссис Сарторис, державшие в руках ключи искусства, драмы и музыки, нашли живую симпатию к собственной сильной чисто английской индивидуальности у дочерей Теккерей, на редкость английских девушек, чья искренность и непосредственность так с ним гармонировали. Всем, кто их знал, казалось, что дочери просто созданы для отца, а отец - для них.

Теперь я перейду к собственным воспоминаниям о Пэлас-Грин. Мы, девицы, завтракали одни, так как к тому часу Теккерей уже работал у себя в кабинете. Однако он обязательно заглядывал в столовую и разговаривал с нами, прохаживаясь по комнате. Время от времени он появлялся из кабинета, чтобы рассказать, как история продвигается дальше, или посоветоваться с дочерьми о тех или иных подробностях. Даже утреннее рабочее безмолвие никогда не было холодным, а беседы о предметах и орудиях этой работы обладали неизъяснимой прелестью. Страница, написанная Теккереем, была истинным произведением искусства. Рисунки на деревянных печатках, вновь вошедшие в моду в то время, заполняли дом изящными виньетками для начальных строк "Заметок о разных разностях" и "Дени Дюваля". Дом вела его старшая дочь, только что написавшая "Историю Элизабет". Ее очень сильный рассказ "Не от мира сего" иллюстрировал молодой, замечательно талантливый Фредерик Уокер. Минни Теккерей, впоследствии миссис Лесли Стивен, пленяла нежнейшим цветом лица, вьющимися каштановыми волосами и большой самостоятельностью мысли. В свои двадцать лет она умела помочь Теккерее критическими замечаниями, которые произносила музыкальным голосом, производившим особое впечатление, когда несколько человек говорили разом. У нее был дар создавать вокруг себя ощущение тихого покоя, что не мешало ей обладать неподражаемым чувством юмора...

Но вернемся к обычному течению дня. Утренняя работа затягивалась за полдень. Затем подавали экипаж, чтобы ехать на Выставку или на званый чай в саду где-нибудь в Уимблдоне, а, может быть, Туикенхеме. И вот дочери и молодые гости, совсем одетые, ждут внизу, а мистер Теккерей продолжает писать, однако первые говорят только: "Папа, видимо, далеко продвинулся". Мистер Теккерей был нетороплив всегда и во всем. Он сидел перед чистой страницей, а потом одна за другой начинали бежать каллиграфические строчки без единой поправки или поправки, абзац за абзацем. Однако, когда мы рассматривали рукописи на Столетней выставке, мы обнаружили, что в патетических местах перо иной раз как бы запиналось, точно голос.

Когда мы, наконец, входили в сад, где ждали Теккереев, как радостно их встречали!.. Разумеется, все эти приятные разговоры за чайным столом требовали напряжения, - платы за знаменитость, - и отнимали у него много сил, которые и так почти все уходили на редактирование "Корнхилла". Мучения литературных неудачников тяжело сказываются на человеке в подобном положении. "В Лондоне нет ничего, кроме вихря дел, а затем - вихря развлечений, а затем суток-других - болезни, во время которой выпадает немного досуга для размышлений. Право, два-три дня, которые я на прошлой неделе должен был провести в постели, показались мне истинным блаженством", - писал он моему отцу. А когда "сутки-другие" болезни подходили к концу, он всегда вставал с ее одра, полный прежней доброжелательности и готовый протянуть руку помощи.

Тогда мы и не подозревали об этом перенапряжении всех сил. Наверное, воспоминания девичьих лет большой ценности иметь не могут: ведь все интересы тогда пылко сосредоточивались лишь на блестящей поверхности бытия. Но, как я уже говорила, мое соприкосновение с Теккереем даже в детские годы нередко оказывалось сопряженным с очень серьезными событиями, и беседы в его доме бывали проникнутыми самым возвышенным духом. И здесь я пробую изложить по порядку мои воспоминания о глубокой серьезности его взглядов на жизнь и на то, что за ней, тогда когда он находился в зените своей славы.

С самого детства мой отец Уильям Ритчи питал к своему двоюродному брату Теккерееву самую нежную дружбу. Мы тогда жили у тети в Париже - ее квартира там часто видела в своих стенах мистера

Теккерей. Известие о смерти моего отца мы получили в Париже прежде, чем узнали о его болезни, и тотчас собрались в гостиной, чтобы помолиться. Тут в дверях появилась высокая фигура, и утренние молитвы в этот день так и остались неоконченными. Мистер Теккерей прошел к большому креслу у камина, и там моя тетя молча села рядом с ним. Не впервые приносил он ей утешение в горе... И в то утро он прервал молчание, сказав: "Ну, что же, Шарлотта, ты ведь знаешь, что он теперь член Небесного совета".

В июне 1862 года мы с моей сестрой миссис Фрешфилд приехали погостить в Пэлс-Грин в самый разгар лондонского сезона, когда возле Кенсингтонского музея открылась великолепная Международная выставка, павильоны которой были только-только построены. Мистер Теккерей, чьи "Заметки о разных разностях" завоевали большую популярность, вызывал всеобщий почтительный интерес и был в полном смысле слова нарасхват. "Весь Лондон" являлся к нему в Кенсингтон, чтобы заставить его оказать "Лондону" честь своим присутствием, однако он часто пребывал в созерцательном настроении. Как-то, когда мы ехали в коляске, мистер Теккерей заговорил о моем отце. "Можно только позавидовать его горячей вере", - сказал он, словно, не обретя "горячей веры", он нашел ей какую-то надежную замену, которая помогала ему спокойно смотреть на "то ужасное будущее, к которому мы все ежесекундно приближаемся", как он однажды написал тете. Он упомянул случай, когда был близок к смерти, но никакого страха не испытал. "Тягостного умирания не бывает", - закончил он.

Ехали мы в Туикенхем, куда были приглашены на званый чай в саду. Когда мы приблизились к стоявшим на лужайке гостям, мистер де ла Прайм, его хороший знакомый, воскликнул: "О, вот и вы, Теккерей! Плоти, как всегда, хватает на двоих, а души - на троих!" Никогда не забуду, как мистер Теккерей в тени раскидистого дуба задумчиво произнес, словно разговаривая сам с собой: "Мне достаточно, если души хватит на одного. То есть я верю в это, уповаю на это!"

Первые религиозные наставления, главным образом в евангелической доктрине, мистер Теккерей получил от матери, к которой всегда хранил нежнейшую привязанность. Этого члена нашей семьи необходимо описать подробнее. Мать Теккерей, какой я ее

помню, обладала удивительно благородной внешностью. В свое время она слыла красавицей, но в ее исполненной достоинства натуре не было и следа тщеславия. Высокая, статная, с серебряными волосами, выющимися на висках от природы, в старости она, мне кажется, выглядела особенно интересной. Украшением ее лица был нос с изящной горбинкой - эстетический нос.

Как-то раз, когда она стояла перед портретами Хэвлока и Утрама, ее лицо и поза были столь выразительны, что одна из внучек невольно воскликнула.

- Бабушка, вы похожи на Сивиллу, оплакивающую судьбу героев!

- Деточка, я их не оплакиваю! Я думаю, что они прияли небесные венцы.

Так типично для ее прекрасного старинного пуританства! Женщина с сильным характером, она годами посвящала себя служению старому мужу и юным внучкам. Те, кто терпел поражение, отстаивая какое-то общее дело, всегда вызывали у нее сочувствие. В загородном доме майора Кармайкла-Смита она была тори, но в Париже стала республиканкой и в "дни баррикад" 1848 года к большой тревоге своих друзей заколола свою чудесную кашемировую шаль республиканской кокардой, хотя тогда это было далеко не безопасно. В Париже под влиянием Адольфа Моно, прославленного протестантского пастора, она стала ревностной кальвинисткой.

Уильям Теккерей, ежедневно навещавший мать, когда она жила неподалеку от его дома на Онслоу-сквер, взял ее к себе в Пэллас-Грин, едва она вторично овдовела. Мне кажется, в его отношениях с матерью главным было безмолвное общение через дела, а не слова, через частые письма во время разлуки, и самое главное - через тишину его духа, хранимую им в самом кипении деятельной жизни и хорошо ей известную. И этому особому общению помогали ее большие синие молящие глаза. Повинуясь желанию матери, Теккерей отправился в церковь на Онслоу-сквер послушать мистера Молино, в то время популярного евангелического проповедника - "он чрезвычайно красноречив и, без сомнения, искренен. Слова его льются великолепным потоком, но какой вздор!.." - сказал он как-то в моем присутствии. Все великолепное красноречие было сведено на нет провозглашением единственной догмы - спасением только через веру...

Сам он в христианстве предпочитал послание апостола Иакова с его двояким призывом: призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира, и еще - англиканскую литургию, как ее служат в церкви Темпла и в Вестминстерском аббатстве. Он часто посещал утреннюю службу в кенсингтонской церкви, начинавшуюся в 9 часов. Но однажды не выдержал англиканского духовного гимна, когда под сводами загремело "не к быстроте ног человеческих благоволит Он", - его хоггартовское восприятие мира не могло спокойно принять подобное упоминание человеческих ног, к быстроте которых можно благоволить или не благоволить. Как-то раз он зашел в ритуалистскую церковь, но, насколько помню, при виде священнослужителей в пышных облачениях, которые шествовали гуськом, одинаково наклонив голову набок, он поспешил уйти... Последний раз я приезжала в Пэлас-Грин с моей матерью осенью 1863 года. Жизнь там шла по-прежнему. Мистер и миссис Чарлз Элстон Коллинз были приняты в доме Теккереев почти как родные. Она, младшая дочь Диккенса (теперь миссис Перуджини), в честь столетнего юбилея решила впервые взяться за перо, чтобы отдать дань уважения памяти знаменитого романиста, описав свое знакомство с Теккереем и его примирение с ее отцом. Мистер Коллинз, хотя был на много лет моложе Теккереев, стал в эти последние годы близким его другом и, можно сказать, верным учеником во всем, что касалось философии жизни... Чарлз Коллинз был невысок ростом, но хорошо сложен, держался с благородным достоинством, а тонкие черты его лица дышали редкой одухотворенностью. Лишь он один сохранял невозмутимую серьезность, когда мы все безудержно смеялись, слушая его рассуждения о трудностях и нелепостях жизни. Мистер Теккерей находил большое удовольствие от общества этого молодого человека, в котором меланхолический юмор шекспировского Жака сочетался с горечью, умеряемой Учителем. Мистер Теккерей, благодаря своему удивительному дару сатиры и бурлеска, видел человечество в куда более забавном свете, чем очерствелые в своей праведности люди, и был много снисходительнее своего ученика.

В обществе Теккерей говорил с паузами, присущими его неторопливой манере, столь понятной его домашним, но ставившей незнакомых людей в неловкое положение. И еще, в обществе, как в домашнем кругу, его все время занимала нравственная сторона

жизненной борьбы. Что отнюдь не способствовало легкой светской беседе. Все понимали, что в жизни он больше зритель, чем актер, и это смущало тем более, что требования его были очень высокими. Если мужчины, а уж тем более женщины, выказывали пошлость чувств, он принимал это очень близко к сердцу. Например, когда дама, молодая, знатная, влиятельная, пожелала присутствовать на стравливании собак, Теккерей выразил свое негодование в присутствии молодого человека, ее хорошего знакомого, и тот, разинув рот, смотрел на взбешенного моралиста. Или, когда речь зашла об угодливом наставнике малолетних аристократов, Теккерей не только не позабавили поклоны и подобострастные ужимки ученого педанта, но он весь содрогнулся, словно его пробрал ледяной холод. Такая щепетильная взыскательность нашему поколению была уже чужда.

Однако для автора "Эсмонда" юность сохраняла свой ореол. Однажды в мастерской скульптора Фоли речь зашла о светской молодежи. Друг моего отца пригласил туда мистера Теккерей, желая услышать его суждение о мраморном бюсте Уильяма Ритчи. Мистер Куртни, человек весьма светский, рассказывал про юношу, который, вступив во владение своим наследством, с большим благородством решил воздерживаться от вина. "Молодец! - одобрительно воскликнул мистер Теккерей. - Вот таким бы хотел быть и я: очень красивым и очень хорошим! А умным быть, по-моему, вовсе ни к чему!"

ЭНН РИТЧИ

ИЗ КНИГИ "ГЛАВЫ ВОСПОМИНАНИЙ"

Последнюю неделю он не лежал в постели, только больше обычного был дома. Он столько раз болел и поправлялся, что мы с сестрой цеплялись за надежду, но бабушка была встревожена гораздо больше нашего. Однажды утром он почувствовал, что болен, послал за мной, чтобы отдать кое-какие распоряжения и продиктовать несколько записок. То было за два дня до рождества. Умер он внезапно в канун рождества, на рассвете 24 декабря 1863 года. Он не жалел, что умирает, - так он сказал за день или за два до смерти... Сейчас я вспоминаю, как это ни больно, что весь последний год он ни одного дня не ощущал себя здоровым. "Не стоит жить такой ценой, - сказал он как-то, - я был бы рад уйти, только вы, дети, меня удерживаете". Незадолго перед тем я вошла в столовую и увидела, что он сидит, глядя в огонь, и у него какой-то незнакомый, отрешенный взгляд, не

помню, чтобы у него был раньше такой взгляд, и вдруг он промолвил: "Я думал, что вам, детям, пожалуй, невесело придется без меня". Другой раз он сказал: "Если я буду жив, надеюсь, я смогу работать еще лет десять, глупо думать, что в пятьдесят лет оставляют работу". "Когда меня не станет, не разрешайте никому описывать мою жизнь: считайте это моим завещанием и последней волей", - это также его слова.

Я уже многого не помню из того, что он говорил, но и сегодня словно вижу, как он проводит рукой по волосам, смеется, наливает чай из своего серебряного чайничка, рассматривает себя в зеркало и говорит: "Пожалуй, с виду я здоров, не правда ли?"

УИЛЬЯМ РАССЕЛ

ИЗ ДНЕВНИКА

24-го декабря 1863 года

Мой дорогой друг Теккерей скончался сегодня утром. О Боже, как быстро и безвременно! Нужно сесть и писать положенное для "Военной газеты". Обедал в клубе с О'Даудом, говорили только о Теккерее - о нем одном.

30-го декабря 1863 года

Сегодня утром проводил на Кенсал-Грин останки моего дорогого друга Теккерей. Какое зрелище! Что за толпа! Худой, осунувшийся Диккенс порадовал меня, сказав, что недавно говорил с Теккереем на известную тему. Джон Лич, Доил, Миллес, О'Дауд, О'Шей, Дж. С. Дин, Шерли Брукс и другие - "Гаррик" выплеснул свой цвет, но не было ни одного сиятельного господина, ни одного из этого сословия. Но ему это уже неважно!

Мое любящее сердце, в силе чувств которого вы, надеюсь, имели случай убедиться, не могло смириться с утратой, а это был удар, какой не достигал его с тех пор, как умер Дуглас Джерролд. (В своих письмах и дневниках он вновь и вновь возвращался к этой теме. Вот типичная для него запись, сделанная в дневнике более трех месяцев спустя после смерти Теккерей.)

Читал сегодня статью о Теккерее. Господи, как бы я желал, чтобы ее автор был мертв, а тот, о ком она написана, жив! Мир больше никогда не будет для меня таким, как прежде. Нет и нет, даже при всей той радости, какую доставляют мне жена и дети, и даже если б слава и богатство пришли ко мне взамен постылой, беспощадной и бесславной

битвы, какую я веду с жизнью изо дня в день. И никакой надежды в будущем!

ДЖОН ЭВЕРЕТТ МИЛЛЕС
ИЗ "ЗАПИСОК СЫНА ХУДОЖНИКА"

Мой отец и мать всегда считали Теккеря одним из самых обаятельных людей, какие только встретились им в жизни. Хотя в его романах, изображающих пороки человеческой природы, можно заметить порой следы цинизма, сам он нимало не грешил им, напротив, для людей, близко его знавших, то был самый отзывчивый и добросердечный друг, порой отзывчивый сверх всякой меры. В течение нескольких лет он воспитывал наравне со своими детьми дочь покойного друга {Эми Кроу.} и в день ее венчания так горевал от мысли о предстоящей разлуке, что пришел искать утешения в студию моего отца, где просидел полдня с полными слез глазами.

Мой дядя рассказывает следующую интересную историю, показывающую брэнность земной славы, сколь высоко бы ни ценили ее люди: "Я как-то раз сидел с братом в студии на Кромвель-плейс и вдруг вошел сияющий от счастья Теккерей - в такое состояние восторга привела его слава брата: в витринах всех без исключения магазинов, притязавших на причастность к продаже предметов искусства, были выставлены гравюры с картин Миллеса. По дороге Теккерю попало бесчисленное количество "Приказов о демобилизации", "Черных брауншвейгцев", "Гугенотов", и он нам заявил, что Джон Миллес - сегодня самая большая знаменитость. Затем он коснулся своего собственного злосчастливого невезения, преследовавшего его на первых порах в литературе, рассказал, как предлагал издателям некоторые свои сочинения, впоследствии признанные лучшими образцами английской литературы, и как ему намекали насмешливо, что после Диккенса никто не станет "их читать".

Внезапная смерть Теккеря, блестящего, гениального писателя, всех в нашем доме повергла в великую скорбь - отец и мать были к нему нежнейшим образом привязаны. За обедом, который они давали перед своей ежегодной поездкой на север, они с тревогой заметили и отсутствие у него аппетита, и плохое самочувствие, но, разумеется, помыслить не могли, что видятся с ним последний раз в жизни. В рождественском письме к матери отец писал: "Ты, несомненно, будешь

потрясена, как был я сам, кончиной бедного Теккерей. Впрочем, я, честно говоря, надеюсь, что это известие достигло тебя раньше моего письма. Утром слуга нашел его мертвым, все его близкие, конечно, в смятении и страшном горе. Первым делом он послали за Чарли Коллинзом и его женой, тотчас же прибывшими и неотлучно остававшимися в доме. Сегодня я велел справиться, как себя чувствуют его мать и девочки, а днем и сам зашел проведать их; как ты сама понимаешь, они жестоко страдают. Его нашли лежащим с поднятыми руками, словно от сильной боли. Я буду посвящен, конечно, в большие подробности. Все тут потрясены этой смертью и только о ней и говорят".

В следующем письме от 31-го декабря он продолжает: "Вчера я поехал на похороны в карете Теодора Мартина. Какое горестное зрелище и, к тому же, беспорядочное! Толпа каких-то женщин, прибывших, надо полагать, из любопытства, в платьях всех цветов радуги, возле могилы то и дело мелькали красные и голубые перья! Друзья и искренне скорбевшие не могли подойти к гробу, близким пришлось протискиваться сквозь толпу, чтобы занять свои места во время церемонии. Мы все пришли из церкви после службы, но к могиле уже нельзя было подступиться. Бросалось в глаза полное отсутствие тех, кого именуют высшим светом, что меня крайне удивило. Никто из этого сословия, среди которого у него было такое множество знакомых, не приехал. Зато художники почти все были тут, их было даже больше, чем писателей..."

ДЖОРДЖ КРУКШЕНК

ИЗ БЕСЕДЫ С М. КОНВЕЕМ НА ПОХОРОНАХ ТЕККЕРЕЯ

"Много прекрасных людей покоится на кладбище в Кенсал-Грин, но не было среди них никого правдивее и лучше Мейкписа Теккерей. Как плохо окружающие знали человека, который слыл суровым, холодным и язвительным! На самом деле, он гораздо больше походил на впечатлительную, любящую маленькую девочку", в эту минуту я лучше, чем когда-либо оценил гениальное умение Крукшенка читать по лицам, - пишет Конвей, - благодаря его словам мне вдруг стало понятно, что означали складки и морщинки под глазами Теккерей, - то были знаки дивной доброты, изливавшейся на всех, на кого он обращал свой взор... Теккерей учился у Крукшенка в ту пору, когда подумывал стать художником. "Но ему не доставало того терпения,

какого требуют от человека и перо, и кисть, - признался Крукшенк. - Я часто объяснял ему, что художник должен жить как крот: все время роет ход в земле и только изредка выбрасывая на поверхность холмик, а он мне отвечал, что тотчас бы сбежал на волю и там бы и остался. Кажется, не было в Лондоне писателя, который не пришел бы на его похороны. Мне более всего запомнилось взволнованное лицо Диккенса".

ДЖЕЙМС ХАННЕЙ

ИЗ НЕКРОЛОГА, ПОСВЯЩЕННОГО У.-М. ТЕККЕРЕЮ

В 1846-1848 годах, в годы создания "Ярмарки тщеславия", Теккерей жил в Кенсингтоне, на Янг-стрит, которая, если стоять лицом к церкви, отходит влево. Там в 1858 году автор этих строк впервые имел удовольствие его видеть, делить с ним трапезу и осознать всю меру его доброты, гуманности и глубочайшей человеческой порядочности. Неоконченная еще в ту пору "Ярмарка тщеславия" уже стяжала успех, и он чистосердечно и легко рассказывал и о своей работе, и о писательском пути. Мне представляется, что среди лучших своих книг он числил "Ярмарку тщеславия", ценя ее за разработанность фабулы. Однажды на Рассел-сквер он мне показал, где жили вымышленные Седли, и это любопытное свидетельство того, какой великой подлинностью обладали для него творения его ума. Он сам и его книги были равно реальны и правдивы, и он, нисколько не смущаясь, касался в разговоре своих книг, если того хотелось собеседнику, хотя ему как джентльмену, безукоризненно воспитанному, великолепно знавшему законы света, литература представлялась лишь одной из тем среди других предметов для беседы. Локхарт отрицал бытующее мнение, будто сэр Вальтер подчеркнуто избегал разговоров о литературе, и все же несомненно, что деятельная жизнь интересовала его много больше, нежели литература. И так же Теккерей, который не был книжным червем, охотно говорил о книгах, если его к тому склоняли. Его начитанность в биографической и мемуарной литературе, в области современной истории, поэзии, эссеистики и художественной литературы была, вне всякого сомнения, огромна, что в сочетании со знанием классических языков ставило его как литератора, пожалуй, выше всех собратьев-писателей, за исключением, разве только, сэра Бульвера-Литтона. Свои познания в греческом он большей частью растерял в течение жизни, но

его знание латыни и, прежде всего, латинской поэзии было весьма значительно и оказало глубочайшее воздействие на его талант и слог. Оды Горация он знал и помнил превосходно, и скрытые приметы этого свободного владения, таящиеся в его прозаических строках, как пармские фиалки в зелени травы, доступны в полной мере лишь истинным любителям Горация. Он очень склонен был, шутя, цитировать Горация. Когда ему докучали разговорами о генеалогии, он тотчас принимался декламировать: *Quantum distet ad Inacho* {"Кем приходится Инаху" (лат.). - Гораций, Сочинения. М., 1970. Ода "К Телефу", пер. Н. Гинцбурга.}, и это действовало превосходно; *"dignus vindice podus"* {Часть строки 191 из "Науки поэзии" Горация, там же: "Бог не должен сходить для развязки узлов пустяковых", пер. М. Гаспарова.}, сказал он, услышав, что некий лондонец повесился. Латинские авторы, французские писатели, английские юмористы восемнадцатого века - ими был вскормлен его гений, они служили пищей для его ума.

Он не был поэтом по преимуществу, как, скажем, Теннисон. Поэзия не была всечасным состоянием его души, как не была тем внутренним логическим законом, который отсеивает и упорядочивает все созерцаемое и обдумываемое. Однако за его трезвостью и завидной рассудительностью скрывался, если позволительно так выразиться, целый водоем поэзии, похожий на бассейн, в домах у древних римлян, даривший свежесть, и прохладу, и ощущение близости к природе среди массивных мраморных колонн и каменной мозаики полов. К его высшим поэтическим свершениям относятся "Хроника барабана", "Буйабес", стихи, написанные на смерть Чарльза Буллера и помещенные в конце одной из его "Рождественских повестей", и "Славный паж, чей с ямкой подбородок", вошедший в другую из этих повестей. Можно прибавить сюда одну-две песни из его романов и несколько отрывков, в которых спокойно и безыскусно описана красота деревни. Но самое важное, что есть в этих строках, - это свидетельство о полноте его души, о мягкости и чуткости его гения, естественной для того, кто обладал такой приметливостью и сердечной добротой. По существу, он был скорее моралистом и юмористом - мыслителем и остроумцем, нежели поэтом. В нем было слишком много мужества, не позволявшего ему использовать талант поэта с такою же готовностью, как ум законное орудие мужчины. И эту

благородную воспитанность и сдержанность, столь характерную для английского джентльмена, приверженцы чувствительного стиля приняли за бессердечие.

Вот очень характерный отрывок из одного его письма, датированного августом 1854 года: "Я ненавижу Ювенала, точнее, нахожу его свирепым грубияном; Горация я люблю больше вашего, а Черчилля ценю гораздо ниже, что же касается Свифта, я восхищаюсь им, вернее, признаю его могущество так же, как и вы, но ныне я не восхищаюсь этим родом власти, как, скажем, пятнадцать-двадцать лет назад. Любовь - более высокое проявление разума, чем ненависть, и если вы вспомните еще одного-двух молодых людей, о которых так славно пишете, я полагаю, вы возьмете сторону добрых, а не жестоких остроумцев". Подобные высказывания (для тех, кто знал его, цитировать их, впрочем, нет нужды) имеют важное значение. Из них явствует не только его хорошее знание авторов, которых знать как следует весьма непросто, но и сущность жизненной философии человека, которого завистники выставляли перед несведущими циником и насмешником. Всех более любил он тех писателей, которые, как он считал, способствовали целям милосердия и добродетели. "Я снимаю шляпу перед Джозефом Аддисоном", - так завершил он свое горячее славословие благотворному влиянию Аддисона на жизнь английского общества. Теккерей, пожалуй, был даже более велик как моралист, нежели как историк нравов, и сама непритворность его отращения к низости и мошенничеству находила себе подтверждение в простоте и доброте его нрава. Этот великий сатирик, в толпе нередко выделявшийся суровой вежливостью и холодностью обращения, в узком кругу раскрепощался до *naïvete* {Наивности (фр.)}, нечастого свойства в человеке положительно гениальном. И это свойство было тем ценней и привлекательней, что оно зиждилось на беспощадном и глубоком размышлении, которому было открыто все мрачное и серьезное в человеческой судьбе. Царственность этой убеленной сединами головы, благородная линия бровей, задумчивое выражение лица, одушевленного и чувствами, и мыслью, придавали особую остроту его шутовности и редким личным признаниям, которые так просто изливались из глубины его любящего сердца. Когда много лет назад пишущий эти строки выразил свое восхищение тем местом в "Ярмарке тщеславия", где Бекки "любуется" расправой мужа с лордом

Стайном, которая несет ей окончательную гибель, он признался: "Да, после этой фразы я стукнул кулаком по столу и сказал себе: "Пожалуй, это гениально". Возможно, по несущественности, не стоило бы вспоминать эти его слова, но из них видно, что он не чужд был страстности и дружелюбной откровенности, с которой выражал ее, - то и другое плохо сочетается с расхожим представлением о нем. Благодаря его чистосердечию и простоте общаться с ним наедине было особенно приятно, в его словах, исполненных значенья, мудрости и знания жизни и сдобренных весельем истинного лондонца и завсегдатая светских салонов, звучали восхитительные нотки человечности. Хотя он часто отпускал остроты, он не был остроумцем вроде Джерролда и даже жаловался иногда, что самые удачные ответы часто приходят к нему задним числом. Как и в своих книгах, он более всего блистал в отдельных тонких замечаниях о жизни или в коротких, сделанных к слову и экспромтом зарисовках. Особенно запомнился мне вечер после званого обеда в его доме, когда он стал импровизировать, как доживал Шекспир остаток своих дней в Стратфорде, как, летним днем сидя на улице, разглядывал прохожих, и все, кто слышал этот рассказ, нашли, что, несмотря на лапидарность, он был не хуже иных его перлов в "Лекциях об английских юмористах". И все-таки не этот дар, который он довольно редко обнаруживал, пленял людей в его беседе. Их более всего пленял его глубокий ум и острое проникновение в суть вещей, безмерная терпимость и широта взглядов, свидетельствовавшие о том, что он был не только рассказчиком, но и мудрецом и что его рассказы драгоценны, ибо поведал их мудрец. Он, как и Скотт, - и это также их сближало - не склонен был преувеличивать значение сюжета и забывать, что у словесности есть более высокие задачи, нежели развлекать читателя творениями, которые ни на что иное не пригодны. "Я отказался бы от половины своей славы, - писал Скотт, - чтоб основать все остальное на твердой почве знания и науки". В 1849 году Теккерей написал одному своему молодому другу: "Нынче настало время накопления. Хотел бы я лет пять читать, прежде чем браться за перо". Пишущий эти строки слышал, как горячо превозносил он сэра Бульвера-Литтона за тот пример, который он преподавал своей "глубокой просвещенностью". Не место здесь касаться столь щекотливой темы, как отношение Теккерей к его современникам, но трудно не отметить одну присущую ему

прекрасную черту. Услышав, как тот или иной знакомый юноша выражает восхищение кем-нибудь из них, он горячо с ним соглашался. Когда в его присутствии сказали, что некто преклоняется перед умершим только что великим человеком, Теккерей заметил: "Я рад, что он перед кем-то преклоняется".

После выхода "Ярмарки тщеславия" слава его все время возрастала. В 1849-50 годах вышел "Пенденнис", сюжет которого, по мнению большинства, был слаб в сравнении с предшествующим романом, но с точки зрения таких важнейших свойств, как своеобразие характеров, юмор, глубина и стиль, он был ничуть не хуже. Известие о том, что Теккерей намерен прочитать цикл лекций об английских юмористах XVIII века, заставило весь мыслящий Лондон трепетать от предвкушаемого удовольствия, и когда в Залах Уиллиса он начал говорить о Свифте, перед ним сидел весь цвет столицы. В толпе вельмож, красавиц, светских львов присутствовали и Карлейль, и Маколей, бросалась в глаза величавая голова Хэллема, была тут и Шарлотта Бронте, в ту пору находившаяся в апогее славы, обретшая в лекторе свой идеал вдохновенного и возвышенного мастера слова. Лекции были оценены по достоинству. Все были счастливы присутствовать при том, как оживают славные английские писатели прошлого во всей неповторимости присущих им привычек, неся с собой такое же тепло доподлинного бытия, как созданные тем же автором Уоррингтоны, Доббины и Пенденнисы. Именно в этом, а не в критическом анализе таилась сила лекций Теккерей, определившая их место среди лучших образцов отечественной биографической литературы.

В конце 1852 года вышел из печати "Эсмонд", и Теккерей отплыл в Америку. "Эсмонд" составил новую эпоху в его писательской судьбе. В ту пору слава Теккерей, его неоспоримый, самобытный гений, столь чуждый сентиментальной литературе того времени, не вызывали в обществе особого восторга. Невежи, не одобрявшие его как джентльмена, мужи из Института Механики, не признававшие его как эрудита, радикалы, осведомленные о его дружбе с аристократией, и многочисленные "тонкие натуры", которым после гнусного, животного веселья, бодряческих карикатур и приторной слезливости романов, перечеркнутых реализмом Теккерей, претила его неприкрашенная правда и беспредельная честность, - все эти господа отнюдь не

ликовали, почувствовав, что образованное общество подняло его на щит. Цинизмом они провозгласили его честность и буквализмом его точность. Они забыли, что чистоту и горечь слез можно измерить лишь глубиной сердечной раны, а не слезоточивостью писателя, отзывчивость - одним лишь вдохновением. Они запомнили, что так называемая черствость - всего лишь верность правде, а то, что они именуют стенографической точностью письма, и есть законченность, присущая искусству. Большая свобода чувств, игра воображения, которые он позволил себе, обратившись к прошлому, явились вовремя в его романе "Эсмонд", чтобы посрамить клеветников и показать, что ум писателя был и широким, и глубоким.

Мало кто жил такой напряженной жизнью, как он, совмещавший труд писателя с обязанностями светского человека. В сезон он посещал несметное количество обедов и приемов, выезжал в театр, бывал в трех клубах, членом которых состоял: "Атенеума", "Реформ-клуба" и "Гаррик-клуба", и это не считая множества других сообществ и кружков, которые он навещал ради того, чтобы поддерживать дружеские связи. Береги он себя больше, мы бы прочли и другие его книги, узнали бы историю, которую он много лет вынашивал и собирался написать в грядущем. Как бы то ни было, за последние восемь или десять лет жизни он успел немало. Создал два таких сложных романа, как "Ньюкомы" и "Виргинцы", второй раз побывал в Америке, исколесил всю Британию с новым циклом лекций - "Четыре Георга", к тому же участвовал в выборах и очень много сделал для "Корнхилла", основанного под его эгидой и направлявшегося его водительством два года - совсем неплохо для того, чье крепкое природное здоровье было расшатано тяжелыми, опасными, многолетними недугами, в конце концов сделавшими свое дело. Держался он прекрасно, и до последнего мгновения являлся перед всеми деятельным и оживленным, всегда отыскивая время для добрых дел, творимых им по личной склонности и милосердию и доставлявших ему больше радости, как нам не раз случалось видеть, нежели лавры, которыми он щедро был увенчан в мире. Его необычайно радовал успех "Четырех Георгов" в Шотландии, и он испытывал большую благодарность за внимание и радушие, с которым его встречали в лекционных поездках. А если иногда случалось, что кто-нибудь из местных знаменитостей бывал докучен в своем

чрезмерном преклонении и преступал черту благопристойности, впадая в раболепный тон, он проявлял терпение, тем более драгоценное, что при его чувствительности оно ему давалось нелегко.

Под конец жизни он построил себе прекрасный дом в Кенсингтоне, уют, достойный человека, для многих олицетворявшего литературу, и хотя и обязанного своим положением книгам, но поддерживавшего престиж своей профессии со всем достоинством истинного джентльмена. Друг из Эдинбурга, навестивший его летом 1862 года и с юных дней знавший его приверженность к венецианскому светочу, шутя ему напомнил, что говорит Гораций о тех, кто, позабыв гробницы, воздвигает чертоги: "Sepulchri immemor struis domos" {Чтоб строить новый дом, когда могила... (лат.) - Гораций. Ода "К алчному", пер. Н. Гинцбурга -там же, см. стр. 304, сноска I.}. "О нет, - ответил он, - я не из тех, кто забывает sepulchri, такой дом всегда можно будет сдать в наем за толику фунтов в год". Какой невыносимой тогда казалась наша нынешняя утрата, с которой ум никак не хочет примириться вопреки сотням траурных объявлений, вопиющих о ней.

Итак, да не утонут в светлом хоре бесчисленных рождественских колоколов удары колокола, что звонит по нем! Давно не доводилось Англии терять такого сына, нескоро доведется ей терять такого вновь. Он был англичанином до мозга костей, нимало не похожим на шотландца или на уроженца континента, его величие было совсем иное, чем у Скотта и Бальзака. Крупнейший, истинно английский автор после Филдинга, он сочетал в себе аддисоновскую любовь к добродетели с джонсоновской ненавистью к ханжеству, рысью зоркость Уолпола ко всему смешному и бесчестному с милосердием Голдсмита к роду человеческому. Non omnis mortuus est {Весь он не умер (лат.).}. Память о нем, как и обо всех его великих соотечественниках, пребудет до тех пор, пока в седых стенах Вестминстерского аббатства возносится хвалебный гимн и в мире от берегов Ганга до Миссисипи рождаются люди, говорящие на одном с ним языке. Эту скромную дань его славной памяти приносит тот, кого он щедро одарил своими милостями и для кого теперь легла навечно тень печали на тот великий город, который подарил когда-то встречу с ним, а ныне принял его раннюю могилу.

ДЖОРДЖ САЛА

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Я уже говорил о нем и как о писателе, и как о философе; и теперь хотел бы, страшась и трепеща, прибавить несколько слов о Теккерее-человеке. Говорю: "страшась и трепеща", - ибо сознаю, что мои заметки могут попасть за океан, а мне лучше бы совсем ничего не писать на эту тему, чем чтобы хоть один из соотечественников писателя подумал, что я спекулирую его памятью на потребу грязным сплетникам; что я похваляюсь перед иностранцами нашим давним знакомством, той долголетней дружбой и неизменной добротой, которыми меня дарил мистер Теккерей. Видит Бог, у меня и в мыслях нет представлять наши отношения как фамильярные, панибратские. Хвастать своей близостью с большим человеком, которого уже нет в живых, - гнусное холуйство. Я никогда не хлопал его по спине и не называл "Теком", как, бывало, некоторые в моем присутствии, к вящему моему содроганию. Я всегда, с первого дня нашего с ним знакомства в 1851 году и до последней встречи и последнего рукопожатия в "Реформ-клубе" поздней осенью 1863 года, восхищался им и даже отчасти благоговел. Настолько он был больше, умнее, старше и лучше меня. Перед ним я ощущал себя юнцом, я ведь и вправду еще в детстве упивался "Парижскими очерками" и "Кэтрин", одним из его самых ранних, лучших и наименее известных произведений. Для меня он был человеком, которого можно называть "сэр", не роняя своего мужского и общественного достоинства. С удовлетворением могу сказать, что в течение двенадцати лет нашей дружбы я ладил с ним гораздо лучше, чем те, кто, пропировав в его обществе одну ночь, трубили об этом направо и налево, а потом, когда назавтра он их осаживал, брюзжали и обижались. Я лично с самого начала взял себе за правило не пресмыкаться, но и не позволять себе лишнего. И ему не приходилось ставить меня на место и подавать мне для пожатия два пальца. Мне, когда мы встречались на улице, на обеде или в клубе, он протягивал всю руку; в веселом настроении он останавливался со мной поболтать, а если на душе у него было скверно, ограничивался кивком, я кивал ему в ответ, и мы проходили каждый своей дорогой. Когда я бывал ему нужен, он меня отыскивал, и скажу с гордостью, что это случалось довольно часто. А я, если мне что-то было нужно от него, просил его о любезности прямо и за двенадцать лет получил только один отказ. Он столько сделал для меня

и моих друзей, что об этом никакими словами не расскажешь. Когда мой близкий друг лежал на одре смерти, беспомощный и нищий, этот "циник" и "сноб" поехал вместе со мной из Бромптона, где я жил, в Клементс-Инн, где я работал, а оттуда в город, в редакцию газеты, чтобы передать чек и помочь человеку, с которым не был знаком, но в котором видел больного и нуждающегося собрата по перу. И благотворительность его не ограничивалась чеками. Он был влиятельным членом Литературного Фонда, и часто, когда надо было кому-то оказать помощь, благодаря ему удавалось получить от этого полезного и жестоко оболганного учреждения щедрые дотации.

Таких и еще более ярких случаев, как тот, о котором я отважился здесь вспомнить, могут наверняка немало привести те, кто по-настоящему знал мистера Теккерея. Видеться с ним только в обществе, в гостях, на приемах, слышать его шутки, песни, восхищаться богатством его прихотливой, своеобразной фантазии, даже сидеть за его гостеприимным столом еще совсем не значит знать его. Истинная его суть проявлялась при совершенно иных обстоятельствах. Много времени надо было провести рядом с ним, для того чтобы убедиться, что этот так называемый циник и сибарит - на самом деле очень добрый, тонкий и обаятельный человек. Деликатность, такт и надежда вскоре вернуться на родину сковывают мой язык. Не хочу вплетать вульгарный жестяной листок в надгробный венец на могилу нашего великого романиста и эссеиста. Верю, что в Англии языки, много красноречивее моего, уже отдали дань восхищения личному благородству, доброте, великодушию и скромности моего горячо любимого друга и учителя.

Сказать по правде, я вошел в "Клуб Филдинга" не без робости, члены его, казалось мне, и наверно справедливо, все намного превосходили меня интеллектом и положением в обществе; но я успокоился, когда разглядел убеленную голову и очки в золотой оправе и ощутил пожатие доброй руки Теккерея. Мы вскоре покинули пирующих в большом зале, уединились по соседству, и Теккерей целый час говорил с нами в своей остроумной, блестящей манере, обсуждая достоинства тогдашних, на его взгляд, многообещающих молодых литераторов, из которых он особо выделил Джеймса Ханнея, эссеиста, критика, сатирика и романиста, автора опубликованных впоследствии прочувствованных и высоких слов о Теккерее...

Я не забыл и, надеюсь, никогда не забуду ни слова из мудрого и деликатного совета, который дал мне Теккерей в тот вечер. "Препоящите чресла, - напутствовал он меня, - берите свой щит с гербом и торжествуйте победу".

Как-то днем я явился к Теккерею домой на Онслоу-сквер, в Бромптоне; и он, как всегда, встретил меня самым сердечным образом. Замысел биографии Хогарта он приветствовал с одушевлением и мудро заметил, что прежде всего следует заручиться хорошим издателем. С этими словами он сел и написал, рекомендуя меня в незаслуженно лестных выражениях, письмо мистеру Джорджу Смиту, совладельцу фирмы "Смит и Элдер", чья контора находилась тогда прямо на Корнхилле. Погода в тот день была превосходная, и мы с Теккереем прошли от Бромптона до Пикадилли, всю дорогу болтая на различные темы, связанные с литературой и искусством дома и за рубежом.

Нет нужды повторять, что Теккерей, не считая тех минут, когда физические страдания делали его раздражительным, был несравненным собеседником. Не существовало, кажется, таких тем, на которые он не мог говорить и притом говорить превосходно. Он изъяснялся по-французски и по-немецки с той же свободой, что и по-английски. Знал, на мой взгляд, вполне сносно итальянский. И мог без усталости рассуждать о романах и романистах, о картинах и художниках, о граверах, офортистах и литографах, будучи при всем том еще прирожденным острословом и блестящим насмешником. Так, болтая, мы прошли с ним по шумной Найтсбридж-стрит и свернули на запруженную Пикадилли. Здесь Теккерей вдруг остановился против знаменитого итальянского винного магазина Мор-релла и сказал, что должен зайти заказать себе вина. Отвесив мне вычурный, изысканный поклон, который сделал бы честь сэру Чарлзу Грандисону, и пожав руку такими холодными пальцами, словно был учителем плавания и только что вылез из бассейна, он решительно перешел через дорогу, а я остался стоять в некотором смятении - уж не забыл ли он внезапно, кто я такой? А может быть помнил, но находил, что от разговора со мной мухи дохнут и чем раньше от меня отделаешься, тем лучше? Впоследствии, познакомившись с ним ближе, я понял, что лежало в основе таких неожиданных проявлений "холодности" и "высокомерия". Это была произвольная реакция на внезапную

физическую боль или возникшую мрачную мысль, ведь он хоть и умел при случае шутить и дурачиться, но, в целом, надо признать, отнюдь не был счастливым человеком.

В последний год нашей дружбы, очень теплой с обеих сторон, а с моей еще и полной глубокого почтения, драгоценную память о которой я сохраню до могилы, мы виделись с Теккереем по крайней мере три раза на неделе либо в "Реформ-клубе", либо в его гостеприимном доме. С Онслоу-сквер он переехал в высокий кирпичный особняк вблизи Кенсингтон-гарденс, он приобрел этот дом в довольно запущенном состоянии и с большими затратами привел в надлежащий вид. Помню особенно званый обед в честь мистера Чарлза Самнера, прославленного американского государственного деятеля и оратора, сердечно принимавшего Теккерей в Соединенных Штатах... За обедом, о котором я говорю, между хозяином и гостем произошла небольшая перепалка. Мистер Самнер настаивал на том, что Теккерей обязан написать книгу о плаванье через Атлантический океан и о своих впечатлениях от американцев. Писатель на это возразил только, что вот, мол, Диккенс написал книгу об Америке, но не угодил американцам. Однако мистер Самнер остался при своем мнении, утверждая, что Теккерей в долгу перед Америкой, он посвятил ей только "Виргинцев", но эту книгу американцы не любят, так как там портрет Джорджа Вашингтона, на их взгляд, сделан без должного почтения к Отцу нации.

Теккерей очень дипломатично переменял тему разговора, испросив мнения своего гостя на счет сравнительных достоинств трех марок коньяка, поданного к кофе. В одном графине, утверждал он, коньяк из подвалов Тюильри; запасы его заложены во времена Наполеона I. Это дало Теккерее повод для бурной филиппики против Наполеона Великого, а вслед за тем. он рассказал, как однажды, когда он мальчиком плыл из Калькутты в Англию, корабль пристал на Святой Елене, и он побывал в Лонгвуде, где сквозь прореху в живой изгороди видел самого изгнанника. Мистер Самнер придерживался скорее бонапартистских симпатий, и в завязавшемся споре вопрос о том, должен ли Теккерей написать книгу об Америке, благополучно отошел в тень.

Последний раз я видел Теккерей во плоти в августе 1863 года. В гринвичском "Паруснике" был устроен званый рыбный обед. Многие

были с дамами. Из гостей особенно помню Уильяма Говарда Рассела и Роберта Чемберса. Теккерей пребывал в отличном расположении духа и веселился, как дитя. Он узнал от хозяина, что в зале под нами в это же самое время мистер Дуглас Кук, тогдашний редактор журнала "Сатердей ревью", - в котором меня что ни номер честили и поливали бранью, как какого-нибудь карманного воришку, угощал обедом мистера Берисфорда Хоупа и других влиятельных и просвещенных лиц. Теккерей внес шуточное предложение завернуть меня, как Клеопатру Египетскую, в скатерть и на связанных салфетках спустить к выступающему окну апартаментов, где пируют мистер Кук с товарищами, чтобы я сыграл роль скелета на этом пиршестве.

К концу вечера - а вечер прошел восхитительно - среди общего веселья прозвучала одна печальная нота. Вдруг, ни с того, ни с сего, Теккерей произнес: "Я сделал в жизни свое дело, заработал денег и сказал то, что хотел сказать; мир ко мне благосклонен, если я завтра умру, в "Таймс", может быть, даже поместят некролог на три четверти колонки". Меня не было в Англии, когда Теккерей умер, и заметку в "Таймс" о его кончине я не читал. Целую колонку они напечатали, или чуть больше, или чуть меньше? Телеграфной связи через Атлантику в 1863 году еще не существовало, и прошла первая неделя января 1864 года, прежде чем я, к моему величайшему горю, узнал о том, что Уильяма Мейкписа Теккерей больше нет. Поддерживая с ним дружеские связи с юных лет и до осени 1863 года, правда с перерывами, я имел возможность близко узнать его как человека и накопить немало наблюдений и воспоминаний. Он был прекрасный человек, это не подлежит ни малейшему сомнению, но ему постоянно приходилось бороться с собственным неровным и подчас просто невыносимым характером. Он был неукоснительно, неизменно правдив; отличался добротой, сострадательностью и щедростью и, насколько мне известно, имел религиозные чувства и убеждения. *L'indole era cattiva.* (Нрав был скверный.) К женщинам он, подобно своему герою полковнику Ньюкому, всегда питал рыцарское уважение и был им неизменно предан.

Об его манере вдруг напускать на себя холодность и высокомерие мне уже случалось шутя упоминать выше. Я слишком давно и слишком хорошо его знал, чтобы придавать этим "его маленьким капризам" серьезное значение. Войдя в вестибюль "Реформ-клуба",

будь то в обеденное время или вечером, я, если обнаруживал мистера Теккеря, спешил хорошенько к нему присмотреться. Если, на мой взгляд, он был в "собачьем" настроении (эпитет его собственный), я обходил его за три версты. Но если он замечал меня и я видел, что он засунул руки в карманы и смотрит сквозь очки с улыбкой, значит, он в хорошей форме и будет веселым, терпимым и обаятельным. Он имел смешное обыкновение величать меня "преподобный доктор Сала" - вероятно потому, что я говорил с ним откровенно и серьезно, как много раньше, в моей молодости, говорил со мной он. Я ему не льстил, не заискивал перед ним, но и не фамильярничал. Он знал, что я его люблю и почитаю, поэтому мы с ним всегда отлично ладили. Среди его знакомых были такие, кто называли его "Тек" и шлепали по спине. Для меня же он всегда был только "мистер Теккерей", потому что я видел в нем старшего и признавал его превосходство над собою во всех отношениях.

Утверждаю с полной ответственностью, что он совсем не был циником, то есть не смотрел на род человеческий с безнадежностью и презрением, как ему приписывают. Настоящий циник похож на злого пса - ворчит, придирается, всегда в дурном расположении, хмур, брюзглив. По выражению епископа Беркли, "циник получает удовлетворение от грязи и нищеты". Теккерей же, наоборот, ценил свет, культуру, роскошь. Помню, он говорил, что любит входить в спальню "с восковой свечой в серебряном шандале". Иными словами, убожеству и унынию он всегда предпочитал элегантный, изящный образ жизни. Циником его незаслуженно ославили за то, что он был прирожденным сатириком, однако при всем его ироническом таланте, притом, что он беспощадно орудовал скальпелем Ювенала, Драйдена и Поупа, я ни разу не слышал от него злого слова о человеческих слабостях, немощах или бедах. Подобно Фонтенелю, он мог бы утверждать на смертном одре, что за всю жизнь не сделал ни одного мало-мальского выпада против мало-мальской человеческой добродетели.

Говоря о личности Теккеря, некоторые доходят до утверждения, будто ему по праву должно принадлежать место в этой Валгалле чванливых дураков и подлых негодяев, которая зовется "Книгой снобов". Но он не был снобом. Он был идеалистом и джентльменом; просто обстоятельства и особенности его характера иногда толкали его

на слова и поступки, в которых недружеский взгляд мог усмотреть снобизм. Вот один пример. Как-то утром он явился ко мне в Бромптон в страшном раздражении из-за того, что Лондонский сезон кончается, а его так ни разу и не пригласили к обеду или ужину "у Джерси" (имелась в виду знаменитая в то время хозяйка светского салона графиня Джерси). Я очень спокойно отозвался, что тем хуже для графской четы. После чего Теккерей, засунув сразу руки в карманы, премило заговорил о каких-то отвлеченных материях. Что правда, то правда, он был благородных кровей; получил классическое образование и кое-какое наследство; дружил с лучшими англо-индийскими семействами, с судьями, офицерами высших чинов и тому подобными людьми; и даже будучи бедным и причисляя себя к "богеме", оставался на самом деле, что называется, человеком светским, хотя и в стесненных обстоятельствах.

Он любил хорошее общество и был там своим; но если ему, как Томми Муру, и "был мил английский лорд", во всяком случае это пристрастие к аристократическим знакомствам никогда не делало его глухим к чужой беде или равнодушным к узам дружбы. Его сотрудники, скажем, из редакции "Панча" Джерролд, Марк Лемон, некто Беккет, Хорес Мейхью, Тенниел, Лич, Доил - все принадлежали к среднему сословию и очень редко, с трудом допускались в высшие сферы, где с юных лет вращался Теккерей. Думаю, я не совсем лишен гордости. Родился и вырос не в канаве, и не приход тратился на мое образование. Но признаюсь, хотя ко времени нашей последней встречи я и сам приобрел некоторую известность, на Теккерее я по-прежнему смотрел снизу вверх, так как он был выше меня и по положению в обществе, и в литературе. Возможно, тридцать лет назад это было снобизмом с моей стороны, - в таком случае я остался снобом и по сей день.

ДЭВИД МЭССОН ТЕККЕРЕЙ

Считая, что воздать должное памяти благородного Теккерее это обязанность автора не только потому, что он привык разбираться в тонкостях того жанра, в котором Теккерей был мастером, но и потому что он питал к покойному бесконечное уважение, я не могу отказаться и от права сказать на этих страницах несколько слов от себя, касательно человека, с которым я имел счастье быть близко знакомым

в последние годы, чьи сочинения я знал задолго до того, как впервые увидел его царственную фигуру или пожал его добрую руку и чьи последние строки с его пера в номерах "Корнхилла" я читал с тем неизменным благоговением, с какой безвестный стихоплет в древнем Риме мог склоняться "пред неподражаемой латынью каждого нового стихотворения Горация.

Особое место в британской литературе Теккерей занимал как звезда первой величины, но своеобразного цвета и яркости в сложном созвездии, известном как наши романисты, наши юмористы и наши авторы художественной прозы. Но поскольку созвездие это весьма многочисленно и включает писателей всех степеней значения, от самых малых до столь великих, что мы числим их среди вершин мировой литературы и не боимся вспоминать их как британских аналогов таких имен из более широкой сферы, как Сервантес, Рабле и Жан Поль; есть много способов рассмотреть наше созвездие и убедиться, что оно делится на группы. К тому же, можно рассмотреть это большое сообщество писателей так, что оно распадется не столько на группы, сколько на два большие класса, причем в обоих будут имена всех величин. И вот, хотя когда мы смотрим на созвездие в целом, не пытаюсь его разделить, Теккерей просто поразит нас своей величиной; и хотя, с другой стороны, как дотошно ни анализируй наше созвездие, мы не найдем никого в точности на него похожего, и он будет по-прежнему поражать нас своим неповторимым, только ему свойственным оттенком, все же, если мы решимся разделить все звезды на два основных класса, о чем мы уже упоминали, Теккерей скорее войдет в один из этих классов, чем в другой.

В то время как все беллетристы заняты выдумыванием сюжетов и, описывая воображаемые сцены, воображаемые поступки и характеры, пытаются передать своим читателям более непосредственное и страстное чувство, нежели то, что проистекает из чтения ученых исследований или добросовестного пересказа исторических событий; и в то время как большинство из них по пути рассыпают сотни случайных мнений и фантазий и отклоняются с пути ради прелестных юмористических причуд, среди этих писателей немало и таких, чьи писания отличает присутствие какой-то доктрины, а воображение подчинено личной философии или образу мышления. Эту черту мы находим не обязательно в сочинениях писателей, известных

основательностью и четкостью нравственного облика, определенностью в мыслях и в поступках. Пример - Скотт. Это была весьма ясная и четкая личность, и все же в начале каждого романа он, так сказать, словно надевает сонный колпак, который уносит его в царства далекие от его личного существования и опыта, и от прямого использования его моральных принципов. Так и с другими. Начиная сочинять, они надевают сонный колпак, и можно привести немало примеров, когда эта удивительная способность сонного колпака кажется единственным достоянием писателя, будто никакой личности у него и не было. Обладал ли Шекспир, величайший гений сонного колпака всех времен, личностью, соизмеримую с его гениальностью, и доступны ли нам ее черты, - это, как всем известно, один из сложнейших вопросов в истории литературы. У нас на этот счет есть свое мнение. Мы считаем, что в каждом случае существует неразрывная связь между личностью и поэтическим гением, между тем, что человек есть, и тем, что он может вообразить. Сны ведь это фантастические построения из обрывков всех ощущений, мыслей, чувств и опыта, запомнившихся или не запомнившихся в яви. Все, на что способна сила сонного колпака, как она ни удивительна, это переносить нас в пустыни забвения, где эти debris {Обрывки, осколки (фр.).} лежат и поблескивают, вновь и вновь освобождая человека от неусыпного владычества воли и рассудка, порождая фантазии, которые роятся и растворяются одна в другой.

Между тем, как некоторые сны больше других похожи на обрывки мыслей и более подчинены логике рассудка, так же во всех случаях воображение писателя, создание его литературного гения, связано абсолютной необходимостью с его индивидуальностью, и есть много случаев, когда связь эта особенно тонка и оккультна; в этих случаях удобно предположить, что ее не существует вовсе, и считать, что воображение - это особая белокрылая сила, которая в любой момент может отделиться от личности, где она пребывает, перепорхнуть куда ей вздумается на любое расстояние и снова вернуться, когда захочет. Например, среди наших прозаиков мы отличаем такого писателя как Скотт от такого как Свифт. У Свифта связь между его сказками и его личной философией и образом мышления прямая и очевидная. В своих выдумках и фантазиях он не отходит от самого себя: он остается там, где есть, в своем застывшем и страшном привычном мире, и выражает

этот мир или его последовательные настроения формами фантастическими, но выверенными и вычисленными по смыслу и поддающимися точному истолкованию. Даже его острова лиллипутов и бробдингнегов, его Лапута и страна гуингмов и йэху, это не столько мелькание картин, порожденных силой сонного колпака, сколько жуткая свифтовская аллегория неподвижного интеллекта. И хотя Свифт почти единственный из британских писателей сделал воображение неким подрядчиком для определенных умонастроений, он просто увеличенный экземпляр целого класса наших беллетристов. Другими словами, как уже было сказано, среди наших прозаиков есть класс таких, которые отличаются от других наличием в их вымыслах более постоянного элемента доктрины, более четкой ноты личной философии.

В общем и целом, Теккерей принадлежит к этому последнему классу. Принадлежность к нему Теккерей - еще одна причина для утверждения его значения по сравнению с другим классом и чтобы не давать этому другому классу, как иногда предлагалось, теоретического превосходства, преимущественного права, ввиду способности управляться с сонным колпаком, на высокое звание людей творчества, или воображения. Причина, как это явствует, дополнительная, ибо нужно вспомнить, что даже Гете, у которого область снов была шире, чем у большинства людей, в своем великом прозаическом романе сделал собственное воображение всего лишь подрядчиком рассудка, а также и то, что если мы среди своих величайших художников числим сэра Джошуа Рейнольдса, то и нашего Хогарта ставим не ниже. Писатель-творец! Кто скажет, что Теккерей не оставил нам творений? Во всяком случае, кто из читающих эти строки станет утверждать это, если напомнить ему некоторые поразительные творения, которыми обогатил нас один только роман - "Ярмарка тщеславия", этой огромной панорамы из идеальных созданий, всевозможных характеров и физиономий, которыми гений и воображение автора заполнили эфир реального мира? Нет, по вопросу о том, следует ли причислять Теккерей к тому классу беллетристов, с которым мы, на первый взгляд, его связали, могут быть кое-какие колебания. Так, в его мелких вещах, в его капризах и причудах, в стихах и в прозе, разве не кидался он в буйство юмора, в беззакония чистейшего шутовства, напоминающие гения, строящего гримасы своему поводырю, какого мы не видели с

тех пор, как Шекспировы шуты ходили по земле и распевали свои куплеты, в которых смысл переплетался с бессмыслицей и которые мы любим теперь как типично шекспировские и как ничто другое? Сонный колпак - да вот он, перед нами, и бубенцы при нем. Они могут слышаться издали, но все-таки по звону их мы найдем его и услышим "шута в лесу". Не исключено, что в этих мелких гротесках Теккерея гений его выступает в более первозданном виде, нежели в его тщательно выстроенных романах. Но опять-таки, даже в некоторых из этих более крупных и более упорядоченных произведений мы находим примеры того умения отходить от себя и от привычек и нравов своего времени и обстоятельств в такие области, где просто воспроизводить факсимиле или подобия того, что он сам видел и знал, было мало, и ему приходилось двигаться бесшумными шагами чародея, воскрешая картины исчезнувшей жизни. Когда мы, например, вспоминаем его "Эсмонда" или куски из других романов, где он дает воображению волю углубиться в историю и так легко проникается соответствующей психологией и языком, мы улавливаем то, что, вероятно, входит составной частью в талант сновидения, а именно широкий, подлинно исторический интерес к своим недреманным персонажам, привычка проследивать исторический ход своих рассуждений и эмоций, не довольствуясь мимолетными наблюдениями. Теккерей во всяком случае обладал замечательным для своего времени историческим талантом, который, возможно, не развил и мало использовал потому, что в то время историей увлекались менее, нежели вымыслом. Так, например, жизнь Талейрана, которую он обдумывал еще до того, как прославился романами, стала бы под пером Теккерея шедевром среди биографий XVIII-XIX веков. Не лишена серьезного смысла и шутка, которую он сам же несколько лет назад и распространил - что он намерен продолжать неоконченную "Историю Англии" Маколея, начав ее с царствования королевы Анны. Одно из многих различий между людьми состоит в том, какой кусок прошлого увлекает их настолько, чтобы считать себя вправе заняться им в воспоминаниях. Период Маколея - реальный и излюбленный - это тот, откуда он начинает свою "Историю" - в промежутке между гражданскими войнами и революцией 1688 года. Эпоха Теккерея - более поздняя, она начинается со вступления на престол королевы Анны в начале XVIII века. Внутри этого периода он был бы хорошим, проницательным историком, и так

же хорошо, легко и изящно работает там его воображение. Человек эпохи последних Георгов по рождению и юности и целиком викторианец в зрелые годы, в литературной деятельности он может уйти в царствование Анны с помощью того блаженного ясновидения, какое могут дать воспоминания, основанные на косвенных источниках.

Впрочем, как викторианец, который материалом для большинства своих романов брал жизнь такой, какой видел ее вокруг себя, или какой мог ее припомнить на своем многотрудном и разнообразном пути с детских лет и до вершины славы, Теккерей действительно был одним из писателей, чьи сочинения всегда опираются на доктрину, всегда включают в себя элемент личной философии. Признание этого - плод наших долгих и теперь уже набивших оскомину разговоров о нем как о реалисте в привычном противопоставлении его Диккенсу как писателю романтической или фантастической школы. Сейчас не время и не место еще раз возвращаться к подробному разбору их контрастных различий, но в известном смысле, и никто не понимал этого лучше, чем Теккерей, безусловно существовала полярная противоположность между ним и Диккенсом как юмористами и прозаиками. С поразительной зоркостью восприятия, с рысьей способностью ухватывать факты, лица и настроения реальной жизни и с редкостным умением использовать как намеки любую подсказку жизни, Диккенс переносит эти намеки в пустынный край чистой фантазии, где отношения и способ изображения едва ли не идеальны, и там лепит такие удивительные или забавные ситуации, заводит такие маскарады, такие пиры воображения, какие никому из современников не под силу. Вспомните, как используем мы созданные им образы, как обогатились ими наши разговоры и современная литература. В нем мы действительно наблюдаем тот особый дар, который мы называли даром сонного колпака, а чаще называют идеализмом. Теккерей же, напротив, строго и беспощадно реален. Мужчины и женщины, такие как она есть, жизнь и отношения, какие он сам видел или знал, или то максимальное сближение с реальностью, какое допускает сочинение историй для всеобщего чтения - вот что настойчиво предлагает нам Теккерей. Счастлив век, имевший таких двух представителей двух стилей в искусстве, сосуществование которых - не будем называть его борьбой - всегда возможно и всегда желательно! Счастлив и тем, что один из мастеров еще жив, хоть сейчас и несчастен, как и все мы, даже

больше, чем большинство из нас, что потерял другого! Ибо в Теккерее мы потеряли не только мастера реальной прозы, но также и выразителя сильной оригинальной философии, бодрящей оригинальности мировоззрения, которой проникнуто все, что он писал. О Теккерее, как хорошо было сказано, справедливее всего думать как о мудреце, человеке зрелого ума, умевшего охватить жизнь и все, что ни есть в ней ценного, а выразившего это, отчасти случайно, в особых построениях фабулы, в тех или иных способах письма и юмористических причудах. А какова была его философия? Пытаться охарактеризовать полностью и систематически хотя бы одну десятую ее постоянных черт и предметов - это никому не под силу, нечего и надеяться. Но основное в любой философии порою укладывается в несколько простых слов, а ему не требуется сложного набора силлогизмов, сегодня оно может быть внятно древнему халдею, отдыхающему в пустыне, склонившись головой на косматую шею своего верблюда, и мудрецу в современном Лондоне. Это выражение тех элементарных мыслей, что чаще всего нас посещают и в какие мы всегда погружаемся, оказавшись в одиночестве. Поэтому как не узнать разновидности привычной философии Теккерее в словах нашего лауреата, которые он вложил в уста героя поэмы "Мод"?

Мы - куклы: гордецы-мужчины, красотки-женщины, - все мы
Марионетки. Чья-то незримая рука
Сжимает нити, сметая нас с доски в урочный час.
И даже на один недолгий день нам невозможно вырваться из тьмы
Взаимного презренья, удержаться от обидного смешка,
Косого взгляда - впрочем, несогласье не очень-то и задевает нас.
Когда-то венцом творенья был чудовищный тритон.
И это для него всходило солнце, катились голубые волны рек.
Он был хозяином земли, ее царем.
Промчался не один миллион
Столетий, прежде чем в мире появился человек.
Но точно ли творение окончилось на нем?
Всегда влюблен, порочен и безумен поэт.
Ученый глазом остр, а духом скуден и обуян
Тщеславием. Когда же человек поймет,
Что хладнокровие достойнее восторгов, скажет "нет"
Желаньям, а не будет, как некий разленившийся султан

Гулять меж пряных клумб дни напролет.

{Пер. Д. Веденяпина.}

Похожей, пусть и не столь высокопарно и окаменело-доисторически выраженной была философия Теккерея, которой дышат его произведения. Что мы поэты, философы и все прочие, - как не маленькое племя, - вот что он нам сказал. Венец природы? О нет, для этого мы слишком низки! На много степеней обогнали Эфта, это верно, но еще далеки от того идеала, о котором сами толкуем и какого требуем друг от друга. И за это он нас стегал, и вскрывал, и срывал с нас маски. Он проделывал это в серьезных вопросах и в мелочах, и, чтобы провести черту между серьезными вопросами и мелочами, он обобщил мелкие случаи низости и мелочности нашего времени, против которых упорнее всего направлял свою сатиру, дав им ироикомическое наименование Снобизма. Антиснобизм - вот что было его доктриной применительно к многим особенностям нашего времени и недавнего прошлого - викторианского или георгианского. Но он брал предмет более широко и обнажал глубинную, скрытую черноту и ханжество нашей, внешне вполне благопристойной жизни. И мы в отместку назвали его циником. Циник! Циник! Больше никто не назовет так Теккерея. За несколько недель, что прошли с тех пор, как он лег в землю в Кенсал-Грин, уже осветились многие его тайные добрые дела, примеры его нескончаемого доброжелательства и добросердечия, которых нам сейчас так не хватает. Циник! Как было не понять тем, кто употреблял это слово, что оно лживо. Разве закрывал он глаза на примеры благочестия и великодушия в нашей жизни, там, где достигнуто ею бесконечное превосходство над Эфтом; и разве не ликовал чуть не до сентиментальности, когда меж описаний подлости живописал и их? И разве не включал себя, на лучшее и на худшее, в это племя людей, о коем невозможно однозначное суждение? Ничего не желать, ничем не восхищаться, но лишь бродить в своем саду - благородство подобного бытия оказалось для него недостижимым. Он не считал себя лучше других. И он появлялся среди нас, здесь в Лондоне, просто, спокойно, важно, плечистый мудрец с массивной головой и седыми кудрями, и держался с нами как один из нас, хотя весил больше, чем все мы, вместе взятые, и слушал наш многоголосый гомон, изредка роняя мудро слово; не запрещая, а

скорее поддерживая улыбкой, если мы, бывало, разойдемся и затащим его же песню

Что грустить, пока
Можно хохотать,
Петь и танцевать!
Горе не беда!
Жизнь так коротка!
А не станет нас,
Пусть другие в пляс
Пустьятся тогда!
{Пер. Д. Ведепяпина.}

Да, старое дерево еще там, и те, кто уцелел, сидят вокруг него, и они пропоют эту песню в грядущие вечера, как пели и в прошедшие. Но кресло мудреца опустело. И не скоро еще Лондон, или наша нация, или наша литература увидят наследника благородного Теккеря.

ИНЕС ДАЛЛА ИЗ НЕКРОЛОГА

Неожиданно скончался один из величайших наших писателей. Никогда уже мы не увидим благородную голову мистера Теккеря в шапке серебряных волос, возвышающуюся над всеми вокруг. Лишь два дня назад он смеялся и шутил в клубе, а вчера утром его нашли мертвым в постели. Как ни был он весел, ему нездоровилось, он жаловался на дурноту, но так случалось не раз, и он с улыбкой заметил, что скоро все пройдет. Он сказал, что намерен пройти курс лечения, который полностью вернет ему здоровье, а потому не придавал значения своему недомоганию.

Обозревая теперь первые произведения его пера, мы не можем утверждать, что его слава тогда не соответствовала его достоинствам только по вине публики. Высокое мнение друзей о нем в то время, вероятно, опиралось более на беседы с ним, чем на уже опубликованные его произведения. Лишь в 1846 году мистер Теккерей явил миру все, на что он способен. Именно тогда ежемесячными выпусками начала выходить "Ярмарка тщеславия". Она взяла Лондон штурмом, столь верна была картина, столь едка сатира, а стиль - столь безупречен. Трудно сказать, который из трех романов самый лучший "Ярмарка", "Генри Эсмонд" или "Ньюкомы". Критики, возможно, отдадут предпочтение второму, и бесспорно, он выделяется

наибольшей своей стройностью. Но в первом заложена удивительная жизненность, а третий обладает зрелой красотой, которая многим читателям кажется особенно привлекательной. При первом чтении "Ярмарки тщеславия" нередко возникало впечатление, будто автор - слишком уж бессердечно скептичен. Однако трудно было бы найти человека менее злого, чем мистер Теккерей, а если у кого-нибудь есть сомнения, мы отошлем его к "Ньюкомам", и спросим, мог ли написать эту книгу человек, чье сердце не было бы преисполнено доброты. Мы считаем, что среди горестей, выпавших на долю мистера Теккерея, было и сознание, что его, человека редкостной доброты, считают желчным циником.

Как ни был отточен его стиль, писал он - во всяком случае в последние годы - с необыкновенной легкостью. Словно прямо набирал страницу за страницей на типографском станке, а потом вносил очень мало правки. Его мысли облекались в слова с величайшей естественностью, особых усилий на это он никогда не тратил и с легким презрением относился к произведениям, в которых можно заметить следы таких усилий. Столь же естественным был он и в жизни. Детская простота души сочеталась в нем с опытом зрелости. Любопытно, как горячо его любили друзья и как жгуче ненавидели враги. Ненависть, которую он возбуждал в тех, кто знал его лишь поверхностно, скоро будет забыта, но душевная теплота, завоевавшая ему стольких друзей, еще долго будет сохраняться в людской памяти. У него были свои недостатки, как у любого из нас. Некоторые из них, - например, излишняя чувствительность к критике, - неизменно вызывали добродушный смех его друзей. Но эти недостатки более чем искупались истинным величием его прекрасной души. Невозможно было, оказавшись в его обществе, не ощутить вскоре всю меру его искренности, кротости, скромности, сострадательности, щепетильной чести. И эти высокие нравственные качества обретали особый вес, когда вы обнаруживали, как глубоко он проник в тайны человеческой природы, как огромен его жизненный опыт, как велика образованность, как вдумывался он во все, что наблюдал, и как четко и изящно излагал свои мысли. Тут он был мудрец, но сердцем оставался ребенком, и когда будет написана его биография, мы твердо верим, что какая бы интеллектуальная высота ни была за ним признана, среди равных ему

умом писателей не отыщется ни единого, кого сочли бы благороднее, чище, лучше и добрее него.

ЧАРЛЗ ДИККЕНС

ПАМЯТИ У.-М. ТЕККЕРЕЯ

Друзья великого английского писателя, основавшего этот журнал, пожелали, чтобы краткую весть о его уходе из жизни написал для этих страниц его старый товарищ и собрат по оружию, который и выполняет сейчас их желание и о котором он сам писал не раз - и всегда с самой лестной снисходительностью.

Впервые я увидел его почти двадцать восемь лет назад, когда он изъявил желание проиллюстрировать мою первую книгу. А в последний раз я видел его перед рождеством в клубе "Атенеум", и он сказал мне, что три дня пролежал в постели, что после подобных припадков его мучит холодный озноб, "лишающий его всякой способности работать", и что он собирается испробовать новый способ лечения, который тут же со смехом мне описал. Он был весел и казался бодрым. Ровно через неделю он умер.

За долгий срок, протекший между этими двумя встречами, мы виделись с ним много раз: я помню его и блестяще остроумным, и очаровательно шутливым, и исполненным серьезной задумчивости, и весело играющим с детьми. Но среди этого роя воспоминаний мне наиболее дороги те два или три случая, когда он неожиданно входил в мой кабинет и рассказывал, что такое-то место в такой-то книге растрогало его до слез и вот он пришел пообедать, так как "ничего не может с собой поделать" и просто должен поговорить со мной о нем. Я убежден, что никто не видел его таким любезным, естественным, сердечным, оригинальным и непосредственным, как я в те часы. И мне более, чем кому-либо другому, известны величие и благородство сердца, раскрывавшегося тогда передо мной.

Мы не всегда сходились во мнениях. Я считал, что он излишне часто притворяется легкомысленным и делает вид, будто ни во что не ставит свой талант, а это наносило вред вверенному ему драгоценному дару. Но мы никогда не говорили на эти темы серьезно, и я живо помню, как он, запустив обе руки в шевелюру, расхаживал по комнате и смеялся, шуткой оборвав чуть было не завязавшийся спор.

Когда мы собрались в Лондоне, чтобы почтить память покойного Дугласа Джерролда, он прочел один из своих лучших рассказов,

помещенных в "Панче", описание недетских забот ребятишек одной бедной семьи. Слушая его, нельзя было усомниться в его душевной доброте и в искреннем и благородном сочувствии слабым и сирым. Он прочел этот рассказ так трогательно и с такой задушевностью, что, во всяком случае, один из его слушателей не мог сдержать слезы. Это произошло почти сразу после того, как он выставил свою кандидатуру в парламент от Оксфорда, откуда он прислал мне своего поверенного с забавной запиской (к которой прибавил затем устный постскрипtum), прося меня "приехать и представить его избирателям, так как он полагает, что среди них не найдется и двух человек, которые слышали бы о нем, а меня, он убежден, знают человек семь-восемь, не меньше". И чтение упомянутого выше рассказа он предварил несколькими словами о неудаче, которую потерпел на выборах, и они были исполнены добродушия, остроумия и здравомыслия.

Он очень любил детей, особенно мальчиков, и удивительно хорошо с ними ладил. Помню, когда мы были с ним в Итоне, где учился тогда мой старший сын, он спросил с неподражаемой серьезностью, не возникает ли у меня при виде любого мальчугана непреодолимое желание дать ему соверен - у него оно всегда возникает. Я вспомнил об этом, когда смотрел в могилу, куда уже опустили его гроб, ибо я смотрел через плечо мальчугана, к которому он был добр.

Все это - незначительные мелочи, но в горестной потере всегда сперва вспоминаются разные пустяки, в которых опять звучит знакомый голос, видится взгляд или жест - все то, чего нам никогда-никогда не увидать вновь здесь, на земле. А о том большем, что мы знаем про него, - о его горячем сердце, об умении безмолвно, не жалуясь, сносить несчастья, о его самоотверженности и щедрости, нам не дано права говорить.

Если в живой беззаботности его юности сатирическое перо его заблуждалось или нанесло несправедливый укол, он уже давно сам заставил его принести извинения:

Мной шутки он бездумные писал,
Слова, чей яд сперва не замечал,
Сарказмы, что назад охотно б взял.

Я не решился бы писать сейчас о его книгах, о его проникновении в тайны человеческой природы, о его тончайшем понимании ее

слабостей, о восхитительной шутиivosti его очерков, о его изящных и трогательных балладах, о его мастерском владении языком. И уж во всяком случае, я не решился бы писать обо всем этом на страницах журнала, который с первого же номера освещался блеском его дарований и заранее интересовал читателей благодаря его славному имени.

А на столе передо мной лежат главы его последнего, недописанного романа. Нетрудно понять, как грустно становится - особенно писателю - при виде этого свидетельства долго вынашивавшихся замыслов, которым так никогда и не будет дано обрести свое воплощение, планов, чье осуществление едва началось, тщательных приготовлений к долгому путешествию по путям мысли, так и оставшимся непройденными, сияющих целей, которых ему не суждено было достичь. Однако грусть моя порождена лишь мыслью о том, что, когда оборвалась его работа над этим последним его творением, он находился в расцвете сил и таланта. На мой взгляд, глубина чувства, широта замысла, обрисовка характеров, сюжет и какая-то особенная теплота, пронизывающая эти главы, делают их лучшим из всего, что было им когда-либо создано. И почти каждая страница убеждает меня в том, что он сам думал так же, что он любил эту книгу и вложил в нее весь свой талант. В ней есть одна картина, написанная кровью сердца и представляющая собой истинный шедевр. Мы встречаем в этой книге изображение двух детей, начертанное рукой любящей и нежной, как рука отца, ласкающего свое дитя. Мы читаем в ней о юной любви, чистой, светлой и прекрасной, как сама истина. И замечательно, что благодаря необычному построению сюжета большинство важнейших событий, которые обычно приберегаются для развязки, тут предвосхищаются в самом начале, так что отрывок этот обладает определенной целостностью и читатель узнает о главных действующих лицах все необходимое, словно писатель предвидел свою безвременную кончину.

Среди того, что я прочел с такой печалью, есть и последняя написанная им строка, и последняя исправленная им корректура. По виду страничек, на которых Смерть остановила его перо, можно догадаться, что он постоянно носил рукопись с собой и часто вынимал, чтобы еще раз просмотреть и исправить ее. Вот последние слова исправленной им корректуры: "И сердце мое забилось от

неизъяснимого блаженства". И наверное, в этот сочельник, когда он, разметав руки, откинулся на подушки, как делал всегда в минуты тяжелой усталости, сознание исполненного долга и благочестивая надежда, смиренно лелеемая всю жизнь, с Божьего соизволения дали его сердцу забиться блаженством перед тем, как он отошел в вечный покой.

Когда его нашли, он лежал именно в этой позе, и лицо его дышало покоем и миром - казалось, он спит. Это произошло двадцать четвертого декабря 1863 года. Ему шел тогда только пятьдесят третий год - он был еще так молод, что мать, благословившая его первый сон, благословила и последний. За двадцать лет до этого он, попав на корабле в бурю, писал:

На море после шквала
Волненье затихало,
А в небе запылала
Заря - глашатай дня.
Я знал - раз светлы дали,
Мои дочурки встали,
Смеясь, пролепетали
Молитву за меня.

Эти маленькие дочурки стали уже взрослыми, когда загорелась скорбная заря, увидевшая кончину их отца. За эти двадцать лет близости с ним они многое от него узнали, и перед одной из них открывается путь в литературу, достойный ее знаменитого имени.

В ясный зимний день, предпоследний день старого года, он успокоился в могиле в Кенсал-Грин, где прах, которым вновь должна стать его смертная оболочка, смешается с прахом его третьей дочери, умершей еще малюткой. Над его надгробием в печали склонили головы его многочисленные собратья по перу, пришедшие проводить его в последний путь.

ШЕРЛИ БРУКС
НЕКРОЛОГ

Он циник был: так жизнь его прожита
В слиянье добрых слов и добрых дел,
Так сердце было всей земле открыто,
Был щедрым он и восхвалять умел.
Он циник был: могли б прочесть вы это

На лбу его в короне седины.
В лазури глаз, по-детски полных света,
В устах, что для улыбки рождены.
Он циник был: спеленутый любовью
Своих друзей, детишек и родных,
Перо окрасив собственной кровью,
Он чутким сердцем нашу боль постиг.
Он циник был: по книгам нам знакома
Немая верность Доббина, а с ней
Достоинство и простота Ньюкома,
Любовь сестры-малышки в прозе дней.
И коль клейма глумящейся личины
Нет в чувствах и деяниях творца,
Взгляни, читатель, на его кончину
Финальный акт в карьере наглеца!
Здесь сон его чтит сонмище людское,
И вот молитвы в голубой простор
Под солнцем в мироколицу покоя
Возносит тысячеголосый хор.
В очах, не знавших плача, зреют слезы,
Уста мужские размыкает стон
У тех, с кем он делил шипы и розы,
У тех, с кем вовсе незнаком был он.
Он циник? - Да, коль можно в этой роли
С тоской следить, как прост путь клеветы,
Как зло и благо сердце раскололи
Под вечной мишурою суеты.
Как даже праведник в юдоли грешной
Берет в собратья слабость и порок,
Но зреют искры даже в тьме кромешной,
И человек в ночи не одинок.
И - ярмарки тщеславия свидетель
Клеймя марионеток перепляс,
Он видел, что бездомна добродетель,
Что ум в плену у жулика угас.
Его улыбка, верная печали,
Любовью наполняла все сердца,

Он целомудрен был душой вначале
И чистым оставался до конца.
Дар чистоты всегда к смиренью ближе,
Когда и кто таких, как он, найдет?
Друзьям и детям утешенье свыше
Склонимся же: провидит Бог исход.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРНАЯ СУДЬБА ТЕККЕРЕЯ

ДЖОРДЖ ГЕНРИ ЛЬЮИС

СТАТЬЯ В "МОРНИНГ КРОНИКЛ" ОТ 6 МАРТА 1848 ГОДА

Теккерей - один из наших виднейших пишущих современников и, если вспомнить, какой известности он недавно достиг, имеет очень мало недоброжелателей. В самом деле, слог его так удивительно подкупает, он такой легкий и мужественный, такой меткий, юмористичный и приятный, что, если оставить в стороне совсем уж тупое восприятие, просто невозможно понять, как он может кому-то не понравиться. Он никогда не клеветает, не держит про запас острых шипов, о которые читатель мог бы больно уколоться; манера его непритязательна, манерность искусно скрыта. Он никого не оскорбляет резкостью своих суждений, ни догматичностью в их изложении. Остроумие его изящно, патетика проста и скорее чувствуется, чем выражается множеством слов. Он не предается фальшивым сантиментам, не раздражает вас взрывами риторики. У него не найти напыщенности, свет рампы никогда не направлен на преувеличенное искажение человеческой природы. Он полагается на правду и юмор и, пожалуй, является самым тихим из всех современных писателей.

Теккерей не из тех людей, что обрастают сторонниками. Он не борется ни за какое "дело", не возглавляет никакой группы. Хвала, какой он ждет, это законная хвала, предназначенная художнику, поэтому он вызывает скорее восхищение, чем страстную привязанность. Отсутствие какой бы то ни было "цели" в каком-то смысле вредит его популярности, но в другом смысле содействует ей. Он не угождает какой-либо партии, но и не обижает ее противников. Таким образом, популярность его если не такая яркая, как могла бы быть, зато много шире.

Мы со своей стороны можем это только приветствовать. Художник, не связанный политическими или социальными теориями,

может лучше изобразить человеческую природу во всей ее правде, поэтому его произведения оставляют впечатление более стойкое и благоприятное. *Ridentem dicere verum quid vetat?* {Что может помешать человеку говорить правду и при этом смеяться? (лат.) Гораций. Сатиры, I, 1, 24.} Но многие юмористы, воспользовавшись шутовским колпаком, словно выбрали себе другой девиз: *Ridentem dicere fallsum quid vetat?* {Что может помешать человеку говорить ложь и при этом смеяться? (лат.).} Оттого, что смех не серьезен, и то, что сказано со смехом, принимается без критики, они принесли правду (а также и своих друзей) в жертву шутке. Может быть, ни за каким защитником никакого "дела" не следует наблюдать так пристально, как за тем, кто учит смеясь. Против догм политика, философа или богослова мы вооружаемся. Он предстает в столь нелепом виде, что мы понимаем необходимость изучения его. Его серьезность нас настораживает. Мы проверяем его доказательства, возражаем против его выводов. Не то с шутником. Этот - в привилегированном положении. Он ловит нас врасплох и штурмует нашу убежденность, полонив ее смехом. Видимость правды в шутке, потому что здесь мы ее не ждем, производит большее впечатление, чем цепь рассуждений в серьезном эссе. Смех стихает, но идея остается; она проникла в наше дремлющее сознание и гнездится там, пусть мы этого и не подозреваем.

Поэтому, хотя мы отнюдь не намерены ограничивать сферу деятельности шутника и готовы в ряде случаев принять карикатуру за пробный камень истины, мы все же считаем, что долг критика - очень пристально следить за доктринами, которые шутник пожелает распространять. В отношении карикатуры одного простого правила хватит, чтобы ограничить ее эффективность. Лишь распространив карикатуру *ab intra* {Внутри (лат.)}, а не отнеся ее *ab extra* {Вовне (лат.)}, можем мы сделать ее пробным камнем истины.

Мы становимся очень серьезны, но, право же, не будет парадоксом сказать, что писатель толка Теккерей склоняет нас к серьезности не меньше, чем к веселью. И здесь, восхваляя его за удивительно разумное умение оставаться в стороне от партийных вопросов и дидактических задач, мы не должны упустить возможность упрекнуть его по двум - трем единственным пунктам, которые представляются нам достойными упрека.

Раз он сатирик, его дело - срывать с жизни маску; но раз он художник и учитель, он жестоко заблуждается, показывая нам, что под маской - всюду и всегда продажность. В своем скептицизме он заходит слишком далеко: ополчаясь на лицемерие, разоблачая все, что низко, подло и презренно, он уделяет недостаточно внимания тому, чтобы прославлять и показывать все, что есть в человеческой природе высокого, великодушного, благородного. Нет, мы не хотим сказать, что он не хочет показать лучшие стороны нашей натуры, но он прославляет их недостаточно. Добро он предлагает нам скорее как леденец, чтоб дать отдых небу. Отдельные штрихи, прелестные, хоть и мимолетные, показывают, что сердце его откликается на все благородное, а душа различает это четко. Но он этого словно стыдится как слабости, недостойной мужчины, и со смехом отворачивается, словно мужчина, позволивший себе расплакаться в театре. Сколь мало достойного любви в его лучшем произведении, "Ярмарке тщеславия"! Люди там мошенники, негодяи либо лицемеры. Отцовские чувства испытывают только болван и шулер Родон Кроули и старик Осборн. Сделано это чудесно, правдиво и взволнованно, но с какой горькой иронией выбраны как единственные носители таких чувств грубый мужлан и этот злющий старый хрыч! Доббин, у которого столь благородное сердце, единственное во всей книге, почти карикатурен. Мы прекрасно видим правду этих портретов, мы признаем, как нужны в искусстве контрасты; но все же мы полагаем, что, подставляя таким образом исключение на место правила, автор погрешил и против искусства и против природы. Диккенс замечательно показал нам, как благородное уживается с карикатурно-смешным, но такое сочетание у него - отнюдь не правило. Он изобразил столько людей, достойных любви, что люди любят его за это.

Теккерей смеется над всеми без разбора; в его беспристрастности есть что-то пугающее. Его ирония так всеобъемлюща, что распространяется и на него самого. "О братья по шутовскому колпаку! - восклицает он, - разве нет минут, когда вам надоедает скалить зубы и кувыряться под звон бубенчиков?" Он чувствует, что в его непрерывном смехе есть что-то грустное, поистине грустное, ибо это кощунство по отношению к божественной красоте, разлитой в жизни. Но какова же его цель? Он нам сказал это, и на сей раз мы ловим его на слове. "Это, дорогие мои друзья, и есть моя скромная цель - пройтись с

вами по Ярмарке, разглядеть все лавки и выставки, а потом вернуться домой после блеска, шума и веселья и _спокойно страдать в одиночестве_". Как это ни задумано, в шутку или всерьез - именно эта фраза характерна для его писаний. Что тут сказалось - небрежность или скепсис - этого мы не знаем, но мораль его книг сводится к тому, что каждый - включая и читателя и автора всего лишь ничтожный, несчастный притворщик, что почти все наши добродетели - притворство, а если не притворство, то лишь до поры, пока не столкнулись с соблазнами.

И здесь естественно перейти ко второму пункту нашего обвинения. Мы имеем в виду прегадкий кусок в "Ярмарке тщеславия", где автор, дав Бекки похитрить с самой собой и прийти к выводу, что порочной она стала только от бедности, уже от себя прибавляет такую тираду: "И как знать, может быть, Ребекка была права в этих соображениях и только деньги и случай: составляют разницу между ней и честной женщиной? Если помнить о силе соблазна, кто скажет, что он лучше своего ближнего? Карьера даже умеренного процветания если не делает человека честным, то хотя бы помогает ему сохранить честность. Олдермен, возвращаясь с банкета, где кормили черепаховым супом, не вылезет из кареты, чтобы украсть баранью ногу; но _заставьте его поголодать и проверьте, не стянет ли он булку_" (гл. XI). Чем было вызвано такое замечание - небрежностью или глубокой мизантропией, искажившей обычно такие четкие суждения? Можно ли сказать, что когда тысячи людей голодают, буквально умирают из-за отсутствия хлеба, однако воровству предпочитают смерть, можно ли сказать, что честность - всего лишь добродетель богатства?

Среди нашего огромного населения много преступников, и большинство их несомненно действует под влиянием бедности. Но, с одной стороны, сколько есть бедняков героически честных, честных, хотя и голодают и окружены соблазнами, а с другой стороны, сколь многие из сравнительно богатых оказываются на скамье подсудимых! Из всех выдумок та, будто честность есть вопрос денег, самая вопиющая и самая коварная. Вычеркни ее, Теккерей! Пусть она больше не уродует твои чудесные страницы.

Чтоб сменить этот тон серьезного упрека на другой, более уместный тон восхищения, отметим, как своеобразен у Теккерей юмор.

Он подбирается к вам, скромно опустив глазки, так что вам кажется, будто вы сами вместе с автором подготовили шутку. Автор никогда не прячет его в раму и под стекло. Никогда не призывает вас полюбоваться шуткой с помощью какого-либо языкового фокуса. Не настаивает на вашем восхищении, а завоевывает его. Для передачи смысла в ход идут самые простые слова и самая простая манера; и тончайшее остроумие, как и сердечная веселость, как будто даются ему безо всяких усилий. В легкости, с которой он пишет, есть что-то колдовское, и если судить по небрежной легкости его слога, можно предположить, что все это написано беглым, беспечным пером.

Еще одна особенность Теккеря, которую он делит со всеми большими писателями и которая отличает его почти от всех его современников - это чувство реальности, проникающее во все его писания, реальности, о которой он помнит даже во время самых сумасбродных взрывов юмора. У него есть жизненный опыт, и более того: он о нем размышлял, чтобы еще и еще к нему вернуться. Жизнь, а не фантазмагория сцены и библиотеки - вот склад, где он находит свой материал. Мы уже замечали, что в его манере нет ничего театрального; то же следует сказать о его персонажах. Они все индивидуумы в правильном смысле этого слова, а не в том приблизительном смысле, который так ловко пародирует архидиакон Хэйр, как якобы принятый в современной литературе, с безошибочно найденными чертами живых людей, а не как абстрактные идеи или традиционные концепции характеров. Читая Теккеря, чувствуешь, что он пишет "с натуры", а не выдумывает, не роется в реквизите какого-то захудалого театрала.

Какое разнообразие характеров присуще книге, что лежит перед нами, и какие живые эти характеры! Возможно, не все они снобы, но разве не все реальны? И как соблазнительно для писателя пуститься в фарсовые невозможности, дать чистую выдумку, не пожалев на это юмора.

Беспристрастие, с каким автор раздает тумачи, - одна из забавнейших черт этой книги. Ему мало издеваться над богатыми и титулованными снобами, с тою же суровостью набрасывается он на сноба бедного и завистливого. Удачно показано, как нападки наемных писак на Белгревию, приправленные радостной гордыней, тут же сменяются у них взрывом горделивой радости, если Белгревии

случится заметить их существование. На читателя, рассмеявшегося какой-нибудь нелепой картине, вдруг накидывается грозный сатирик и заставляет его признаться, что он, смеющийся читатель, при всем его презрении к снобизму, поступил бы точно так же, окажись он на том же месте {См.: Бодлер. "Скажи, читатель-лжец, мой брат и мой двойник...", "Читателю": Цветы зла, 1857. (Прим. автора.)}.

Думаю, что в искусстве, с каким это достигается, у Теккерея нет соперников. Другие сатирики льстят своим читателям, во всяком случае дают понять, что льстят, он же безжалостно сдерживает снисходительный смешок и обращает смех на смеющегося.

На свете никогда не было искусного юмориста, не наделенного одновременно способностью к пафосу. У Теккерея мы находим намеки, такие же восхитительные, как у Стерна или у Жан Поля, но обычно это не более как намеки. Он как будто сторонится горя и не предаётся "роскоши страдания". Впрочем, в "Ярмарке тщеславия" есть одно место, на котором он задержался, словно не мот остановить свое скорбное перо. Мы имеем в виду волнующее расставание Эмилии с ее сыном, которого она вынуждена отдать богатому Деду. Его мы должны привести, хотя читать его трудно - глаза недостаточно сухи. (Цитирует из гл. 50 то место, где Эмилия заставляет Джорджа прочесть ей историю Самуила.)

А как глубоко, почти яростно показан детский эгоизм, с каким Джордж принимает известие о предстоящей разлуке с матерью:

"Вдова очень осторожно сообщила великую новость Джорджу; она ждала, что он будет огорчен, но он скорее обрадовался, чем опечалился, и бедная женщина грустно отошла от него. В тот же день мальчик уже хвастался перед своими товарищами по школе!"

Но если вдаваться в детали, мы никогда не кончим. Воспользуемся же дежурной фразой "Произведения Теккерея стоит читать" ... и перечитывать.

ДЖОРДЖ ГЕНРИ ЛЬЮИС

СТАТЬЯ В "ЛИДЕР" ОТ 21 ДЕКАБРЯ 1850 ГОДА

"Ни одна эпоха, - сказал Карлейль, - самой себе не кажется романтической и ни одна эпоха не считает, что ее писатели равны тем, что были раньше".

"Даль, вот что виду прелесть придает" {Томас Кемпбелл. Радости надежды, 1799, I, 7.}, и от современной нам "поверхностной чепухи"

мы отворачиваемся к тем, кто писал "поверхностную чепуху" своего времени. История литературы полна таких жалоб. Старый Нестор, обращаясь к своему знаменитому войску под Троей, не мог усмотреть в Ахилле, Аяксе, Диомеде и Агамемноне ничего, равного тем героям, что процветали в его молодости. Тацит в начале своего "Диалога об ораторах" (если это его сочинение) говорит о бесплодном времени, когда ни одного живого человека нельзя назвать оратором, ибо "наши мужчины ученые, болтуны, законники, словом, все что угодно, только не ораторы" (*horum autem temperum discati causidici et advocati et patroni et quidvis potius quam oratores vocantur*).

Что в наши дни люди невысоко ставят своих современников, по сравнению с писателями прошлых времен - это только естественно, и мы готовы увидеть недоуменно вздернутую бровь, когда заявим с полной серьезностью, что Англия еще не породила писателя, с которым Теккерей не выдержал бы сравнения. Другие превосходили его отдельными качествами, но если взять всю сумму его способностей как единственную мерку для сравнения, мы готовы твердо стоять на своем. Но сохранится ли он в веках подобно тому, как сохранились они? Это другой вопрос, и тут его нынешняя популярность может не помочь, ибо популярность, как замечательно выразился Виктор Гюго, это профанация славы.

La popularite? C'est la gloire en gros sous! {"Популярность? Это слава, разменная на медяки" (фр.). - Рюи Блаз, III, 4}

Теккерей обладает двумя великими свойствами, которые бальзамируют репутацию, - правдой и стилем, но от великих писателей прежних дней его отличает одна особенность нашего времени, и эта особенность ставит под угрозу прочность его славы: мы имеем в виду недостаток уважения к своему искусству, недостаток уважения к своей публике. В том тщании, с каким прежние писатели, как бы ни угнетала их бедность, задумывали и выполняли свою работу, мы видим нечто совсем непохожее на ту небрежность и уверенность в собственных способностях, которые заставляют его (и здесь он не одинок) приносить художника в жертву импровизатору. Насколько страдают от этого его писания, вычислить невозможно; можно только дивиться, что они так превосходны несмотря на это. Сплетничать с читателем, сворачивать с прямой дороги в приятные отступления и очерки общественных нравов - это легкий способ выполнять

ежемесячную норму; а когда знаешь так много, а стиль такой изящный и подкупающий, успех так велик, что заставляет поддаваться соблазну. Но то, что пишется на час, может через час и погибнуть, а ведь он способен создавать и долговечные произведения.

В "Пенденнисе", пожалуй, этот недостаток заметнее, чем в "Ярмарке тщеславия", и интерес читателя, в результате, время от времени ослабевает. И все же это огромная, мастерская работа, полная знаний, озаренная прекрасными мыслями, едкая, тонкая, одухотворенная пафосом, оживленная несравненными картинами человеческой жизни и характеров и исключительная по стилю. Дух любви витает по всей книге, отнимает у сатиры всю горечь мизантропии, доказывает, что человеческая природа достойна любви несмотря на все ее изъяны. Так как эту книгу все либо прочли, либо прочтут в ближайшее время, нам незачем занимать место пересказом ее содержания; достаточно нескольких замечаний и общих слов об авторе и о том, каким он здесь предстал.

Для начала несколько слов о красоте его стиля. По ясности, силе, замечательному изяществу и разнообразию никто после Голдсмита с ним не сравнится. Это вообще не стиль в вульгарном смысле слова, иначе говоря, это не фокус. Это свободная одежда, которая облекает его мысли, и с каждым движением сознания принимает различные, но равно подходящие формы - простые в повествований, изысканные и сверкающие в эпиграммах, шуточные в разговоре или в отступлениях, вырастающие в ритмичные периоды, когда им овладевает серьезное настроение, и неопишимо волнующие в своей простоте, когда выражают трогательные или высокие мысли. Фокусов в нем нет, но искусство несомненно. Кто-то сказал, что в основе своей это стиль джентльмена. Хотели бы мы, чтобы джентльмены так писали.

Дальше - о знаниях. Бесконечное очарование его писаний для мужчин и женщин, обладающих опытом, неведомо тем, кто еще ничего не знает (будь они при этом даже седовласы). То же с Горацием. Ни один школьник, ни один молодой поэт в грош не ставит Горация. Люди, жившие так, как он, с годами становятся лучше. В Теккере мы видим большое сходство с Горацием: оба пережили свои иллюзии, но оглядываются на них с нежностью, так что смех их скорее грустный, а не горький. Кажется, будто большая часть сцен из драмы жизни была сыграна в груди Теккерея, и он смеется, как мы смеемся, своим

юношеским безумствам, с некоторым сожалением, что эти безумства позади и с уважением к наивности, их породившей. Серьезная ошибка предполагать, что весь опыт Теккерея лежит на поверхности и что жизнь, как он ее описывает, есть всего лишь коловращение света. Хотя он знает это коловращение лучше и описывает правдивее, чем кто бы то ни было, от модных романистов его отделяет способность, на которую они не могут и претендовать: способность изображать подлинную человеческую жизнь. Возьмите к примеру, Дизраэли и сравните, как он подает вам оценку светской жизни и как это делает Теккерей - разница сразу станет ясна. Дизраэли видит общество - не очень отчетливо, но видит. Теккерей видит его и видит сквозь него, видит все человеческие чувства, все мотивы, высокие и низкие, простые и сложные, которые сделали его таким, как оно есть. Понаблюдайте майора Пенденниса, Уоррингтона, Лору, Бланш Амори, старика Костигана, даже когонибудь из эпизодических персонажей, и вы убедитесь, что он схватывает характеры там, где другие писатели схватывают только характеристики; он не дает вам вместо человека какую-нибудь его особенность, а ставит перед вами всего человека, этот "клубок мотивов". Чтобы проверить это впечатление, достаточно спросить себя: "Могу я описать какой-либо из его характеров одной фразой?" Или же вот такая проверка: в Бекки Шарп и в Бланш Амори он изобразил женщин одинакового толка, но приходило ли это вам в голову? Подумали вы хоть раз, что он повторяется? Или Бланш похожа на Бекки, не больше, чем Яго на Эдмунда? А ведь это женщины одного типа, и так верны природе, так подробно и глубоко достоверны, что мы, зная, кто мог (но не захотел) позировать для этих портретов, просто затрудняемся решить, который из них более похож. Бланш не играет в "Пенденнисе" такой важной роли, как Бекки в "Ярмарке тщеславия", но опытный глаз в обеих видит ту же художественную силу. Таким образом, под знанием мы понимаем не только знакомство с различными образами жизни от Гонт-Хауса до людской, но и знакомство с той жизнью, которая кипит в груди каждого.

Есть у него еще одна особенность, за которую ему достается от критиков, а именно - что он безжалостно раскрывает тайну, которая хранится в каждом чулане. Он являет нам иллюзии лишь для того, чтобы показать их безумие; он оглядывается на вас, когда глаза ваши полны слез, лишь для того, чтобы посмеяться над вашим волнением;

он присутствует на пиру лишь для того, чтобы обличить его в суетности; он изображает благородное чувство лишь для того, чтобы связать его с каким-нибудь позорным мотивом. Насмешливый Мефистофель, он не даст вас обмануть, он смеется над вами, над всеми, над собой.

В этом есть доля правды; но в "Пенденнисе" правда оборачивается преувеличением и причина, как мы понимаем, кроется не в насмешливости автора. Она кроется - если мы правильно поняли его природу - в доминирующей тенденции к антитезе. Есть эта тенденция и у других писателей, но у него она особенно сильна. В отличие от других, он не проявляет ее в антитезах словесных, - от этого его писания на редкость свободны, и не обращается к фальшивой систематизации Виктора Гюго, у которого любовь к антитезе переходит в болезнь, хотя он, конечно, оправдывается тем, что бог в этой области более велик, чем он, ибо бог - *le plus grand faiseur d'antitheses* (величайший создатель антитез - оправдание скромное и удовлетворительное!), однако при этом законом Теккерею как будто служит понятие противоположности, что превращает его в подлинного двуликого Януса. Не успеет он подумать о каком-нибудь поэтическом порыве, как вдруг мысль его делает скачок и различает глупую сентиментальность такого порыва. Если б он рисовал Цезаря, он приподнял бы лавровый венок, чтобы показать его плешь. О своем Уоррингтоне он говорит, что тот "пил пиво, как грузчик, и все же в нем сразу можно было распознать джентльмена". Мисс Фодерингэй - великолепная актриса, но невежественна как чурка. Фокер - подлец по своим наклонностям, но джентльмен по своим чувствам. Так можно перелистать все эти тома, отмечая еще и еще антитезы, но читатель уже наверно понял, как они характерны. Хватит того, что мы указали на причину их постоянного присутствия.

То, что черта эта порождена не духом насмешливости, легко показать, сославшись на примеры, где он показывает добро в злых обличьях, а также примесь зла в добре. Взгляните на старика Костигана, на майора Стронга, Алтамонта, и вы увидите, как характеры, которые в обыкновенных руках были бы просто презренны или отвратительны в своем эгоизме и негодяйстве, спасает от порчи соль человеческих добродетелей, и самое ваше презрение меняется, человеческое участие призывается на помощь, и Милосердию

приходится признать в грешнике брата. Та же склонность ума, напоминающая ему, что герой болен подагрой, заставляет его отметить, что ни один плут сплошь не порочен. В первом случае антитезу мог подсказать дух насмешливости; во втором - ни в коем случае: если только не предположить, что человек этот лишен всякого почтения к добродетели и хочет оскорбить даже добро, поместив его в гнусное место, а это предположение, осмелимся сказать, противоречило бы всему тону его писаний. Теккерей любит все достойное любви и поклоняется всему правдивому, хотя его презрение к притворству достаточно бескомпромиссно. Пока мы читали эту книгу, нам казалось, что в Уоррингтоне он изобразил себя - печальный, задумчивый, добрый, но склонный к сарказму человек, чье презрение и то проистекает из любви ко всему высокому и благородному и чья антипатия к притворству так велика, что он боится быть заподозренным в притворстве, если станет держаться более серьезно.

Это не насмешливый, а любящий дух, не Мефистофель, а Гете сидит с ним рядом. Ему, Гете, нередко ставят в упрек то же самое - называют холодным, потому что он не был односторонним. Более того, антитезы у Теккерея не такие же, как у Сю или у Виктора Гюго, они возникают из правды жизни, а не из упорной погони за контрастами. Свой тип Целомудрия он не ищет среди молодых девиц на *tapis franc* {Кафе, или притон с сомнительной репутацией (фр.)}. Изображая родительские чувства, он не ищет какого-нибудь Трибуле или Лукреции Борджа; чтобы показать почтенность старости, он не рисует бандита. Чтобы показать силу любви, он не выбирает куртизанку. Он берет Противоречия, какие ему изо дня в день предлагает Природа, такие, какие существуют в нас и в окружающих нас людях. И разница между ним и другими романистами состоит в том, что он видит эти противоречия, а они нет.

В "Ярмарке тщеславия" негодяйство и притворство угнетало. В "Пенденнису" этого уже нет. Того и другого там хватает, ведь Теккерей в первую очередь сатирик; но в "Пенденнису" мы отмечаем решительный шаг вперед в смысле более широкого и великодушного отношения к человечеству, более щедрую примесь добра во зле, и вообще более любящий и мягкий тон. Вот почему глаза наши наполнялись слезами при чтении мест, исполненных мужественного пафоса, и мы видели, что он способен писать более серьезно, чем в

"Ярмарке тщеславия". И все же этот второй роман не так популярен - отчасти потому, что не так нов, но главным образом потому, что ему не хватает ведущего персонажа. Пен - не такая крепкая нитка, чтобы низать на нее жемчуг, как Бекки. А между тем в "Ярмарке тщеславия" нет ни такой очаровательной женщины, как Лора, ни такого благородного малого, как Уоррингтон. И очень трогателен старый Бауз: его безнадежная любовь к Фодерингэй, а потом к Фанни, и как он воспитывает их только для того, чтобы их увели другие, не уступают лучшим страницам бедного Бальзака.

Мисс Фодерингэй называют карикатурой - те, кто не знаком с театральной жизнью. Но это был смелый и удачный прием - так написать правду и показать публике, что успех на сцене не говорит ни о природном уме актрисы, ни даже о сопричастности ее тем чувствам, что она изображает. Бывают исключения, но вообще актеры по интеллекту безусловно не выше, а ниже своих героев. В театральной игре столько выдуманного, столько от традиций, что весьма незначительный актер со сносной внешностью и способностью к подражанию может "взять город штурмом". Считать, что трагические актеры наделены героизмом своих героев столь же разумно, сколь и полагать, будто они равны им интеллектуально. Сомневающийся пусть послушает полчаса разговоры в актерском фойе.

Мы, кажется, не сказали ничего, или почти ничего, об изъянах "Пенденниса", но хотя этим разговором об антитезах мы могли бы заниматься без особого труда еще на многих страницах, дело-то в том, что мы, пока читали, мало думали об, изъянах и сейчас не настроены критически. Все они, нам сдается, сводятся к естественным дефектам, какие не выправит никакая критика, или к небрежности, о которой мы в самом начале заявили, что она единственное, в чем Теккерей уступает великим писателям прошлого. Но скажем еще вот что. Мы не считаем недостатком, когда писатель представляет общество в нелестном виде, и не считаем, что правда безнравственна. "Очень плохо, говорит Гете, - если книга деморализует больше, чем сама жизнь, которая изо дня в день в изобилии дает нам если не увидеть, то услышать самые скандальные сцены".

ДЖОН ФОРСТЕР

ИЗ СТАТЬИ В "ЭКЗАМИНЕР" ОТ 13 НОЯБРЯ 1852 ГОДА

Эта книга, якобы автобиография джентльмена, достигшего зрелости в царствование королевы Анны, напечатана старинным шрифтом и написана старинным слогом. Интересная книга под названием "Дневник леди Уиллоуби" и другие, менее удачные попытки в том же духе уже приучили английского читателя к идее придавать книге пикантности, возвращаясь к стилю наших предков. Но ни у одного писателя не хватило смелости поставить себе такую задачу, как воспроизведение английской прозы, сделанное отличным стилистом в дни Аддисона и Филдин-га. Вполне естественно, что эту опасную и трудную попытку предпринял человек, известный как гений, сам отлично владеющий стилем; и, разумеется, оправдал попытку при всей ее рискованности.

Мы должны выразить словами самой горячей похвалы наше восхищение мастерством и вкусом, с каким написан "Эсмонд". Мистер Теккерей уловил верный тон писателей времен королевы Анны, бережливой рукой "добавив" немногие свойственные им грамматические особенности и в то же время подражая более частым особенностям лексики и подбрасывая тут и там, с безупречным тактом, изящно, хотя на нынешний вкус несколько педантично, цитаты из классиков. Никаких излишеств, никакой погони за эффектами. Обычно мистер Теккерей пишет очень легко и гладко, а в последнее время он был занят внимательным изучением авторов, чей стиль лег в основу его теперешней манеры, и в результате мы получили роман, литературное мастерство которого заслуживает всяческой похвалы. В то же время мы должны заметить, что мистер Теккерей не столько подражает кому-то одному из старых мастеров, сколько относит назад в дни королевы Анны свое собственное перо; страницы его полны его собственными наблюдениями, оживлены его собственным юмором. Сюжет романа достаточно искусный, и несмотря на несколько натяжек, очень ловко построен и ведет нас вперед с самыми неожиданными поворотами, до конца утоляющими наше любопытство. В первом томе имеется катастрофа, в третьем тоже, и последняя, к сожалению, совершенно не связана с героем; но в обеих проявилось великое умение поддерживать наш интерес. Не знаю, в чем тут дело - в стиле или в обращении с материалом, но книга дает нам ощущение силы писателя, которая всегда проявляется изящно. То, как мистер Теккерей заставляет своего автобиографа писать о себе

скромно в третьем лице, а потом неожиданно, но всегда уместно переходит на "мы" или даже на "я", когда личное чувство взмывает выше обычного уровня, хорошо иллюстрирует изящество формы, каким отмечена вся книга. Некоторые пассажи, которые могли бы быть (но не были) написаны при королеве Анне, ловко вплетенные там и тут, уводят воображение читателя в тот период, и принимать их следует не как огрехи, а как украшения.

Так замысленный и написанный, "Эсмонд", хотя по занимательности ему далеко до "Ярмарки тщеславия", как образец литературного мастерства превосходит даже эту интереснейшую работу, и к тому же мы с радостью отмечаем во многих его пассажах более здоровый и ясный оттенок социального чувства. Жаль, что мы не можем сказать на эту тему больше и добавить, что мистер Теккерей, перед тем как написать "Эсмонда", совершенно преодолел то, что мы считаем недостатком его психологии, тормозящим свободное развитие его гения, - неумение дать картины жизни, которые мы могли бы рассматривать как точные копии. Если бы мистер Теккерей верил в скрытую искру божественности, которую мало кто из мужчин или женщин ухитряется загасить в себе до конца, если бы мог увидеть своих ближних такими как они есть и такими описать их, если бы заставить его почувствовать, что находить доброе в злом честнее, нежели находить плохое, которое есть в хорошем, тогда его шанс на мировую славу, сейчас все еще сомнительный, был бы уверенным и твердым. При том, как он видит жизнь теперь и как рисует ее, он растрчивает и талант и ресурсы великолепного колориста на картины фальшивые и по рисунку и по перспективе.

Должно ли так продолжаться? Необходимо ли, чтобы такой серьезный недостаток в работе писателя, которому с избытком хватает изобретательности, и такта, и таланта, так и пребывал в неисправленном виде до самого конца? Мы не можем в это поверить. Нам кажется, что частично мистер Теккерей уже сумел внести поправку в свое отношение к человеческой природе, и похоже, этому мы обязаны не столь уж редкими светлыми и благостными страницами "Эсмонда". Но старый порок живуч; и следствие фальшивого метода, основанного на нем, состоит в том, что при всем нашем восхищении тем, как написан "Эсмонд", во всей книге ни один персонаж или сцена не оставляет четкого впечатления жизненности. Мы не можем убедить

себя, что во всей истории есть хоть один персонаж, описанный более или менее подробно, который можно было бы признать существом из плоти и крови. Как ни высоко то место, которое эта книга вправе занять в современной литературе, мы не можем поверить, что она умножит количество вымышленных персонажей, чье правдивое изображение позволило нам говорить о них как о живых людях или явном вкладе автора в увеличение народонаселения.

Беда в том, что мистер Теккерей слишком подчеркивает, что в отношении к своим вымышленным персонажам он и создатель их и судья, он не считает себя равным им и говорит не как равный о равных. Если они - мужчины и женщины, тогда он - Бог, который их судит; если он - человек, значит они марионетки. Так или этак, они вне его и ниже его. В "Эсмонде" нет ни одного персонажа, даже самого безупречного, над которым, как мы все время это чувствуем, мистер Теккерей не склонялся бы с улыбкой жалости. Он выворачивает наизнанку самое прекрасное одеянье, чтобы показать грязь на подкладке, показывает нам нечто, достойное любви, дабы тут же мы острее восприняли нечто, достойное ненависти, предлагает нам утешительные доктрины, вроде той, что великодушие и подлость одинаково присущи человеческой натуре, словом, для собственного успокоения порождает искажения и противоестественные пороки, а все потому, что сам держит нити и в его державной власти всесторонне показать, как ведут себя его мужчины и женщины.

Вот один пассаж из "Эсмонда", видимо призванный оправдать описанное нами отношение:

"Если по известному изречению *monsieur de Рошфуко*, в несчастье наших друзей есть для нас что-то втайне приятное, то их удача всегда несколько огорчает нас. Трудно подчас бывает человеку привыкнуть к мысли о неожиданно привалившем; счастье, но еще труднее привыкнуть к ней его друзьям, и лишь немногие из них способны выдержать это испытание, тогда как всякая неудача имеет то несомненное преимущество, что обычно является "великим примирителем": возвращает исчезнувшую было приязнь, ненависть угасает, и вчерашний враг протягивает руку поверженному другу юных лет. Любовь, сочувствие и зависть могут ужиться друг с другом в одном и том же сердце и относиться к одному и тому же человеку. Соперничество кончается, как только соперник споткнулся, и

мне кажется, что все эти свойства человеческой природы, приятные и неприятные, следует принимать с одинаковым смирением. Они последовательны и естественны. И великодушие и подлость равно в природе человека" (книга 2, глава 5).

Не готовый признать и, может быть, столь же не склонный отрицать, что в каждом человеке есть доброе начало, мистер Теккерей обращается к другому важному принципу, который он способен принять с большим удовлетворением и не так недоверчиво, а именно: что в каждом человеке есть и дурное, а это правды ради нельзя упускать из виду. Так вот, мы не из тех, кто хотел бы, чтобы это упускали из виду. Безгрешное чудовище не получалось даже у лучших романистов. Но наблюдать мир следует великодушно, с щедрым сочувствием, быть для наблюдаемых характеров не судьей, а как бы их спутником, который улавливал бы те тонкие нюансы мнений и чувств, какие чаще всего можно найти в сочетании. Хотя несомненна истина (а мы очень хотели бы, чтобы мистер Теккерей подтвердил ее своими писаниями), что мы вдесятеро чаще закрываем глаза на добрые свойства нашего ближнего, чем на его недостатки. Мы не мечтаем прочесть про человека без сучка без задоринки. И все же лучше проявлять в портретах снисходительность, чем описывать общество как веселую ярмарку, где каждый выставляет напоказ то лучшее, что в нем есть, а лохмотья - скрывает. Такой взгляд на жизнь правилен лишь в самом поверхностном смысле. Сердце каждого, кто не хуже и не лучше сотен своих ближних, четко подскажет ему, что мир ничего не знает о самых светлых и самых лучших сторонах его натуры лишь потому, что он сам не хочет рассказать о них миру. Тайные чаяния, молчаливые жертвы, застенчивая благотворительность, помышления, исполненные самой теплой доброжелательности и дружбы и очень редко получающие выражение - вот что таит в себе спокойствие тысяч и тысяч, и тайну эту мы храним нерушимее и изощреннее любых пороков и безумств, которые стараемся скрыть. Каждый знает, что губы его онемели бы, а щеки вспыхнули огнем, попытайся он отбросить сдержанность, которая хранит ярчайшую искру божественной природы - а она не гаснет и в самых низких из нас - глубоко в сердце, далеко от чужих глаз, недоступно для всечасных пересудов. Но не такие тайны ищет автор "Эсмонда". Мистер Теккерей предпочитает искать под личиной характера лишь то, что может

скрываться за лицемерием и суетностью, какое-нибудь пятно, на которое свет, восхищаясь хорошим человеком, по доброте своей предпочел закрыть глаза.

Фальшь того правила, с которым он подходит к характеру, мы могли бы отчасти показать, обратившись к персонажам историческим. Мы уже видели это в его лекциях об английских юмористах, а теперь снова видим в исторических персонажах, введенных в "Эсмонда". Имея данные для оценки подлинно жившего персонажа, он, по нашему мнению, просто не может получить правильный результат. В этом романе мистера Теккерея важное место занимает Стил и, надо сказать, жестоко страдает от его обращения.

Мальборо тоже фигурирует в книге и изображен совершенно неправдоподобно, без единого перехода от угольно-черного к лилейно-белому. Снова и снова в этом портрете возникают черты, которые мы вынуждены считать совершенно несовместными с каким бы то ни было пониманием человеческой природы; но особенно явственно эта ошибка выразилась в одном пассаже, который мы тоже с удовольствием приведем здесь как отлично написанный...

Приводя эти отрывки, мы коснулись самого важного результата, к которому приходит мистер Теккерей со своим методом разработки характера. Там, где есть что-нибудь хорошее, говорит он, там должно быть и что-то дурное: это природа, которой я должен быть верен. Но верность природе не дается ему, потому что такая точка зрения мешает увидеть, какие недостатки или странности могут сопутствовать положительным свойствам характера. Том Джонс с его беспечными пороками не был бы способен разрешить любимой птичке Софьи умереть, как Блайфил со своими осторожными добродетелями не мог бы вступить в сомнительную связь с миссис Белластон. Каждый живой характер это неделимое целое. Есть недостатки, которые суть неперемные следствия необычного развития некоторых добродетелей; есть и такие, которые могут, и такие, которые не могут совпадать с некоторыми видами добродетели, и сочетания их в каждом отдельном характере дают такое законченное целое, что ни одного ингредиента нельзя убрать, не нарушив равновесия остальных. Читая Филдинга, мы входим в общество людей, которых мы знаем так же хорошо, как знаем своих друзей из плоти и крови. Они движутся у нас перед глазами, под влиянием то одного, то другого чувства; каждый во

всех случаях действует по подсказке совершенно понятных импульсов и показан так, что сумма импульсов, сложенных воедино, создает характер, в котором сильные и слабые стороны как-то уравновешены. Такое вымышленное лицо становится для нас реальным. Бели оно не жило и не дышало в жизни, оно жило и дышало в произведениях Филдинга, то есть времени его и его страны, отраженных в литературе. По сравнению с такими творениями, в произведениях мистера Теккерея мы слишком часто встречаем раскрашенные картинки, почти всегда блестящие или гротескные, почти всегда невыдуманные. Даже Бекки Шарп, хотя и запомнится как одна из фигур в английской литературе, которой, видимо, предстоит долгая жизнь, слишком часто балансирует на грани реального, а одна из главных героинь настоящей книги Беатриса - из тех же материалов, что и Бекки Шарп, только немного измененных, - существо вообще небывалое. Она прекрасна, суетна, бессердечна, кокетка, упустившая несколько богатых партий; однако вдруг начинает осуждать свою никчемность и не в минуту раскаяния, в кратком порыве к лучшему, а так, как оно совершенно несовместимо с ее природой...

Мать гордой Беатрисы, которую Эсмонд называет своей госпожой, златокудрая леди, выданная замуж в пятнадцать лет, в двадцать становится опекуной Эсмонда, которому в это время двенадцать лет. Мальчик становится учителем своей госпожи и ее детей; и она, влюбившись в него по случаю того, что он сам заболел и ее заразил оспой, хранит эту страсть в тайне до самой смерти мужа и лелеет ее как вдова до почтенного сорокалетнего возраста. Все это время Эсмонд называет ее своей госпожой, обожает ее, верит в нее; и все же, хотя он изображен как человек серьезный и разумный и не может не видеть и не чувствовать всей любви, которую изливает на него ангел-вдова, мучает эту несчастную признаниями в своей страсти к ее бессердечной и ветреной дочери, волочится за дочкой с небывалым постоянством при совершенно безнадежных обстоятельствах и все же продолжает боготворить ее мать, эту святую. И лишь в конце концов, когда она достигла сорока лет, понимает, что его миссия в жизни - жениться на ней. Много прекрасных патетических пассажей, много тонких намеков да изредка - проявление истинной страсти все это не может побудить нас принять или стерпеть такую цепь эпизодов. Так не бывает, и на том кончим... Все

образованные читатели, мы в том уверены, от души насладятся "Эсмондом", хотя трудно сказать, насколько библиотеки одобряют смутное впечатление, которое книга оставляет как история жизни. Во многих отношениях она написана рукою мастера, и все же ей грозит гибель, потому что талант и труд тратятся на неудачно выбранный материал. Худшее писание на лучшем фоне имело бы шанс прожить дольше, и мы не можем удержаться, чтобы не высказать наше убеждение, что пока мистер Теккерей строит книги на своем теперешнем отношении к обществу, он строит на песке.

ЭЛИЗАБЕТ РИГБИ

ИЗ СТАТЬИ "ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ" И "ДЖЕЙН ЭЙР"

Выдающийся роман - всегда значительное событие для английского общества. Он становится чем-то вроде общего друга, о котором можно говорить правду, не боясь попасть в ложное положение и не смущаясь в выражении чувств. Как нация, мы на редкость застенчивы и сдержанны, а потому весьма неловки в попытках узнать друг друга поближе, хотя, казалось бы, это несложное искусство. Мы вновь и вновь встречаемся в так называемом "свете", соблюдая безмолвный уговор строго держаться в неких границах - быть вежливыми, как требует воспитанность, быть умными, насколько это в наших силах, но корректно не приподнимать тех покровов, которые каждый счел за благо накинуть на свои истинные чувства и склонности. Для этой цели изобретено множество способов, позволяющих со всей полнотой соблюдать букву доброго знакомства и даже дружбы, старательно и умело избегая хотя бы малой искры духа. Мы охотно устремляемся к предметам, к которым каждый может проявить живейший интерес, но при том без малейшего любопытства к внутреннему миру наших собеседников. Наши модные увлечения, такие разные сегодня благотворительность, а завтра наука - это всего лишь хитрые приемы, помогающие держать ближних на расстоянии. Пусть мы посещаем ученые собрания и собираем пожертвования, и археологизируем, и геологизируем, и двенадцать месяцев в году беседуем с нашими соотечественниками, но об их истинных чувствах узнаем ровно столько, сколько узнали бы о семейной жизни какого-нибудь турка, с которым просидели бы, поджав ноги, на ковре и дружески покуривая трубку ровно такой же срок. Однако есть средства приподнять покровы, столь гармонирующие с нашими национальными

нравами, и одно из них - выдающийся роман, особенно, если он близок к подлинной жизни. Мы приглашаем нашего ближнего прогуляться с умышленной и злокозненной целью по-настоящему с ним познакомиться. Мы не задаем никаких нескромных вопросов, не предлагаем неосторожных признаний и даже не пытаемся деликатно выведать его мнение об общих знакомых. Нет, мы просто принимаемся обсуждать Бекки Шарп или Джейн Эйр - и мгновенно достигаем своей цели.

В этих двух новых и притягательных характерах есть что-то толкающее обсуждать их. Тут невозможно обойтись полдюжиной нравоучительных банальностей и избитых сентиментальных фраз. Даже самым глупым они дают пищу для мысли, а самых сдержанных побуждают говорить. Самые снисходительные невольно ищут сравнений с живыми людьми, чего обычно старательно избегают, самые же остроумные запутываются в парадоксах, которые не в силах отстоять. Кроме того Бекки и Джейн отлично сочетаются и в том общем, что между ними есть, и в своей противоположности друг другу. Обе были гувернатками и обе поднялись в свете на одну и ту же ступень - одна выйдя замуж за своего, по выражению Джейн Эйр, "хозяина", а другая - за сына своего хозяина. Обе вступили в жизнь с более чем скромным капиталом красоты - к Джейн Эйр это слово вообще мало подходит, - ибо нынешние романисты склонны не поощрять наглые претензии одной лишь красоты, а наоборот, стремятся доказать всем, кого это может касаться, как мало ее требуется разумной женщине, чтобы стать кем-то. Обе равно обладают магической способностью узнавать тайны чужих сердец и скрывать собственные, и обеим свойственна физиогномическая особенность, которая толкуется по-разному, а именно - зеленые глаза. В остальном же, однако, между натурами, манерами или судьбой этих двух героинь ни малейшего сходства нет. Они думают и действуют, руководствуясь диаметрально противоположными принципами - во всяком случае, так нас пытается убедить автор "Джейн Эйр" - и, доведись им познакомиться (что нам бы доставило величайшее удовольствие), обе прониклись бы друг к другу одинаковым презрением и отвращением. Иной вопрос, которой из них удалось бы с большим успехом провести другую, и дать на него ответ не так-то просто, хотя у нас на этот счет и есть кое-какие мысли.

Первой мы должны обсудить "Ярмарку тщеславия" - роман этот, хотя от пера его автора мы вполне имели право ожидать многого, все-таки захватил нас врасплох. Нам было отлично известно, что мистер Теккерей уже давно облекся в костюм шута, чтобы как можно полнее использовать сопутствующую ему привилегию говорить правду; мы следили за его успехами от номера к номеру "Фрэзерс мэгезин" и на становившихся все лучше и лучше страницах "Панча" это чудо нашего времени бесконечно ему обязано! - и тем не менее мы оказались совершенно не готовы к меткости наблюдений, глубокой мудрости, безупречному искусству, которые он вплел в легкую ткань и прихотливые узоры "Ярмарки тщеславия". Надо полагать, что теперь уже все успели ее прочесть, но и для тех, кто не успел, излагать сюжет нет надобности. Ведь это не роман в общепринятом значении слова с интригой, преднамеренно построенной так, чтобы подводить к той или иной сцене и раскрывать тот или иной характер, но просто повествование о будничных горестях, радостях, карах и наградах, которые выпадают на долю различных классов рода людского с той же закономерностью, с какой искры летят вверх. Это всего лишь те ставки в игре жизни, какие каждый игрок рано или поздно, но сделает, сколько бы возможностей ему ни выпадало и как бы он ни тасовал колоду обстоятельств. Это всего лишь бойкая и запутанная драма, которую может наблюдать кто угодно и когда угодно, при условии, что он не поглощен всецело мелкими подробностями собственной крохотной рольки, придавая им несуществующую важность, а с тихим любопытством смотрит на подмостки, где актерами и актрисами выступают его ближние. Причем драма эта нигде не усиливается тем общепринятым подкрашиванием, которое, как философски утверждает мадам де Сталь, необходимо литературе, чтобы возместить ее уклонение от правды. И мистер Теккерей не только не осуществляет это право романиста, но даже почти не черпает из кладезя замечательных и совершенно подлинных событий. Правда, в книгу введена битва при Ватерлоо, но сюжетно она приносит одну смерть и одно банкротство, которые могли бы с тем же успехом случиться по сотне разных других причин. А в остальном повествование за малым исключением не выходит за границы той обыденности, которая одним людям дает побуждения для поступков, а другим - предлог погрузиться в дремоту, - это уже в зависимости от их склонностей.

Вот такая подлинность и чарует, и удручает. При всей скромности ее материала это одна из самых смешных, и в то же время одна из самых горьких книг, какие нам доводилось читать за долгие и долгие годы. И мы почти тоскуем по капельке преувеличений и неправдоподобности, которые избавили бы нас от ощущения тягостной правдивости, сжимающей наши сердца сочувствием не Эмилиям и Джорджам, действующим в книге, но к родственным им натурам, к бедным людям вокруг нас. В одном смысле такая правдивость оборачивается недостатком. За редким исключением эти будничные персонажи слишком уж похожи на нас самих и на наших ближних, а потому никакой неопровержимой морали вывести невозможно. Мы утрачиваем четкость зрения. Оправдания дурного и разочарование в хорошем мешают нам выносить окончательные суждения: ведь то, на что суждения должны были бы опираться, слишком уж близко к повседневному нашему опыту, который требует, чтобы единственной основой наших мнений были милосердие и терпимость. Лишь в вымышленных характерах, ярко подкрашенных ради точной цели, или в злодеях, рассматриваемых с большого расстояния, ничто не затеняет нравоучительности, не сбивает ее с истинного пути. А стоит попристальнее взглянуть на человека, рассмотреть его жизнь и судьбу с близкого расстояния, и наш умственный взор утрачивает способность различать эту мораль, так как ее заслоняют тысячи не замечаемых прежде смягчающих обстоятельств и свидетельств. И ведь все персонажи "Ярмарки тщеславия" - это же наши собственные любимые друзья и добрые знакомые, только под вымышленными именами. И видим мы их в таком сбивающем с толку свете дурного в хорошем и хорошего в дурном, среди их грехов и прегрешений против них, среди не стоящих хвалы добродетелей и почти извинимых пороков, что не чувствуем себя вправе морализировать по их поводу, и уж тем более судить их, и лишь печально восклицаем вместе с древним пророком: "Увы брату моему!" Каждый актер на многолюдной сцене "Ярмарки тщеславия" являет собой тот или иной тип прихотливого смещения человеческих свойств, который невозможно ни целиком оправдать, ни безоговорочно осудить. Исступленная преданность любящего сердца ложному кумиру, которую мы не можем уважать; слабый тщеславный человек, не дурной и не хороший, заслуживающий в наших глазах больше

презрения, чем законченный негодяй; неизгладимые следствия никуда не годного воспитания и стойкие благородные инстинкты, ведущие борьбу в душе легкомысленного повесы; эгоизм и самодурство, как неизбежный жребий тех, кто обладает большим богатством и пресмыкающейся родней; тщеславие и страх перед мнением света, которые вкупе с благочестивыми принципами удерживают человека в пределах респектабельности... Все эти неисчислимые комбинации всевозможных человеческих форм и расцветок лишь весьма слабо искупаются стойкими добродетелями неуклюжего мужчины и добрым сердцем вульгарной женщины, так что мы уже готовы упрекнуть мистера Теккерея за недооценку нашей натуры, совсем забыв, что мадам де Сталь совершенно права и без некоторой толики румян никакое человеческое лицо не выдержит света литературной рампы.

Но если эти актеры вызывают у нас боль, нам, раз уж мы говорим откровенно, ничуть не стыдно признаться, что главная актриса никаких нежных струн в нас не задевает. Ведь в "Ярмарке тщеславия", как и в источнике ее названия - беньяновском "Пути паломника", разумеется, есть свой главный паломник, а вернее паломница, которая, к сожалению, пошла не в ту сторону. Но "к сожалению" мы говорим просто из вежливости, ибо на самом деле нам это сугубо безразлично. Нет, Бекки, наши сердца не сострадают тебе и не вопиют против тебя. Ты поразительно умна, и остроумна, и талантлива, и находчива, а мастерские художников в Сохо - отнюдь не лучшие детские с точки зрения нравственного воспитания; и ты вышла замуж еще в нежные годы за шалопая и игрока, и с тех пор должна была жить, полагаясь только на свою хитрость и изворотливость, что не слишком способствует нравственному развитию. Все это так, и можно многое сказать и "за" и "против", тем не менее ты - не одна из нас и потому не можешь вызывать в нас ни сострадания, ни осуждения. Те, кто позволяет, чтобы их чувства возмущались таким характером и такими поступками, как твои, весьма несправедливы и к тебе, и к самим себе. Никакой автор не сумел бы открыто ввести сатанинское отродье в лучшее лондонское общество, и уж во всяком случае не достиг бы таким способом моральной цели, которую себе ставил, но, честно говоря, Бекки в своей человечности, как никто, удовлетворяет наш высочайший идеал женской порочности, при этом очень мало задевая наши чувства и понятия о приличиях. Да, без сомнения, весьма

ужасно, что Бекки не любила ни мужа, который ее любил, ни своего ребенка - и вообще никого, кроме себя самой, но будем искренни - негодовать на нее мы не в состоянии: как она могла любить, если у нее не было сердца? Да, весьма возмутительно, что она устраивала всякие грязные делишки, манипулировала своими ближними для своей выгоды и, не задумываясь, готова была растоптать всех, кто оказывался у нее на дороге. Но чего можно от нее требовать, если она была лишена совести? Бедная маленькая женщина оказалась в крайне тяжелом положении - она вступила в жизнь без обычных кредитных писем к двум величайшим банкирам человечности - Сердцу и Совестью, и не ее вина, если они не признавали ее чеков. Ей оставалось только вступить в деловую связь с менее солидными ответвлениями банка "Здравый смысл и Такт", которые втайне ведут много операций от имени главной конторы - у них она пользовалась неограниченным кредитом благодаря своей "отличной лобной структуре". Она видела, что эгоизм - это металл, узаконенный чеком сердца, что лицемерие это дань, которую порок приносит добродетели, а честность в любом случае опирается на то, что слывет "лучшей политикой". И она прибегала к искусству эгоизма и лицемерия, подобно всем остальным участникам Ярмарки Тщеславия, с той лишь разницей, что сумела довести их до высшей степени совершенства. Ибо почему, оглядываясь вокруг, мы обнаруживаем обилие натур, сравнимых с ней до определенной степени, но ни одной достигшей ее высот? Почему, говоря о той или иной знакомой, мы по доброте сердечной спешим заметить: "Нет, все-таки она не столь дурна, как Бекки!?" Причина, боимся, заключается не только в том, что у нее в отличие от Бекки все-таки есть немножко сердца и совести, но еще и в том, что она не так умна.

Нет, отдадим Бекки должное. Как нам всем известно, в этом нашем мире есть достаточно соблазнов, чтобы прельстить святого, а уж тем более бедную маленькую дьяволицу, вроде нее. Она была лишена тех добрых чувств, которые делают нас столь снисходительными. Она видела вокруг себя трусливых поклонников порока и добродетельных простаков, и они вызывали у нее равное раздражение, потому что трусость и простоватость ей были одинаково чужды. Она видела женщин, которые любили своих мужей и все же ели их поедом, обожали своих детей и тем самым губили их, - и

презирала этих женщин за столь вопиющую непоследовательность. Порок и добродетель, если только их не подкрепляла сила, в ее глазах не стоили ничего. Слабость характера, благословенный залог нашей человечности, она считала презренным знаком нашего несовершенства. Как знать, не повторяла ли она мысленно слова своего господина: "Падший Херувим! Быть слабым - значит быть презренным!", и недоумевала, отчего мы такие глупцы - сначала грешим, а потом сожалеем об этом. Пусть Бекки видела все в неверном свете, но она поступала в полном соответствии с тем, что видела. Ее доброта исчерпывается легким характером, а ее принципы - практичным здравым смыслом, и мы должны быть благодарны последовательности, с какой она показывает нам, чего они стоят.

Другое дело - притворяться, будто подобные натуры в действительности существовать не могут, пусть лояльность по отношению к прекрасному полу и требует такого утверждения. История и не занесенные ни в какие анналы страдания обыкновенных людей показывают нам, что под будничной личиной как мужчины, так и женщины, могут таиться чернейшие бездны порока, наводящие на мысль, уж не служит ли наша земля сиротским приютом для Сил Тьмы, и не посылают ли они к нам своих отродий, заранее снабдив их обратными билетами? Мы не станем взвешивать, насколько законны попытки рисовать в романах таких посланцев, а с полным удовлетворением скажем только, что авторские предпосылки, если их принять, воплощены в образе героини "Ярмарки тщеславия" с неподражаемым искусством и восхитительной последовательностью. Как бы то ни было, а стыдиться малютки Бекки не должны ни адские пределы, ни любезные читательницы - ее практический женский ум во всяком случае бесподобен.

Огромное обаяние и утешительность Бекки заключается в том, что мы можем изучать ее без малейших угрызений. Скорбной нашу юдоль делает не зло, которое мы наблюдаем, но нераздельное сплетение добра и зла. Тех, кто наделен не только глазами, но и сердцем, особенно удручают вечные напоминания о том, что

"В подлунном гнусном мире этом

И благородство служит гнусным целям".

Но Бекки избавляет их от подобных страданий - во всяком случае в связи с собственной ее персоной. Какой смысл расточать жалость на

ту, у кого не хватает сердца на сочувствие даже самой себе? Бекки безмятежно счастлива как все те, кто преуспевает на избранном поприще. Вся ее жизнь - одно применение победоносной силы. Стыд никогда ее не мучает, ибо "то совесть всех нас превращает в трусов" - а совести у нее нет вовсе. Она воплощает тот идеал земного благополучия, определить который выпало французу: благословенное сочетание *le bon estomac et le mauvais coeur* {Хороший желудок и дурное сердце (фр.)}. Ведь ко всем своим превосходным качествам Бекки добавляет еще и отличное пищеварение.

В целом, мы не без страха сознаемся, что получаем немалое удовольствие, наблюдая путь этого блуждающего огонька, который увлекает за собой по смрадной грязи безвольные, тщеславные, эгоистичные натуры и умеет играть любую роль от скромной лучинки до ослепительной звезды, как того требуют обстоятельства. Какая дьявольская умница! Какой восхитительный такт! Какое неизменно веселое добродушие! Какое великолепное самообладание! Бекки никогда не обманывает наших ожиданий, никогда не заставляет нас трепетать. Мы знаем, что она всегда найдет выход, наилучшим образом отвечающий ее цели, а нередко и двум-трем с оглядкой на будущее. И с каким уважением относится она к тем правилам порядочности, которыми более добродетельные, но и куда более глупые представители рода человеческого столь часто пренебрегают! Как тонко она подмечает всякую фальшь и подлость! Как безошибочно определяет истинное и благородное! В этом она достойная ученица своего учителя, ибо не хуже него знает, в чем воплощена подлинная божественность, и склоняется перед ней. Она почитает Доббина, несмотря на его большие неловкие ноги, и испытывает к своему мужу куда больше уважения, чем прежде (если вообще не в первый раз!), когда он отнимает у нее не только драгоценности, но и доброе имя, честь и обеспеченность.

И не так уж мы уверены, что имеем право называть ее сердце "дурным". Бекки никому не вредит из мстительных чувств и никогда не творит зла удовольствия ради. Источник этот не столько ядовит, сколько скуден живительной влагой. Она даже способна на великодушие, когда ей это ничего не стоит. Как доказывается откровенной отповедью, которой она ради Доббина сражает дурочку Эмилию, побуждая нас отпустить ей многие ее грехи. Правда, ей

хотелось отделаться от Эмилии, но не станем придирааться! Бекки была женщина бережливая и предпочитала сражать одним выстрелом двух зайцев. И она на свой лад даже честна. Роль жены она первое время играет не только не хуже, но много лучше большинства. А вот как мать она проваливается с самого начала. Она знала, что материнская любовь не по ее части, что отличная лобная структура тут ей не в помощь, - и оказалась способной лишь на вялую подделку, которая никого обмануть не могла. Она чувствовала, что уж этот чек сразу будет признан фальшивым, и совесть... мы хотели сказать, здравый смысл помешал ей предъявить его к оплате.

Короче говоря, путь Бекки вызывает у нас боль, только пока он сплетен с путем того, кто в отличие от нее куда более подлинное дитя нашей юдоли. Тех, кто запутался в ее сетях из тщеславия или по низости духа жалеть невозможно - так им и надо! Однако мы не можем простить ей обладания истинной святыней, имя которой любовь, пусть даже это любовь Родона Кроули - ведь он питает к своему маленькому злему духу такое самоотверженное, такое всеочищающее чувство, что перед ним бледнеет любовь многих и многих мужчин лучше него к очень хорошим женщинам. Да, нас оскорбляет, что Бекки принадлежит сердце, пусть даже человека, нечистого на руку. Бедный, обманутый, нечестный, падший и такой стойкий в своей любви Родон! Ты делишь наше сочувствие, наши симпатии с самим Доббином! Инстинкт прекрасной природы помог майору распознать, что Бекки несет на себе клеймо Отца Зла, а глупость добросердечия помешала полковнику догадаться о нем. Он был пьяницей, игроком, беспринципным негодяем, и все же "Родон - настоящий мужчина, прах его побери!" - как выразился его брат священник. Мы видим его на иллюстрациях - а они очень часто служат восхитительным дополнением текста, видим его кроткие глаза, жесткие усы и глуповатый подбородок, когда он подает Бекки чашку кофе с немой преданностью или смотрит на маленького Родона с неизъяснимой отцовской нежностью. Все идолопоклонническое чадолюбие Эмилии не трогает нас, как в "глупом Родоне" - его способность любить.

Доббин придает ореол благодетеля всем нескладно скроенным джентльменам среди наших знакомых. Большие ноги и оттопыренные уши с этих пор кажутся несовместимыми со злом. Доббин, неуклюжий, тяжеловесный, застенчивый и до нелепого скромный из-за

сознания своей некрасивости, тем не менее во всем верен себе. На какое-то время он превращается в униженно-робкого обожателя Эмилии, но затем рвет эти цепи, как истинный мужчина - и, как истинный мужчина, снова их на себя налагает, хотя уже заметно разочаровался в своей пленительной мечте.

Но вернемся на минуту к Бекки. Единственный упрек, который мы могли бы по ее поводу сделать автору, он почти предотвратил, дав ей в матери француженку. В этом умном маленьком чудовище есть столько дьявольски французского! Такая игра природы, как женщина без сердца и совести, в Англии была бы просто тупым извергом и отравила бы половину деревни. Франция же край подлинной Сирены, существа с лицом женщины и когтями дракона. И нашу героиню можно было бы сопричислить к тому же роду, к которому принадлежит отравительница Лафарж, но только она во всех отношениях выше этой последней, ибо для полного развития своих талантов ей не было надобности прибегать к столь вульгарным средствам, как преступление. Верить, будто Бекки при каких бы то ни было обстоятельствах могла пустить в ход столь низкий прием, а уж тем более попасться, значит подвергнуть оскорбительному сомнению ее тактику. Поэтому нам остается только восхищаться величайшей сдержанностью, с какой мистер Теккерей дал понять, что отходу Джозефа Седли в мир иной могли содействовать кое-какие превосходящие обстоятельства. Менее деликатное обращение с этой темой испортило бы общую гармонию замысла. Не тонким сетям "Ярмарки тщеславия" было бы извлечь на берег обременительный груз, рисуемый нашим воображением. Он порвал бы их в клочья. Да и нужды в этом нет никакой. Бедняжка Бекки настолько дурна, что удовлетворит самого пылкого поклонника нравоучительных писаний. Порочность свыше определенного предела ничего не добавляет к удовлетворению даже строжайшего из моралистов, и к большим достоинствам мистера Теккерея принадлежит, в частности, та умеренность, с которой он ее использует. К тому же весь смысл романа, дающего нам в руки этот образчик, чтобы снисходительно прилагать его друг к другу, полностью пропадает, едва вы признаете Бекки виновной в страшнейшем из преступлений. У кого достанет духа сравнить свою дорогую подругу с убийцей? Тогда как сейчас в кругу наших очаровательных знакомых даже самый малый симптом

обаятельной бесцеремонности, учтивой неблагодарности или благопристойнейшего эгоизма можно тотчас измерить с точностью до дюйма и надежно подавить, просто приложив к ним мерку Бекки - причем куда успешнее, чем обрушивая на них громы всех десяти заповедей. Благодаря мистериу Теккерейу свет теперь обеспечен идеей, которая, как нам кажется, еще долго будет играть роль черепа на пиру в каждой бальной зале и в каждом будуаре. Так оставим же ее нетронутой во всем своеобразии и свежести - Бекки, и только Бекки. Поэтому мы рекомендуем нашим читателям не обращать внимание на иллюстрацию второго появления нашей героини в виде Клитемнестры, которое отбрасывает такую неприятную тень на заключительные главы романа, и не замечать никаких намеков и иносказаний, а просто вспомнить о переменах и опасных случайностях, которым подвержено человеческое существование. Джоз долгие годы провел в Индии. Жизнь он вел дурную, ел и пил неумеренно, а пищеварение у него было куда более скверным, чем у Бекки. Ни одно уважаемое страховое общество не стало бы страховать "Седли Ватерлооского".

"Ярмарка тщеславия" в первую очередь - злободневный роман, но не в пошлом смысле слова, примеров чему предостаточно, а как точная фотография нравов и обычаев XIX века, запечатленная на бумаге ярким светом могучего ума, и кроме того на редкость художественная. Мистер Теккерей с необыкновенным умением ведет воображение, а вернее, память своего читателя от одной комбинации обстоятельств к другой, через случайности и совпадения будничной жизни, - так художник подводит взгляд зрителя к теме своей картины с помощью искусного владения колоритом. Вот почему никакое цитирование его книги не воздаст ей должного. Цветник повествования так оплетен и перевит тончайшими побегами и усиками, что невозможно отделить хотя бы один цветок на достаточно длинном стебле, не умалив его красоты. Персонажи романа связаны той взаимозависимостью, без которой изображение будничной жизни вообще невозможно: ни один из них не поставлен на особый пьедестал, ни один не позирует для портрета. Пожалуй, найдется лишь одно исключение - мы подразумеваем старшего сэра Питта Кроули. Возможно... нет, даже несомненно, этот баронет был списан с натуры в гораздо большей мере, чем прочие персонажи романа. Однако, даже если так, это животное являет собой столь редкое исключение, что остается только

дивиться тому, как проницательный художник умудрился втиснуть его в галерею, переполненную столь хорошо знакомыми нам лицами. Быть может, сцены в Германии покажутся многим читателям английской книги преувеличенно нелепыми, написанными нарочито грубо и топорно. Однако посвященные не замедлят обнаружить, что они содержат некоторые из самых ярких мазков истины и юмора, какие только можно найти в "Ярмарке тщеславия", и удовольствие от них несколько не омрачается тем, что автор тут словно бы мечет свои стрелы в наших соседей за границей. И сцены эти совершенно необходимы для полного понимания героини романа, который вообще может рассматриваться, как "годы странствий" Вильгельма Мейстера в юбке, только куда более умного. Мы видели ее во всех перипетиях жизни - и вознесенной и низвергнутой, среди смиренных людей и светских, великих мира сего и столпов благочестия, - и каждый раз она являлась нам и совсем новой и прежней. Тем не менее Бекки в обществе студентов совершенно необходима, чтобы мы могли отдать ей полную меру нашего восхищения.

ЭДВАРД БЕРН-ДЖОНС
ИЗ "ЭССЕ О "НЬЮКОМАХ"

Прошло уже полгода с тех пор, как мистер Теккерей выпустил в свет свою последнюю и самую значительную книгу, которая за то время выдержала суд читателей и критиков, сошедшихся в благоприятном мнении и согласившихся, что это мастерски написанное сочинение весьма полезно обществу, перед которым автор развернул картину его жизни с большой правдивостью и тактом. Мы ждем, что сочинителю не будут более адресовать упреки в жесточенности и нездоровом тяготении к изображению зла, упреки, очень быстро ставшие бессмысленными от бесконечных повторений и послужившие, боюсь, причиной огорчительного суесловия и лицемерия, вошедшего в привычку. Увы, сколь часто все эти блистательные формулы, в которые мы облакаем собственное несогласие или критические замечания, распространяются - и не без нашего участия - как самоочевидные и причиняют людям горе, а нам самим несут невозполнимые потери! Еще недавно имя Теккерей сопровождалось *in perpetuum* {Постоянно (лат.).} суровым осуждением за выказанный интерес к дурному, равно как за Сатиру и за клевету. Но словно для того, чтоб заглушить порой еще звучащий в наших душах

голос правды, вокруг немедля расцвело самодовольство, последовали славословия нашим бессчетным социальным преимуществам и нашему национальному характеру, ибо давно замечено, что тот, кто так охотно сознается в самых неприглядных своих свойствах (будь это истинным смирением, то было бы примером благодати, необычайно поучительным для всех христиан на свете), впадает в странную досаду, когда к его словам относятся серьезно, ссылаются на них или же обращают против говорившего, либо считают справедливыми признания в грехах, произнесенные им в церкви. Не есть ли это повседневное смирение чистейшим лицемерием и верхом нашего нечестия? Не закосней мы в показном благочестии, зачем бы нам нелепо отвергать то, что мы сами говорили о себе, когда нам это повторяет брат наш, зачем упорно обвинять в язвительности или мизантропии писателя, правдиво показавшего нам зло, которое мы не можем отрицать, и прегрешения, в которых мы и сами признаемся? Пришла пора покончить с неразумным, ибо превратным мнением, что Теккерей изображает лишь дурную сторону действительности, ибо он, наконец, добился репутации правдивого писателя и как никто стяжал безмерное доверие публики.

Увидев в "Ньюкомах" на диво верную картину мира, каким он предстает всечасно, картину пеструю и противоречивую, увидев, как писатель раскрывает многочисленные тайны нашего существования, с благоговейным трепетом снимая с мира пелену непознаваемого, можно ли не внимать ему с почтением и громко не воспеть хвалу за славный дар, не опасаясь впасть в преувеличение, или же умалить его.

Мне представляется, что эта книга родилась на свет, прежде всего чтоб вскрыть распространенную болезнь нашего общества - несчастное супружество и показать причины этого недуга - браки, которые заключены отнюдь не на небесах, и если все-таки не в нашем странном мире, то менее всего на небесах... В романе множество семейных пар, которым лучше было б никогда не сочетаться браком; мы узнаем об их последующих несчастьях - больших или не очень, в зависимости от дурных или хороших свойств людей, соединенных узами супружества. Мы видим там мадам де Флорак, святую, набожную, самоотверженную женщину, вся жизнь которой - дрящущая боль и каждый день подобен смерти, она живет так сорок лет, и ей легко сказать со всем спокойствием: "Я не боюсь конца, он

принесет с собой великое освобождение". Что будет с Клайвом, соединившим, но не слившим свою жизнь с молоденькой и глупенькой женой? Она ему не пара, она его не понимает, но согласимся все-таки, забыв досаду, что ей скорее свойственна беспечность, а не эгоизм, а если эгоизм, то не закоренелый, - право, она достойна лучшей участи, и несмотря на обстоятельства, их жизнь могла бы быть и лучше. Но Клайв ведь не любил ее, он знал, что его сердце занято другой, но все-таки женился и, значит, совершил дурной поступок - и безрассудный, и жестокий. Старшим казалось, что это замечательная партия - деньги в соединении с молодостью, красотой и дружелюбным безразличием, а посмотрите, как все это кончилось! Что же сказать о браке в высшем свете? О счастье и семейном очаге сэра Бернса Ньюкома, баронета? Если предыдущая история нам кажется ужасной, так какова же эта? Правду сказать, все это нам давно знакомо, мы уже где-то это видели, - да, безусловно, видели в картине "Модный брак", принадлежащей кисти Хогарта; она стоит передо мной во всей наглядности изображенного на ней кошмара и кажется мне живописным воплощением "Ньюкомов".

Я очень сожалею, что ограниченные рамки очерка не позволяют мне проникнуть глубже в эту социальную проблему, но как ни мелко и ни легковесно поверхностное ее упоминание, я вынужден так поступать. Однако в истории героев этого романа затронута и решена еще одна проблема чрезвычайной важности, которой следует коснуться в этом беглом очерке. Прискорбно обойденная вниманием, она плодит немало грустных и не поддающихся учету следствий. Но в данном случае я меньше сокрушаюсь о краткости того, что собираюсь высказать, ибо все с этим связанное изложено в памфлете о прерафаэлитях, принадлежащем перу Рескина и кое-где в других его работах.

Я хочу напомнить тот эпизод романа, где Клайв сообщает своему отцу, что всей душой мечтает стать художником и посвятить себя искусству, но славный полковник Ньюком, который страстно любит сына и с радостью бы умер за него, не в силах здесь его понять. Добро бы сын это придумал для забавы, из утонченного дилетантизма, но стать профессиональным живописцем и жить плодами рук своих непостижимо и непростительно с позиций света, с позиций истинной благопристойности. Клайв должен выиграть нелегкое сражение, ведь

даже Этель не сочувствует ему и смотрит на его мечту сквозь лондонский туман. После всех наших панегириков душе пожертвовали ли мы хоть чем-нибудь ради нее на самом деле? Мы, написавшие о ней бесчисленное множество томов, воспевающие ее под благозвучнейшими именами ради того, чтоб насладиться самым звуком всех этих имен, воздали ей как должно лишь тогда, когда не размыкая уст, в молчании назвали ее Славой Божьей и вняли гласу Бога, который восшумел сильнее грома и плеска вод и был нежнее дуновенья ветерка. Но ради злого духа моды мы осквернили Славу Божью и отвратили слух от вразумляющего гласа. Благоприличия? Когда же мы очнемся и стряхнем с себя кошмарный сон, чтоб перейти от призраков к осознающему себя достоинству труда, к признанию величия любой души? Мне бы хотелось, чтоб при вступлении в жизнь юноши мы, прежде всего, думали не о том, чем ему заниматься, а как, с какой мерой совершенства он сможет исполнять то или иное дело. Тогда мы будем вопрошать иначе: "Где может быть всего полезней данный человек?" На это Бог нам дал ответ: "Всего полезней человек, когда он выполняет то, что доставляет ему больше счастья", ибо в таком свидетельстве есть истина.

Но этот ли вопрос, отцы, вы задаете своим детям и учите их задавать себе? Что принесет им больше счастья? Не преходящее блаженство праздности, а продолжительное, подлинное счастье? Это вопрос о том, к чему они наиболее способны, что могут лучше всего делать, как могут лучше всего славить Господа. Если бы их об этом спрашивали с самого начала, если бы это стало правилом и целью наших действий, мне кажется, что мы намного реже бы встречались с безразличием, поспешностью, апатией и глубочайшим утомлением, которые сейчас встречаются повсюду и поражают, как параличом, искусство, власть и человеческие отношения.

Касаясь стиля и манеры Теккерера, я нахожу, что невозможно не назвать важнейшие начала его книги: одно - юмористическое, и второе - трогательное, которые так благородно сочетаются. Сначала вспомним юмор автора, он предстает как легкая ирония, разящая сатира и откровенная улыбчивость и веселость - из-за нее-то, главным образом, ревнители религии не одобряют Теккерера. Но мы об этом мало сокрушаемся, пока они такие, каковы сегодня: конечно, очень неприятно быть осмеянными, но нужно согласиться и с писателем -

над ними невозможно не смеяться... Я нахожу, что книги Теккерея способствуют победе правды нравственной и жизненной. Нравственной - потому что автор не превращает негодяев в мучеников, обрушивая на их головы несчастья и заслуженные кары, а ставит преступление к позорному столбу и подвергает осмеянию, безжалостным издевкам и полнейшему презрению - только презрение положено испытывать к нему мужчинам, ибо нам не дано измерить все безумные последствия греха. А правде жизни автор помогает, верно изображая неотвратимое возмездие и общую судьбу всех грешников. Мир Теккерея - это не царство грез или волшебных небылиц, где после горя и напастей всем добрым воздается по заслугам и зло, после недолгого триумфа, наказывается по всей суровости, а жизнь, которой мы живем на самом деле, исполненная горя и волнений и даже зависти для тех, кто видит, как высоко вознесены бывают недостойные, и как незыблема несправедливость, и как убого собственное их существование.

Что я могу сказать о трогательности написанного Теккерея? Оно необычайно искренно и благозвучно. Мы и не знали, что человеческая речь бывает так напевна - писатель то и дело воспаряет до высот поэзии. Как цвет облагораживает все, что им насыщено, так и большое, сострадающее сердце облагораживает все, чему сочувствует и с чем соприкасается... Я думаю, что Теккерей будет когда-нибудь причислен к величайшим знатокам природы, будет сочтен Шекспиром-младшим в кругу творцов и летописцев, чьи книги издаются с золотым тиснением, в кругу больших поэтов, музыкантов и художников, - всех тех, кого сжигало сострадание к людям и кто в неумирающую песнь и звонкие пэаны сумел переложить людские горести и радости.

МАРГАРЕТ ОЛИФАНТ

ИЗ СТАТЬИ "ТЕККЕРЕЙ И ЕГО РОМАНЫ"

О Диккенсе и Теккерее в грядущем будут говорить, как мы сегодня говорим о столь же разных Ивлине и Пеписе, но если переменится звезда того, кто ныне полновластно царствует в искусстве сочинения романов, стране не миновать братоубийственной войны из-за того, кому из них двоих должно занять освободившийся престол. Впрочем, не станем прежде времени решать этот волнующий вопрос, тем более что для сравнения этих сочинителей, чьи имена так часто произносят вместе, нет никаких реальных оснований, и среди сонма

их читателей не сыщется, должно быть, двух людей, столь мало схожих меж собой, как Теккерей и Диккенс.

Все хвалят Бекки Шарп и ту историю, в которой ей отведена весьма значительная роль, но всем ли по душе эта умная, скептическая, неприятная книга? О "Ярмарке тщеславия" не скажешь ничего такого, чего бы прежде не заметили другие, иначе говоря, того, что все прохвосты в ней умны и занимательны, все положительные персонажи - дураки, что Эмилия - большая клевета на женскую половину рода человеческого, нежели сама Бекки Шарп, и что роман, пестрящий действующими лицами, читается с огромным напряжением и не дает нам ни малейшего отдохновения, - мы видим лишь, что все достойные герои пасуют перед подлецами, нисколько не пытаюсь сделать вид, будто уравнивают чашу зла. Во всем романе нет ни одного героя, который может вызвать хоть намек на сострадание, кроме Доббина, - славного Доббина, наделенного верным сердцем и кривыми ногами. За что майору достались кривые ноги, мистер Теккерей? Неужто не запятнанный моральной шаткостью герой должен платить за это упущение физическим уродством? Однако и кривые ноги при всей их некрасивости приносят их обладателя в заветный край читательской любви, в то время как в душе у самого горячего поклонника талантов Бекки Шарп навряд ли шевельнется это чувство. Правда, и бедная, жалкая глупышка Эмилия способна ненадолго тронуть сердце, когда стоит по вечерам у дома Осборнов на Рассел-сквер, чтобы украдкой бросить взгляд на своего ребенка, но, в целом, она слишком незначительна, чтобы завоевать любовь. Мистер Теккерей написал очень умную книгу, и с этой книгой к нему пришло всеобщее признание и успех. В ней много замечательных достоинств: блестящие и меткие суждения, удачные и неожиданные обороты речи, точно и выпукло описанные сцены, к тому же, это увлекательное чтение, не допускающее и тени скуки. И все-таки, перевернув последнюю страницу, мы понимаем, что из всех героев только один задел нас на живое - один лишь майор Доббин заслуживает толики привязанности.

В другом большом произведении, где можно разом лицезреть и принципы, которым следует писатель, и пеструю картину нравов, историком и наблюдателем которых он является, - в "Пенденнисе" - несколько больше досто-хвального. Там мы встречаем Уоррингтона, по

счастью не униженного колченогостью, и милейшего Артура Пенденниса, с виду и впрямь похожего на ангела. Досадно, что такой достойный человек, как Уоррингтон, влачит убогое существование в меблированных комнатах на Лэм-Корт и, скуки ради, чтоб заглушить душевную тоску и ощущение бессмысленности жизни, строчит в вечерние часы статейки, судьба которых ему совершенно безразлична. Никто лучше мистера Теккерей не может описать бесцельность человеческого бытия и показать, как с каждым днем уходят без следа дарованные от природы редкостные силы, но все же мы надеемся, что в богатейших кладовых искусства беллетристики найдется средство вызволить героя из объятий злой судьбы. И сам Артур Пенденнис, при всей своей пригожей внешности, успехах в свете, славе романиста - в конце концов, всего только пустейший малый, в котором невозможно видеть не только идеального героя, но и обычного положительного человека - в том есть какие-никакие, а достоинства, тогда как этот джентльмен не может ими похвалиться. Мистер Теккерей нимало не скрывает своего пренебрежения к возвышенности нынешних писаний и не допустит неземную личность главенствовать в своих романах, но в Артуре Пенденнисе слишком уж мало от героя, и там, где нам бы следовало восхищаться, мы, к сожалению, больше склонны презирать. Возможно, таково оригинальное искусство, но не правдивое и не высокое, а, впрочем, даже и не оригинальное, и мистер Пен похож на Тома Джонса, хоть и заткнет его за пояс. Нам не в пример приятней повстречаться с Гарри Фокером, создание которого - особая заслуга мистера Теккерей, в его лице избавившего от забвения подобный тип людей и осветившего их ясным, добрым светом. Славный Гарри Фокер звезд с неба не хватает, не отличается благовоспитанностью и слабоват в правописании, и все же это воплощение порядочности, непоказного, истинного мужества и неподдельной доброты. Да, это, разумеется, не утонченный джентльмен, и только настоящий гений мог пробудить в читателе любовь к такому простаку. Художник менее крупный, должно быть, побоялся бы столь недалекого героя, чьи слабости снижают впечатление, но мистер Теккерей сумел запечатлеть сияние этого неограненного алмаза - его почтение к добродетели, скромность, отзывчивость и неожиданную глубину чувств. Можно ли не удивляться, что писатель, блестяще справившийся с подобной задачей, так мало пользуется этой поистине волшебной стороной своего

дарования, но это остается тайною и для него самого. Что лучше - сорвать покров с невидимого зла или открыть добро там, где его никто не замечает. Мистер Теккерей, который любит поугаивать своих доверчивых читателей туманными намеками на окружающие их со всех сторон ловушки и наводящий ужас на мамаш своими устрашающими недомолвками о скверных мыслях, тревожащих умы их милых школяров, оказывает всем нам важную услугу, когда изображает честных, славных малых, вроде Гарри Фокера, Джека Белсайза и даже Родона Кроули, но не Пенденниса со всеми его редкими талантами, ибо он, если что и призван показать, то прежде всего цену воспитанию и цивилизации девятнадцатого века. Что за чистосердечный, благородный джентльмен лорд Кью, насколько же он выше всяческих Белсайзов! Будь он героем книги, о лучшем не пришлось бы и мечтать.

И лишь в одном "Пенденнис" хуже "Ярмарки тщеславия": Бланш Амори намного омерзительнее Бекки, поскольку уступает ей в уме. Как много следует взыскать с мистера Теккерей, чтоб отпустить ему вину перед женской половиной рода человеческого: какую он нам приписал товарку! Нужно создать, по меньшей мере, Дездемону, чтоб искупить такое оскорбление! По силам ли ему вторая Дездемона? Он смог прибавить несколько приятных личностей к числу наших знакомцев, и встречу с Пенном может возместить Уоррингтон, но кто вознаградит читателей за встречу с Бланш?

Здесь мы подходим к самому серьезному просчету нашего писателя. Надо полагать, мистери Теккерейю не доводилось видеть женщин, которые уже перешагнули порог детской, но в то же время не примкнули к кругу светских барышень, не чающих души во всех малютках поголовно и поджидающих в засаде мужа побогаче. Образ "прекрасной женщины, задуманной прекрасно", чужд творческой фантазии писателя, возможно, потому, что мистер Теккерей описывает высший свет, который лучше всего знает, и ополчаясь на его пороки, считает их вселенскими пороками, ибо для нашего историка весь мир исчерпывается "хорошим обществом".

Расставшись с "Пенденнисом", мы узнаем, что Теккерей покинул прежние пределы и больше не пишет на легком и непринужденном языке сегодняшнего дня, приправленном жаргоном, которым он блистательно владеет, а пишет на классическом английском языке,

отточенными антитезами, изящными сентенциями, которыми обменивались те изысканные господа, что украшали себя кружевами, носили пудренные парики с косичками и мушки. Хотя и в "Истории Эсмонда" есть некая серьезная ошибка, мы, тем не менее, не можем не признать, что это замечательно написанная книга. Чуть ли не все подобные романы, которые нам привелось читать, за исключением романов Скотта, в сравнении с ней, не более чем маскарад. Надо сказать, что, несмотря на Рамили, Блейхейм и на Стиля с Аддисоном, автор описывает эпоху отнюдь не великую, но делает это так тщательно и достоверно, что создает не просто исторический роман, а самый точный образец подобного романа в отечественной литературе. Ничто не может быть правдивее и трогательней, ничто не может столь же походить на подлинное жизнеописание, если, конечно, авторы таких жизнеописаний владеют тем прекрасным слогом, каким мистер Теккерей одарил Генри Эсмонда, рассказывающего историю об одиноком мальчике из Каслвуда, о его наставниках и покровителях. Это творение совершенно не только с точки зрения верности жизни, которая непреходяща и нетленна, но также с точки зрения нравов неуловимых и изменчивых. Гарри Эсмонд не мальчик викторианской эпохи в детском камзолчике, сшитом по моде времен королевы Анны, Эсмонд нимало не опережает свою пору и не глядит на Блейхейм сквозь призму Ватерлоо, затмевающего своим блеском славу давнего сражения. Следя за всеми перипетиями романа, читатель ни разу не почувствует обмана или разочарования, ибо герой не носит маску, чтоб скрыть от нас свое лицо - лицо нашего современника. "Эсмонд" - блестящий, поистине непревзойденный исторический роман, достойный всех рукоплесканий, законно выпадающих на долю сочинителя, преодолевшего столь многочисленные трудности.

Однако в этом замечательном произведении, в котором очень много достохвального, - если считать его повествованием о жизни, притязающем на всеобщее сострадание - таится страшная ошибка, она и потрясает самые святые наши чувства и задевает самые заветные пристрастия. Леди Каслвуд, наперсница героя, который поверяет ей свою любовь к ее дочери, сама вознаграждает Эсмонда за огорчения по части нежных чувств, но до чего невыносима мысль, что эта чистая, как ангел, женщина, суровая, как подобает всякой чистой женщине, к малейшему проявлению криводушия, супруга, мать, огражденная

любовью непорочных крошек, на протяжении многих лет питает тайную сердечную привязанность к юнцу, которому предоставляет кров! Чудовищная и неискупимая ошибка!.. Известно, что поэты воспевают юную любовь. Порою мода требует от них героя более зрелого, но для того, чтоб героиня средних лет была в какой-то степени приемлема, необходимо описать ее серьезную, долгую и верную привязанность к единственному другу сердца. Любившая двоих не может не лишиться своего первоначального достоинства, и женщину, вступающую в брак вторично, необходимо оправдать насильственностью первого союза или горчайшим и непоправимым разочарованием в супруге. Как бы то ни было, она себя роняет; не удовольствовавшись этим, мистер Теккерей низводит леди Каслвуд окончательно. Чем провинилась Рейчел Каслвуд перед автором, который вынудил ее влюбиться в Генри Эсмонда, пламенного воздыхателя ее дочери, верного слугу ее мужа и ее собственного преданного и почтительного сына?

К тому, что уже сказано, еще можно прибавить много слов не столь уж лестных для писателя. Не самое приятное на свете - узнать, что нашим неиспорченным подросткам по окончании школы предстоит нырнуть в пучину "темных" удовольствий, чтоб вынырнуть очистившимися и обновленными, как это было с лордом Кью. Не слишком радуется, что нам не миновать, быть может, откровений о наших братьях, сыновьях или отцах, какие Этель Ньюком довелось прочесть в послании герцогини д'Иври.

И трудно согласиться, что между чистым духом детства и добродетельностью зрелых лет есть "царство тьмы", через которое проходит каждый юноша. И непонятно, какую пользу извлекает молодежь из утверждений автора, что этот искус неизбежен. Чтоб привести учеников к великому добру, учителю не стоит подвергать их испытанию великим злом.

Мы не вполне уверены, что диалоги мистера Теккерера окажут благотворное влияние на наш родной язык. Они очень умны и занимательны и пересыпаны чудесными жаргонными словечками, но мы, признаваясь, сомневаемся, что, превратив все наши острова в один большой Ист-Энд и научив британцев говорить, как кокни, и острить, как кокни, мы им окажем добрую услугу. Отечественная беллетристика легкого толка уже имеет сильный призыв этого

наречия. А наши досточтимые союзники, что обитают по другую сторону канала, не так уж сильно преуспели, сделав всю Францию Парижем, чтоб стоило перенимать подобный опыт. Лондон, конечно, величайший современный город, но это все-таки еще не Англия, хотя язык, которым говорят его бродяги, похоже, вскорости распространится повсеместно, так что когда-нибудь его сочтут классической речью нашего поколения. Романы мистера Теккерея написаны столь чистым, энергичным слогом, его герои говорят столь выразительным, свободным и забавным языком, что для такого мастера не может быть запретов, но у каждого Диккенса и у каждого Теккерея есть толпы подражателей, и больно наблюдать, как волны лондонского просторечия вторгаются в язык Шекспира и Бэкона и угрожают затопить его в конце концов, и с каждым днем эта опасность нарастает.

УИЛЬЯМ РОСКО

ИЗ СТАТЬИ "У.-М. ТЕККЕРЕЙ, ХУДОЖНИК И МОРАЛИСТ"

Мистер Теккерей уже слишком велик даже для большой розги солиднейших журналов. Долгие годы усердного ученичества на поприще литературы были вознаграждены высоким положением в избранной им профессии. Он пожинает заслуженный урожай доходов и славы, он может позволить себе улыбку по адресу зоилов и хвалу получает как дань, а не как награду. Поэтому мы намерены просто рассказать о том, что нашли в прочитанных нами книгах и какой свет, по нашему мнению, они бросают на талант автора - в частности, на две его стороны, обозначенные в заголовке.

Как художник, он, пожалуй, величайший живописец нравов, какого когда-либо видел мир. Он обладает несравненным умением мгновенно и точно схватывать во всем их многообразии особенности людей и общества, а также изумительной памятью и поразительной способностью воплощать свои наблюдения ярко и живо. Его принято сопоставлять с Аддисоном и Филдингом. Быть может, в тонкости обрисовки он уступает первому, но как пресен и скуден "Зритель" в сравнении с "Ярмаркой тщеславия"! Широта и энергия Филдинга, разумеется, вне сравнения, но два из главных его достоинств - богатство второстепенных персонажей и разнообразие характеров - взлетают под потолок, если на другую чашу весов бросить те же качества Теккерея. Филдинг гордится собой, потому что умеет,

сохраняя общность, налагаемую профессией, показать различия между двумя трактирщицами. Теккерей же легко нарисует их десятка два - и ни одну из них не спутаешь с другой. Просто диву даешься, с каким количеством людей знакомимся мы в каждом его романе. Возьмите, например, "Пенденниса". Потребуется не менее двух страниц только для того, чтобы перечислить действующих лиц. И каждый роман представляет собой от пятидесяти до ста совершенно новых и не похожих друг на друга личностей.

Говоря о нравах, мы, естественно, подразумеваем и людей. Нравы, бесспорно, можно обрисовать и без людей, но лишенное конкретных примеров, это будет безжизненное, бесцветное описание. Тем не менее изображение нравов, в отличие от изображения характеров, обязательно в той или иной мере превращает людей в придаток к костюмам. Мистер Теккерей рассказывает нам о комнате, увешанной "резными золочеными рамами (с картинами внутри)". Таковы творения сатирика и карикатуриста общественных нравов. Человеческие фигуры нужны ему ради обрамления. Человек используется для объединения и иллюстрирования своего общественного окружения. Правда, мистер Теккерей злоупотребляет этим в гораздо меньшей степени, чем большинство художников того же направления. Можно даже сказать, что среди них он выделяется не только плодотворностью воображения, но еще и тем, что гораздо чаще рисует индивидуальные портреты. Тем не менее, в конечном счете он все-таки живописец нравов, а не личностей.

Человеческое сердце в обобщении - человек в взаимоотношениях с себе подобными - вот его тема. Актеры его очень индивидуальные и своеобразны всякий на свой лад, написаны они верно, ярко, великолепно - все по-своему шедевры, однако высший интерес автора не сосредоточен на особенностях характера каждого. Это лишь часть более широкой и обобщенной темы для размышлений. Он изучает человека, но человека как общественное животное, человека, рассматриваемого через опыт, цели и привязанности, находящие выход в его связях с другими людьми, и никогда - человека как индивидуальную личность. Он не углубляется во внутреннюю, скрытую подлинную жизнь, которую любой человек ведет вне общения с себе подобными, ту потаенную келью, которая открыта лишь небесам вверху или преисподней внизу. И он прав:

воздерживаясь от таких попыток, он поступает мудро, ибо остается на позициях, где его преимущество неоспоримо, и сохраняет верность своему гению. Но по сравнению с тем, другим, гений этот низшего порядка. Способность исследовать и живописать индивидуальную душу во всей полноте ее связей выше той, которую мы находим у мистера Теккерея. Тут мы сталкиваемся с очень распространенной путаницей. С одной стороны, утверждается, что проникнуть в тайную тайных характера и дальше сходить из нее (что, разумеется, возможно только с помощью воображения) - искусство более высокое, чем использование внешних подробностей, которые собираются с помощью опыта и наблюдательности; с другой стороны, нас убеждают, что куда легче дать волю воображению, чем набрать необходимые запасы сведений о реальной жизни - полагаться на фантазию, вместо того, чтобы верно рисовать окружающую жизнь. Распутать этот узел не так уж трудно. Бесспорно, много легче набрасывать бледные неопределенные тени характеров, почерпнутые из воображения, чем: исходить из внешних проявлений реальной жизни, которая разворачивается перед нашими глазами. И много легче выдавать эти тени за нечто подлинное, именно потому что они тени и не подлежат проверке пробным камнем реальности в отличие от характеров, создаваемых вторым способом. Но возьмите более сильный талант, и вверх взлетит уже другая чаша весов. Легче быть Беном Джонсоном или даже Гете, чем Шекспиром. В целом можно сказать, что чем менее стихийен материал, которым пользуется художник, тем меньше воображения ему требуется, и тем менее он - творец: архитектор уступает тут скульптору, историк - поэту, романист - драматургу. Те, кто рисует жизнь общества, обычно обладают не столько творческим характером, сколько способностью к упорядочению разрозненных частных частей. В интриге и развитии сюжета мистер Теккерей показывает лишь весьма высокое умение перегруппировывать свои персонажи и аранжировать описываемые события, однако, лучшие из его созданий, бесспорно, рождены процессом творчества: это живые, дышащие люди, отличающиеся от всех остальных не только теми или иными чертами характера, но и тем ореолом индивидуальности, одарить которым способен только гений. Отличительная их черта, свойственный им всем недостаток, как мы уже говорили, заключается в том, что ни один из них не завершен, и индивидуален лишь

настолько, насколько это совместимо с неким обобщенным целым. Ни одного из них мы не узнаем исчерпывающе - как знаем себя, как - по нашему убеждению - рисуем в воображении других. Мы знаем о них ровно столько, сколько можно обнаружить в светском общении. Мистер Теккерей глубже не проникает и не дает понять, будто сам знает больше, а, напротив, откровенно объявляет, что ничего больше ему о них не известно. Он рассказывает о их поведении, описывает лишь ту меру чувств и проявлений характера, которая открывается в выражении лица, в поступках, в голосе - и только. Точно вы знакомитесь с реальными людьми в реальной жизни, часто с ними видите и мало-помалу узнаете их, как мы узнаем самых близких друзей. Разумеется, узнать больше о человеке никто из нас не способен, но вообразить мы способны много больше, и художник тоже мог бы сообщить нам гораздо больше, пожелай он того. Даже самых близких друзей мы не знаем до конца и всегда полагаемся на воображение. Из тех отрывочных представлений, какими нас снабжают наблюдения и симпатия, мы создаем целое на свой лад, - более или менее соответствующее действительности в зависимости от того, что нам удалось узнать по-настоящему, более или менее завершенное и своеобразное в зависимости от силы нашего воображения. И, разумеется, каждый человек в действительности не совсем таков, каким он представляется каждому из тех, кто его окружает. Но без этой работы воображения, мы вообще ничего друг о друге не знали бы, ограничиваясь лишь смутными разрозненными намеками на нечто, существующее где-то рядом с нами.

Быть может, величайшая и высочайшая прерогатива поэзии, или литературы, или... (подойдет любое обобщающее название, которым мы обозначаем искусство, воплощаемое в словах) заключается в том, что художник обретает власть изображать подлинную внутреннюю жизнь и индивидуальный характер живой души и дано это лишь изящной словесности. Драматург и романист обладают способностью вообразить законченный характер и представить нам свое понятие о нем. И чем законченнее, чем убедительнее сумеют они внушить нам его идею во всей ее полноте и потаенности, тем ближе окажутся они к совершенству в своем искусстве. Теккерей же предоставляет читателю полагаться на собственное воображение. Он не дает никаких ключей к рисуемому им характеру, как к таковому, не приобщает нас к образу,

живущему в его собственном воображении. Возможно, сам он видит его четко, но далеко не полно, и знает о нем не больше того, что показывает нам. Его более интересуют внешние проявления чувств и характера, чем сам характер. Его цель - нарисовать не законченную, единственную в своем роде натуру, но образ, запечатленный в его сознании всей жизнью общества...

Однако индивидуальный характер - предмет гораздо более глубокий и интересный для изучения, а потому произведения таланта, которому привычки, внешние качества и случайные признания человека представляются привлекательнее самого человека, неизбежно разочаровывают нас, ибо полужнакомства с персонажами нам мало. Пока речь идет о подсобных персонажах среднего плана, это особого значения не имеет. Мы узнаем все, что нам хотелось бы знать, о таких действующих лицах, как сэр Питт Кроули, лорд Стайн, майор, Джек Белсайз, миссис Хобсон Ньюком, миссис Маккензи и так далее. Но как рады были бы мы заглянуть в подлинное сердце майора Доббина, Бекки и даже Осборна, Уоррингтона, Лоры! Как неполно, ограничено, как чисто внешне наше представление даже о неглубоком и суетном Пенденнисе! Что, собственно, знаем мы о полковнике Ньюкоме, если оставить в стороне ореол доброты и честности, окружающий одно из самых восхитительных созданий, когда-либо описанных поэтом? Но к чему сетования? Четкость понимания и законченность - далеко не едины, и на долю одних художников достается одно, на долю других - другое, и лишь крайне редко, если не сказать - никогда, бывают два этих дара в достаточной степени присущи одному человеку. Пусть гений мистера Теккерея и не принадлежит самой высокой сфере, зато в своей он самый высокий. Живость и верность его набросков во многом искупают недостаточное проникновение в глубины человеческой души. Будем же благодарны за то, что он дает нам, и не станем ворчливо требовать большего. Примем же его таким, каков он есть - как дагерротиписта окружающего мира. Он велик в костюмах. А в мельчайших подробностях так даже слишком велик - чересчур уж он на них полагается. Его фигуры соотносятся с шекспировскими, как восковые фигуры мадам Тюссо - с мраморами Парфенона в Британском музее: они выхвачены из современной жизни, и сходство достигается через обилие внешних примет обилие, чуть ли не слишком обильное. Однако его творения обладают несравненной четкостью,

тщательностью отделки, верностью и обстоятельностью всех деталей. Ему присущ особый талант воссоздавать обычную разговорную речь с той взвешенной толикой юмора или трогательности, которые придают ей остроту и занимательность, не лишая правдоподобия. Он разрабатывает тему и воплощает ее так искусно и мастерски, что внимание читателя ни на миг не ослабевает. Он берет нечто общеизвестное и превращает его в новинку, словно гончар, в чьих руках бесформенный ком глины становится кувшином. Страница за страницей он повествует о самых будничных делах со свежестью непреходящей весны. Он великий мастер драматического метода, который последнее время столь сильно тяготеет над искусством повествования. Быть может, величайшее обаяние его произведений заключается в удивительной уместности слов, мыслей и чувств, которыми он наделяет своих разнообразных персонажей. И они у него не просто выражают свои мысли, - он умудряется без малейшей утраты естественности чуть-чуть усиливать тон, что придает особое очарование тому, что говорит каждый из них...

Если бы способность создавать ощущение реальности была бы залогом высочайшего творческого таланта, Теккерей, возможно, занял бы место выше всех когда-либо живших писателей - выше Дефо. Способ, каким Теккерей создает это ощущение реальности, более сложен, чем метод Дефо. Тот довольствуется прямолинейным приемом, ведет повествование от лица своего героя. Теккерей же добивается своего эффекта во многом благодаря тому, что непрерывно связывает повествование с той или иной стороной нашего собственного будничного опыта. Его романы подобны сети, каждая ячейка которой соединена узлом с подлинной жизнью. Многие романисты обитают в собственном, ими созданном мире. Теккерей же засовывает своих персонажей в калейдоскопический будничный мир, в котором живем мы. И про них нельзя сказать "совсем, как живые", - они просто люди. Нам кажется, что они где-то рядом и в любой день мы можем познакомиться с ними воочию.

Сюжеты у него, как и характеры, лишены завершенности. Он начинает там, где начинается, без какого-либо на то основания, а кончать у него и вообще оснований нет. Он вырезает из жизни кусок, какой ему вздумается, и отправляет его господам Брэдбери и Эвансу. В "Ярмарке тщеславия" и в "Пенденнисе" персонажи расхаживают, как им

заблагорассудится, и для заключения их можно собрать в любую минуту. "Ньюкомы" начинаются историей деда Клайва, а основания, по которым роман завершается раньше кончины его внуков, к искусству ни малейшего отношения не имеют. Но это, в сущности, технический недостаток, зато во всем, что касается воплощения, Теккерей являет нам такое мастерство, что кажется, будто он обладает тайной магией: столь непринужденно достигает он совершенства, столь легка его рука. Повествование его напоминает пейзаж, который возникает под кистью великого художника словно по наитию, а не в результате сознательных усилий.

Романист, описывающий внешнюю жизнь людей, оказывается в невыгодном положении в том смысле, что он больше зависит от своего опыта, чем писатель, ставящий своей целью создание индивидуального характера. Как известно, поэт действительно способен силой фантазии и временным преувеличением неких слагаемых своей природы создать характер, подобия которому никогда в жизни не наблюдал. Гете подтверждает это собственным примером. По его словам, в юности он рисовал характеры ему вовсе неизвестные, но правдивость их была подтверждена его наблюдениями в зрелые годы. Такое свидетельство тем более ценно и потому, что Гете, как никто другой, ценил наблюдательность, и потому, что тонкое умение наблюдать, несомненно, помогло ему взыскательно проверить точность описаний, которые, как он говорит, он почерпнул из глубин собственной природы. Разумеется, даже допустив, что человек создает какой-то характер совершенно независимо от живых наблюдений, нельзя забывать, что ему все-таки требуется фон, чтобы показать этот характер, и чем шире его знания, тем лучше он может развить свою идею. Однако такому художнику все же нужно меньше, чем Теккерей или Филдингу. Эти двое полностью ограничены пределами своих наблюдений, а потому находятся в постоянной опасности повторить себя. Мистер Теккерей более поражает неистощимостью своей изобретательности в применении накопленных знаний, чем шириной охвата. Его плодовитость поражает даже еще больше, когда мы обращаемся к находящимся в его распоряжении ресурсам. Он стоит на несколько неопределенной полосе между аристократией и средними классами - это его излюбленная позиция - и, очевидно, ведет наблюдения из гостиных и столовых. За человечеством он следит из

клубов и помещичьих домов, военных видел главным образом на полковых обедах, с юристами далеко не на короткой ноге, хотя и связан с Темплом, более или менее осведомлен в жизни художников и, разумеется, хорошо знает мир профессиональных литераторов, хотя и остерегается извлекать особую пользу из этого своего опыта. В провинциальной Англии, особенно в небольших городах, он не ощущает себя дома и мало знаком с чувствами и образом жизни низших классов. О столичных франтах ему известно исчерпывающе много, а знакомство его с лакеями чрезвычайно широко. Возможно, у него имеются в запасе еще кое-какие материалы, однако уже замечаются легкие признаки истощения его ресурсов. Карта местности нам уже достаточно знакома, и мы примерно представляем себе, где проходит пограничная ограда. Поразительным остается необыкновенное разнообразие ландшафтов внутри этой ограды.

Однако есть одно направление, где ресурсы мистера Теккерей с самого начала выглядели удивительно скудными. Очень любопытно, как мало зависит он от способности мыслить, как он ухитряется существовать только на самой поверхности вещей. Быть может, он столь тонко наблюдает нравы потому, что не пытается проникнуть глубже. Он никогда не ссылается на тот или иной принцип, никогда не проясняет пружину действий. В его книгах нельзя найти того, что принято называть идеями. В этом отношении Теккерей уступает Филдингу настолько же, насколько в других он, по нашему мнению, его превосходит. Читая Филдинга, убеждаешься, что он был мыслящим человеком, и его произведения опираются на множество мыслей, хотя они и не вторгаются в них прямо. Дефо неизменно вызывает представление о деятельном сильном интеллекте. Сила произведений Теккерей питается силой его чувств, ему присущи большой талант и энергичный ум, но не *intellectus cogitabundus* {Интеллект размышляющий (лат.)}. Прочтите его прелестные и красноречивые лекции о юмористах. Казалось бы, уж тут мысль должна бы дать знать о себе, но ее нет и в помине. Он просто излагает свои впечатления об этих людях, а когда он говорит об их характерах, можно лишь воздать почтительную хвалу чуткости человека, который столь тонко улавливает отличительные черты очень разных натур. Мы менее всего желали бы, чтобы лекции писались иначе; мы убеждены, что тихая задумчивость, с какой мистер Теккерей всматривается в этих

людей, прикасается к ним, исследует их, гораздо поучительнее, чем любые хитроумные рассуждения о них, стоит много больше и способна создать куда более верное впечатление о том, какими они были на самом деле. Но столь же характерной чертой является и уклонение от мысли. Странно видеть на странице, где теккереевская оценка Стерна сопровождается заметкой Колриджа, столь близкое соседство прямо противоположных подходов к вопросу. Теккерей никогда не рассуждает, никогда не продвигается шаг за шагом от одного дедуктивного вывода к другому, но полагается на свою интуицию, взывает к свидетелю внутри нас, утверждает что-то и предоставляет этому утверждению воздействовать на читателя самостоятельно - либо оно убедит вас и вы с ним согласитесь, либо не убедит, и вы его отвергнете. Именно так провозглашались величайшие нравственные истины, - и, возможно, иначе их провозгласить вообще нельзя, - но ведь мистер Теккерей великих истин не провозглашает! В лучшем случае он обобщает некоторые свои наблюдения над обществом. Нет, он отнюдь не лишен определенной толики той квинтэссенции широкого знания людей, которая справедливо зовется мудростью, но она далеко не соответствует силе и проникновенности его восприятия. Он отдает немало места задумчиво прочувствованным рассуждениям о разных явлениях жизни. Однако все они, кроме тех, которые непосредственно посвящены чувствам, кажутся новыми и ценными только благодаря своей форме - было бы нетрудно перечислить главные его положения и пересчитать, как часто они встречаются. Он постоянно внушает нам, что "Книга пэров" - это отравы английского общества, что наши слуги выносят нам в людской беспощадные приговоры, что хорошее жалование, а не любовь делает няньку более усердной, что банкиры женятся на графских дочерях, и наоборот, что муки безответной страсти в могилу не сводят, что еще ни один человек, подводя итог своих долгов, ни разу не перечислил их все до единого. Список этот можно не продолжать. Однако какими банальными ни кажутся эти утверждения, если называть их подряд, сведя к самой сути, автор неизменно находит для каждого какое-то новое прелестное выражение или пример, так что они не приедаются. Чувства и симпатии - вот стихия мистера Теккерей. Они заменяют ему силу логики. Поэтому в женские характеры он проникает глубже, чем в мужские. Он еще ни разу не нарисовал - и не может нарисовать -

мужчину с твердыми убеждениями или философским умом, и даже в женщинах его почти исключительно интересует интуитивная и эмоциональная сторона их натуры. Эта особенность придает произведениям мистера Теккерея некоторую худосочность и поверхностность. Нигде он не оставляет печати мыслителя. Даже его провидение более метко и тонко, чем глубоко. Однако искренность его симпатий делает его особенно чутким к тому, что прячется на пограничной полосе между сердечными привязанностями и интеллектом, где расположен край тщетных сожалений и трогательных воспоминаний, обманутых надежд и умягченной грусти, засеянное поле любви и смерти в каждой человеческой душе. Голос симпатий мистера Теккерея и нежен и мужественен, когда же писатель позволяет нам поверить, что он не смеется над собой, голос этот достоин звучать в святая святых сердца. Найдется ли в царстве литературы хоть что-нибудь более проникновенное, чем мысль упокоить разбитое сердце старого полковника Ньюкома в богадельне Серых Монахов?

Трогательность мистера Теккерея хороша, но его юмор - еще лучше, он оригинальнее, взыскательнее. Писатель никогда не ограничивается просто смешным или нелепым. Ирония - вот основа его остроумия, ею пронизаны его книги. Он играет со своими персонажами. Самые простые вещи, которые они говорят, автор умеет обернуть против них же. Ему мало нарисовать человека смешным, он заставляет его самого выставлять напоказ свою смехотворность и радуется тому, что бедняга даже не подозревает об этих саморазоблачениях. С действующими лицами своих романов он обходится так, словно имеет дело с живыми людьми. Остроумие для него не игрушка, но оружие, и каждый выпад должен оставлять рану. Пусть укол и беззлобен, но он должен кого-то задеть. Писатель никогда не фехтует со стеной. Сатира его тем горше, чем он невозмутимее. Он большой мастер насмешек и ядовитых намеков и умеет нанести тяжелый удар легким оружием. Для воплощения крайних нелепостей он выбирает форму бурлеска и ищет для пародирования что-то очень конкретное. Он принадлежит к тем, кто сам над своими шутками не смеется. И смеяться читателя он заставляет не так уж часто, хотя может вызвать смех, когда захочет. Фокер - лучший из наиболее смешных его созданий. В целом же он серьезен, даже печален, но никогда не остается равнодушным к перипетиям судеб, которые

описывает, а принимает в них живое участие, хотя чаще предпочитает скрывать, кому отданы его симпатии. В глубине души он таит теплый, почти страстный интерес к своим творениям. Для него они такие же реальные люди, как и для остального мира.

Особенности его таланта делают неотразимо соблазнительным переход на личности, однако теперь он в открытой форме себе этого уже не позволяет. Ранние дни "Блэквуда" и "Фрэзера" давно прошли. И все же было время, когда он задал "Эдваджорджилитлбульвару" суровую, хотя и не вовсе беспощадную трепку; а когда сам подвергся нападению "Таймс", куснул в ответ свирепо и больно. Он склонен занашивать свои юмористические приемы до дыр. Желтоплюш с его своеобразным диалектом забавен и поучителен, но в конце концов не мог не надоесть. Орфографические нелепицы - довольно ограниченный источник смеха, а остроумие мистера Теккеря порой уж слишком зависит от чуткости его слуха к оттенкам произношения и рабской покорности, которой он добивается от искусства правописания. Имитировать с помощью типографских литер он умеет не хуже, если не лучше, Диккенса. Однако его чувство юмора иное, чем у этого последнего, и отзывается почти исключительно на странности людей или их взаимоотношений. Смешное в вещах он замечает несравненно реже Диккенса. Описание щетки Костигана, как "очень диковинной и древней" остается чуть ли не единственным, и он почти никогда не высмеивает даже внешность своих персонажей, за исключением случаев, когда костюм или манера держаться выдают те или иные черты характера. Совсем иные у него и карикатуры. Диккенс берет все нелепое и смешное, что ему удалось заметить, и соединяет этот материал в совершенно новом образе, принадлежащем только ему. Теккерей же рисует все, как оно есть, и только подчеркивает смехотворные или достойные презрения частности.

Поэтичность его таланту несвойственна. Он просто владеет стихом в той степени, какой можно ожидать у человека его способностей, и умеет этим пользоваться, а блестящий язык обеспечивает необходимую легкость и владение рифмой.

Красоту он чувствует горячо и живо. Если бы его негативный хороший вкус, отвергающий все безобразное и неуместное, равнялся бы его позитивному хорошему вкусу, обнаруживающему и ценящему все прекрасное, читать его книги было бы много приятнее. Красоту он

видит везде, любовь к ней смешивается с нежностью его природы и смягчает те его страницы, горечь которых иначе была бы непереносимой.

Что же касается дурного вкуса, то доказательств в его книгах можно отыскать более чем достаточно. Взглянуть на светское общество глазами лакея - мысль весьма счастливая, однако - хорошенького понемножку, а мистер Теккерей безжалостно нас перекармливает. Мы можем сослаться на сурово прямолинейного Уоррингтона и повторить следом за ним, что "прислуга миссис Фланаган и горничная Бетти не то знакомство, которое следует поддерживать джентльмену", и нас не удивляет "самый соблазнительный" взрыв негодования, которым "Джимс" завершает свою карьеру в "Записках Желтоплюша".

У подобного рупора есть то преимущество (если это можно назвать преимуществом), что через его посредство можно высказывать такие вульгарные, оскорбительные, задевающие чужое достоинство вещи, какие уважение к себе или стыд никогда не позволят произнести от своего имени. Это способ псевдоперекладывания ответственности. Но если мы воздаем должное Шеридану за остроумие, то должны воздать должное Теккерей за его вульгарность. Эта особенность заметно обезображивает его творения и сказывается не только в увлечении и легкости, с какими он проникает в душу лакея, но и в страсти к поискам и выставлению напоказ самых мелких и недостойных подробностей. Мы не порицаем юмориста, обнажающего вульгарность вульгарного человека и извлекающего из нее все смешное, что только можно. Саморазоблачающаяся театральная вульгарность, если ею не злоупотреблять, служит одним из справедливейших и вернейших источников смеха. А порицаем мы вульгарность в тоне произведения - обвинение, которое невозможно подтвердить ссылками на такую-то главу, стих такой-то, ибо ее можно только почувствовать, но не определить. Тем не менее, мы добавим пример, поясняющий, что имеется в виду. В первом томе "Ньюкомов" нам рассказывают, как Уоррингтон и Пенденнис устраивают в Темпле званый завтрак, на который приглашены малютка Роза с маменькой. Очень милая, полная очарования картина: рассказчик упоминает "веселые песни и приветливые лица", сообщает, какими "счастливыми" казались старинные мрачные комнаты, когда их

"осветило юное солнечное создание". Так какая же злополучная мысль заставила его уронить на это описание жирную кляксу? "Должен сказать без ложной скромности, что завтрак наш удался на славу. Шампанское было заморожено именно так, как следовало. И гости не заметили, ч_т_о н_а_ш_а п_р_и_с_л_у_г_а м_и_с_с_и_с Ф_л_а_н_а_г_а_н у_с_п_е_л_а в_ы_п_и_т_ь с у_т_р_а п_о_р_а_н_ь_ш_е". Нас не щадят и дальше в конце описания вновь упоминается "миссис Фланаган в весьма возбужденном состоянии". Бесспорно, пачкать чистое и светлое впечатление от этой сцены, не только введя в нее образ пьяной прислуги, но настойчиво упоминая о ее состоянии, это очень вульгарно. (Гл. XXIII, разрядка Роско.)

Другой неприятный недостаток порождается не просто ложным вкусом, но чем-то более глубоким, скрытым в самой сущности его гения. "Ярмарка тщеславия" - так по сути называется не один роман мистера Теккерея, но все они. Разочарование, неизбежно постигающее любые человеческие желания и надежды, сбываются они или нет, пустота светских соблазнов, непрочность привязанностей, безжалостность судьбы, безнадежность борьбы, *vanitas vanitatum* {Суета сует (лат).} - вот его темы. Усталость и уныние - вот ощущения, которые оставляют его книги. Пока вы читаете, талант автора поддерживает бодрость вашего духа, но потом наступает такой его упадок, словно вы и правда брошены в широкий мир, не имея ни надежд, ни устремлений вне его пределов; ваше горло словно першит от пыли и пепла, а в ушах звенит от бессмысленного шума и бормотания бесчисленных голосов. Искусство способно достичь самых глубоких истоков страсти - благоговение, горе и даже ужас подчинены его власти не меньше, чем смех и душевный покой. Оно может потрясти сердце, заставить дрожать все его струны силой чувств, сходной с болью, но оставить сердце неутоленным, беспокойным, тревожным - нет, не в этом назначение искусства. Быть может, порой и позволительно приобщить его к бурям, смятению, нескончаемым бедам реальной жизни. Однако разрешается это лишь на краткий срок, слишком уж особый это источник волнения! Опустить же занавес, когда сознание читателя утомлено мелкими неприятностями, озадачено непреодоленными трудностями и удручено несовершенством достигнутых целей, значит пренебречь высоким и целительным влиянием искусства, злоупотребить властью, которую

оно дает. Старинные романы, где пары счастливо воссоединяются, чтобы затем наслаждаться безоблачным счастьем до самой смерти, показывают более глубокое понимание истинного назначения искусства, чем мистер Теккерей, который не в силах удержаться, чтобы не перевернуть еще одну страницу и не показать нам, что столь долго любимая, столь долго неприступная Эмилия не приносит своему мужу особого счастья, и который вновь возвращается к благородной Лоре, чтобы сообщить нам, что, выйдя замуж за человека, во всех отношениях столь далеко ей уступающего, она неизбежно должна была утратить былую высоту духа и натуры.

Философию мистера Теккеря, как Моралиста, можно назвать религиозным стоицизмом, опирающимся на фатализм. Стоицизм этот исполнен терпения, мужественен, полон доброты, хотя и меланхоличен. Это не столько умение твердо принимать гонения судьбы, сколько слепая пассивная покорность божественной воле.

Его фатализм связан с внутренним признанием бессилия человеческой воли. Он убежденный скептик. Нет, не по отношению к религии или благоговейной вере, вовсе нет, но по отношению к принципам, человеческой воле, к власти человека над собой, касается ли это исполнения долга или сознательного выбора и достижения своих целей. Он верит в бога _вне пределов нашего мира_, а человека любит изображать игрушкой бушующего моря - ветер и волны носят его, куда хотят, порой он попадает на светлый счастливый островок, где чувства обретают покой, но для того лишь, чтобы вновь оказаться во власти ночи и бури; временами пловца ободряет и укрепляет блеснувший в вышине яркий луч, он умело правит своим суденышком, старается избежать враждебных стихий или одолеть их, однако законы навигации ему неведомы, у него нет порта, куда направлять путь, и нет компаса, чтобы этот путь определять. Цветы удовольствия, учит писатель, можно да, пожалуй, и должно рвать, пока вы молоды, но, предупреждает он, пыл ваш скоро угаснет, удовлетворение честолюбивых желаний оставит лишь горький вкус во рту, а слава - самообман. Нежные же привязанности, единственное истинное благо жизни, слишком часто губит беспощадная судьба, да они вовсе не так сильны и непреходящи, как нам мнится. А потому он может посоветовать нам только радоваться от души, страдать мужественно и сохранять терпение. Он разговаривает с вами, как один подданный

Князя сей юдоли с другим. У него нет ни стремления исправлять мир, ни желания искать спасительного средства. Его призвание - показывать времена такими, какие они есть, и, особенно, то, как распалась их связь. Его философия требует принимать людей и вещи такими, какие они есть.

Он являет собой замечательный пример того, как сила интеллекта воздействует на нравственное начало и убеждения. Насколько нам известно, он ни разу в жизни не задал вопрос "почему?" - разве только в доказательство кому-то, что нет у него ответа "потому". Сильнейшее ощущение обязательности нравственной правдивости, глубочайшее уважение и симпатия к простым и прямодушным характерам не сочетаются у него с интеллектуальными выводами. Никогда не достало бы ему интереса спросить вместе с Пилатом "Что есть истина?". Его всецело занимают нравственные симптомы, и, пристально изучая людей, поглощенный наблюдениями над тем, как по-разному встречаются они всяческие жизненные перипетии и невзгоды, он не пытается выносить свой приговор в вопросах морали. И даже редко их обсуждает. А если и обсуждает, то щепетильно отказывается класть свою гирию на ту или иную чашу весов. Во всех остальных случаях он готов выступить от собственного лица, но тут старательно прячется. Иногда он прямо предупреждает вас, что не отвечает за слова, вложенные в уста того или иного персонажа, а чаще превращает вопрос в волан, который отбивает то один, то другой участник драматического диспута, а потом роняет его точно на середине - пусть подбирает, кто хочет.

Такого рода ум и порождает в значительной мере тот скепсис, о котором мы говорили. Не может быть не скептическим писатель, если он видит обе стороны вопроса, но так и не обзавелся принципами, позволяющими твердо выбрать какую-нибудь одну из них, если у него нет свода незыблемых правил, чтобы на них опираться, и лишь нравственные инстинкты спасают его сознание от полного хаоса. Только эти инстинкты служат ему для проверки человеческих характеров и порядочности человеческих поступков, и в тех случаях, когда достаточно их одних, они действуют безошибочно, ибо у него они благородны и честны.

Он объявляет, что рисует человеческую жизнь, но тот, кто при этом не опирается на религиозную подоснову, которая одна лишь

делает жизнь человеческую не просто обрывками мимолетных грез, неизбежно оказывается несовершенным художником и ложным моралистом. И мистеру Теккерю не укрыться за утверждением, что истинное благочестие заранее исключает смешение религиозных идей с легкой литературой. Во-первых, мы вовсе не требуем постоянного видимого присутствия религиозного элемента - или вообще зримого его введения. Но пусть самый дух книги и картины жизни в ней в конечном счете основываются на нем, или хотя бы полностью не игнорируют его, как один из важнейших компонентов понятия о нашем мире. А во-вторых, потому, что мистер Теккерей позволяет себе (и вполне уместно, по нашему мнению) благоговейно вводить тему религии и рисовать смиренные души, уповающие на утешение и поддержку свыше, однако при этом, изображая религиозное чувство, он исключает подлинный дух религии и не находит места для чаяния высшей жизни, хотя мир наш был создан ради того лишь, чтобы дать поприще этому чаянию.

У нас есть и еще один упрек к картине, рисуемой мистером Теккереем взгляд его на мир чересчур уж суетен: за сарказмами и сатирой всюду слишком уж проглядывает подспудное восхищение мирскими благами, особенно теми, которые он обличает с особым ожесточением, то есть деньгами и титулами; и, самое главное, этому сопутствует унижительная чувствительность к мнению окружающих, независимо от того, как он к ним относится и уважает ли их мнение. Когда читаешь его, невольно возникает ощущение, будто он сознает в себе слишком сильную тягу к тому, на что всегда готов обрушить нравственное негодование, будто за язвительностью его шуток скрывается, как сказал поэт, "...тот дух, что породил презрение к себе, а после - смех над этим же презреньем". Иначе, какое странное заблуждение могло бы заставить человека с умом и сердцем мистера Теккерей предаться сосредоточенному созерцанию низости, ложного стыда и гнусного преклонения света перед чисто мирскими благами? Как он мог допустить, чтобы столь неприятная тема настолько им завладела, что подчинила себе все его мысли? Как Свифт копался в грязи, так Теккерей копается в низости. Он обожает препарировать любую ее форму, выслеживать и подстерегать ее на каждом углу, выворачивать наизнанку, обличать ее, склонять и спрягать. Он видит, что английское общество поклоняется золотому титулованному тельцу,

и гневно ниспровергает кумир. Но этого ему мало: он стирает его в порошок, который затем подмешивает ко всему, чем угощает нас. Мы знаем, что в мире существуют подобные вещи, но правильно ли поступает писатель, постоянно навязывая их нашему вниманию? Ведь чем меньше подвергнется человек их влиянию, тем лучше - с этим все считаются. Мы знаем, что низость и подлость присущи и нам самим, но лучший способ сладить с ними - это глядеть ввысь, попать их ногами, а не рыться носом в земле, и извлекая их на свет, гордиться нашим смирением и честностью.

Некоторые повести Теккерея проникнуты добрым ласковым духом - например, "История Сэмюэла Титмарша и знаменитого бриллианта Хоггарти" (кстати, приятно узнать, что автор относит ее к самым любимым своим произведениям), "Киккельбери на Рейне", "Доктор Роззги и его юные друзья" и другие. Во всех них недостатки человеческой природы высмеиваются мягко и беззлобно, и повествование ведется тоном легкой, беззаботной, но взыскательной насмешки и нежного сочувствия. Однако в большинстве его произведений те склонности, о которых мы говорили, создают темный и неприятный фон, на котором он пишет резкими черными и белыми мазками. Английское общество в его изображении выглядит безотрадным, и впечатление это ничем не смягчается. Причина отчасти заключается в упоре на присущие ему забавные стороны, а отчасти в злополучном пристрастии автора. Животный эгоизм, языческая суетность, забытая честь, нарушенные клятвы, азартные игры, поистине все роды порока превращаются в материал для блистательной сатиры, остроумных шуток, добродушных насмешек и презрения, умеряемого скептицизмом. Общество дурных мужчин и дурных женщин никого еще не облагораживало. Так неужели что-то меняется, если в книгах сделать их забавными и тем привлекательными? "Ужасная предсмертная песнь раскаявшегося трубочиста", в которой Сэм Холл делает из своей судьбы назидание, подкрепленное проклятиями, несомненно, обладает мрачным юмором, - ее даже почти можно назвать гениальным творением - однако мы не приводим наших дочерей послушать ее. Порочность имеет свою смешную сторону, но порой английские дамы ранят наш слух, снисходительно упоминая "эту очаровательную маленькую злодейку Бекки". Мы вовсе не утверждаем, что порочная или даже падшая

натура модель, недостойная внимания художника, отнюдь нет, и мы не утверждаем, что эта тема недостойна комедии, однако мы утверждаем, что ее не следует подавать в комическом свете. И мы настаиваем, что слишком уж сблизать подлинный порок со смехом, значит, грешить против хорошего вкуса и благой назидательности. Их можно чередовать, но не смешивать, и уж тем более соединять почти химически на манер мистера Теккеря. Вы лишаете силы нравственное негодование, веселой насмешкой или беззаботным смехом смягчаете и затушевываете суровую реальность греха. Мы не знаем книги, более отталкивающей контрастом между фарсовой, почти балаганной формой и отвратительной ничем не смягченной гнусностью и низостью содержания, чем история мистера Дьюсэя, изложенная со всеми орфографическими выкрутасами Желтоплюша. В сердце мистера Теккеря живет жгучая ненависть к низости и лицемерию. Иногда она вырывается наружу, ничем не прикрытая. Но и покров шутовщины, конечно, только прячет ее. Однако маска беспристрастия неотъемлема от его искусства и отдельные взрывы возмущения бессильны перед тоном вселенской терпимости и насмешливости, выбивающей сверкающие искры остроумия из капканов, расставленных дьяволом. Грех - это огонь, а мистер Теккерей превращает его в фейерверк.

Словно в противовес этим режущим глаз пятнам в произведениях мистера Теккеря, его гений обладает особой, светлой стороной, озаряющей его страницы чистым приятным солнечным светом. Редко когда в книгах воплощается сердце столь искреннее и доброе. Чувства у него сильные и жаркие, натура честная, правдивая, благородная. Его негодование, как опаляющая молния, поражает жестокость, низость, предательство. Он всей душой ценит мужество, прямоту, благородство. Хотя его чувство смешного, его остроумие слишком часто питаются злом и безнравственностью, ему ведомо более достойное сочетание: с удивительной проникновенностью и мастерством он соединяет юмор и трогательность. Если его произведениям в целом недостает цельности, глубины и четкой нравственной убежденности, если грех в них приемлется, как часть того, что есть, а не отвергается, как отклонение от того, что должно быть, они тем не менее преподают важный урок с помощью примеров, более красноречивых, чем отвлеченные поучения, и содержат

множество страниц, возвышающих дух и трогающих сердце. Если дурные и низкие порождения его пера слишком многочисленны и слишком тщательно выписаны, он все же показывает нам и тех, чьи высокие достоинства и лилейная чистота бросают светлые лучи на темный пейзаж под нахмуренным небом. Это чувствительные натуры, но разве не они завоевывают нашу привязанность? И как бы долго ни проповедовал проповедник, разве не им мы всегда готовы находить извинения? Кто когда нарисовал мужественного великодушного мальчика с большей свободой и любовью, чем автор "Доктора Роззги" - Чэмпiona-старшего и маленького Клайва Ньюкома? Чье еще перо столь тонко, что способно с деликатнейшим изяществом и верностью показать нам безыскусную невинность девичества, нежную самоотверженность любящей женщины или всепоглощающее материнское чувство? Кто еще умеет столь точными штрихами изобразить преданность, стойкость и истинную твердость мужчины? На каждой странице, в соседстве с горечью, а иногда и жесточайшим сарказмом, проглядывает сияние доброй сострадательной натуры, мягкое сочувствие, смиренное благоговение. Словно в натуре мистера Теккерея, как и в его произведениях бок о бок уживаются всяческие противоположности. Каковы бы ни были его недостатки - а они далеко не малы! - он навеки останется одним из лучших мастеров английской литературы, уступая Филдингу в широте и размахе, в свежести воздуха своих романов, в крепости нравственного здоровья, но соперничая с ним точностью прозрения и силой воображения и, быть может, как мы уже упоминали, превосходя его в изобретательности. А со времен Филдинга пусть и создано немало литературных персонажей, нарисованных с законченностью, какой мы не находим у мистера Теккерея, однако в том жанре, к которому тяготеет его воображение, не появилось ничего, что выдержало хотя бы отдаленное сравнение с "Ярмаркой тщеславия". Она и по сию пору - его шедевр, а может быть, таким и останется. В ней больше мощи, чем в любом другом его произведении. Отделка более четкая и рельефная, целое же несет особенно глубокую печать его своеобразного и неповторимого гения. Радость, которую дарит нам этот роман, перемежается с раздражением, почти отвращением, но любая его часть восхищает нас, порой и против воли, некоторые возбуждают живейшее сочувствие. Доббин и Эмилия всегда будут живы в памяти англичан. К ним обоим - особенно

к Эмилии - их творец иногда бывал очень несправедлив. Однако, чем дольше храним мы в сердце их образы, чем глубже размышляем над ними, тем безвозвратнее забываются авторские насмешки и намеки по их адресу, оба предстают перед нами в своем подлинном виде, и мы убеждаемся, что преданная любовь Доббина не была эгоизмом, а присущая Эмилии нежность - слабостью. С живыми людьми разлука заставляет забывать мелочи, случайные пятнышки стираются, и мы оцениваем их характеры во всей полноте. Так и с этими двумя - в наших воспоминаниях мы узнаем их лучше и любим доверчивее, чем во время встреч на страницах романа. Гений мистера Теккерера во многих отношениях напоминает гений Гете, и со времен Гретхен в "Фаусте" еще не был создан такой женский образ, как Эмилия.

Среди остальных его романов "Пенденнис" наиболее богат характерами и событиями и наименее приятен для чтения. "Ньюкомы" - самый человечный, но более расплывчат и вял по сравнению с остальными. "Эсмонд" (во всяком случае, в заключительных частях) - бесспорно, самый лучший и возвышенный.

Мы уже говорили, что у Теккерера есть много общего с Гете. И не только в манере описывать живые характеры, вместо того, чтобы создавать их во всей полноте и глубине силой могучего воображения, но и в терпеливой снисходительности ко всему сущему, и в стремлении уклониться от вынесения не только моральных приговоров, но и моральных оценок. Объясняется это стремление у Теккерера, во-первых, добротой его души, достойным смирением (какое должно бы нас всех в сознании нашего несовершенства удерживать от того, чтобы мы усаживались в судейское кресло и выносили приговоры), а также сочувственным пониманием всей широты и неясностей подлинных мотивов, которые движут людьми. Во втором случае, это совсем иное стремление, и порождено оно тем же широчайшим проникновением, которое затрудняет задачу, - в особенности для ума, не приспособленного наслаждаться обобщениями, а также воображением, не приспособленным создавать отдельные целостности, но главное - слабым ощущением возложенного на всех нас долга самим оценивать характеры и нравственные явления вокруг нас, хотя бы для того, чтобы снабдить вехами и компасом наш собственный жизненный путь. Эти черты сохраняются в "Ньюкомах". То же самое отсутствие

уравновешивающей мысли, то же раскачивание на качелях между сардоничностью и чувствительностью, то же уклонение от нравственных приговоров. Негодующий порыв побуждает руку схватить плеть и нанести удар, а разум пятится, сомневается в собственной справедливости, после кары взывает к нашему милосердию, ссылаясь на непостижимость побуждений, руководящих людскими поступками, на способность сердца к самообману и на власть судьбы и обстоятельств.

ЛЕСЛИ СТИВЕН

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К СОБРАНИЮ СОЧИНЕНИЙ У. -М. ТЕККЕРЕЯ

О сочинениях Теккерея, как и о всяком творчестве, нужно судить на основании присущих им достоинств, вне связи с обстоятельствами жизни автора. Нам предстоит решить, в каком соотношении находятся творения Теккерея с литературой его времени.

Байрон был его излюбленным противником, и в неприязни, с которой он всегда упоминал его, выражалось его кредо. Поэт, конечно, вспоминается ему в Афинах, когда он думает о красоте гречанок - предмете, как мы знаем, вызвавшем немало поэтических признаний Байрона. "Лорд Байрон посвятил им больше лицемерных песнопений, - пишет Теккерей, - чем всякий иной известный мне поэт. Подумать только, что темнолицые, толстогубые, широконосые немые деревенские девахи и есть те "девы с очами синими, как воды Рейна"! Подумать только, "наполнить до краев бокал с вином самосским"! Да рядом с ним и кружка пива покажется нектаром, к тому же Байрон пил один лишь джин. Нет, этот человек никогда не писал искренне. Впадая в свои восторги и экстазы, он и на миг не упустил из виду публику, а это скользкий путь. Это похуже, чем признаться без утайки, что вас не ослепила красота Афин. Широкая публика боготворит и Байрона, и Грецию, что ж, им виднее. В "Словаре" Марри он назван "нашим национальным бардом". "Нашим национальным бардом"! Бог мой! Он бард, вещающий от имени Шекспира, Мильтона, Китса и Скотта! Впрочем, "горе ниспровергателям кумиров публики!" - говорится в пятой главе "Путешествия от Корнхилла до великого Каира". Подобное же мнение, правда, с гораздо меньшим пылом, высказывает и Уоррингтон полковнику Ньюкому; и в самом деле, для того, чтобы противостоять восторгам в адрес лорда Байрона, уже не требовалось

пыла. Из другого рассуждения, встречающегося дальше в этой книге, становится понятно, что думал Теккерей о Скотте. "Когда же нам представят, наконец, правдивую картину тех времен и нравов? - вопрошает он. - Не благодушный карнавал героев Скотта, а точную и подлинную историю, которая остерегала бы и наставляла наших добрых современников и наполняла благодарным чувством за то, что вместо вчерашнего барона ими сегодня правит бакалейщик". По сути, если вдуматься, бакалейщик пришел к власти вслед за Луи-Филиппом и Биллем о реформе, и лживое обожествление феодализма, "грубого, антихристианского, косного феодализма", по выражению Теккерей, сплавленного, как нам теперь понятно, лишь с золотом романов Скотта, а вовсе не с природным элементом, как виделось читателям тех дней, теперь набило всем оскомину, как всякая иная экзальтация. Конечно, и у бакалейщика есть недостатки, о чем ему, наверное, предстоит узнать, но проза и непогрешимый реализм есть лучший способ рассказать об этом.

В двух своих современниках, стремительно приобретающих популярность, Теккерей видел олицетворение двух чуждых ему школ-соперниц, которым предстояло воцариться вместо Байрона и Скотта. Поэтому его суждения об их искусстве так показательны для понимания его собственных пристрастий.

Доподлинно известно, что Теккерей, считавший Бульвера-Литтона на редкость даровитым человеком, безжалостно смеялся над его претензиями, и точно так же относился к его философским умствованиям и поэтическим потугам. Диккенс, который был моложе Теккерей только на год, ни в чем подобном не был грешен. Ему нимало не хотелось напускать туману или сбивать кого-то с толку. Как ни один писатель в Англии, а может быть, и в мире, он совершенно точно уловил и образ мыслей, и способ чувствования, который должен был прийтись по вкусу бакалейщику. Перефразируя слова Берка о Джордже Гренвилле в палате общин, можно сказать, что Диккенс попал не в бровь, а в глаз, изображая англичанина среднего класса. Если бы писать о сопернике было прилично, то Теккерей бы сразу заявил, что своим редкостным успехом Диккенс обязан не только своему дивному, непревзойденному таланту видеть особенное в людях и явлениях, но и тому, что он взывает к лучшим свойствам человека. Единственное, что может быть подвергнуто сомнению в романах Диккенса, это

интеллектуальная глубина его оценок. Пожалуй, он заслуживает обвинения в том, что слишком быстро загорается расхожими идеями, весьма популярными среди тех, кто не претендует на особое глубокомыслие. Нечто подобное и было высказано Теккереем в книге "Парижские очерки". В ту пору Теккерей и Диккенс еще не стали такими большими и вечно сопоставляемыми знаменитостями и можно было говорить не обинуясь. Будущий историк совершит ошибку, пишет Теккерей, "если отложит в сторону великую современную историю Пиквика, сочтя ее поверхностной. Под вымышленными именами скрываются живые люди и точно так же, как из "Родерика Рэндома" - книги, гораздо более слабой, чем "Пиквик", или из "Тома Джонса" - безмерно более сильной книги, мы узнаем из "Пиквика" намного больше о человеке и участи людской, чем из иных цветистых и достоверных жизненных историй". Здесь интересно, как высоко оценивает Теккерей соперника, хотя не нужно забывать, что это было написано, когда и он, и Диккенс лишь начинали свою литературную карьеру.

Восхищение Теккерей Филдингом знаменательно во многих отношениях. Его не раз сопоставляли с Филдингом, и, думается, сходство между ними было велико и значимо.

Филдинг был не только любимым писателем, но и в определенной степени образцом для подражания. "С тех пор, как умер автор "Тома Джонса", говорит Теккерей, - никому из нас, романистов, не было дано с подобной мощью изобразить Человека". Чтоб объяснить, как понимал он свою роль писателя, лучше всего, по-моему, вспомнить, что он стремился следовать примеру Филдинга, хоть и считал необходимым прибавить чувствам утонченность, а слогу - большее изящество. Все, что здесь говорится, имеет целью доказать, что Теккерей был очень чуток к фальши - питал безмерное презрение к фальшивым чувствам в литературе, к притворной верности в политике, к игре в благопристойность, а временами и в распущенность, встречающейся в высшем свете. "Очистите свой ум от фальши!" - пожалуй, и Карлейль не мог бы более пылко исповедовать и проповедовать эту веру вслед за Джонсоном, чем это делал Теккерей. Впрочем, этим исчерпывается какое-либо сходство между Теккереем и Карлейлем. Они не схожи, как пророк своего времени не схож с художником, чей ум, хотя и отвергает ханжество, но все-таки

склоняется не к гневной проповеди, а к точному, приправленному юмором изображению жизни. Стоя на этой точке зрения, он и давал оценку Скотту, говоря, что романтизм изжил себя, клеймил хиревшее бунтарство байронизма, а в Бульвере и его последователях видел лишь новое обличье театральщины, ввезенной из Германии самовлюбленным денди. Позиция Диккенса, как она выразилась в "Пиквике", по мнению Теккерея, грешила некоторой поверхностностью. "Пиквик" - конечно, занимательная книга, намного более смешная, чем все, написанное Смоллеттом, но в ней не чувствовалось нестигаемой решимости высказывать всю правду жизни, которой был ему так дорог Филдинг. Филдинг дерзал называть все собственными именами, чем он, к несчастью, злоупотреблял, порою опускаясь до грубого, даже отвратительного слога. По крайней мере, он смотрел на мир спокойным, твердым, ясным взглядом, его нельзя было сбить с толку пышными словами, и он изображал людей правдиво - разоблачал ханжей, писал, что человеческие страсти значат то, что значат, и видел в человеке человека, а не пестрые одежды. И в этом смысле Теккерей мог следовать примеру Филдинга в той мере, в какой это согласовалось с британскими понятиями о приличиях. Его не привлекали ни кавалеры в кожаных камзолах, как у Скотта, ни хмурые корсары Байрона в восточных шароварах, ни соловьи и пери Тома Мура, ни философствующие денди-совратители и благородные убийцы Бульвера, и не влекли гротескные фигуры Диккенса, наполненные до краев сентиментальной филантропией вместе с молочным пуншем. Ему хотелось рисовать с натуры, сколько хватало сил и видел глаз, изображать мир, скрытый под изящными покровами и важными личинами, испробовать, способно ли прямое, реалистическое описание действительности соперничать с бесчисленными романами из светской жизни, о разбойниках, о знаменитых путешественниках и бог весть о чем еще.

Здесь уже говорилось, что талант Теккерея созрел не вдруг, и подлинная его мощь открывалась постепенно; виной тому, возможно, было недоверие писателя к своим способностям, а может статья, праздность, или иные помехи - что-то не давало ему заявить о себе смелее. На мой взгляд, из "Кэтрин" произведения, в котором можно видеть его первую серьезную литературную попытку, понятно, что он тогда еще довольно узко понимал природу зла, которое имел

намерение разоблачить. Он откровенно признается, что "Кэтрин" была задумана как выпад против нарождавшихся тогда кумиров. Объектом его несколько наивного негодования стали Бульвер, Харрисон, Эйнсворт и Диккенс. "Публика и слышать не желает ни о ком, кроме мошенников, - говорит он, - и бедным авторам, которым нужно как-то жить, предоставляется единственное средство остаться честными перед собой и перед читателями - изображать мошенников такими, каковы они в действительности, не романтическими, галантными ворами-денди, а настоящими, реальными мерзавцами, которые бесчинствуют, развратничают, пьянствуют и совершают низости, как и положено мерзавцам. Они не говорят цитатами из древних, не расппевают дивные баллады и не живут как джентльмены, вроде Дика Терпина, - не разглагольствуют, не закрывая рта о το κηλου {Благородстве (греч.)}, как наш дражайший ханжа Малтреверс, которого мы так жалеем, ибо читали о нем книжку, не умирают как святые, очистившиеся страданием, подобно всхлипывающей мисс "Дэдси" в "Оливере Твисте". И все-таки "Кэтрин" нам интересна не только потому, что это ранний образец творений мастера, в котором есть зачатки будущих характеров и стиля, впоследствии получивших более полное развитие, но потому что здесь, хоть и в довольно упрощенной форме, выразилось его глубочайшее убеждение в преимуществах правдивого реалистического письма.

О "Ярмарке тщеславия", печатавшейся с января 1847 года, можно, по меньшей мере, утверждать, что ни одно творение не получало более удачного названия. В этом названии есть все, что требуется: в предельно сжатом виде в нем сформулирована суть всего романа. Здесь я позволю себе некое сопоставление, которое давно само собой напрашивалось. Бальзак назвал серию своих романов сходным именем - "Человеческая комедия". Он заявил, что в них запечатлел картину современного французского общества, как Теккерей в своем романе изобразил английское общество своего времени. Бальзак мне представляется одним из величайших мастеров литературы. Известно, что однажды, а может быть, и больше чем однажды, Теккерей воспользовался его творчеством как образцом для подражания. Сопоставляя этих двух писателей, я не хочу сказать, что стану сравнивать достоинства или прослеживать их сходство в чем бы то ни было, кроме самой общей постановки задачи. Такие парные портреты -

не более, чем детская забава, и если я решаюсь на подобное сравнение, то только потому, что контраст, который существует между этими двумя писателями, на мой взгляд, прекрасно выявляет истинную природу художественных задач Теккерея. Как я уже говорил, вкус Теккерея не позволял ему испытывать что-либо, кроме отвращения к преувеличениям и кошмарам иных французских романистов, охотно смаковавших самые темные человеческие страсти и выбиравших для рассказа такие жизненные обстоятельства, в которых и торжествовали эти страсти. Бальзак был величайшим мастером такого рода сочинений. Сила его выразительности несравненна; когда его читаешь, кажется, что автор описал галлюцинации, в плену которых находился, а не работу воображения, как мы это обычно понимаем, - создания его уже не подчиняются писателю, а сами властвуют над породившей их фантазией. Он сочетал фотографическую точность описания, присущую Дефо, и дантевскую силу воображения. И создаваемая им иллюзия настолько совершенна, что многие читатели считают ее воплощением правды. Лишь непосредственное восприятие способно породить столь выпуклые образы, думают они. Но если с этим согласиться, придется согласиться также с тем, что Франция произвела наиболее развращенное общество из всех, когда-либо существовавших в мире. Самый безжалостный эгоизм, самая продажная чувственность, самая презренная алчность тогда должны восприниматься как естественные мотивы поступков, и добродетель неминуемо должна быть брошена под колесо порока. Но, думается, правда много проще. Бальзак, стремившийся произвести как можно более сильное впечатление на публику, изображая как приятное, так и неприятное, даже болезненное, сделал великое открытие: перевернутые с ног на голову старинные каноны идеальной справедливости щекочут нервы среднего читателя никак не меньше, чем обычный ход вещей. Можно ли придумать что-либо трогательнее, чем добродетель, душой и телом отданная торжествующему злу? Бальзак всегда стремится к этому эффекту и, надо признать, нередко его достигает, причем эффекта очень сильного, и потому его заведомые почитатели легко приходят к выводу, что это объясняется его великой проницательностью и он искусно рассекает острым скальпелем, если прибегнуть к этому избитому сравнению, ужасный орган - "обнаженное человеческое сердце". Совсем нетрудно утверждать, что все благополучные

мужчины - плуты, а все благополучные женщины - кокетки, и, если только это верно, писатель справедливо обретает славу вдумчивого наблюдателя, но если дело проще, и автор называет мир растленным только потому, что описание растления более заманчиво, чем описание естественного хода жизни, когда мошенника ждет виселица и честность - лучшая политика, тогда нам стоит воздержаться от похвалы подобному писателю. Он, несомненно, наделен волшебной силой, но эта сила чаще проявляется в изображении кошмаров патологии, а не нормальной жизнедеятельности организма.

Немало было сказано о том, что Теккерей использует такой же скальпель, беспощадно обнажая эгоизм и низость человеческой натуры и так далее. И все-таки его задача принципиально отличается от той, что хочет разрешить Бальзак, и в этой точке становится заметно расхождение между ними. Конечная цель Теккерей не сводится к погоне за произведенным впечатлением - он хочет верно изобразить жизнь общества и нравы, и если добродетель в его книгах торжествует не всегда, то потому лишь, что и в жизни это так; но еще реже представляет он порок несокрушимым победителем, ибо порок, в конечном счете, не способен побеждать. Вокруг себя он видит очень мало выдающихся героев и выдающихся преступников, и потому их мало и в его романах. Под пышными словами скрывается порою бездна эгоизма, узости и глупости, и подлинное существо таких пороков, ханжески и лицемерно скрытых пестрыми одеждами, необходимо выставить и показать; из этого не следует, однако, что взгляду проницательного наблюдателя видна только жестокость и растленность общества, и Теккерей не опускается до леденящих кровь разоблачений, как ни были бы завлекательны подробности, которые при этом неизбежно обнаружались бы. Жизнь - большей частью дело будничное, в ней все запутано и странно перемешано, и проблески добра встречаются в дурном, щербинки эгоизма - в добром, описывать приходится обычные, а не какие-то невероятные и не похожие на наши собственные истории, пусть это даже сказывается на их занимательности. Если смотреть на все открытым, честным взором,, немало интересного найдется и в обыденном, и не придется искажать действительность, потворствуя болезненной любви иных читателей к ужасному или иных писателей - к чувствительно сентиментальному. Правдивая картина, может статься, волнует несравненно меньше той,

где исключительное выдается за обыденное, но Теккерей с презрением отвергает цели, не совместимые со строгим следованием правде. Правдивы ли его портреты, это другой вопрос, но верность правде, а не впечатление, производимое на публику, - важнейшая его задача, желание видеть жизнь как есть - его ведущий принцип. Ему он подчиняет свое творчество. И какова бы ни была его теория, он ограничился изображением гораздо более нормальных качеств человека, чем Бальзак, и не искал эффектов, милых для читателей, которым подавай романы пострашнее...

Полковник Ньюком - прекрасная и привлекательная личность. Мы любим его так же нежно, как пастора Адамса, дядю Тоби и векфилдского священника. И все-таки не говорит ли этот образ, что добродетель слишком хороша для сей юдоли? По существу, не думает ли автор, что очень чистый человек с его переизбытком голубиной кротости над мудростью змеи мало пригоден для реальной жизни и что, когда ему приходится, стряхнувши сон, столкнуться с грубой правдой, его душевность, простота и нежность сердца способны вызвать долю раздражения? Не место ли всем этим дивным качествам в какой-то призрачной Аркадии, а не в Мэйфере или вблизи Английского банка? Вот что, я полагаю, было на уме у тех, кто дал писателю прозвание циника. Задетый этим обвинением, а еще больше тем, что, как ему рассказывали, заботливые маменьки не разрешали дочкам читать его чреватые опасными идеями романы, он кое-где касается в "Филиппе" этой темы. Я говорил уже, что не могу бесстрастно рассуждать об этом и еще менее способен выступать как адвокат. В конце концов, вопрос должен стоять иначе: как вы относитесь к его романам? Заступничеством или обвинением нельзя решить подобный спор. Но в высшей степени желательно, чтобы предмет его был совершенно ясен. Под словом "цинник", когда оно употребляется в неодобрительном значении, на мой взгляд, подразумевают человека, который либо не верит в добродетель, либо усматривает в нежных чувствах лишь подходящий повод для насмешек. Мне не понятны те, кто в этом смысле относят это слово к Теккерей. По-моему, его творения насквозь проникнуты чувствительностью, по ним легко понять, как высоко ценил он нежность, сострадание и чистоту души, ценил, как может только тот, кто сам был наделен редчайшей добротой. Иначе говоря, если в

романах Теккерея есть какой-либо урок, то состоит он в том, что нежная привязанность к жене, ребенку, другу - неповторимый проблеск в человеческой натуре, гораздо более святой и драгоценный, чем все святые чувства, достойные так называться; он говорит, что Ярмарка тщеславия лишь потому и стала таковой, что поощряет в человеке жажду пустых и недостойных целей, а цели эти недостойны, ибо несут с собой забвение. Сражаться в жизни стоит только для того, чтобы защитить горячее и милостивое сердце. И если Теккерей нечасто прибегает к трогательным сценам, то поступает так не от бесчувственности, а от своей большой чувствительности. Он словно бы не доверяет сам себе, боясь ступить на эту зыбкую и осыпающуюся почву. Тем, кто не вынес из романов Теккерея сходных мыслей, по моему, лучше их и вовсе не читать, и уж одно мне совершенно ясно: у нас с таким читателем не совпадают мнения. Однако обратимся к объективным фактам. Можно прослыть и циником, не отрицая силу добродетели, а просто полагая, что в жизни она встречается нечасто, что доброта и нежность меньше влияют на все происходящее, чем представляют себе люди легкомысленные, или что совершенно добродетельная личность - явление очень редкое. Приверженцы сентиментальной школы преувеличивают человеческую тягу к добрым чувствам, им кажется, что революции замешаны на сахарной водичке, а подлецы, услышав несколько возвышенных речей, немедленно раскаиваются; тогда как циники - в расхожем смысле слова - считают, что закону эгоизма следуют и те, кто называются христианами, искренно полагая себя таковыми, и это ввевшееся в душу хитро маскирующееся свойство нельзя искоренить в два счета.

В какой картине мира больше правды - в пессимистической или в оптимистической, добры ли люди по своей природе или злы, решить не в силах человек, что бы он о себе не мнил. Я лишь хотел бы указать, что более мрачный взгляд на жизнь совсем не обязательно проистекает от недооценки добродетели, хотя бывает и такое. Он может объясняться меланхолическим характером, тяжелыми испытаниями, выпавшими на долю автора, желанием смотреть на жизнь открытым взглядом, проницая. Многие великие реформаторы и пылкие проповедники разделяли самый безотраднейший взгляд на человека. Пожалуй, я могу понять, как Теккерей прослыл циничным в этом смысле слова, в какой-то мере даже разделяю это мнение, хоть выбрал бы другой эпитет -

ироничный. Он не смотрит на мир безжалостным, угрюмым взором истинного циника, нет в его взоре исступления и гнева реформатора, он смотрит лишь с каким-то снисходительным презрением или с негодованием, смягченным юмором и потому звучащим иронически. Я говорил уже, что у него не было веры в героев. Он не был энтузиастом по натуре, во всякую минуту ему хотелось усомниться и задаться вопросом о слабостях того или иного исторического персонажа, он твердо верил, что слабости нельзя не освещать исчерпывающе. К тому же, он был убежден, мне это совершенно ясно, в бездушии и мелочности описанного им общества. Разоблачи он это общество полнее, изобрази он дьявола во всей той черноте, какую позволяла его мощь художника, он бы, наверное, не прослыл циничным. Как раз его докучная решимость воздать по справедливости и самому бедняге-дьяволу, даже святых не представляя только в розовых тонах, снискала ему нелестное прозвание циника. Его желание остаться беспристрастным было превратно понято как безразличие. Он не скрывает червоточину и в самом нестигаемом характере. Он видел и не утаил явления, которые я бы назвал нежизненностью святости. Святые чересчур бескомпромиссны для жизни в нашем подлинном, невыдуманном мире и слишком склонны осуждать его огульно, им мало свойственно прощать и очень свойственно не соглашаться с очевидным, когда жизнь отрицает их пророчества. Писатель полагал, что благородному, бесхитроственному человеку, вроде полковника Ньюкома, лучше держаться в стороне от предприятий, где чистота души отнюдь не лучшее оружие. Мораль из этого всего мы можем извлечь сами. Можно сказать, что мир, в котором Доббину, Уоррингтону и полковнику Ньюкому нет места из-за возвышенности их натуры, все еще осужден, лежит в грехе и требует серьезного переустройства, а можно, как Пенденнис, отправиться на Ярмарку, рискуя, впрочем, что придется поступиться высоким пониманием чести, равно как содержимым кошелька. Всем нам давно известно, что это трудный выбор; чуть ли не каждому, кто собирается вступить на то или иное поприще, знакомы муки совести, обычно с этим связанные. Впрочем, какой бы выбор ни был сделан, сама проблема остается. Ведь тех, кто принял верное решение, не поощряют, как барон де Монтион, наградой за высоконравственность: только ценою собственной гибели можно принять участие в борьбе или держаться

в стороне от схватки. Только святой способен не испачкаться сражаясь, но только трус согласен вовсе не бороться. Святому помогает нетерпимость и односторонность, к которым он необычайно склонен, - ведь большинство из нас не станут спорить, что проявляют высший героизм, благоразумно убегая от соблазна. Быть может, многие из женщин целомудренны, ибо всегда могут укрыться в детской, но лишь немногим из мужчин присуще то высокое спокойствие духа, которое и в самом деле не подвластно тлетворному влиянию борьбы. Это печально, но жизнь вообще печальна для всех, кто мыслит, и, тем не менее, она бывает сносной, если не ждать от нее слишком много, если терпимо и по-доброму судить о тех из наших братьев-пилигримов, что поддались соблазну или испачкались в пути, и если тщательно оберегать нежные ростки семейного счастья от всякой порчи.

Пожалуй, я замешкался и уж конечно отдал дань морализаторству - боюсь, что слишком щедрую, но сделал это преднамеренно, ибо мне кажется, что интерес, который мы питаем к Теккерю, определяется созвучием его учения строю наших мыслей. А так как я писал для тех, кто знает его творчество, я больше занимался, если можно так выразиться, почвой, а не урожаем - иначе говоря, чувством, которое лежит в основе его книг, а не приемами мастерства, передающих это чувство. Разбор этих последних, возможно, был бы занимательней, но не помог бы нам понять, что заставляет нас сочувствовать писателю или же отвергать его. И "Ярмарку тщеславия", и многие другие книги Теккеря можно читать для удовольствия - чтоб насладиться их литературным совершенством, но чем мы более в ладу с его заветными идеями, тем крепче входит в наш душевный мир все, им написанное... Пожалуй, невозможно лучше выразить его излюбленную мысль, чем это сделано в его лирическом истолковании сентенции "Vanitas Vanitatum":

Пусть лет немало пронеслось
С тех пор, когда слова печали,
Скорбя, Екклезиаст нанес
На страшные свои скрижали,
Та истина всегда нова,
И с каждым часом вновь и снова
Жизнь подтверждает нам слова
О суете всего земного.

Внемлите мудрому стократ,
Про жизни вечные законы
Поднесь его слова звучат,
Как на Гермоне в годы оны.
И в наше время, как и встарь,
Правдив тот приговор суровый,
Что возгласил великий царь
Давным-давно в сени кедровой.

{Пер. В. Рогова.}

ТЕККЕРЕЙ И РОССИЯ

А. В. ДРУЖИНИН {*}

ИЗ СТАТЬИ "НЬЮКОМЫ", РОМАН В.-М. ТЕККЕРЕЯ"

{* В настоящем разделе воспроизводятся особенности орфографии авторов.}

Что бы ни говорили суровые моралисты, всегда готовые рассматривать человека, взявши его вне места и времени, как бы не ожесточались на нас все любители хитро созданных теорий изящного, мы всегда замечали и не перестаем замечать тесную связь литературных произведений с частной жизнью самих производителей. Гений на высоте славы и гений, гонимый завистниками, никогда не станет говорить одним и тем же языком, - и талант, окруженный почетом, и талант, непризнанный современниками, едва ли в состоянии служить одной и той же идее. Вальтер-Скотт, мирно наслаждающийся жизненными благами посреди абботсфордского замка, и Уго Фосколо, не имеющий места для того, чтобы приклонить свою голову, никогда не станут петь одинаковые песни. Гейне никогда не подаст руки великому Гете, сумрачная муза Лермонтова не могла бы пойти по светлой и широкой дороге, проложенной музой Пушкина. Таков закон природы человеческой, закон всегдашний и непреложный, в нем разгадка многих противоречий, многих поэтических непостоянств, многих перемен направления, многих недоразумений между поэтами и их ценителями. Автор "Гулливерова Путешествия", злейший сатирик, неумолимейший каратель людских слабостей, человек едва ли не ненавидевший всех людей вообще и каждого человека в особенности, мог петь хвалебные гимны человечеству, если бы человечество нашло возможность насытить его безграничное славолубие, честолюбие и самолюбие. Он сам в том сознается и

винить его в том невозможно. Мы все смотрим на мир сквозь собственные свои очки, наши филиппики против людских погрешностей часто бывают филиппиками на наших собственных недругов. Переменись узенькая среда, окружающая нашу маленькую личность, и с изменением ее нам покажется, что вся вселенная сделала гигантский шаг к своему направлению.

Лучшие английские романисты нового времени, Теккерей и Диккенс, в последнее время часто стали подвергаться упрекам по поводу весьма заметного изменения в направлении своих произведений. Оба они, действительно, во многом изменили свой взгляд на людей и общество. Начнем с Диккенса. Он слишком часто желает казаться прежним Диккенсом, - Диккенсом "Никльби" и "Оливера Твиста". Он позволяет себе дидактику и делает иную главу романа чем-то в роде политико-экономического трактата. Такие ухищрения нам кажутся лишним делом. Диккенса никто не принуждает быть карателем людей *quand teme*. Он написал "Пикквикский Клуб", самое ясное, светлое изображение светлых сторон великобританской жизни. Он имеет всю возможность продолжать тек-винское направление, и года, и счастье, и любовь к спокойствию давно манят его на сказанный путь. "Оливер Твист" и "Никльби" не возобновятся более: из-за чего же тянуться к ним и не давать свободы своему собственному таланту?

Вилльям Теккерей находится в других обстоятельствах, да сверх того, по личному характеру своему, он сильнее Диккенса. Многотрудна, поучительна, обильна сильной борьбой была молодость поэта "Ньюкомов", да не одна молодость, а с молодостью и зрелый возраст. Недавно еще популярность окружила Теккерей, слава загорелась над его длинною головою еще на вашей памяти, и пришла к ней вместе с седыми волосами. В то время, когда мальчик Диккенс повергал всю Англию в хохот своим Самуилом Пикквиком, когда первые скиццы счастливого юноши на расхват читались во всей Европе, автор "Ярмарки Тщеславия" работал для насущного хлеба, опытом жизни узнавал и хитрую Ребекку, и бесчувственную Беатрису Кастельвуд, и сходилась с журналистами, воспетыми в "Пенденнисе", и голодал в Темпл-Лене, и был живописцем в Риме, и обманывался в своем призвании, и отказывался от живописи и писал стишки в сатирическую газету "Пунч", и дробил своих "Снобов", по

необходимости, на крошечные статейки, что решительно вредило их успеху. "Гоггартиевский Алмаз" написан в самые тяжкие минуты жизни, говорит нам Теккерей; какие же это были минуты, о том мы можем лишь догадываться. "Алмаз" не имел успеха, об "Алмазе" вспомнили через много лет после его напечатания, за "Алмаз" автору пришлось рублей триста серебром, на наши деньги. Странствуя по Европе, Теккерей как-то зажился в Париже до того, что издержал все свои деньги, износил платье и остался без возможности одеться прилично и уехать на родину. Его выручил француз-портной, имя которого наш романист передал потомству, посвятив честному ремесленнику одну из своих последних повестей, с изложением всего дела в кратком посвящении. Из наших слов можно составить себе приблизительное понятие о том, каковы были лучшие годы Теккерей, его долгие Lehrjahre, ученические годы, исполненные труда, страстей, странствований, огорчений и нужды. Под влиянием нешуточного опыта и борьбы, мужественно выдержанной, сформировалась та беспощадная наблюдательность, та юмористическая сила, та беспредельная смелость манеры, по которым, в настоящую эпоху, Теккерей не имеет себе соперников между писателями Европы и Америки.

Несколько лет тому назад, в одном из наших журналов писателю Теккерейу был придан эпитет "бесхитростного": этот эпитет возбудил опровержения и шутки, за свою несправедливость. По нашему теперешнему мнению, слово бесхитростный заслуживало шуток по своей ухищренной тяжеловесности, остатку старых критических приемов, когда слова чреватые вопросами, трезвые воззрениями еще считались отличными словами, - но на справедливость эпитета нападать не следовало. Теккерей - действительно наименее хитрящий из всех романистов, там даже, где он кажется лукавым, - он просто прям и строг; но наши вкусы извратились до того, что по временам прямота нам кажется лукавством. Не взирая на свою громадную наблюдательность, на свои отступления, исполненные горечи и грусти, наш автор во многом напоминает своего пленительного героя, мягкосердечного полковника Томаса Ньюкома. Всякий эффект, всякое ухищрение, всякая речь для красоты слова противны его природе, по преимуществу честной и непреклонной. Подобно Карлейлю, с которым Теккерей сходствует по манере, наш романист ненавидит

формулы, авторитеты, предрассудки, литературные фокусы. У него нет подготовки, нет эффектов самых дозволенных, нет изысканной картинности, нет даже того, что, по понятиям русских ценителей изящного, составляет похвальную художественность в писателе. Оттого Теккерей любезен не всякому читателю, не всякому даже критику. У него солнце не будет никогда садиться для украшения трогательной сцены; луна никак не появится на горизонте во время свидания влюбленных; ручей не станет журчать, когда он нужен для художественной сцены; его герои не станут говорить лирических тирад, так любимых самыми безукоризненными повествователями. Его рассказ идет не картинно, не страстно, не художественно, не глубокомысленно, - но жизненно, со всем разнообразием жизни нашей. Теккерей гибелен многим новым и прекрасным повествователям: после его романа их сочинения всегда имеют вид раскрашенной литографии. Изучать Теккеря - то же, что изучать прямоту и честность в искусстве.

Обладая такими качествами - как человек и писатель, Теккерей был всегда готов встретить славу со всеми ее хорошими, дурными, возбуждающими и расслабляющими последствиями. Успех "Ярмарки Тщеславия" был его первым, великим успехом; через год после ее появления, Европа повторяла имя Вилльяма Теккеря; Коррер-Белль, посвящая ему свою "Шарли", называл его первым писателем нашего времени. Никто в Англии не протестовал против этого прозвания. Особы, мало знакомые с периодическою литературою, выписывали портрет нового романиста, ожидая увидеть лицо щеголеватого, блистательного, может быть прекрасного собой юноши. Но портрет изображал немолодого, очень немолодого человека, со смелым, широким лицом, носившим на себе следы долгой борьбы житейской. Диккенс, столько лет знаменитый и так давно известный всякому, глядел вдвое моложе своего страшного соперника. Кому из двух юмористов слава казалась слаще, - кто из двух мог искуснее справиться со своей славою. На чьих творениях могла скорее отразиться сладость успеха, в чей роман могли скорее пробраться розовые лучи и розовые воззрения на человека? Диккенс, не взирая на свою литературную роль, не взирая на свое направление, взятое в общей сложности, всегда имел в своем таланте что-то сладкое, по временам слишком сладкое. Теккерей не имел никакого призвания к

розовому цвету - строги и безжалостны были его взгляды на человечество. Судьба не баловала этого последнего писателя, счастливое сочетание успехов в жизни не вело его незаметной тропой к мягкой снисходительности. Он казался даже слишком резким, слишком охлажденным, слишком придирчивым. Разница талантов повела к разности воззрений. Читая записки Эстер в "Холодном Доме", читатель восклицал: "нет, это уже через-чур сладко"; задумываясь над страницами "Пенденниса", тот же читатель произносил - "нет, это уже слишком безжалостно!".

Прошло два или три года после "Ярмарки Тщеславия". Звезда Теккерея разгорелась во всем блеске, много второстепенных планет потускнело перед ее блеском. За долгий труд и за долгое терпенье пришли года щедрой оплаты. В Англии успех двух романов в роде "Vanity Fair" {"Ярмарки тщеславия" (англ.)} и "Pendennis" {"Пенденниса" (англ.)} - есть целое состояние. Кроме денежных выгод, все выгоды общественные выпали на долю Теккерею. Двери первых домов Лондона для него раскрылись настежь; тысячи посетителей теснились на его лекциях по поводу старых юмористов Англии. За популярностью на родине последовала популярность в дальних странах Нового Света. В Америке Теккерея встречали как триумфатора, с постоянным, выдержанным, солидным восторгом. Знаменитая мистрисс Стоу - сочинительница "Хижины дяди Тома", встретила Теккерея в Лондоне, тотчас после его возвращения из Соединенных Штатов. Угрюмый Вэррингтон радостно рассказывал о встречах, ему там сделанных. Америка ему нравилась, о поездке своей он вспоминал с наслаждением. Ледяная броня, заковывавшая это многострадавшее сердце, начинала таять, с каждым днем делаться прозрачнее.

Будем ли мы упрекать Теккерея в том, что мизантропическое настроение его таланта во многом изменилось в последние годы; решимся ли мы сетовать за то, что благородная Этель у него сменила Ребекку и благодушный полковник Ньюком стал на место лорда Стейна? Сетования подобного рода были бы неуместны и нелитературны. Во всяком человеке скрыто несколько сил, которые действуют тогда, когда потребность их вызывает, при столкновении с действительностью. При борьбе, при горьких минутах жизни, при труде для насущного хлеба некогда высказаться силам любовно-

примирительным, - но отчего же им не пробиться наружу в годы покоя и выстраданного успеха? Разве можно на общую любовь отвечать с тою же строгостью, которая была необходима при общей холодности? Разве честный боец перестает быть честным бойцом, слагая свое оружие и протягивая руку воину, с которым сейчас бился? Разве слава дается нам для того, чтобы пренебрегать ею? Разве люди приходят к своему учителю затем, чтобы слышать из уст его одни вечные укоризны?

Этого еще мало. В юмористе или сатирике бывает противная мягкость сердца, - если она высказывается неестественно и приторно; но кто осмелится указать на одну строку неестественную или приторную во всем собрании сочинений Теккерея? Не слабость и не сладость были результатом Теккереевых успехов, как житейских, так и литературных. Где Диккенс отделался не без проигрыша, Теккерей выиграл и выиграл много. Теплый солнечный луч упал на богатую почву, до тех пор не выдавшую этих лучей. Все ее богатство вышло наружу непроницаемой могучей тропической растительностью. Благодатными звуками откликнулось любящее сердце сильного, но любящего человека, откликнулось и подарило нам "Ньюкомов", книгу, до этой поры еще не вполне понятую, не вполне оцененную. До сих пор, Теккерей, автор "Пенденниса" и "Ярмарки", являлся нам в виде неоспоримо-сумрачном, но когда солнце взошло и осветило этот сумрак, картина изменилась во многом.

Да, роман "Ньюкомы", повторяем мы, еще не понят критиками, еще не оценен по достоинству нашим поколением. Это книга, исполненная теплоты и мудрости; это широкий шаг от отрицания к созданию; это голос сильного человека, достойного быть вождем своих собратьев.

Много грустного, много смешного, много дурного, даже много карикатурного найдете вы в бесчисленных лицах названного нами романа - но зато сколько в нем теплоты с истиной, добра с величием, поэзии с правдой! Во многих ли книгах найдете вы лицо подобное полковнику Ньюко-му, баярду современного общества? Не боясь фразы, похожей на парадокс, мы смело назовем честного Томаса Ньюкома достойным братом - Сервантесова Дон-Кихота! И кто посмеется над нашим сравнением, тот только покажет свое непонимание Дон-Кихота. Дон-Кихот, невзирая на свои смешные

особенности, есть герой любви и чистоты духа, истинного рыцарства и истинного величия. Не даром старый полковник Томас считал Дон-Кихота совершеннейшим джентльменом!

Создавая свой тип доброго и благого человека, Теккерей поступает как всегда - правдиво и без хитростей. Он не боится наделить старого героя всевозможными нравственными совершенствами - надо, чтоб читатель любил, тогда все совершенства будут законны. И читатель любит полковника Ньюкома беспредельной любовью, любит его душу, его длинные усы, его широкие панталоны, его отцовское сердце, его изношенный мундир, его тонкий голос во время пения, его старомодные поклоны, его суждения о старине, - любит его всего, как своего друга и благодетеля. Теккерей не (смеется) над смешными сторонами полковника, не создает из него Самуила Пикквика (который тоже прекрасен в своем роде). Томас Ньюком говорит и действует от своего лица, без авторских оттенков, без авторских комментариев. Он все перед вами - вы знаете, что романист любит его также беспредельно, как и вы сами. И есть ли возможность не обожать Томаса Ньюкома, не дивиться ему во всех проявлениях его чистой, праведной жизни? Нас не утомила бы биография Томаса Ньюкома, будь она хотя в тридцати томах. Мы любим его, мы верим в его существование. Джон Говард, Вилльям Шекспир, Томас Ньюком, для нас равно живые существа. Как хорош наш старый полковник во всех случаях своей жизни - и перед своим полком на поле чести, и в театре марионеток, посреди ложи, наполненной детьми, с облупленным апельсином в своих воинственных руках, и над колыбелью малютки - сына, и на коленях в часы молитвы, и перед женщиной писательницей на смешном вечере, и в последнем тихом приюте его многотрудной жизни! Кто может не любоваться этим человеком, кто не скажет глядя на него - и я тоже человек, и я вижу в нем моего брата? Так чиста, так мужественна, так благородна жизнь Томаса Ньюкома, что печальное ее окончание не возмущает собой читателя - для подобных людей и скорбь, и предсмертные страдания есть одно величие.

Кроме полковника Томаса, в "Ньюкомах", этой Одиссее современного британского общества, имеются десятки лиц великолепно обрисованных. Между ними одно в особенности поражает читателя своей новостью - Этель Ньюком, племянница

нашего Баярда. Это тип смелой, умной, страстной, гордой, испорченной аристократической девушки - тип до сих пор еще никем не очерченный с таким совершенством, как у Теккерея. К этому типу не раз подступались талантливейшие поэты, наблюдательнейшие правописатели, - но всякий раз у них выходило не то, чего должно было ожидать. Иной портил дело, совершенно передаваясь на сторону фешенебельных понятий, другой впадал в дидактику или суровую философию, третий был чересчур щедр на иронию, четвертый просто впадал в сантиментальность. По английским причудам и требованиям, романисты всегда почти выбирают в героини девиц (тем более, что их очень удобно выдать замуж в последней главе); - а между тем английская литература, как и все другие, чрезвычайно бедная персонажами девушек, художественно выполненных. Этель Теккерея есть царица современных девушек, подобно тому, как в романе она является царицей всех вечеров, собраний и водяных курсов. Ее нельзя не любить и не ненавидеть, она наполняет собой всю историю, от ее первого свидания с дитятей Клэйвом, до тех страниц последней части, когда Этель, возвышенная страданием и вышколенная тяжким житейским опытом, снова вступает во все свои права честной и безукоризненной героини. Созданием Этели Теккерея на веки утвердил за собой славу, когда-то украшавшую Бальзака - славу поэта, вполне понимающего женское сердце. Это Этель, со своей красотой, бойкостью, непрерывными вспышками против окружающей ее мизерности, с ее преклонением перед предрассудками и знатностью, с ее пылким темпераментом, с ее святою, но худо направленною гордостью, с ее девическим духом противоречия, с ее несложившимися, но заносчивыми понятиями о свете и людях - истинная девушка, стоящая на перекрестке между злом и добром, между героизмом и нравственным падением. Вся история Этели прекрасна и поучительна, - не холодным поучением, из которого не добудешь ничего для жизни, - но поучением разумным, осязательным, легко поверяемым всею нашей жизнью.

В наружности и духе теккереевых героев есть нечто смоллетовское. Мы удивляемся, как мог наш романист на своих "Лекциях об Английских Юмористах" так мало говорить о Тобиасе Смоллете, авторе "Родерика Рандома", человеку много жившем, много испытывавшем в жизни и глядевшим на жизнь смелыми глазами.

Теккереевы женщины идут под пару смоллетовым героиням, - конечно принимая в соображение время и разность силы в обоих писателях. Девушки Смоллета (даже судя о их наружности) всегда высоки, стройны, их глаза глядят бойко и горделиво - они способны на преданность, на страстную любовь; но с ними не совсем удобно глядеть на луну и сантиментальничать по-детски. Шутить с ними стал бы не всякий, хотя сам их творец, повинуюсь требованиям века, пытается убедить читателя в том, что его героини - овечки по кротости. Теккерей смелее и откровеннее - его сердце не лежит к вялым куколкам, вроде Розы "Ньюкомов", даже Амелия "Ярмарки Тщеславия" не очень его пленяет - симпатии твердого человека на другой стороне, чего, кажется, доказывать не требуется. Сходясь со Смоллетом в выборе героинь, автор "Пенденниса" идет с ним по одной дороге относительно героев. Оба писателя без ума от веселых, вспыльчивых, шумливых юношей, которым нужно еще много нравственной ломки для того, чтоб установиться и быть способным на прочное счастье. Конечно, герои Смоллета буйнее, чем герои Теккерей, - но не надо забывать: их создали в тот век, когда кулачный бой и разбивание фонарей считались невинными увеселениями. В Клэйве Ньюкоме больше доброты, больше рыцарства, нежели в Рандоме и Пиккле; но все эти три героя, здесь поименованные, равно смелы, равно добры духом и, по своей пылкости, равно способны на правду и на заблуждения.

При всех хороших сторонах молодого Клэйва, при всей занимательности его приключений, персонаж доброго художника почти затемнен совершенством другого, второстепенного лица, именно лорда Кью, бывшего жениха Этели. Сам Теккерей, будто опасаясь этого опасного соперничества, поспешил покончить с лордом, наградить его всеми благами, сообщить о его возвращении на добропорядочную стезю, и таким образом уберечь своего главного героя от совместника, все затмевающего собою.

Сознавая значение своих произведений, как настоящих, так и предшествовавших, Теккерей позволяет себе одну особенность рассказа, за которую могут только братья таланты ему подобные, то есть самые первостепенные. В "Ньюкомах" нередко являются лица из "Пенденниса" и "Ярмарки Тщеславия", - сама история Ньюкомов как будто рассказывается от лица коротко нам знакомого Артура

Пенденниса. На сцену выходят особы давно нам знакомые и давно нам любезные - и Лаура Пенденнис, и суровый Уаррингтон, неподражаемый майор Пенденнис и лица, связанные с их историей. Мы радуемся их появлению, будто встрече с добрым, никогда не забываемым другом. Бальзак в своей "Человеческой Комедии" действовал подобным образом, и не без успеха; но надо признаться, не всегда появление его героев встречалось нами с такой радостью, как в настоящем случае у Теккерея. Громадностью своего ума, Бальзак превосходит Теккерея, но зато далеко от него в истинном творчестве, без которого почти невозможно быть великим писателем. С Растиньяками и Годиссарами нам не трудно, в случае нужды, проститься навеки - сердце наше обливалось кровью, когда мы прощались навеки с Томасом Ньюкомом. И нам отрадно думать, что в скором времени, в будущих теккереевых романах, снова будут, хотя изредка, проходить лица так дорогие нашему сердцу, лица когда-то дорогие праведнику Ньюкому, - его гордая племянница Этель, его обожаемый сын, прямодушный художник Клэйв Ньюком.

Даже особы второстепенные, смешные, порочные, - не будут нами встречены холодно. Они стоят на своих ногах, они действуют, они истинны, они полны жизни. У них никто не отнимет роли в истинной человеческой комедии, которой первые очерки набросаны Вилльямом Теккереем, самым могучим из художников нашего времени!

И. И. ВВЕДЕНСКИЙ

ИЗ СТАТЬИ "О ПЕРЕВОДАХ РОМАНА ТЕККЕРЕЯ..."

В восьмой книжке "Современника" на нынешний год, в отделе библиографии, я прочел, не без некоторого изумления, довольно длинную статью, направленную против моего перевода Теккереева романа "Базар житейской суеты". Статья эта, написанная под влиянием чувства, проникнутого в высшей степени *studio et ira* {Страстью и гневом (лат.)}, не может заслуживать серьезного внимания со стороны ученой критики, руководствующейся исключительно принципом истины и строгих логических оснований; однако ж, не имея никакого права пренебрегать мнениями журнала, называющего себя по преимуществу литературным, я считаю обязанностью отвечать на эту статью, как потому, что в ней идет речь о вопросах, тесно связанных с моими занятиями, так и потому, что "Современник" на этот раз делает меня орудием своих неоднократно повторенных замечаний,

касающихся "Отечественных записок", которых за честь себе поставляю быть сотрудником.

Было время, когда "Современник" отзывался с весьма лестной благосклонностью о моих переводах. Это время совпадает с той эпохой, когда я сообщал свои переводы в "литературный журнал". Тогда "Современник" с некоторою гордостью противопоставлял мои труды таким же трудам в других журналах, и преимущественно нравился ему мой перевод Диккенсова романа "Домби и сын", который печатался на его страницах в 1847 и 1848 годах. Многие лестные названия "литературный журнал" придавал этому переводу и однажды даже назвал его изящным, когда, в конце 1848 года, речь шла о подписке на "литературный журнал". Благосклонность ко мне "Современника" еще продолжалась несколько времени и в 1849 году, когда я окончательно сделался сотрудником другого журнала "Отечественные записки"... Но с половины прошлого года "литературный журнал" вдруг изменил свое мнение о моих трудах. Исключительною причиной такой быстрой перемены послужило то обстоятельство, что я начал печатать в "Отечественных записках" "Базар житейской суеты", роман, к переводу которого приступил потом и "Современник". Помнится, какое-то периодическое издание ("Пантеон", если не ошибаюсь) наемкнуло "Современнику", что он напрасно вздумал печатать "Ярмарку тщеславия", когда тот же роман, с удовлетворительною отчетливостью, переводится в другом журнале под именем "Базара". "Литературный журнал", желая оправдать перед читателями бесполезное появление своей "Ярмарки", напечатал о моем переводе отзыв.

Оказывается отсюда, что "литературному журналу" не понравилось мое просторечие, и он благосклонно дает мне совет употреблять его пореже. Этим бы, вероятно, и ограничились замечания на мой перевод, если б разбор "Ярмарки тщеславия" в "Отечественных записках" не доставил "Современнику" вожделенного случая отыскать в "Базаре житейской суеты" такие характеристические черты, которых прежде, по собственному его сознанию, он вовсе не замечал. Заглянув в "Базар", "литературный журнал", к великому своему удовольствию, сделал следующие совершенно неожиданные открытия:

1) Г-н Введенский растягивает оригинал до такой степени, что, вместо пятидесяти двух страниц английского текста, первые пять глав

"Базара" заняли в "Отечественных записках" сто шесть страниц. (Об этом числе страниц я скажу еще ниже.)

2) Г-н Введенский не только растягивает текст, но и сочиняет от себя целые страницы, которых совершенно нет в оригинале. В этом отношении "перевод г. Введенского нельзя подвести ни под какие правила; его скорее можно назвать собственным произведением г. Введенского, темою которому служило произведение Теккерея. "Базар житейской суеты" г. Введенского и "Vanity Fair" Теккерея можно сравнить с двумя рисунками, у которых канва одна и та же, но узоры совершенно различные" (стр. 56). При всем том,

3) в переводе г. Введенского есть пропуски против оригинала.

Последнее открытие "литературный журнал" сделал с особенным удовольствием. Он даже, против обыкновения, поспешил подтвердить его самым делом, сличив одно место "Базара" с своей "Ярмаркой", где, к счастью "литературного журнала", было только сокращение оригинала, а не пропуск, как в "Базаре". Только как же это? Я растягиваю оригинал, сочиняю целые страницы и в то же время делаю пропуск: это несколько странно. Неужели "литературный журнал" не замечает некоторого противоречия между этими обвинительными пунктами, из которых последний уничтожает два первые, и наоборот? Что мне за охота делать пропуски, уж если я принимаю на себя труд даже сочинять целые страницы?.. Это что-то очень, очень мудрено!

На чем же "Современник" основывает свое обвинение? На том, что в "Базаре" отыскались наволочки для подушек, кроме стеганого одеяла, о котором говорит Теккерей, отыскались радости и печали, растворяемые тихой грустью, тогда как Теккерей говорит только о заботах и надеждах, отыскалась эгида философической премудрости и - о, верх моей дерзости! - отыскался даже несуществующий остров Формоза! Из всего этого читатель должен прийти к несомненному заключению, что переводы с одного языка на другой должны производиться не иначе, как буквально, из слова в слово. И это, видите ли, делается очень просто: возьмите двадцать уроков у какого-нибудь небывалого изобретателя небывалой методы для изучения английского языка; вооружитесь потом словарем Банкса, откройте Диккенса или Теккерея, ставьте на место английского русское слово - и дело пойдет превосходно, так что "литературный журнал" с удовольствием поместит ваш перевод на своих литературных страницах. Извольте

теперь объяснить, что изучать язык какого бы то ни было народа - значит изучать его жизнь, историю, нравы и обычаи, домашний, юридический, общественный быт, и что в этом отношении этнография и филология идут нераздельно, что тот не знает языка, кто не знает жизни народа! А изучить жизнь народа невозможно не только в тридцать, но и в триста часов. В этом отношении английский язык, наперекор мнению "литературного журнала", представляет величайшие трудности, которые могут быть побеждены не иначе, как продолжительным пребыванием между англичанами, в самой Англии. Для нас, русских, это изучение тем затруднительнее, что жизнь наша имеет слишком мало общих свойств с жизнью этих отдаленных островитян. И вот почему мы легче и скорее говорим по-французски, по-немецки, даже по-латыни и по-итальянски, нежели по-английски. Но, предположив даже общность нашего быта с английским, мы все-таки не вправе вывести заключение о возможности буквальных переводов с английского на русский и обратно. Как нет в природе двух вещей совершенно тождественных, так не может быть и слов, совершенно равносильных одно другому. Даже простейшие слова, придуманные для обозначения первых предметов, отличаются в разных языках разными, едва уловимыми оттенками.

В этих этимологических неведениях заключается основная причина невозможности буквальных переводов. Синтаксис - другая причина. Все люди, спора нет, мыслят по одним и тем же законам; но эти законы, в частнейшем приложении, видоизменяются до бесконечности в своих оттенках, и вместе с ними видоизменяется образ выражения мыслей. Отсюда - различие синтаксиса в языках. Английский язык в этом отношении представляет черты совершенно неудобоприложимые к русскому.

Из всего этого следует, что при художественном воссоздании писателя даровитый переводчик прежде и главнее всего обращает внимание на дух этого писателя, сущность его идей и потом на соответствующий образ выражения этих идей. Собираясь переводить, вы должны вчитаться в вашего автора, вдуматься в него, жить его идеями, мыслить его умом, чувствовать его сердцем и отказаться от своего индивидуального образа мыслей. Перенесите этого писателя под то небо, под которым вы дышите, и в то общество, среди которого развиваетесь, перенесите и предложите себе вопрос: какую бы форму

он сообщил своим идеям, если б жил и действовал при одинаковых с вами обстоятельствах? Это дело нелегкое, и не каждый в состоянии представить себе удовлетворительный ответ на этот вопрос. "De tous les livres a faire, le plus difficile, a mon avis, c'est une traduction" {Из всего, что касается работы над книгами, самое трудное, на мой взгляд, это перевод. (фр.)}. Это сказал Ламартин в своем "Voyage en Orient" {"Путешествии по Востоку" (фр.)} и на авторитет его в этом случае можно совершенно положиться.

Чего ж вы от меня хотите, милостивые государи? Да, мои переводы не буквальны, и я готов, к вашему удовольствию, признаться, что в "Базаре житейской суеты" есть места, принадлежащие моему перу, но перу - прошу заметить это, - настроенному под теккереевский образ выражения мыслей.

Впрочем, я имею самые основательные причины думать, что "литературный журнал" находит мои переделки в высшей степени сообразными с духом английских оригиналов, до того сообразными, что даже не отличает их от английского текста.

Продолжая свой ученый разбор английского романа, "литературный журнал" беспрестанно делает из меня выписки и объясняется до конца статьи моими словами и выражениями, которых большую часть он не нашел бы в оригинале. А мне очень жаль, что я сделался невинною причиною заблуждения "литературного журнала".

Чем же объяснить негодование "Современника" на простонародье, которое он находит в "Базаре житейской суеты"? Разве "литературный журнал" сравнил эти простонародные фразы с английским оригиналом и разве он нашел, что у Теккеря нет ничего соответствующего этим фразам? Ничуть не бывало. Он просто взял на выдержку несколько отдельных слов, не связав их ни с предшествующим, ни с последующим контекстом. Кого, спрашивается, нельзя обвинить по этой методе? Нет, милостивые государи, если вы хотите обвинять смиренного переводчика "Базара", то я советую вам прежде всего прочесть английский оригинал, потому что - прошу извинить - я никак не думаю, чтобы вы его читали. Если бы вы действительно читали "Vanity Fair" (вы пишете "Wanity", но это, разумеется, опечатка), то:

1) Вы никак бы не сделали заключения, что Теккерей писатель наивный и бесхитростный.

2) Вы бы не покорыствовались какими-нибудь Бумбумбумом и Моггичунгуком, которых я выдумал вовсе не для вашего удовольствия.

3) Вы бы не допустили бесчисленного множества всевозможных ошибок в "Ярмарке тщеславия".

4) Вы бы непременно увидели и убедились, что простонародный способ выражения большинства действующих лиц в "Базаре" составляет отличительное свойство этого романа. Ведь сам сэр Питт Кроли, баронет и член парламента, выражается на бумаге и в разговоре как простолюдин, делая против языка грубейшие ошибки на каждом слове. Что же сказать о его буфетчике Горроксе? о майорше Одауд? о Родоне Кроли? о лакеях и служанках, которых так много в "Базаре житейской суеты"? Вам не нравится, что Бьют называет у меня своего племянника забулдыгой; да знаете ли вы, что такое английское sprooney {дурень (англ.)} и scoundrel {подлец (англ.)}? Есть у Теккерея целая глава, "cynical chapter" {"циничная глава" (англ.)}, которая вся наполнена самыми простонародными выражениями; и если ваши переводчики "Ярмарки", не зная английского простонародья, должны были уничтожить тут, как и в других местах, весь колорит оригинала, то неужели, думаете вы, обязан кто-нибудь подражать им? Нет, тот, кто знаком с Теккереем в оригинале, скорее упрекнет меня в недостатке, чем в избытке простонародья, и этот недостаток я сам вижу гораздо яснее, чем "литературный журнал".

К. Д. УШИНСКИЙ
ИЗ СТАТЕЙ

В прошедшем номере "Современника" мы говорили уже о дорожных лекциях мистера Теккерея, которые вознаградили его с избытком за все путевые издержки, а теперь мы можем уведомить наших читателей о самом содержании этих чтений. Первый современный английский юморист выбрал предметом своих лекций английских же юмористов XVIII столетия. Свифт, Стиль, Приор, Фильдинг, Смоллет были попеременно предметами его импровизаций, отличавшихся той скрытой иронией, тем умением передавать серьезные мысли в форме веселой шутки, которым отличается Теккерей и с которыми познакомилась наша публика в "Ярмарке тщеславия" и в "Пенденнисе". Впрочем, мнение его о достоинстве этих юмористов вызывает множество произведений.

Мы считаем не лишним перевести отрывок из этих лекций, помещенный в одном английском журнале, чтобы познакомить наших читателей хоть сколько-нибудь с той игривой, полушутливой и полусерьезной манерой, которую мистер Теккерей избрал для своих чтений и для которой, чтобы она не перешла в манерность, нужны были ему вся живость и сила его воображения и весь поэтический такт, указывающий должные границы.

Уильям Теккерей, известный и под псевдонимом Микеланджело Титмарша, родился в Калькутте (как и молодой Ньюком) в 1808 году. Воспитывался в Чартер-Гоузе (Grey Friars его последней повести) и в Кембридже. Припоминают, что в Чартер-Гоузе он охотнее читал Аддиссона и Стиля, чем Гомера и Вергилия:

"Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал".

Впрочем, он хорошо познакомился с классическими писателями и полюбил впоследствии великих писателей Греции и Рима.

Он должен был быть богатым человеком; но предусмотрительность тех, в чьих руках было его состояние, поставила его в положение человека, который должен прокладывать себе дорогу в жизни своими собственными природными средствами. Вместе с состоянием расплылась и всякая возможность самообольщения, и Теккерей стал лицом к лицу с черствой, неподатливой стороной жизни, где для умного и наблюдательного человека грошовый выигрыш дает на червонец золотого опыта. Вот почему мы не можем сказать вместе с "London News", что от потери состояния потерял один Теккерей, а выиграл целый свет: выиграл свет, выиграл и Теккерей. Мы того убеждения, что истинной, полной жизнью живут только те люди, которые сами прокладывают себе дорогу в жизни. Будь родственник Уильяма Теккереев предусмотрительнее и бережливее, и в "Придворном путеводителе" оказался бы один богатый дом на лучшем лондонском сквере, но зато мы никогда бы не услышали о мистере Михаиле Анджело Титмарше. Эта догадка идет в особенности к гениям такого рода, каков гений Титмарша. Все его чудные рассказы - блестящие вариации на одну богатую поэму собственной его жизни. В Ньюкоме, мистере Титмарше, мистере Пенденнисе, рассказана одна бесконечно богатая быль, которой не могло бы создать самое пылкое воображение.

Бедность - это такой чудный ингредиент в химическом смешении элементов жизни, от прикосновения которого истина выделяется, чистая, как золото, и иллюзии всякого рода улетают парами. Вот почему, повторяем еще раз, мы не согласны с биографом "Лондонской иллюстрации", что обстоятельства, поставившие Теккерея в стесненное положение, принесли ему вред: не будь этих обстоятельств, и его слава, его богатство, его талант были бы в опасности, и, может быть, без могучей поддержки нужды погибли бы в напрасной борьбе с толстым слоем лоска, который в Англии более чем где-нибудь накладывается на все предметы. Таким-то образом отразились на "Ньюкомах" последствия ошибки, порожденной или гордостью, или предубеждением: "С моим талантом нет надобности ни в какой мысли, ни в каком дельном содержании. Отделка хороша, рассказ прекрасен - чего же больше? и роман будет хорош".

И роман оказался имеющим мало достоинства - даже художественного достоинства. Великолепная форма находится в нескладном противоречии с бедностью содержания, роскошная рама - с пустым пейзажем, в нее выставленным. В романе нет единства, потому что нет мысли, которая связывала бы людей и события; в романе нет жизни, потому что нет мысли, которая оживляла бы их.

Советуем прочитать "Ньюкомов" тем, которые думают, что для романа не важно содержание, если есть в нем блестящая отделка и прекрасный рассказ. О необходимости таланта нечего и говорить, нечего говорить о том, что бессильный работник - не работник, что слепой - не живописец, что хромой не танцор, что человек без поэтического таланта - не поэт. Но талант дает только возможность действовать. Каково будет достоинство деятельности, зависит уже от ее смысла, от ее содержания. Если бы Рафаэль писал только арабески, птичек и цветки - в этих арабесках, птичках и цветках был бы виден огромный талант, но скажите, останавливались ли бы в благоговении перед этими цветками и птичками, возвышало ли бы, очищало ли бы вашу душу рассматривание этих милых безделушек? Но зачем говорить о вас, будем говорить о самом Рафаэле - был ли бы он славен и велик, если бы писал безделушки? Напротив, не говорили ли бы о нем с досадою, почти с негодованием: он погубил свой талант?

В настоящее время из европейских писателей никто, кроме Диккенса, не имеет такого сильного таланта, как Теккерея. Какое

богатство творчества, какая точная и тонкая наблюдательность, какое знание жизни, какое знание человеческого сердца, какое светлое и благородное могущество любви, какое мастерство в юморе, какая рельефность и точность изображений, какая дивная прелесть рассказа! - колоссальным талантом владеет он! - все могущество таланта блестящим образом выразилось в "Ньюкомах", - и что же? останется ли этот роман в истории, произвел ли он могущественное впечатление на публику, заслужил ли он, по крайней мере, хотя одобрение записных ценителей изящного, которые требуют только художественных совершенств от поэтического произведения? - Ничего подобного не было. Равнодушно сказали ценители изящного: "В романе виден огромный талант, но сам роман не выдерживает художественной критики", равнодушно дочитали его иные из большинства публики, иные и не дочитали. Не упомянет о нем история, и для славы самого Теккерей было бы все равно, хоть бы и не писать "Ньюкомов".

Мы опять увлекаемся в восклицательный тон; действительно, если говорить о достоинствах Теккереева таланта и Теккереевых романов, то нельзя говорить равнодушно, - так многочисленны и велики они, и в "Ньюкомах" эти достоинства обнаруживаются не менее блестящим образом, нежели в "Ярмарке тщеславия" или "Пенденниси". Однако же невозможно остановиться на этом восхищении; нельзя забыть того назидательного факта, что русская публика - которая скорее пристрастна, нежели строга к Теккерее и, во всяком случае, очень хорошо умеет понимать его достоинства, - осталась равнодушна к "Ньюкомам" и вообще готовится, по видимому, сказать про себя: "Если вы, г. Теккерей, будете продолжать писать таким образом, мы сохраним подобающее уважение к вашему великому таланту, но - извините - отстанем от привычки читать ваши романы".

Для Теккерей, конечно, не много горя от такой угрозы, - он, бедняжка, в простоте души и не подозревает, скольких поклонников имеет на Руси и сколько из этих поклонников готовы изменить ему. Но было бы хорошо, если бы этот опыт, нам посторонний и никому не обидный, обратил на себя внимание русских писателей, - было бы хорошо, если бы они подумали о том, Нельзя ли им воспользоваться этим уроком.

Почему, в самом деле, русская публика насилу одолела, протирая смыкающиеся сном вежды, "Ньюкомов" и решительно не одолеет другого романа Теккерей в таком же роде? Почему не принесли никакой пользы "Ньюкомам" все те совершенства, о которых нельзя говорить без искреннего восторга, если только говорить о них?

Не вздумайте сказать: "Ньюкомы" слишком растянуты. Это объяснение внушается слишком громадным размером романа, но оно нейдет к делу во-первых, потому, что оно не совсем справедливо, во-вторых, и потому, что ничего не объяснило б, если б и было справедливо.

Если кто, то уже, конечно, не мы будем защитниками растянутости, этой чуть ли не повальной болезни повествователей нашего века. Сжатость первейшее условие силы. Драма обязана преимущественно строгой ограниченности своих размеров тем, что многие эстетики считают ее высшею формою искусства. Каждый лишний эпизод, как бы ни был он прекрасен сам по себе, безобразит художественное произведение. Говорите только то, о чем невозможно умолчать без вреда для общей идеи произведения. Все это правда, и мы готовы были бы причислить к семи греческим мудрецам почтенного Кошанского за его златое изречение: "Всякое лишнее слово есть бремя для читателя". Но "Ньюкомы", если и грешат против этого правила, и даже очень сильно грешат, то все же не больше, напротив, даже меньше, нежели почти все другие современные романы и повести. Не обманывайтесь тем, что "Ньюкомы" составили 1042 страницы журнального формата в нашем переводе, - цифра действительно ужасна, и мы не сомневаемся в том, что если б, вместо 1042 страниц, Теккерей написал на эту тему только 142, то есть в семь раз меньше, то роман был бы в семь раз лучше, но почему мы так думаем, скажем после, а теперь пока заметим, что в том виде, какой имеет его роман, вы не можете при чтении пропустить пяти-шести страниц, не потеряв нити и связи рассказа, - вам придется воротиться назад и перечитать эти пропущенные страницы. В иной век это не служило бы еще особенной честью, а в наш век бесконечных разведения водю гомеопатических доз романного материала и то уже чуть не диво. Когда-то, выведенный из терпения укоризнами многих тонких ценителей изящного за то, что не читал пресловутой "Dame aux camelias" {"Дамы с камелиями" (фр.)}, рецензент взял в руки эту

книжку, прочитал страниц десять - скучно, перевернул пятьдесят страниц - "не будет ли интереснее тут, около 60-й страницы" - и к великому удовольствию заметил, что ничего не утратил от этого скачка: на 60-й странице тянулось то же самое положение, или, может быть, и другое, но совершенно такое же, как и на 10-й странице; прочитав две-три страницы, опять перевернул тридцать - опять то же, - и дальше, и дальше по той же системе, и все шло хорошо, связно, плавно, как будто бы непрочитанных страниц и не существовало в книге. А книжка и невелика, кажется. Вот это можно назвать растянутостью.

Теккерей так читать нельзя - как же винить его в растянутости? У него очень обилен запас наблюдений и мыслей - он плодovit, "слог его текущ и обилен", по терминологии Кошанского, - оттого и романы его очень длинны, это порок еще не большой сравнительно с другими. "Но все-таки 1042 страницы это ужасно!" Нет, числом страниц не определишь законного объема книги. "Том Джонс" или "Пиквикский клуб" не меньше "Ньюкомов", а эти обширные рассказы прочитываются так легко, как самая коротенькая повесть. Все дело в том, чтобы объем книги соответствовал широте и богатству ее содержания.

Но пусть "Ньюкомы" назовутся растянутым рассказом - это слово само по себе ничего не объясняет, оно только указывает на необходимость другого объяснения, заставляет вникнуть в вопрос не о том, хорошо ли вообще роману иметь 1042 страницы журнального формата; вообще ничего определительного нельзя сказать об этом - почему не написать и 1042 страницы, если такого широкого объема требует содержание? Нет, надобно вникнуть в вопрос о том, каково содержание романа, может ли оно занять читателя более, нежели на четверть часа? О серьезном предмете можно толковать и несколько дней и несколько недель, если он так многосложен, но если пустое дело растянется в такую длинную историю, то не лучше ли бросить его? Ведь игра не стоит свеч: если пустяков нельзя решить в пять минут, лучше предоставить их решение судьбе, чтобы не ломать головы понапрасну.

Вот в этом-то смысле для "Ньюкомов" было бы лучше иметь вместо 1042 страниц только 142. К сожалению, Теккерей вздумалось

вести с нами слишком длинную (умную, прелестную, все это так, но длинную) беседу о пустяках.

А. И. ГЕРЦЕН

ИЗ СТАТЬИ

Одним из свойств русского духа, отличающим его даже от других славян, является способность время от времени оглянуться на самого себя, отнестись отрицательно к собственному прошлому, посмотреть на него с глубокою, искреннею, неумолимой иронией и иметь смелость признаться в этом без эгоизма закоренелого злодея и без лицемерия, которое винит себя только для того, чтобы быть оправданным другими. Чтобы сделать свою мысль еще более ясной, замечу, что тот же талант искренности и отрицания мы находим у некоторых великих английских писателей, от Шекспира и Байрона до Диккенса и Теккерея.

И. С. ТУРГЕНЕВ

ИЗ ПИСЕМ

Г. Чорли ?1849 год

Это хорошая вещь ("Ярмарка тщеславия"), сильная и мудрая, очень остроумная и оригинальная. Но зачем понадобилось автору поминутно возникать между читателями и героями и с каким-то старческим self-complacency {Самодовольством (англ.)}, пускаться в рассуждения, которые большей частью настолько же бедны и плоски, насколько мастерски обрисованы характеры.

ИЗ "ПИСЕМ О ФРАНКО-ПРУССКОЙ ВОЙНЕ"

Я и прежде замечал, что французы менее всего интересуются истиной... В литературе, например, в искусстве они очень ценят остроумие, воображение, вкус, изобретательность - особенно остроумие. Но есть ли во всем этом правда? Ба! было бы занятно. Ни один из их писателей не решился сказать им в лицо полной, беззаветной правды, как, например, у нас Гоголь, у англичан Теккерей.

Л. Н. ТОЛСТОЙ

ИЗ ПИСЕМ, ДНЕВНИКОВ, ПРОИЗВЕДЕНИЙ, БЕСЕД ИЗ ДНЕВНИКА

26 мая 1856 года

Первое условие популярности автора, то есть средство заставить себя любить, есть любовь, с которой он обращается со всеми своими лицами. От этого Диккенсовские лица общие друзья всего мира, они

служат связью между человеком Америки и Петербурга, а Теккерей и Гоголь верны, злы, художественны, но не любезны.

Н. А. Некрасову ноябрь 1856 года

У нас не только в критике, но и в литературе, даже просто в обществе, утвердилось мнение, что быть возмущенным, желчным, злым очень мило. А я нахожу, что скверно... только в нормальном положении можно сделать добро и ясно видеть вещи... Теккерей до того объективен, что его лица со страшно умной иронией защищают свои ложные, друг другу противоположные взгляды.

ИЗ РАССКАЗА "СЕВАСТОПОЛЬ В МАЕ"

Тщеславие, тщеславие и тщеславие везде - даже на краю гроба и между людьми, готовыми к смерти из-за высокого убеждения. Тщеславие! Должно быть, оно есть характеристическая черта и болезнь нашего века... Отчего Гомеры и Шекспиры говорили про любовь, про славу и про страдания, а литература нашего века есть только бесконечная повесть "Тщеславия".

ИЗ БЕСЕДЫ С В. ХЭПГУДОМ

? 1904 год

Существует три признака, которыми должен обладать хороший писатель. Во-первых, он должен сказать что-то ценное. Во-вторых, он должен правильно выразить это. В-третьих, он должен быть правдивым... Теккерей мало что мог сказать, но писал с большим искусством, к тому же он не всегда был искренним.

ИЗ БЕСЕДЫ С Д. П. МАКОВИЦКИМ

1908 год

А читали вы его "Историю двух городов"? А "Наш общий друг"? а прочтите их, ах, как я вам завидую, сколько удовольствия вам предстоит. Диккенс - на верхней ступеньке, ступенькой ниже Теккерей, еще ниже Троллоп.

А. И. ФЕТ

ИЗ ПИСЕМ И СТАТЕЙ

С. А. Толстой 31 марта 1887 года

жена моя, по прочтении последнего письма Вашего, воскликнула: "какая прелесть - письма графини: точно побываешь у них и видишь все собственными глазами!" Вы не поверите до какой степени я в этом отношении Вам завидую; но увы! неисцелимо похож на того сумасшедшего английского романиста, у которого выскакивающий

внезапно король Эдуард заслоняет самое дело. К счастью, самый род труда моего заставляет меня прибегать к тому же спасительному средству. Перевод оригинального текста идет во всей девственной чистоте, а король Эдуард разгуливает по предисловию и примечаниям. но если бы тяжкая неурядица моих экономических дел могла, хотя бы отдаленно, переходя в порядок, приблизиться к блестящим результатам Вашего неусыпного труда, то гордости моей не было бы и пределов.

Кстати о гордости. Господи! опять король Эдуард!

А. В. Олсуфьеву 7 июня 1890 года

вчерашнее любезное письмо Ваше напомнило мне роман, кажется Теккерей, в котором герой пишет прекрасный роман, но в то же время подвергается значительному неудобству: среди течения рассказа перед ним вдруг появляется король Эдуард и вынуждает автора с ним считаться; видя, что король положительно не дает ему окончить романа, автор прибегает к следующей уловке: он заводит для короля особую тетрадку, и, как только он появляется в виде тормоза среди романа, он успокоит его в отдельной тетрадке и снова берется за работу.

Нельзя ли нам точно так же поступить с нашим трудом, в воззрении на который мы никогда с Вами не сойдемся.

ИЗ КНИГИ "РАННИЕ ГОДЫ МОЕЙ ЖИЗНИ"

Сколько раз, уходя поздно вечером из комнаты Введенского, мы с Медюковым изумлялись легкости, с которою он, хохоча и по временам отвечая нам, сдвинув очки на лоб, что называется, строчил с плеча переводы из Диккенса и Теккерей, которые затем без поправок отдавал в печать.

Ф. И. БУСЛАЕВ

ИЗ СТАТЬИ "О ЗНАЧЕНИИ СОВРЕМЕННОГО РОМАНА И ЕГО ЗАДАЧАХ"

Иногда он манит и соблазняет, чтобы испытать твердость нравственных убеждений, учит и исповедует, дает разрешение или налагает эпитимью, как Теккерей, глубокомысленный в своей ясной игривости - часто, оставляя в стороне своих героев - обращается к читателю и ведет с ним самую интимную беседу, будто адвокат с обвиняемым или исповедник с кающимся во грехах, внушая читателю, что на земле нет абсолютного ни зла, ни добра; нет ни демонов, ни ангелов, нет чистых - без малейшего пятна - идеалов: потому что за

всяким добрым поступком, за всяким бескорыстием можно подметить практическую пружину эгоизма или просто слабость воли и равнодушие; потому что в каждом из читателей есть тайные зародыши на поползновение к той же пошлости, лжи и злобе, которые великий романист рисует в своих действующих лицах: и снисходительнее мы становимся к своей грешной братии, к преступникам и ошельмованным, умиляемся чувством евангельского милосердия, и миримся с житейским злом и несовершенствами человеческими.

П. Д. БОБОРЫКИН

ИЗ КНИГИ "РОМАН НА ЗАПАДЕ"

Начиная с XVIII столетия английские романисты расширяли сферу реального изображения жизни, а в половине XIX века такие таланты, как Диккенс и Теккерей, совершенно законно привлекали к себе интерес всего культурного мира, а у нас сделались по крайней мере лет на десять, на двадцать самыми главными любимцами более серьезной публики. Но сторонники творчества, свободного от всякой тенденции и утилитаризма, имели право и на Диккенса смотрели с большими оговорками. И в нем огромный темперамент и богатые творческие способности почти постоянно служили только средством, чтобы приводить читателя в настроение, какое нужно было романисту для его обличительных тем. Даже и в Теккерее - более объективном изобразителе британского общества - те, кто видел в Флобере высокий тип романиста, имели повод, в котором слишком много сатирической примеси с накладыванием слишком густых красок в условном юмористическом освещении.

КОММЕНТАРИИ

ЖИЗНЬ, ТВОРЧЕСТВО, ЛИЧНОСТЬ ТЕККЕРЕЯ

ДЖОРДЖ ВЕНЕЙБЛЗ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ШКОЛЬНЫХ ГОДАХ ТЕККЕРЕЯ

Джордж Стоувин Венейблз (1810-1886) учился с Теккереем в школе Чартерхаус, во время игры нечаянно сломал Теккерее переносицу, что, впрочем, не помешало им стать в дальнейшем друзьями. Венейблз стал адвокатом; время от времени сотрудничал с литературными журналами в качестве рецензента. Свои воспоминания о Теккерее записал по просьбе Энтони Троллопа.

Перевод выполнен по изд.: Trollope A. Thackeray, 1879, p. 4-5.

Помню я теперь лишь одну строчку пародии на стихотворение Л. Э. Л. Речь идет о весьма популярной в начале XIX в. английской поэтессе Летиции Элизабет Лэнден (1802-1838).

Смитфилд - место, где совершались казни: здесь была виселица, сжигали иноверцев.

...и "Бойня" превратилась в "Серых Монахов". - Школа "Серых Монахов" (францисканцев) - закрытая школа Чартерхаус в Лондоне, основанная в 1611 г., одновременно с богадельней для обедневших дворян, на месте монастыря XIV в. В этой школе училось много известных литературных и общественных деятелей Англии, в том числе и сам Теккерей. "Бойня" - так Теккерей и его товарищи прозвали школу Чартерхаус за царившие там жестокие нравы.

ЭДВАРД ФИЦДЖЕРАЛЬД ИЗ ПИСЕМ

С Эдвардом Фицджеральдом (1809-1883), в будущем поэтом, известным переводчиком на английский язык Омара Хайяма, Теккерей подружился в Кембридже. Эта дружба длилась всю жизнь, хотя раннему, скрытному, ведущему очень замкнутый образ жизни Фицджеральду иногда казалось, что он не нужен Теккерее. Апогей их дружбы пришелся на середину 30-х гг.: Теккерей мучительно искал себя, часто бывал в стесненных обстоятельствах, Фицджеральд всегда был готов помочь ему не только добрым словом, но и деньгами. Перед смертью Теккерей написал Фицджеральду письмо, в котором поручал дочерей заботам друга.

Перевод выполнен по изд.: Fitzgerald E. Letters. Ed. by W. A. Wright, 1901, Vol. 1, p. 1, 17, 193, 238, 250-251, 257, 272-273, 310-311; Vol. 2, p. 50, 53, 198.

По вашему совету перечту Граммона... - Имеется в виду "Жизнеописание графа де Граммона, повествующее, в частности, о любовных интригах английского двора в царствование короля Карла II" (1713), принадлежащее перу свояка графа де Граммона Энтони Гамильтона (1646? - 1720). По-английски эти воспоминания были изданы, правда, со множеством ошибок, в 1714 г.; над их текстом в 1811 г. работал и Вальтер Скотт, который существенно переработал текст. К этим мемуарам Теккерей обращался, работая над лекцией о Стиле для "Английских юмористов".

Холланд-Хаус - лондонский дворец XVII в. с парком. В XVIII - начале XIX в. стал главным местом встреч политических деятелей и писателей, сторонников виггов.

Девоншир-Хаус - резиденция графов Девонширских на Пикадилли в Лондоне. Пришел в ветхость и был снесен в 1925 г.

Альфред. - Имеется в виду Альфред Теннисон.

...у нас есть свои обиды на "Сатердей ревью", как и у Теккерера...
Еженедельник "Сатердей ревью" был основан в 1855 г., в нем нередко печатались весьма резкие отзывы на произведения Теккерера.

ТОМАС КАРЛЕЙЛЬ

ИЗ ПИСЕМ

Томас Карлейль (1795-1881), писатель, философ, познакомился с Теккереем в начале 1830-х гг.: они оба писали для "Фрэзерс мэгезин". О Карлейле и его жене Джейн Теккерей отзывался очень тепло: "Это самые милые из умных и образованных людей, которых мне довелось встречать". Карлейль очень сочувствовал личной драме Теккерера - душевной болезни жены: "Его перо и карандаш так талантливы: честный человек и такое ужасное горе! Так и кажется, что во всем Лондоне ему нет пристанища, кроме нашего дома". Теккерей, как многие его современники, испытал сильное влияние Карлейля. Карлейль с похвалой отозвался о повести Теккерера "Кэтрин" (1838), в которой его привлекло умение писателя изображать историческое прошлое. Позднее Теккерей отошел от Карлейля и даже позволил себе несколько раз отозваться иронически о Карлейле. Карлейля тоже не все устраивало в поведении Теккерера; например, суетность, которую он почувствовал в Теккере-лекторе. После смерти Теккерера старшая дочь писателя Энн встретила Карлейля на улице, который, увидев ее, вдруг начал горько плакать.

ДЖЕЙН БРУКФИЛД

ИЗ ПЕРЕПИСКИ

Джейн Брукфилд (1821-1896) - жена близкого друга Теккерера по Кембриджу, священника Уильяма Брукфилда (1809- 1874), дочь известного ученого, баронета Чарлза Элтона. Теккерей был очень дружен с Уильямом Брукфилдом, а после того, как, подтвердилась болезнь жены, он проводил большую часть времени в доме у Брукфилдов. Постепенно дружеское чувство к жене друга, благодарность за внимание и заботу о детях перешло в глубокое

чувство, с которым он не смог справиться. По некоторым данным, Джейн Брукфилд и Теккерей в 1851 г. стали любовниками. Но как бы то ни было, Уильям Брукфилд вынужден был отказать Теккерее от дома. Теккерей очень мучительно переживал разрыв. В 1887 г. Джейн Брукфилд, к удивлению и негодованию друзей Теккерее и его близких, продала значительную часть писем писателя к ней. Свой поступок она объяснила необходимостью погасить многочисленные долги своего сына-актера.

Перевод выполнен по изд.: A collection of letters of W. M. Thackeray 1847 - 1855. Ed. by Jane O. Brookfield, 1887, p. 176.

Вышла новая "Ярмарка"... - По издательским правилам XIX в. романы чаще всего выходили выпусками; здесь речь идет о гл. XXX-XXXII, описывающих сражение под Ватерлоо.

ГЕНРИЕТТА КОКРЕН

ИЗ КНИГИ "ЗНАМЕНИТОСТИ И Я" (1902)

Генриетта Кокрен (? - 1911) - дочь близкого друга Теккерее, ирландского литератора, парижского корреспондента "Морнинг кроникл" Джона Фрэзера Кокрена (? - 1884). В книге "Знаменитости и я" она вспоминает о Теккерее, оказавшем немалую финансовую поддержку их семье в трудную пору их жизни.

Перевод выполнен по изд.: Corkran H. Celebrities and I. 1902, p. 18-30.

...как лилипуты, к которым прибыл житель Бробдингнега. - Бробдингнег королевство, куда во время своих странствий попадает Гулливер и где живут огромного роста люди.

...заметил мой кринолин... надел на свою большую голову, уподобившись Моисею Микеланджело. - Речь идет о знаменитой статуе Микеланджело, изображающей Моисея в ярости, готового разбить скрижали, едва ли имеющего что-то общее с Моисеем из Библии, о котором сказано, что "он был человек кротчайший из всех людей на земле" (Чис. 12,3). Рога из волос над лицом Моисея на многих изображениях связаны отчасти с лексическим недоразумением (по-еврейски одно и то же слово означает и "луч", и "рог"), отчасти с традицией символики рога как знака сверхъестественной силы.

Положиться на воронов. - Ср. Евангелие от Луки, 12, 24: "Посмотрите на воронов: они не сеют, не жнут; нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их; сколько же вы лучше птиц".

ГАРРИ ИННЗ И ФРЭНК ДУАЙЕР ТЕККЕРЕЙ И ЛЕВЕР

Лето и осень 1842 г. Теккерей провел в Ирландии, где собирал материал для "Ирландских заметок" (1843). Будучи в Дублине, Теккерей навестил известного ирландского романиста Чарлза Левера (1806-1872). Теккерей с Левером связывали вполне дружеские отношения: во время путешествия по Ирландии Теккерей останавливался в его доме, посвятил ему "Книгу ирландских очерков", которые, однако, из-за критического взгляда Теккерей на ирландскую действительность и ирландский национальный характер не слишком понравились Леверу. Надо сказать, что и сам Теккерей к творчеству своего ирландского знакомого относился более чем сдержанно ("Я никогда не мог заставить себя принимать всерьез его как писателя"), не раз высмеивал его высокопарный, романтический стиль в своих пародиях. Еще в 1842 г. он посоветовал Леверу избавиться от "экстравагантности" и "излишеств", писать характер, а не эдакий расхожий шаблон. Принципиальные возражения вызывали у Теккерей прославление Левером воображаемых достоинств своих соотечественников и принижение других народов. Гипертрофированный шовинизм сочетался у Левера с пренебрежением исторической достоверностью. Пародию "Фил Фогарти", впервые опубликованную Теккереем в "Панче" в августе 1847 г., а затем вошедшую в серию "Романы прославленных сочинителей", он посвятил роману "Признания Гарри Лоррекера" (1835). Своей пародией Теккерей нанес непоправимый урон литературной репутации Левера. Левер был смертельно обижен и в романе "Роналд Кэшл" (1866) нарисовал довольно злую карикатуру на Теккерей в образе странствующего "Мистера Горлодралза", литератора, берущегося за все - от статистики до сатиры, которому по плечу толковать Священное писание и строчить пасквили для "Панча".

Суждения Теккерей о Левере были записаны кузеном Теккерей Гарри Иннзом и другом Левера майором Фрэнком Дуайером.

Перевод выполнен по кн.: Fitzpatrick W. F. Life of Charles Lever, 1879, vol. 2, p. 396-397, 405-420.

Тогда главным вопросом дня была отмена хлебных законов. - Хлебные законы в Великобритании в XV-XIX вв. регулировали ввоз и вывоз зерна и других сельскохозяйственных продуктов, в основном

путем высоких таможенных тарифов. В XIX в. отмена хлебных законов стала лозунгом фритредеров. Отменены в 1846 г.

Мэйнутский колледж - центр клерикальной (католической) жизни Ирландии, находится в городе Мэйнуте в 17 милях от Дублина.

...о том явлении, которое впоследствии приняло широкий размах и стало называться: "валка ядовитого леса" - то есть об искоренении различных недостатков в ирландской жизни.

Дублинский замок - основной административный центр Ирландии, резиденция лорда-лейтенанта, назначаемого английским правительством.

...распалить Левера и вырвать у него признание, что он и Чарлз О'Молли - одно лицо. - Речь идет о герое одноименного романа Левера "Чарлз О'Молли" (1840), в котором, в частности, описывается сражение при Ватерлоо.

ЭНН РИТЧИ

ИЗ КНИГИ "ГЛАВЫ ВОСПОМИНАНИЙ" (1898)

Энн Изабелла Теккерей, позднее леди Ричмонд Ритчи (1837-1919) - старшая дочь Теккерей, писательница, дебютировала в журнале "Корнхилл" рассказом "Маленькие школяры"; также автор романов "История Элизабет" (1863), "Старый Кенсингтон" (1871). Ей принадлежат подробные воспоминания об отце. Не все рукописи Энн Ритчи пока опубликованы.

Перевод выполнен по изд.: Anne Thackeray Ritchie. Biographical introduction to The works of W. M. Thackeray in 13 vol. London, 1898, p. XI, XII, XXV-XXXIV; XVII. Thackeray's daughter: some recollections. Compiled by Hester Thackeray and Violet Hammersley (1951), p. 87-88.

"Последний очерк" - фактически эссе-некролог Теккерей, посвященное смерти Шарлотты Бронте, в котором он описывает брак писательницы со священником Николаем и ее новый незавершенный роман "Эмма". В "Корнхилле" этот очерк предварял публикацию "Эммы".

Так, у нее был Николас Никльби - огромный серо-полосатый кот, другого звали Чезлвит, был тут Барнеби Радж... - Коты носили имена героев романов Диккенса.

...украшенная бюстами отца в отроческие годы. - Имеется в виду бюст Теккерей в 11 лет работы Джозефа Эдгара Бона (ок. 1824 г.).

...письмо малютки Эмили к старику Пеготти. - Подразумевается "Дэвид Копперфилд" Диккенса.

...марки "Дерби", - Речь идет о фарфоре, производившемся в XVIII в. в г. Дерби; его марка - корона над буквой Д.

Джимс де ля Плюш - лакей Теккерей не без литературных пристрастий и склонностей, впоследствии давший имя герою с похожими пристрастиями в ранних произведениях Теккерей; также один из многочисленных псевдонимов писателя.

...подобны чуду о хлебах и рыбах. - Имеется в виду евангельская притча (ср. Евангелие от Матфея, 14, 17), в котором рассказывается о том, как Иисус накормил огромное количество народа пятью хлебами и двумя рыбами.

...удостоился знакомства с великим Гете. - Вот как Теккерей описывает эту встречу: "Я припоминаю очень ясно то тревожное, отчасти тоскливое состояние духа, в которое приведен был я, молодой человек девятнадцати лет, когда получил известие, что в такой-то день господин тайный советник примет меня... Гете был в длинном сером сюртуке, в белом галстуке, с простой ленточкой в петлице. Мне показалось, что Гете в старости, вероятно, был красивее, чем в молодости. Голос его был полон и благозвучен... Я в жизни своей не видел ничего светлее, величественнее и здоровее грандиозного старика Гете". Эти воспоминания были написаны Теккереем для книги Генри Льюиса "Жизнь Гете".

А мне еще и посчастливилось обзавестись шпагой Шиллера. - Находясь в Веймаре, Теккерей приобрел шпагу Шиллера и блистал с ней на балах, для которых выписал из Англии даже парадную военную форму лейб-гвардейца. В свое время Теккерей уговорил отчима, майора Кармайкла-Смита, записать его в отряд лейб-гвардейцев, несущих личную охрану королевского семейства. Их форма, сочетающая розовый и голубой цвета, была очень красочной.

...будут вращаться, словно Иксион, - В греческой мифологии за страсть царя Иксиона к Гере Зевс велел привязать Иксиона к вечно вращающемуся колесу - по некоторым версиям мифа, огненному - и забросить в небо.

"Адам Вид" (1859) - роман Джордж Элиот.

Серпантин - искусственное озеро в Гайд-парке.

"Очерки" Маколея. - Особую известность Маколею принесло трехтомное сочинение "Критические и исторические очерки" (1843), с которым был хорошо знаком Теккерей. В одном из первых номеров журнала "Корнхилл" была напечатана статья только что скончавшегося Маколея.

...вкусил от струй фонтана Треви, как предстояло и нам. Немногие из нас вернулись вновь к фонтану! - По преданию, тот, кто выпьет воды из фонтана Треви в Риме, обязательно вернется в этот город снова.

Дама из Шалота - намек на цикл поэм Альфреда Теннисона "Королевские идиллии" (опубл. в 1859 г.), основанный на легендах о короле Артуре и его рыцарях.

...в палаццо Понятовского... - Имеется в виду дворец на виа делла Кроче, в котором Теккерей жил вместе с дочерьми во время своего пребывания в Риме. Вот что вспоминает об этом в одном из писем Теккерей: "Квартиру в Риме мы сняли - очень неразумно - над кондитерской в палаццо Понятовского на виа делла Кроче. Не думайте, будто мы жили в роскоши, здесь каждый второй дом, даже совсем маленький и неприглядный, называется "палаццо", хотя в нем может ничего не быть от того великолепия, которое, как мы обычно полагаем, означает это слово".

АЛИСИЯ БЕЙН

ИЗ КНИГИ "ПАМЯТИ СЕМЬИ ТЕККЕРЕЕВ" (1879)

Алисия Бейн - кузина Теккерей, дочь миссис Прайм (1788-1871), дальней родственницы.

Перевод выполнен по изд.: Waune A. Memorials of the Thackeray, 1879, p. 325-327.

"Атенеум" - лондонский клуб преимущественно для ученых и писателей. Основан в 1823 г. Буквальное значение названия - Храм Афины. "Гаррик-клуб" лондонский литературный и театральный клуб, знаменитый собранием картин на театральные сюжеты. Основан в 1831 г. и существует по сей день. Назван в честь знаменитого актера Дэвида Гаррика, снискавшего славу исполнением заглавных ролей в пьесах Шекспира.

Утрехтский договор, или Утрехтский мир 1713 г. - общее название ряда мирных договоров (франко-английских, франко-голландских и др.), завершивших войну за Испанское наследство.

КЕЙТ ПЕРРИ
ИЗ КНИГИ "ВОСПОМИНАНИЯ О ЛОНДОНСКОЙ
ГОСТИНОЙ"

Кейт Перри - дочь главного редактора "Морнинг кроникл" Джеймса Перри (? - 1881), фигуры весьма влиятельной в лондонском обществе. Он был также другом и корреспондентом Теккерей с 1846 г. до самой смерти писателя. Кейт Перри посвящено стихотворение Теккерей "Перо и альбом" (1852).

Перевод выполнен по изд.: Perry K. Reminiscences of a London drawing room (1833); A collection of letters of W. M. Thackeray, 1847-1855, 2 ed. (1887), p. 177-183.

Пустите детей и не препятствуйте им.. - Ср. Евангелие от Матфея, 10; 14; Лука, 13; 16.

ДЖОН ДЖОНС МЕРРИМЕН
ИЗ СТАТЬИ "КЕНСИНГТОНСКИЕ СВЕТОЧИ"

Джон Джонс Мерримен (1800-1881) - хирург, много лет пользовавшийся Теккерей, также его сосед по Янг-стрит. Их знакомство не прерывалось, когда Теккерей переехал в Кенсингтон.

Перевод выполнен по изд.: Merriman J. J. Kensington worthies. St. Mary Abbots Parish magazine, Sept., 1889, p. 225-226.

С зарею птицы встрепнулись... - Из стихотворения Теккерей "Белая чайка" (1844).

Когда архидиакон Синклер в разгар "хлопкового голода"... - Через Джона Синклера Теккерей не раз помогал бедным, в том числе и во время Гражданской войны в Америке, когда из-за сокращения поставок хлопка в Ланкашире начались волнения среди рабочих. Синклер попросил Теккерей выступить и успокоить волнующихся. Теккерей согласился, правда, заметив: "Я не оратор, а только писатель".

ФРЭНСИС СЕНТ-ДЖОН ТЕККЕРЕЙ
ВОСПОМИНАНИЯ О ТЕККЕРЕЕ

Фрэнсис Теккерей (1832-1919) - двоюродный брат Теккерей, а также его крестник. Всегда бывал в доме Теккерей на Пасху.

Перевод выполнен по изд.: Thackeray Fr. St. John. Reminiscences of W. M. Thackeray. Temple Bar ХСVIII, 1893, p. 374-378.

ЭЛИЗАБЕТ БАРРЕТ-БРАУНИНГ И РОБЕРТ БРАУНИНГ
ИЗ ПИСЕМ

Теккерей познакомился с Браунингами в Риме. В доме Браунингов особенно любили бывать дочери писателя, которые находили историю жизни Элизабет Браунинг очень романтической: в возрасте 42 лет она бежала с Робертом Браунингом от деспота-отца, тайком покинув Лондон. К тому времени, когда они встретились, она благополучно излечилась от чахотки и была счастлива. Элизабет Браунинг была нежна с девочками, разговаривала, точно с равными, приглашала на чашку чая, но осуждала Теккерей за то, что они ведут богемный образ жизни. К поэзии Браунингов Теккерей относился более чем сдержанно.

Перевод выполнен по изд.: Robert and Elizabeth B a g g e 11 Browning. Dearest Isa: Robert Browning's letters to Isabella Blagden (1951).

Пенини - дочь Браунингов.

ШАРЛОТТА БРОНТЕ

ИЗ ПИСЕМ

В отзыве на роман "Джейн Эйр", присланный ему на рецензию, Теккерей писал: "Кто ее автор, я догадаться не могу. Если это женщина, она владеет языком лучше, чем кто-либо из ныне живущих писательниц, или получила классическое образование. Впрочем, это прекрасная книга. И мужчины, и женщины изображены превосходно; стиль очень щедрый и, так сказать, честный. Передайте автору мою благодарность и уважение. Этот роман - первая из современных книг, которую я смог прочесть за последние годы".

Теккерей встречался с Шарлоттой Бронте несколько раз. Первая их встреча произошла в доме издателя Джорджа Смита, открывшего английской публике талант Шарлотты Бронте. Шарлотта Бронте так волновалась, что была почти в полуобморочном состоянии. Но при этом ей не изменила наблюдательность, и в письме к отцу она нарисовала портрет Теккерей. А вот реакция Теккерей: "Помню маленькое дрожащее создание, маленькую руку, большие честные глаза. Именно непреклонная честность показалась мне характерной для этой женщины. Я представил себе суровую маленькую Жанну д'Арк, идущую на нас, чтобы упрекнуть за нашу легкую жизнь и легкую мораль. Она произвела на меня впечатление человека очень чистого, благородного, возвышенного".

Перевод выполнен по изд.: The Brontes: their lives, friendships and correspondence. 1932, vol. III, p. 54, 76, 117-118; 193-195; 239-253.

Аскотские скачки. - Аскот - ипподром, близ Виндзора, где в июне проходят ежегодные четырехдневные скачки, являющиеся важным событием в жизни английской аристократии. Впервые проведены в 1711 г.

РИЧАРД БЕДИНГФИЛД ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Ричард Бедингфилд - дальний родственник Теккерея, часто видел писателя в пору своей молодости. Теккерей был очень привязан к Бедингфилду, помогал советами, когда тот решил попробовать себя на писательском поприще. Именно Теккерею в 1844 г. Бедингфилд посвятил свой второй роман, чем очень тронул писателя. "Это первое посвящение в моей жизни", - заметил Теккерей.

Перевод выполнен по изд.: Bedingfield R. Personal recollections of Thackeray. Cassell's magazine, 1869, Э 1, p. 296-299. Recollections of Thackeray with some of his letters, anecdotes and criticism. Ibid, 1870, p. 12-14, 28-30, 72-75, 108-110, 134-136, 230-232.

Диккенс пытался передать мне свое восхищение поэзией Теннисона... Диккенс, хотя и не очень любил поэзию, высоко оценил "Стихотворения" Теннисона, вышедшие в 1842 г., и позже его "Идиллии".

В беседе со мной он восхищался романами Купера из цикла о Кожаном Чулке. - Теккерей не раз высказывал и довольно скептическое отношение к творениям "американского Вальтера Скотта", как называли Купера современники. Возмущал Теккерея шовинизм автора, особенно проявившийся в его очерках после поездки в Европу в 1837-1838 гг., и одновременно с этим преклонение перед английской аристократией. В серию пародий "Романы прославленных сочинителей" Теккерей включил и "Звезды и полосы", пародию на "Последнего из могикан" и "Лоцмана" Купера. Название пародии недвусмысленно ассоциируется с американским флагом. И это, пожалуй, единственно негативный "отзыв" Теккерея об Америке.

Толстый обозреватель - один из многочисленных псевдонимов Теккерея.

Мне думается, он (Дизраэли) наделен незаурядными талантами. - Дизраэли - автор социальных романов "Конингсби" (1844), "Сибилла,

или Две нации" (1845), глава "Молодой Англии", группировки молодых консерваторов, выступивших с лозунгом обновления и возвращения к феодальным формам общественных отношений во имя "общего блага". Пародию на Дизраэли Теккерей написал в серии "Романы прославленных сочинителей".

Теккерей испытывал глубочайшее отвращение к Джеку Кетчу с его "кровавым ремеслом". - Джек Кетч - английский палач XVII в.; имя его стало в Англии нарицательным. Теккерей был убежденным противником смертной казни, о чем, в частности, написал в эссе "Как из казни делают зрелище" (1840) в "Заметках о разных разностях".

...хотя одну из них простил высший судья много веков назад. - Имеется в виду Мария Магдалина, которая вела распутный образ жизни до встречи с Иисусом.

Он терпеть не мог Поля де Кока и уничтожающе отзывался о пьесах Бусико. - Поль де Кок - автор сенсационных, но весьма сомнительных с нравственной точки зрения романов; Дайон Бусико - ирландский драматург, создавший образ эдакого простака-ирландца.

...в последние годы жизни его теологические воззрения были близки учению унитариев. - Теккерей не любил говорить о своих религиозных воззрениях, возможно потому, что таким образом протестовал против весьма догматических взглядов матери. У некоторых его друзей порой даже складывалось впечатление, что он был атеистом. К концу жизни Теккерей стал определеннее выражать свои религиозные пристрастия. Учение унитариев, одно из течений в протестантизме, с его идеей единого бога, было особенно близко ему.

УИЛЬЯМ ФРЭЗЕР

ВОСПОМИНАНИЯ ИЗДАТЕЛЯ

Уильям Фрэзер (1826-1898) - общественный деятель, член парламента, литератор, автор книги анекдотов из жизни Дизраэли и Веллингтона, познакомился с Теккереем в Париже.

Перевод выполнен по изд.: Eraser W. Nie et Ubique (1893), p. 149-161, 166-174.

...я спросил его, правда ли, что он однажды сказал, будто все мужчины Джорджи, имея в виду достаточно банальный персонаж "Ярмарки тщеславия". Теккерей сознательно отказывался изображать героев в том смысле и виде, как это было принято в XIX в. Поэтому он

и предпослал своей "Ярмарке тщеславия" подзаголовок - "Роман без героя".

...в... клубе "Бифштекс", на задах театра "Лицеум". - Клуб "Бифштекс" был основан директором театра Ковент-Гарден Джоном Ричем в 1835 г. Членами клуба были различные выдающиеся люди, которые обедали вместе в одной из комнат театра; на обед чаще всего подавался бифштекс - откуда и название клуба. Когда театр сторел, члены клуба сначала обосновались в бедфордской кофейне, а затем в помещении театра "Лицеум".

ДЖОН БРАУН

ИЗ КНИГИ АЛЕКСАНДРА ПЕДДИ "ВОСПОМИНАНИЯ ДОКТОРА ДЖОНА БРАУНА" (1893)

Джон Браун (1810-1882) - эдинбургский врач, эссеист, один из самых близких друзей Теккерея в последние годы жизни писателя. Впервые встретились во время турне Теккерея с лекциями об английских юмористах в 1851 г. в Эдинбурге. Последний раз Теккерей приезжал к Брауну в Эдинбург в 1856 г. Браун вспоминает: "Грустно было видеть его, лишенного какой-либо надежды и радости". Браун опубликовал некролог на смерть Теккерея в журнале "Скотсмен".

Впервые опубликовано: Peddle A. Recollections of Dr. John Brown (1893). North British Review, XL, 1864, p. 260-265; Перевод печатается по изд.: Thackeray: Interviews and recollections. Ed. by P. Collins. 1983, vol. 1, p. 140-144.

Фестес - герой одноименной эпической поэмы (1839) Филипа Джеймса Бейли (1816-1902), популярной в 40-е гг. XIX в.

Роджер де Коверли - образ доброжелательного провинциального джентльмена, созданный Ричардом Стилем на страницах журнала "Зритель".

Из-за него тут все принялись читать "Дневник для Стеллы", "Болтуна", "Джозефа Эндрюса" и "Хамфри Клинкера". - Лекции Теккерея об английских юмористах XVIII в. пробудили у английской публики интерес к Свифту ("Дневник для Стеллы"), к Ричарду Стилю ("Болтун" - журнал, который он издавал совместно с Аддисоном), к Филдингу (роман "Джозеф Эндрюс") и Смоллету (роман "Хамфри Клинкер").

УИЛЬЯМ РАССЕЛ

ИЗ ДНЕВНИКА

Уильям Говард Рассел (1820-1907), журналист, известность получил, благодаря своим репортажам о Крымской войне в "Таймс". Теккерей и Рассел особенно сблизились во время болезни жены Рассела. Теккерей очень сочувствовал своему знакомому и пытался найти любой способ, чтобы подбодрить его. В дневнике Рассела немало записей, относящихся к Теккерее.

Перевод выполнен по изд.: Atkins J. V. The life of sir W. H. Russell, 1911, vol. 1, p. 113-114, 375; vol. 2, p. 120.

Уинкль - горе-охотник и горе-спортсмен в "Записках Пиквикского клуба" Диккенса.

БЛАНШ КОРНИШ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Бланш Уорр Корниш - дочь двоюродного брата Теккерей, Уильяма Ритчи (1817-1862), с которым его связывали очень теплые отношения. Ритчи служил в Индии, где быстро продвигался по службе, однако детей отправил в Европу, где в Париже его дочь Бланш впервые увидела Теккерей.

Впервые опубликовано: Cornish B. Thackeray and his father's family, Cornhill magazine, n. s. XXXI, 1911, p. 80-82; Cornish B. An impression of Thackeray in his last years. Dublin review, 1912, CL, p. 12-26. Перевод выполнен по изданию: Thackeray: Interviews and recollections. Ed. by P. Collins, 1983, vol. 1, p. 193-202.

...несомненная предшественница Бетсинды. - Бетсинда - персонаж сказки Теккерей "Кольцо и роза" (1855).

...прощание Гектора с Андромахой. - Сцена в "Илиаде" Гомера, в которой верная и любящая жена Андромаха провожает на войну своего мужа Гектора, горько плачет, предчувствуя его гибель.

ТЕОДОР МАРТИН ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Теодор Мартин (1816-1905) - юрист, общественный деятель, литератор. В 1851 г. женился на знаменитой актрисе Элен Фосит (1817 - 1898) и поселился в Кенсингтоне поблизости от Теккерей, с которым очень подружился. Свои воспоминания Мартин записал для книги Германа Меривейла "Жизнь Теккерей".

Перевод выполнен по изд.: Merivale H., Marzials F. Life of W. M. Thackeray, 1891, p. 233-237.

"Вот прототип моего Дьюсэйса". - Дьюсэйс - картежник, персонаж, появляющийся в "Записках Желтоплюша", "Ярмарке тщеславия", "Пенденнисе", "Эсмонде". В этом образе Теккерей отчасти изобразил себя времен Кембриджа, где часто играл и немало проигрывал.

...остальное погребло из-за провала "Констительюшенл"... - "Констительюшенл" - газета, с которой в начале творческого пути сотрудничал в качестве иностранного корреспондента Теккерей.

Раммун Лол - индийский коммерсант, персонаж романа "Ньюкомы", который уговорил полковника Ньюкома вложить деньги в Банделландовский банк, который вскоре прогорел. Теккерей сам потерял значительную часть отцовского наследства из-за краха Индийского банка в Калькутте в 1833 г.

ДЖОН КУК

ИЗ СТАТЬИ "ЧАС С ТЕККЕРЕЕМ"

Джон Истен Кук (1830-1886) - американский писатель, автор романов о жизни колониальной Виргинии ("Кожаный чулок и шелк", 1854; "Виргинские комедианты", 1854). Познакомился с Теккереем во время его пребывания в Ричмонде (Виргиния) в 1856 г.

Впервые напечатано: Cooke John Esten. An hour with Thackeray. Appleton journal, XXII, 1879, p. 249-254. Перевод выполнен по изд.: Thackeray: Interviews and recollections. Ed. by P. Collins, 1983, vol. 2, p. 256-264.

По словам одного из этих критиков... - Имеется в виду Эдмунд Йейтс (см. с. 476).

...его приятель Джордж Пейн Джеймс, в то время английский консул в Ричмонде... - Речь идет о весьма плодовитом английском романисте Джордже Пейне Рейнфорде Джеймсе (1799-1860), эпигоны Вальтера Скотта: свойственные Джеймсу длинноты повествования, небрежное обращение с историей, искусственность интриги, нагромождение ужасов в духе "готического" романа, мелодраматические эффекты, экзотика - все это получило резкую критику Теккерей в пародии "Синяя борода" в серии "Романы прославленных сочинителей". Джеймс был консулом в Ричмонде в 1850-1856 гг.

...где Эсмонд возвращается к леди Каслвуд, "неся снопы свои"... - Ср. Псалтирь, 125, 8: "С плачем несущий семена возвратится с

радостью, неся снопы свои".

А под иллюстрацией надпись из одного слова "Клитемнестра"... - Рисунки к "Ярмарке тщеславия" выполнены были самим Теккереем. Клитемнестра - в греческой мифологии супруга Агамемнона, который склонил ее к браку силой. Мстя мужу за насилие над ней и за убийство ее детей, по одной из версий, убила его.

...в очерках, посвященных "мистеру Дьюсэйсу" - т. е. в "Записках Желтоплюша".

УИТУЭЛЛ И УОРВИК ЭЛВИНЫ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Уитуэлл Элвин (1815-1900) - ректор в Бутоне (Норфолк), ученый, осуществил академическое издание произведений Александра Поупа. С 1854 по 1860 гг. был главным редактором "Куотерли ревью", за этот период познакомился со многими известными литераторами, в числе которых был Теккерей. Знакомство довольно скоро перешло в искреннюю дружбу. Теккерей ласково называл Элвина "доктор Примроз", намекая на его сходство с чудаковатым, не мудрствующим лукаво героем романа Оливера Голдсмита "Векфилдский священник". В конце жизни Элвин начал писать биографию Теккерей, однако не успел завершить ее. Его воспоминания относятся лишь к юношеским годам Теккерей. Его сын, Уорвик Элвин, и жена, Фрэнсис Элвин (1815-1898), заботливо сохранили записки Элвина, его письма к Теккерей, его дневники.

Перевод выполнен по изд.: Some XVIII century men of letters: biographical essays by the Revd Whitwell Elvin, with a memoir. Ed. by his son Warwick Elwin, 1902, p. 156-158; 177-182; 186-187; 245-246.

"Вы намекнули в "Ньюкомах", что собираетесь поведать нам историю Джей Джея". - Ср. "Ньюкомы" (гл.80): "Портрет миссис Клайв Ньюком (кисти Джей Джея), что висит на выставке в Хрустальном дворце, все в том же Мире Сказки, нисколько не похож на Розу: та, как мы знаем, была блондинкой, а здесь перед нами высокая темноволосая красавица, скорее всего - миссис Этель. Кстати, отчего Пенденнис поначалу с такой помпой вывел на сцену Джей Джея, если засим не последовало никакого продолжения? Скажу вам по секрету, что история Джей Джея мне тоже известна, и, возможно, когда-нибудь в ясные летние дни или святочными вечерами я поведаю ее читателю..."

Он очень жалел, что отдал "Ньюкомов" другому иллюстратору. - Имеется в виду Ричард Доил.

Темпл - район в Лондоне, где находились судебные корпорации.

Мой дядюшка. - Имеется в виду Чарлз Кармайкл.

ДЖОН КОРДИ ДЖИФРИСОН ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Джон Корди Джифрисон (1831 - 1901) - выпускник Оксфорда, журналист, романист. С Теккереем у Джифрисона были сложные отношения, одно время он считался даже "заклятым врагом" Теккерее. Поэтому его воспоминания о Теккерее весьма необъективны и тенденциозны.

Перевод выполнен по изд.: Jeaffreson J. C. A book of recollections, 1894, vol. 2, p. 276, 313, 326-327.

"Я не позволю, чтобы малыша Хэмстида поносили в моем присутствии". Уильям Хэмстид, секретарь Теккерее, был калекой.

"И я сказал правду, самым четким шрифтом назвав себя снобом на титульном листе известной вам книги". - См.: "Книга снобов, написанная одним из них" (1848).

ГЕРМАН МЕРИВЕЙЛ ИЗ КНИГИ "ЖИЗНЬ ТЕККЕРЕЯ"

Герман Чарлз Меривейл (1836-1906) - драматург, романист, сын известного ученого, видного общественного деятеля, близкого друга Теккерее Германа Меривейла (1806-1874). Герман Чарлз Меривейл знал Теккерее с самого раннего детства. В 1888 г. он написал статью, в которой выразил свое возмущение поступком Джейн Брукфилд, продавшей некоторые письма Теккерее, которые были затем напечатаны. Правда, попутно он заметил, что, несмотря на запреты Теккерее, пора опубликовать его полную биографию. На его просьбу откликнулась Энн Ритчи, которая открыла Меривейлу доступ к семейным архивам. Попутно Меривейл начал собирать свидетельства всех тех, кому довелось быть знакомым с Теккереем. Завершить работу Меривейлу помешало внезапно резко ухудшившееся здоровье. Эту работу завершил Фрэнк Марзелс.

Перевод выполнен по изд.: Merivale H., Marzials F. Life of W. M. Thackeray, 1891, p. 12-13, 237, 240-248.

...у Стернова ангела-регистратора было в тот раз чему порадоваться. Ангел-регистратор - персонаж романа Стерна "Тристрам

Шенди", который бдительно следил за нравственностью дяди Тоби. Впрочем, он простил ему как-то сказанное в сердцах грубое слово.

...в театр Виктории... - иными словами Олд-Вик. Театр построен в 1818 г., первоначально в нем ставились мелодрамы и балеты.

...посмотреть заречную мелодраму... - Театры, находившиеся на Саут-Бэнк, южном берегу Темзы, в XIX в. считались весьма низкопробными: в их репертуаре были преимущественно кровавые мелодрамы и трагедии.

Один раз - всего один раз! - пьеса прославленного романиста была поставлена. - Имеется в виду пьеса Теккеря "Волки и ягненок", которая была поставлена 24-25 февраля 1862 г. в его новом доме на Пэлас-Грин. Позже пьеса была переработана самим Теккереем в роман "Ловель-вдовец".

Дурачиться, когда это кстати. - Гораций. Песни, IV, 12, 28.

УИЛЬЯМ БЛЭНЧЕРД ДЖЕРРОЛД

ИЗ КНИГИ "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: ДЕНЬ С ТЕККЕРЕЕМ"
(1872)

Уильям Блэнчерд Джерролд (1825-1884) - журналист, драматург, романист, старший сын известного сатирика Дугласа Джерролда, коллеги Теккеря по "Панчу". Теккерей считал, что подчас Джерролд-младший был "слишком остроумным".

Перевод выполнен по изд.: Jerrold W. The best of all good company: a day with Thackeray, 1872, p. 315-318, 327.

..."одинокий, словно туча", впрочем, то была туча с серебряной подкладкой, - Здесь обыгрывается английская поговорка "у каждой тучи есть серебряная подкладка", т. е. у всего есть другая сторона и строка из стихотворения Вордсворта "Одинокий, словно туча, я блуждал" (1807).

"Наш преподобный доктор Лютер" - стихотворение Теккеря, относящееся к 1833 г., которое также известно под названием "Песенка монаха". В нем есть, в частности, такие строки: "Спешит к заутрене народ // В сей день, как и намедни, // Но слаще колокол поет // К концу любой обедни. // Чем чаще вижу я балык // И каплуна в приправе, // Тем веселее мой язык // Поет к обеду "Ave" (Пер. А. Солянова).

"Великий Ахилл, которого мы знали". - Таким был подзаголовок главы о Теккерее в книге Джерролда. Название взято из поэмы А. Теннисона "Улисс" (1842).

ДЖОРДЖ ЭЛИОТ ИЗ ПИСЬМА К СУПРУГАМ БРЭЙ

Джордж Элиот (наст. имя и фамилия Мэри Энн Эванс, 1819- 1880) писательница, обладала репутацией одной из самых образованных женщин своего времени. В дневниковых записях и письмах за 1851 г. упоминает о двух встречах с Теккереем.

Перевод выполнен по изд.: Haight G. S. George Eliot and John Chapman, 1940, p. 179.

Брэй Чарлз - философ, публицист, наставник Джордж Элиот, убедил ее перевести на английский язык "Жизнь Иисуса" (1846) известного немецкого теолога и историка Д. Штрауса.

"Франсуа-найденыш" (1847-1848) - повесть Жорж Санд, была переделана автором в комедию и пользовалась большой популярностью.

ЭДИТ СТОРИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ И ДНЕВНИКОВ

Теккерей познакомился с американским поэтом и скульптором Уильямом Уетмором Стори (1819-1895) и его семьей во время своего пребывания с дочерьми в Риме зимой 1853- 1854 гг. в тяжелую для семьи Стори пору: они только что похоронили старшего сына, а дочь Эдит (позже маркиза Перуцци де Медичи) была тяжело больна. Дружба Теккерей с семейством Медичи не ограничилась только "римским периодом"; они виделись позже в Париже, Лондоне, Бостоне. Свои воспоминания о Теккерее "Друг моего детства" Эдит Стори впервые напечатала в журнале "Корнхилл" за 1911 г.

Перевод выполнен по изд.: James H. William Wetmore Story and his friends (1903), vol. 1, p. 367-368; Story E. My childhood's friend. - В кн.: Thackeray: Interviews and recollections. Ed. by P. Collins, 1983, vol. 2, p. 254-256.

Ида Охилтри - умный, рассудительный персонаж в романе Вальтера Скотта "Антикварий".

ЭНТОНИ ТРОЛЛОП ИЗ КНИГИ "ТЕККЕРЕЙ" (1879)

Энтони Троллоп (1815-1882) считал Теккерей самым значительным английским романистом XIX в., лучшим стилистом, обладавшим стройностью слога и ясностью языка. "Генри Эсмонда" он называл лучшим английским романом, а полковника Ньюкома -

замечательным образом. Знакомство Троллопа с Теккереем состоялось в октябре 1859 г., когда Троллоп принес в журнал "Корнхилл", который издавал Теккерей, свои рассказы. Рассказы понравились, и вскоре Троллоп стал постоянным автором журнала и близким другом Теккерей. После смерти Теккерей Троллоп, к тому времени уже известный романист, решил написать его биографию для серии "Английские литераторы". По его воспоминаниям, это была "ужасная работа", отчасти потому, что ни дочери Теккерей, ни Эдвард Фицджеральд не хотели помочь Троллопу необходимыми сведениями. Видимо, их поступками руководил решительный запрет Теккерей, данный дочерям перед смертью: "Никаких биографий!"

Перевод выполнен по изд.: Trollope A. Thackeray, 1879, p. 15-20, 30-32, 50, 54-60.

...в какую беду попал наш приятель... - Речь идет об Уильяме Уэббе Фоллете Синге (1826-1891), литераторе, дипломате.

Поклонники "Конингсби" не перестанут восхищаться этим романом Дизраэли, прочитав "Котиксби". "Юджин Арам" не утратит своей привлекательности после превосходно написанной истории о карьере Джорджа де Барнуэла... что никакому фарсу не под силу осмеять "Айвенго"... Разумеется, в повести "Ревекка и Ровена" Теккерей и не думал посягать на эту святыню. - Имеется в виду цикл пародий "Романы прославленных сочинителей", которые Теккерей печатал в журнале "Панч" с апреля по сентябрь 1847 г. В одном из писем О. Фонбланку от 27 января 1847 г. Теккерей заметил: "Все мои пародии вполне доброжелательны. Но отказаться от замысла выше моих сил" (Letters, vol. 2, p. 270). "Котиксби" - пародия на роман "Конингсби, или Новое поколение" (1844) Бенджамина Дизраэли, в которой он в основном высмеял броский, рассчитанный на внешний эффект стиль Дизраэли: нагромождение малоизвестных географических названий, любование звучными, длинными периодами, малосодержательными, броскими и полными ложного пафоса. Однако раздражение манерой Дизраэли, неприятие его политических пристрастий не заслонило от Теккерей сильных сторон его дарования. В рецензии на другой роман Дизраэли - "Сибилла, или Две нации" (1845) в "Морнинг кроникл" Теккерей с большим уважением пишет о тех страницах романа, где автор рисует тяжелое положение бедняков: "Эти страницы написаны честно, правдиво, с

сердечной симпатией. Нам нужен Боз из среды шахтеров или рабочих, который рассказал бы нам о том, как они трудятся, как развлекаются - описал бы их чувства, интересы, общественную и личную жизнь". Непосредственным поводом к написанию пародии "Джордж де Барнуэл" послужило переиздание в 1846 г. романа "Юджин Арам" (1832) Бульвера-Литтона, автора остросюжетных исторических и сенсационных, так называемых "ньюгетских", романов. В статье "Романы к рождеству" (1838) Теккерей писал: "Бульвер-Литтон наделен - и с избытком - чувством смешного, но, подобно... Крукшенку и кое-каким другим карикатуристам, он настойчиво хочет убедить себя и других в том, что ему больше всего удастся изображение возвышенного. Сколько сверкающих остроумием очерков, какое извержение сатиры и шутки мы могли бы иметь от Недди Бульвера, если бы он перестал быть морализатором, метафизиком, политиком, поэтом, Эдуардом Литтоном, членом парламента, денди, философом и бог весть чем еще... Еще немного политики и Платона - и все естественное окончательно исчезнет из его писаний".

"Ревекка и Ровена" (1849), одна из "рождественских повестей" Теккерей, носила откровенно бурлескный, буффонный характер и была направлена против романтической идеализации средневековья, псевдоисторизма и литературщины. "Нам нужны не добродушно-сентиментальные исторические зарисовки в духе романтических произведений Вальтера Скотта, но настоящая, подлинная история, которая бы испугала честных людей нашего века и заставила возблагодарить Господа за то, что нами управляет булочник, а не барон", - писал Теккерей в "Путешествии от Корнхилла до великого Каира".

ДЖОРДЖ ХОДДЕР

ВОСПОМИНАНИЯ СЕКРЕТАРЯ

Джордж Ходдер (1819-1870) - журналист, литератор, был секретарем Теккерей в 1855 г., а также его антрепренером, когда в 1857 г. тот выступал с лекциями о "Четырех Георгах". Люди, близко знавшие Ходдера, отмечали его особую дружелюбность, теплоту в общении, которые высоко ценил и Теккерей.

Перевод выполнен по кн.: Hodder G. Memoirs of my time, 1870, p. 238-247, 306.

ТЕККЕРЕЙ - ЖУРНАЛИСТ, ИЗДАТЕЛЬ, ЛЕКТОР

ЧАРЛЗ МАККЕЙ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Чарлз Маккей (1814-1889) - журналист, поэт, издатель. В последний раз видел Теккерей за неделю до смерти писателя в ресторане, где он обедал со своими школьными приятелями и коллегой по "Панчу" художником Джоном Личем. "Оба, - вспоминает Маккей, - жаловались на плохое самочувствие, что, впрочем, не соответствовало их внешнему виду". Лич, умер, однако, через год.

Перевод выполнен по изд.: Mackay C. Forty years recollections of life, literature and public affairs from 1830 to 1870. - 1877, vol. 2, p. 294-301.

Томасу Фрэзеру - "Веселому Тому", которого он позднее прославил в своей "Балладе о буйабесе". - "Баллада о буйабесе" (1849) - одно из самых известных поэтических произведений Теккерей. Буйабес - французское национальное кушанье: рыбный суп с чесноком и пряностями. Томасу Фрэзеру в балладе посвящены такие строки: "Все так же Том готов смеяться, // Фред-старина еще в gazette; // Над Джеймсом травы зашептали // В слезах заупокойных месс..." (Пер. А. Солянова).

ДЖОН ЧЭПМЕН ИЗ ДНЕВНИКА

Джон Чэпмен (1821-1894) - издатель, журналист, в 1852-1894 гг. издавал "Вестминстерское обозрение". Человек прогрессивных взглядов, он в 1846 г. выпустил весьма спорную, противоречащую каноническим представлениям о Христе "Жизнь Иисуса" Штрауса, переведенную на английский язык тогда еще никому не известной Мэри Эванс, будущей Джордж Элиот. В его дневниках за 1851 г. есть две записи о Теккерее.

Перевод выполнен по изд.: Haight G. S. George Eliot and John Chapman, 1940, p. 177-179.

ДЖОРДЖ СМИТ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О "КОРНХИЛЛЕ"

Джордж Смит (1824-1901) в возрасте 19 лет возглавил издательскую фирму "Смит, Элдер и Ко" в 1843 г., вскоре сделал ее одной из самых значительных в Лондоне и приобрел славу "самого знаменитого викторианского издателя". Он рано распознал талант Теккерей, пригласил к сотрудничеству, на что, однако, Теккерей не

откликнулся. Позже Смит упрекал Теккерея за то, что тот не отдал в его издательство "Ярмарку тщеславия". Они впервые встретились в 1849 г.

В издательстве Джорджа Смита вышло несколько произведений Теккерея: "Киккельбери на Рейне" (1850), "Английские юмористы" (1853), "Кольцо и роза" (1854) и самое главное - "Генри Эсмонд" (1852). Их сотрудничество, постепенно перешедшее в дружбу, было очень плодотворным. В 1859 г., пишет в своих воспоминаниях Джордж Смит, "меня посетила счастливая идея начать издавать журнал". "Главным" автором а главным редактором "Корнхилла", причем на весьма выгодных началах, он предложил быть Теккерею. В ту пору было модным, чтобы журналы возглавляли видные писатели. Хорошим издателем Теккерея, однако, не стал: в 1862 г. он оставил пост главного редактора журнала, что, впрочем, не ухудшило его отношений со Смитом. Воспоминания о Теккерее особенно ценны тем, что Смит пишет о нем как об издателе.

Перевод выполнен по изд.: Thackeray: Interviews and recollections. Ed. by P. Collins, 1983, vol. 2, p. 342-346.

...источник введом вам, где дикий тмин растет. - Ср. Шекспир, "Сон в летнюю ночь", акт 1, сцена 1.

"Маленькие школяры" - рассказ Энн Теккерея, которым она дебютировала на страницах журнала "Корнхилл".

"Блэквуд" (полн.: "Блэквуд Эдинбург мэгезин") - журнал, основанный в 1817 г. издателем Уильямом Блэквудом (1776-1834); орган тори.

ЭНН РИТЧИ

ИЗ КНИГИ "ГЛАВЫ ВОСПОМИНАНИЙ"

Об Энн Ритчи см. с. 446.

Залы Уиллиса, или залы Олмэка - построены в 1764 г. шотландцем Уильямом Маколлом (? - 1781), владельцем игорного дома в Лондоне. Боясь, что репутация владельца столь сомнительного учреждения помешает ему быть хозяином великосветского салона, а именно таким ему виделось здание на Кинг-стрит, Маколл изменил фамилию и стал Уильямом Олмэком. В залах давались балы для самых сливок лондонского общества. Быть допущенным в залы Олмэка считалось не меньшей привилегией, чем быть представленным ко двору. В конце века залы Олмэка перешли к новому владельцу Уиллису (отсюда и

название). При Уиллисе залы, в основном, использовались как место собраний, лекций, балов, званых обедов. Закрылись в 1890 г., а в 1941 г. во время воздушного налета на Лондон были разрушены.

На лекциях Теккерея присутствовали Маколей, Генри Льюис, Харриет Мартино, Джон Карлейль. Шарлотта Бронте, специально приехавшая в Лондон весной 1851 г. на лекции Теккерея, дала очень высокую оценку самим лекциям, их содержанию, а также манере чтения, но была шокирована, с ее точки зрения, чрезмерной светскостью Теккерея. Почему он читает в одном из самых фешенебельных залов Лондона? Почему аудиторию составляют лишь верхи общества? Когда Теккерей согласился перенести дату одной из лекций из-за того, что некоторые придворные дамы не могли присутствовать на ней, Бронте была возмущена. Видимо, прав английский писатель начала XX в. Уолтер де ла Мар, когда пишет, что на лекциях Теккерея в залах Уиллиса слышалось "шуршанье шелка, аплодисменты, приглушенные перчатками, нестройный и негромкий хор похвал".

ДЖОРДЖ САЛА

ИЗ КНИГИ "ТО, ЧТО Я ВИДЕЛ, И ТЕ, КОГО Я ЗНАЛ"

Джордж Огастес Сала (1828-1895) - журналист, издатель, литератор. С Теккереем Сала познакомился в середине 40-х гг. Теккерей оказал несколько любезностей Сала, в частности, представил его издателю Джорджу Смиту, дав ему самую блестящую характеристику. Сала печатался в журнале "Корнхилл" Теккерея. В 1860 г. Сала открыл собственный журнал "Темпл Бар" по образцу "Корнхилла". Хотя Сала восхищался Теккереем, его литературным кумиром и учителем был Диккенс. Когда Теккерей умер, Сала был в Америке, где писал репортажи о гражданской войне для "Дейли телеграф". Однако на смерть писателя сразу же откликнулся статьей, откуда и взяты ниже печатаемые воспоминания.

Перевод выполнен по изд.: S a l a G. Things I have seen and people I have known, 1849, vol. 1, p. 22-27, 30-33, 36-44.

ДЖОРДЖ ХОДДЕР

ВОСПОМИНАНИЯ СЕКРЕТАРЯ

О Джордже Ходдере см. с. 462.

"Домашнее чтение" - литературно-художественный журнал, который с 1850 г. издавал Чарлз Диккенс и который пользовался

большой популярностью у читателей. На страницах этого журнала дебютировал Джордж Сала в сентябре 1851 г. Сам Теккерей был очень высокого мнения о журнале Диккенса. В письме от 1855 г. он заметил: "Это лучший на свете журнал".

Сотни людей, открыв роман "Пенденнис", прочитали посвящение доктору Элиотсону... - Джон Элиотсон - известный в свое время врач, основатель Общества френологов, лечивший, между прочим, и гипнозом. К Теккерее его привел Джон Форстер, критик, друг и первый биограф Диккенса. В посвящении к "Пенденнису" значится следующее: "Дорогой мой доктор! Тринадцать месяцев тому назад, когда дело клонилось к тому, что эта повесть останется незаконченной, один добрый друг привел Вас к моему ложу, с которого я, по всей вероятности, так бы и не поднялся, если бы не Ваше искусство и неусыпное внимание... И поскольку Вы не захотели принять от меня иного гонорара, кроме благодарности, я, с Вашего разрешения, выражаю ее в этих строках..."

ФАННИ КЕМБЛ

ИЗ КНИГИ ВОСПОМИНАНИЙ

Фрэнсис Энн Кембл (Фанни Кембл, 1809-1893) - известная актриса, дочь видного актера Чарльза Кембла (1775- 1854). В историю сценического искусства вошла как исполнительница шекспировских ролей. Ее портреты писали многие художники. В молодости Теккерей был заворожен красотой Фанни Кембл, однако позже не слишком высоко ценил ее талант.

Перевод выполнен по изд.: Kemble F. Records of later life, 1882, vol. 3, p. 360-363.

...во всяком случае один раз он был описан подробно. - Имеется в виду суждение американского поэта, критика, журналиста Ричарда Генри Стоддарда (1825-1903). В "Книге воспоминаний" он описал несколько своих встреч с Теккереем.

Пэдди - нарицательное имя ирландца.

УИЛЬЯМ ОЛЛИНГЕМ

ИЗ ДНЕВНИКОВ

Уильям Оллингем (1824-1889) - ирландский поэт. С Теккереем его познакомил Ли Хант. Теккерей не раз оказывал дружескую и материальную поддержку Оллингеми. Приводимый отрывок описывает встречу Оллингема с Теккереем в Париже в августе 1858 г.

Перевод выполнен по изд.: Allingham W. A diary, 1907, p. 76-78.

ФРЭНСИС БЕРНАНД

ИЗ СТАТЬИ "ЗАПИСКИ СОТРУДНИКА "ПАНЧА"

Фрэнсис Каули Бернанд (1836-1917) - актер, журналист, с 1863 г. постоянный сотрудник "Панча", где с успехом вел колонку "Удачные мысли". В 1830-1906 гг. - главный редактор "Панча".

Впервые напечатано: Burnand F. C. Punch Notes II, Pall Mall Magazine, XVII, 1899.

Перевод выполнен по изд.: Thackeray: Interviews and recollections. Ed. by P. Collins, 1983, vol. 1, p. 130-133.

...он всю жизнь не мог простить, что тот вывел его в "Пенденнисе" в образе Фанера. - Многие знакомые Арсидек-ни, однако, замечали, что ему льстил образ Фокера: персонаж Теккерера оказался значительнее, чем его прототип.

"У вас еще уйма возможностей... Два Карла, восемь Генрихов, шестнадцать Григориев..." - намек на то, что Теккерей очень резко изобразил четырех английских монархов и что его сатира была бы уместна и по отношению к другим английским королям, например, Карлам Стюартам, а также римским папам, многие из которых носили имя "Григорий".

ЭНТОНИ ТРОЛЛОП

ИЗ КНИГИ "ТЕККЕРЕЙ"

О Троллопе см. с. 460.

ТЕККЕРЕЙ-ХУДОЖНИК

ЭНН РИТЧИ

ИЗ КНИГИ "ГЛАВЫ ВОСПОМИНАНИЙ"

Об Энн Ритчи см. с. 446.

Саут-Кенсингтонский музей. - Национальный музей изящных и прикладных искусств всех стран и эпох, хранит коллекцию скульптурных изображений, акварелей, миниатюр, а также картин Констебла и рисунков Рафаэля. С 1857 г. называется музеем Виктории и Альберта.

ГЕНРИ ВИЗЕТЕЛЛИ

ИЗ КНИГИ "ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ"

Генри Визетелли (1820-1894) - итальянец по происхождению, гравер, иллюстратор, издатель, переводчик. Издавал журнал "Пикториел таймс" (1843-1848), в котором сотрудничал Теккерей. В

качестве автора Теккеря Визетелли порекомендовал Джордж Никкисон из "Фрэзерс мэгезин".

Перевод выполнен по изд.: Vizetelly H. Glimpses back through seventy years: autobiographical and other reminiscences, 1899, vol. 1, p. 249-253, 283-295; vol. 2, p. 15-16.

Орден Подвязки - высший английский орден, число награжденных, не считая иностранцев, не должно превышать 24 человек. Учрежден королем Эдуардом III в 1348 г. По преданию, Эдуард III поднял подвязку, оброненную придворной дамой на балу, и, чтобы отвлечь внимание гостей, надел ее под колено, произнес фразу: "Позор тому, кто плохо думает об этом", - которая и стала девизом ордена.

Орден Бани - один из высших орденов Великобритании. Имеет три степени, в каждой два класса - военный и гражданский. Учрежден королем Георгом I в 1725 г. Кавалер этого ордена получает личное дворянское звание "рыцаря" (в старину перед посвящением в рыцари будущий кавалер ордена совершал омовение).

ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ

ЭНН РИТЧИ

ИЗ КНИГИ "ГЛАВЫ ВОСПОМИНАНИЙ"

Об Энн Ритчи см. с. 446.

ДЖЕЙМС ФИЛДС

ИЗ КНИГИ "ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ С ПИСАТЕЛЯМИ"

Джеймс Филдс (1817-1881) - американский издатель, в 1861-1870 гг. возглавлял журнал "Атлантик". Был в числе тех, кто способствовал приезду Теккеря в Америку. Один из близких "американских" друзей Диккенса. Филдс и его жена Энни очень подружились с Теккереем во время пребывания писателя в Америке. В своей книге "Полка со старыми книжками" (1894) Энни Филдс пишет: "Я помню его доброе лицо, большое, всегда светящееся юмором, полное доброты и участия... Он очень любил свет, но еще больше ценил домашнее тепло и общество своих маленьких девочек". Воспоминания Филдса о Теккерее были высоко оценены биографами писателя и часто цитируются во многих изданиях как подлинные свидетельства. Впервые Филдс познакомился с Теккереем в Лондоне в 1852 г., когда обратился к нему с просьбой приехать в Америку и прочитать лекции об английских юмористах. Прежде чем отправиться к Теккерею,

Филдс решил спросить друзей Теккерея, как он, по их мнению, может отнестись к подобному предложению. Все они в один голос сказали, что "он ни за что не покинет Лондон". Однако хороший гонорар, который Филдс предложил Теккерю, соблазнил писателя. Энн Ритчи позже была очень недовольна тем, что в своих воспоминаниях об отце Филдс подчеркнул этот "меркантильный момент".

Перевод выполнен по изд.: Lunt G. Recollections of Thackeray, 1877, p. 256-264.

"И жизнь с размахом, и мысль с размахом"... - Ср. со строкой в стихотворении Уильяма Вордсворта "О друг! Куда ни брошу взор..." (1802): "Жизнь скромная и мысль с размахом".

...ухо первосвященникова раба, отсеченное апостолом Петром... - Ср.: Евангелие от Иоанна, 18, 10: "Симон же Петр, имея меч, извлек его, и ударил первосвященнического раба, и отсекал ему правое ухо".

...а во главе стола стояла серебряная статуэтка самого мистера Панча в полном облачении. - Панч - герой кукольного представления "Панч и Джуди", тип русского Петрушки. В английской традиции это горбун с крючковатым носом. Он никогда не унывает и является символом оптимизма. Его жена, Джуди, неряшлива и нескладна. Статуэтка Панча была подарена Теккерю его почитателями в Эдинбурге в 1849 г.

"Мелодион" - концертный, а также лекционный зал в Бостоне.

...что он видел Наполеона... - Когда маленького Теккерея везли из Индии в Англию, пароход остановился на о. Св. Елены, где в то время был Наполеон. Посещение острова произвело впечатление на Теккерея, и позже он нарисовал Наполеона. Однако отношение к Бонапарту у Теккерея не было однозначным: он восхищался им как государственным деятелем, не раз писал о нем в своих корреспонденциях из Парижа, но в глубине души считал плембеем.

...его блистательную фантазию на тему о том, как Шекспир жил в Стратфорде и общался с соседями. - Последние годы жизни Шекспира, как, впрочем, и сама личность Шекспира, очень занимали Теккерея. Он воспринимал его как обычного жителя Стратфорда, который удалился от дел, когда "почувствовал, что его кошелек туго набит". Суждения Теккерея о Шекспире нарочито банальны, в чем-то похожи на суждения о драматурге Л. Н. Толстого.

Стратфордский Провидец - т. е. Шекспир. Намек на роль интуиции в творчестве Теккерея.

...декламирует оду Аддисона: "Просторный синий свод небес". - Эта ода Аддисона была опубликована в журнале "Зритель", Э 465.

ДЖОРДЖ ЛАНТ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ТЕККЕРЕЕ

Джордж Лант (1803-1885) - американский адвокат, после 1853 г. редактор одной из американских газет. С Теккереем познакомился в 1852 г. в Бостоне в доме своего знакомого.

Впервые напечатано: Lunt G. Recollections of Thackeray. Harper's New Monthly Magazine LIV, 1877, p. 256-264.

Перевод выполнен по изд.: Thackeray: Interviews and recollections. Ed. by P. Gollins, 1983, vol. 1, p. 167-171.

Говорили мы... о городе, который вызывал у Теккерея глубокое изумление. - Подразумевается Бостон.

В Бостоне ему... нравилась одна замужняя дама. - Речь идет о жене известного бостонского ювелира Джорджа Джонса.

...распевая свои куплеты про "почтенного доктора Лютера". - Имеется в виду стихотворение Теккерея "Песенка монаха" (1833), в котором есть, например, такие строки: "Легка, как небо, наша плоть, // Кровь бьет потоком нежным. // Пусть жизнь меняется, Господь, // Ликер оставь вам прежним!" (Пер. А. Солянова)

...он во время обеда спросил меня, читал ли я его стихи о Шарлотте и Вертере... - Речь идет о юмористическом стихотворении Теккерея "Страдания молодого Вертера" (1855): "Полюбил Шарлотту Вертер, // Пламя той любви не гасло; // А Шарлотта лишь умела // Резать хлеб и мазать масло. // Он любил жену чужую, // Добродетель грызла душу, // Предпочел он всем богатствам // Преданность супруги мужу. // Чах и чах, глаза нежно, // Парил страсть в котле печали. // Пулю в лоб себе пустил он, // Чтоб мозги не докучали. // А Шарлотта, видя тело, // В коем жизнь уже погасла, // По привычке отдавала // Руку хлебу, сердце - маслу" (Пер. А. Солянова).

ЛЮСИ БЭКСТЕР

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Люси Бэкстер (1836-?) - одна из дочерей американского знакомого Теккерея Джорджа Бэкстера, в доме которого он часто бывал во время своих посещений Америки. Вторая дочь Джорджа Бэкстера, Салли,

была явно влюблена в знаменитого автора "Ярмарки тщеславия". Теккерей также питал весьма нежные чувства к молодой девушке. Его огорчил брак Салли в 1855 г., а ее ранняя смерть в 1862 г. заставила его по-настоящему страдать.

Джордж Бэкстер держал большой магазин в Бостоне, был далек от литературы. Дружба Теккерей очень льстила ему. Теккерей же нравились простые нравы, царившие в доме его американского знакомого. Отношения семьи Теккерей с Бэкстерами продолжались уже после смерти писателя.

Перевод выполнен по изд.: Baxter L. Thackeray's letters to an American family, 1904, p. 3-15.

В одном, из писем он говорил о встрече с миссис Стоу и как ему понравились ее внешность и манера держаться. - В письме к миссис Бэкстер от 3 июня 1853 г. Теккерей писал: "Миссис Стоу очень мила и даже хороша собой. У нее замечательная улыбка и очень добрые глаза". Упоминание Бичер-Стоу есть также и в одном письме к матери. В нем он пишет, что рабовладение, с его точки зрения, омерзительно, но, ознакомившись с жизнью негров, он не увидел всех тех ужасов, о которых пишет Бичер-Стоу.

Мистер Теккерей сделал этот случай памятным, прислав мне вместе с цветами стихи. - Речь идет о стихотворении Теккерей "День рождения Люси" (1855).

Это была умная женщина, даже блестящая, но она успела написать несколько никудышных романов... - Речь идет об американской писательнице Генри Кинг (1826-1875), авторе романов "Когда бываю занята" (1854), "Лили" (1855) и других.

В мае, как можно судить по его письмам, мистер Теккерей принял внезапное решение... уехал... без слов прощания... - Теккерей отплыл из Америки не в мае, но 25 апреля 1856 г. Свидетельства его секретаря Айры Кроу не совпадают со словами Люси Бэкстер.

В последние годы письма его были полны нескрываемого участия к нашей великой тревоге и горю. - Речь идет о смерти Салли Бэкстер.

БАЯРД ТЕЙЛОР ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

С Баярдом Тейлором (1825-1878), американским поэтом, романистом, путешественником, переводчиком "Фауста", Теккерей познакомился во время второй поездки в Америку, сразу почувствовав

к нему симпатию: "Я сразу же влюбился в Тейлора... это один из самых интересных людей, каких мне довелось встречать".

Перевод выполнен по изд.: Taylor W. William Makepeace Thackeray by one who knew him, 1864, p. 371 - 378.

...Теккерей привел меня в студию барона Марочетти, скульптора... - Бюст Теккерей работы Марочетти находится в Вестминстерском аббатстве в Уголке поэтов. Похоронен писатель не здесь, а на кладбище Кенсал-Грин.

Джон Булль - символ Англии.

Друзьям Теккерей в Америке трудно забыть то чувство горечи и обиды, с каким читали они "Заметки о разных разностях"... где известный писатель обвинил американский народ в тайном умысле конфисковать акции... Подразумевается статья-эссе "Как бы займы" - письмо господам американским банкирам", напечатанная в февральском номере журнала "Корнхилл". Под влиянием Тейлора Теккерей не включил это обидное эссе в сборник "Заметки о разных разностях".

Но вы же знаете... что такая газета... не выражает мнения американцев. - Подразумевается "Нью-Йорк геральд трибьюн".

В 1856 г. он рассказал мне, что сочинил пьесу... - Имеется в виду пьеса Теккерей "Волки и ягненок".

АЙРА КРОУ

ВОСПОМИНАНИЯ СЕКРЕТАРЯ

В 30-е гг. во время своего пребывания в Париже в качестве иностранного корреспондента Теккерей очень сблизился с семьей историка, романиста, парижского корреспондента "Морнинг кроникл" Айры Эванса Кроу (1799-1868). Он часто бывал в его доме, любил играть с детьми: сыновьями Джозефом (1825-1896) и Айрой (1824-?) и дочерью Эми (1831-1865). Эми после смерти матери жила в доме Теккерей до своего замужества в 1862 г. Сумел Теккерей помочь и сыну своего друга - Айре, который мечтал стать художником. Теккерей предложил Айре стать его секретарем на время работы над "Генри Эсмондом". В 1852 г. он уговорил его поехать вместе с ним в Америку. Он честно ему сказал: "Вы не лучший на свете секретарь, но я Вас давно знаю, и причем с самой лучшей стороны. Может быть, кто-нибудь и лучше справился бы с секретарскими обязанностями, но мне хочется иметь подле себя близкого человека". Как Теккерей и

предполагал, Кроу оказался никудышным секретарем, но хорошим попутчиком. "Он добрейшее и милейшее существо на свете", - не раз писал из Америки о Кроу Теккерей. К сожалению, воспоминания Айры Кроу об американской поездке Теккерей банальны и малосодержательны.

Перевод выполнен по изд.: Crowe E. Thackeray's haunts and homes, 1897, p. 23-23, 52-56; With Thackeray in America, 1893, p. 34-35, 45-47, 110-111, 177-183.

...блестящему таланту "Боза". - Своим псевдонимом Диккенс сделал домашнее прозвище младшего брата.

Первым и единственным свидетельством... - Речь идет о статье "Мистер Теккерей в Соединенных Штатах", которая была подписана очередным псевдонимом Теккерей "Джон Смолл".

ТЕККЕРЕЙ И ДИККЕНС

ТОМАС КАРЛЕЙЛЬ ИЗ ДНЕВНИКА

О Томасе Карлейле см. с. 443. С Чарлзом Дюффи, ирландским журналистом, политическим деятелем, позже премьер-министром Австралии, Теккерей познакомился в доме Карлейля в 1855 г.

ЭНН РИТЧИ

ИЗ КНИГИ "ГЛАВЫ ВОСПОМИНАНИЙ"

Об Энн Ритчи см. с. 446.

...маленьких девочек Диккенса. - Речь идет о Кейт и Мейми (Мэри) Диккенс.

...всем этим дирижирует старший сын Диккенса. - Имеется в виду Чарлз Каллифорд Боз Диккенс.

КЭЙТ ПЕРУДЖИНИ

ДИККЕНС ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Младшая дочь Чарлза Диккенса Кейт (1839-1929) была замужем за братом писателя Уилки Коллинза Чарлзом Элстоном Коллинзом (1828-1873), членом прерафаэлитского братства. Кейт и ее муж были в числе близких друзей Теккерей в последние годы жизни писателя. Теккерей с особенной теплотой относился к Чарлзу Коллинзу. 24 декабря 1863 г., найдя отца мертвым, дочери Теккерей сразу же послали за Коллинзами. После смерти Коллинза Кейт вышла замуж за художника Чарлза Эдварда Перуджини.

Впервые напечатано: Dickens Perugini Kate. Thackeray and my father. Pall Mall Magazine, n. s., XIV (1911), p. 212-219.

Перевод выполнен по изд.: Thackeray: Interviews and recollections. Ed. by P. Collins, 1983, vol. 2, p. 306-311.

"Куда, красавица, спешишь?" - Здесь обыгрывается известное детское стихотворение, входящее в сборник "Матушка Гусыня".

...она рассказала мне о другом известном ей великане, который заперся в своем замке в Грейвзенде. - Подразумевается Чарлз Диккенс.

Одно время добрые отношения между моим отцом и Теккереем омрачились недоразумением... - О ссоре Диккенса и Теккерее см. с. 476.

Потом мы перешли к прелестным строкам, которые Бекки поет на вечере шарад... - Имеется в виду стихотворение-песенка "Куст алых роз", в котором есть такие строки: "Дано песнь птице обрести в сиянье дня земного, // Как и стыдливой розе - цвет пылающих ланит. // Певучий солнца луч заполнил мое сердце снова. // Кто догадался, отчего лицо мое горит?" (Пер. А. Солянова) По замыслу Теккерее, строки эти должны были быть не только "прелестными", но "несколько двусмысленными". Действительно, лорд Стайн, соблазнитель Бекки Шарп в романе, развратник, сразу понял таящийся в них намек. Обычные же читатели, к числу которых надо отнести и Кейт Перуджини-Диккенс, "ничего такого" в этом стихотворении не усмотрели.

ДЖОРДЖ ХОДДЕР

ВОСПОМИНАНИЯ СЕКРЕТАРЯ

О Джордже Ходдере см. с. 462.

...колесницу Феспиды... - Греческого поэта Феспиды (VI в. до н. э.) почитали отцом трагедии; ему приписывали введение в трагедию актера, речей, а также полотняных масок. Из его наследия ничего не сохранилось. В "Искусстве поэзии" Гораций рассказывает предание, которое гласит, что Феспид, будучи актером, странствовал на колеснице, которая одновременно служила ему своеобразной передвижной сценой.

ЭНТОНИ ТРОЛЛОП

ИЗ КНИГИ "ТЕККЕРЕЙ"

Об Энтони Троллопе см. с. 460.

В прежние времена все обстояло иначе, и хотя читающая публика год за годом знакомилась сначала с Джимсом Желтоплюшем, потом с Кэтрин Хэйс... Речь идет не только о героях разных произведений

Теккерей, но и о его псевдонимах, которыми он подписывал свои произведения до выхода "Ярмарки тщеславия".

ГЕНРИ ВИЗЕТЕЛЛИ

О СКАНДАЛЕ В "ГАРРИК-КЛУБЕ"

О Генри Визетелли см. с. 468.

Теккерей... проявил нелепую чувствительность, занесся и отругал Йейтса... - О ссоре между Диккенсом и Теккереем и роли Йейтса в этой размолвке см. ниже.

ЭДМУНД ЙЕЙТС

СКАНДАЛ В "ГАРРИК-КЛУБЕ"

Эдмунд Йейтс (1831-1894) - журналист, романист, актер, сын популярных театральных актеров Фредерика и миссис Йейтс. Начал печататься в 1856 г., ощущал себя учеником и последователем Диккенса. Вскоре из "мальчика в окружении Диккенса" стал его другом. Оказал большую поддержку Диккенсу во время его бракоразводного процесса с женой и романа с молодой актрисой Элен Тернан. Теккерей, напротив, был на стороне миссис Диккенс, что, видимо, также оказало влияние на его поведение в ссоре, приключившейся в "Гаррик-клубе".

Сам Йейтс был знаком с Теккереем с начала 50-х гг., они вместе были членами "Гаррик-клуба", который, к слову сказать, Диккенс навещал редко, Теккерей же был его завсегдатаем. Теккерей пользовался большим влиянием в клубе, поэтому неудивительно, что Йейтс был исключен из членов клуба, хотя многие недоумевали, что же так рассердило и оскорбило Теккерей в статье, которую написал о нем Йейтс. Йейтс, по мнению членов клуба, был "вульгарный малый", статья была глуповата, но не более того. Поведение Теккерей в ссоре было не типичным для него. Но явно, что дело было не в Йейтсе: отношения друг с другом - причем не совсем должным образом - выясняли два мэтра английской литературы.

Перевод выполнен по изд.: Yeats E. His recollections and experiences, 1885, p. 90, 238-239, 248, 255, 258-259; Thackeray: the humorist and man of letters, 1864, p. 182-183.

...говоря о "будничных проповедниках"... - В своих "Лекциях об английских юмористах" Теккерей назвал писателя-юмориста, видящего свою задачу в исправлении нравов, "проповедником по будням".

...Вестминстерское аббатство могло распахнуть свои двери и принять бранные останки того, чье имя будет звучать до конца времен. - Теккерей не похоронен в Уголке поэтов в Вестминстерском аббатстве. Его прах покоится на кладбище Кенсал-Грин.

ДЖОН КОРДИ ДЖИФРИСОН
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

О Джоне Джифрисоне см. с. 457.

...с которым он любил поболтать... в Британском музее. - Британский музей, один из крупнейших музеев мира, имеет коллекцию памятников первобытного искусства и античной культуры Древнего Востока, богатейшее собрание гравюр, рисунков, керамики, монет. До 1973 г. включал известную Библиотеку Британского музея.

...я заглядывал к Эвансу. - Имеется в виду издательство "Брэдбери и Эванс".

...юный Джордж Осборн - герой "Ярмарки тщеславия".

Мое знакомство с Теккереем продолжалось столь же приятно, пока под влиянием вспышки гнева... - Теккерей решил, что автором неодобренной рецензии на роман его дочери Энн Теккерей "История Элизабет" в журнале "Атенеум" был Джифрисон. Джифрисон, действительно, весьма активно сотрудничал в этом журнале, однако рецензии не писал. Ее автором была некая Джеральдин Джесбери. Теккерей позже узнал о своей ошибке, однако смерть помешала ему принести Джифрисону подобающие извинения.

...а Харриет Мартино попрекнули за то, что она с печалью сослалась на него, как на еще один пример "низкопоклонства природной аристократии перед аристократией по прихоти случая... - Харриет Мартино принадлежит такое высказывание о писателе: "О снобах и снобизме ему удалось сказать больше, чем любому другому человеку. И все же его беспорядочная жизнь, его преклонение перед сильными мира сего слишком уж очевидны. Очень жаль, очень жаль!"

Все-таки я ловлю себя на том... что держусь с ней... - Имеется в виду леди Харриет Мэри Монтегю-Эшбертон, жена лорда Уильяма Бингхема Эшбертона (1799-1864), члена парламента в 1826-1846 гг. Теккерей поддерживал с ним и его женой дружеские отношения, часто бывал в их доме, где собирались известные политические деятели и видные литераторы. Лорду Эшбертону Теккерей посвятил "Генри Эсмонда".

ТЕОДОР МАРТИН
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

О Теодоре Мартине см. с. 457.

Теодор Мартин оказался свидетелем того, как Теккерей примирился с Диккенсом в клубе "Атенеум".

ЭЛИЗА ЛИНТОН
ИЗ КНИГИ "МОЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ"

Элиза Линн Линтон (1822-1898) - писательница, журналистка. Теккерей знала поверхностно, хотя ее суждения о писателе и отличаются проницательностью. Познакомились они в 1853 г. в Париже: Теккерей ей нанес визит.

Перевод выполнен по изд.: Linton E. My literary life, 1899, p. 59-66.

Оба они были способны на глубокую, страстную, безумную любовь... Намек на чувство Теккерей к Джейн Брукфилд, Диккенса - к актрисе Элен Тернан.

ДЭВИД МЭССОН
ИЗ СТАТЬИ "ПЕНДЕННИС" И "КОППЕРФИЛД"

Дэвид Мэссон (1822-1907) - шотландец по происхождению, видный критик, профессор риторики и английской литературы Эдинбургского университета (1865-1895). Сотрудничал с журналом "Макмиллан" и был его главным редактором (1859-1867). В 1847-1865 гг. жил в Лондоне, где ему предложили кафедру английской литературы в Университи-колледж. В эти годы он сблизился с Джерролдом, Карлейлем, Теккерей. Особенно, пишет его дочь Флора, ему был близок Теккерей, которого он считал "на голову выше всех остальных". Она также вспоминает, как в Рождество 1863 г. он писал всю ночь некролог для "Дейли телеграф".

Статья "Пенденнис" и "Копперфилд" была помещена в майской книжке "Северо-Британского обозрения" за 1851 г.: экземпляры были отосланы главным редактором журнала Фрэзером Диккенсу и Теккерей, каждый из которых прислал ответ Мэссо-ну. Вот что писал Теккерей: "...Если вы и есть автор вышеупомянутой рецензии, примите мою сердечную признательность и за нее, я вспоминаю ее с тем же благодарным чувством, с каким ребенок помнит подаренные ему в школе соверены, где они были для него редкостью и величайшей ценностью. Не знаю, что сказать вам относительно сопоставления, которое вы приводите... и из-за трудности самого предмета, и из-за

того, что мнения всегда разнятся. Я нахожу, что мистер Диккенс во многих отношениях отмечен, так сказать, божественным даром, и некоторые звуки его песен столь восхитительны и бесподобны, что я бы никогда не взялся подражать ему, а только молча восторгаюсь. Но я со многим не согласен в его творчестве, которое, на мой взгляд, не отражает должным образом природу. Так, например, Микобер, по моему, гипербола, а не живой характер, который он напоминает так же мало, как и его прозвание - человеческое имя. Конечно, он неотразим и невозможно не смеяться, когда о нем читаешь, но он не более реален, чем мой приятель мистер Панч, и в этом смысле я его не принимаю... ибо считаю, что искусство романиста в том и состоит, чтобы изображать природу и воплощать с большей силой ощущение жизни; в трагедии, в поэме или в высокой драме писатель хочет пробудить иные чувства, там и поступки, и слова действующих лиц должны быть героическими, тогда как в бытовой драме сюртук - всего только сюртук, а кочерга не более чем кочерга и, по моим понятиям, ничем другим ей быть не следует: ни затканной узорами туникой, ни грозным, раскаленным жезлом, из тех, что служат в пантомимах средством устрашения. Впрочем, какие бы просчеты ни усмотрели вы (или, вернее, я) в воззрениях Диккенса, в его писательской манере, вне всякого сомнения, есть замечательное свойство: она обворожительна, и этим все оправдано. Иные авторы владеют самым совершенным слогом, великим остроумием, ученостью и прочим, но сомневаюсь, чтобы кому-нибудь еще из романистов было присуще то, что Диккенсу, - такая же чудесная мягкость и свежесть письма..."

Впервые напечатано: David Masson. "Pendennis" and "Copperfield". Thackeray and Dickens. North British Review, 1851, May, XV, p. 57-89.

Перевод выполнен по изд.: Thackeray: the critical heritage. Ed. by G. Tillotson, 1968, p. 111-128.

Заметьте, как типично и непритязательно само звучанье слова "сноб". "Сноб" в современном Теккерею языке означало "вульгарный, дурно воспитанный человек", или же - на кембриджском жаргоне - не студент университета. Теккерей расширил значение этого слова. Впервые в повести "В благородном семействе" "сноб" обозначает человека, презрительно относящегося ко всем нижестоящим на общественной лестнице и раболепно взирающего на тех, кто стоит

наверху; именно такое значение было окончательно закреплено в "Книге снобов" (1847) и вошло в английский язык.

БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ ТЕККЕРЕЯ

ТОМАС КАРЛЕЙЛЬ

ИЗ ПИСЕМ

О Томасе Карлейле см. с. 443.

БЛАНШ КОРНИШ

ТЕККЕРЕЙ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ

О Бланш Корниш см. с. 454.

...в церкви Темпла... - Церковь Темпла - старинная лондонская церковь, один из пяти оставшихся в Англии средневековых храмов круглой формы. Сооружена в 1185 г.

...меланхолический юмор шекспировского Жака сочетался с горечью, умеряемой Учителем. - Жак - философствующий друг герцога в комедии Шекспира "Как вам это понравится". Его обычно называют меланхолический Жак, и ему принадлежат знаменитые слова о том, что весь мир - театр. Учитель - то есть Христос.

ЭНН РИТЧИ

ИЗ КНИГИ "ГЛАВЫ ВОСПОМИНАНИЙ"

Об Энн Ритчи см. с. 446.

УИЛЬЯМ РАССЕЛ

ИЗ ДНЕВНИКА

О Уильяме Расселе см. с. 453.

Рассел очень тяжело пережил смерть Теккерей. В своих письмах и дневниках он постоянно пишет о своей утрате.

Худой, осунувшийся Диккенс порадовал меня, сказав, что недавно говорил с Теккереем на известную тему. - Речь идет о примирении Диккенса и Теккерей в клубе "Атенеум".

ДЖОН ЭВЕРЕТТ МИЛЛЕС

ИЗ "ЗАПИСОК СЫНА ХУДОЖНИКА"

Джон Эверетт Миллес (1829-1896) - художник, президент Королевской академии художеств, один из создателей и вдохновителей прерафаэлитского братства (создано в 1848 г.). Впервые Теккерей встретился с Миллесом в 1852 г. Оба сразу же почувствовали друг к другу симпатию. "Теккерей чрезвычайно мил", - записал в дневнике Миллес. Позже они немало времени проводили в обществе друг друга. Теккерей восхищался талантом Миллеса, отдавал должное его

открытой натуре и простой манере держаться. Был он дружен и с женой Миллеса Эффи, которая в 1855 г. ради Миллеса рассталась с Джоном Рескином, хотя Эффи в пору своего первого замужества находила Теккеря "слишком шумным, вульгарным и прожигателем жизни". Миллес запечатлел умершего Теккеря. Затем по его рисунку была выполнена посмертная маска писателя. Об этом его попросили дочери писателя, и он был не в силах отказать. Воспоминания Миллеса о Теккере записаны его сыном Джоном Гиллем Миллесом.

Перевод выполнен по изд.: Millais J. G. Life and letters of sir John Everett Millais, 1899, p. 160, 276-277, 376-377.

В течение нескольких лет он воспитывал наравне со своими детьми дочь покойного друга... - Речь идет об Эми Кроу (см. коммент. на с. 472). Эми Кроу поселилась в доме Теккеря в 1854 г. и жила здесь вплоть до своего замужества в 1862 г.

ДЖОРДЖ КРУКШЕНК

ИЗ БЕСЕДЫ С М. КОНВЕЕМ НА ПОХОРОНАХ ТЕККЕРЕЯ

Джордж Крукшенк (1792-1878) - известный иллюстратор, карикатурист. С его рисунками вышли многие произведения Диккенса и Теккеря. В 1840 г. в журнале "Вестминстерское обозрение" (июль) Теккерей напечатал статью "О гениальности Крукшенка": "...Было бы неразумно утверждать, будто юмор Крукшенка слишком хорош для широкой публики и наслаждаться им способны только избранные. Лучшими образцами юмора, как нам известно, восторгается и публика, и утонченные ценители... На наш взгляд, секрет здесь прост: живя среди людей, Крукшенк сердечно отзывается на все, что их волнует, его смешит все то, что их, в нем обитает дух беспримесного, доброго веселья, в котором нет ни капли мистицизма, он любит бедняков и сострадает им, высмеивает прихоти высокородных и сохраняет искренность и мужество, к какой бы из сторон ни обращался".

Перевод выполнен по изд.: Thackeray: Interviews and recollections. Ed. by P. Collins, 1983, vol. 2, p. 367-368.

ДЖЕЙМС ХАННЕЙ

ИЗ НЕКРОЛОГА, ПОСВЯЩЕННОГО У.-М. ТЕККЕРЕЮ

Джеймс Ханней (1827-1873) - шотландский журналист, литератор. С Теккереем познакомился в 1848 г., уже будучи его страстным поклонником. Ханней очень ценил дружбу Теккеря, посвятил ему роман "Король Доббс" (1849). В 1852 г. Теккерей предложил Ханнею

откомментировать "Английских юмористов" Теккерей познакомил Ханнея с главным редактором "Куотерли ревью". Ханнею принадлежит немало рецензий на произведения Теккерей: хотя все они в высшей степени благожелательны, есть в них и критические замечания, которые сам Теккерей находил очень верными. Энтони Троллоп считал, что некролог Ханнея, напечатанный в "Эдинбургских новостях" - лучшая дань памяти писателя.

Перевод выполнен по изд.: Hannay J. A brief memoir of the late Mr. Thackeray, 1864, p. 31.

Он, как и Скотт, - и это также их сближало... - Отношение Теккерей к Вальтеру Скотту было достаточно сложным. Он, безусловно, признавал его роль как исторического романиста, учился у него. Но, с другой стороны, не смог отказать себе в удовольствии и написал пародию "Опыт продолжения "Айвенго" (1846) и как продолжение "Айвенго" - "Ревекку и Ровену". В пародии "Опыт продолжения "Айвенго", которую он шутливо адресовал Александру Дюма, талантом рассказчика которого искренне восхищался, Теккерей писал: "Довольно многие романы Вальтера Скотта мне издавна казались недосказанными... Право же, сами образы Ровены, Ревекки и Айвенго со всей определенностью свидетельствуют, что дело не завершилось тем, чем его кончил автор. Я слишком люблю этого лишившегося наследства рыцаря, чью кровь воспламенило знойное солнце Палестины, а душу, согрела близость прекрасной, ласковой Ревекки, чтобы поверить, что он всю жизнь вкушал блаженство подле этой ледышки и ходячей добродетели, подле этого образчика непогрешимости - этой бездушной, чопорной жеманницы Ровены..."

...к тому же участвовал в выборах... - В 1857 г. Теккерей выдвинул себя кандидатом от Оксфорда в парламент, но потерпел поражение.

Весь он не умер. - Ср. Гораций. Оды, III, 30, 6.

ДЖОРДЖ САЛА

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

О Джордже Сала см. с. 465.

Когда Теккерей умер, Сала был в Америке, где писал репортажи о гражданской войне для "Дейли телеграф". Свой некролог он напечатал в Нью-Йорке 14 января 1864 г., поскольку о смерти писателя узнал с некоторым опозданием.

Как-то днем я явился к Теккерею домой на Онслоу-сквер. - Это было в ту пору, когда Сала задумал писать биографию Хогарта и решил посоветоваться с Теккереем.

Чарлз Грандисон - герой романа Ричардсона "История сэра Чарлза Грандисона" (1754). Здесь - синоним светскости.

Валгалла - в скандинавской мифологии место упокоения воинов.

ДЭВИД МЭССОН

ТЕККЕРЕЙ

О Дэвиде Мэссоне см. с. 478.

Некролог был напечатан в журнале "Макмиллан" за февраль 1864 г.

Перевод выполнен по изд.: Masson D. Thackeray. In Thackeray: The critical heritage. Ed. by G. Tillotson, 1968, p. 341-348.

...что даже Гете... в своем великом прозаическом романе... - Имеется в виду "Годы учения Вильгельма Мейстера" (1829).

...в словах нашего лауреата, которые он вложил в уста героя поэмы "Мод". - Имеется в виду Теннисон.

Что грустить, пока // Можно хохотать... - строки из стихотворения Теккерея "Красное дерево".

ИНЕС ДАЛЛА

ИЗ НЕКРОЛОГА

Инес Свитленд Далла (1828-1879) - критик, постоянный рецензент журнала "Блэквуд", а также газеты "Таймс". Некролог был напечатан в "Таймс" 25 декабря 1863 г.

Перевод выполнен по изд.: Thackeray: Interviews and recollections. Ed. by P. Collins, 1983, vol. 2, p. 373-374.

ЧАРЛЗ ДИККЕНС

ПАМЯТИ У.-М. ТЕККЕРЕЯ

Некролог Диккенса был напечатан в журнале "Корнхилл" в феврале 1864 г.

Перевод выполнен по изд.: Thackeray: the critical heritage. Ed. by G. Tillotson, 1968, p. 320-323.

Впервые я увидел его почти двадцать восемь лет назад, когда он изъявил желание проиллюстрировать мою первую книгу. - См. Предисловие, с. 9. Вот как вспоминал этот эпизод своей жизни сам Теккерей. Однажды на обеде в Королевской академии художеств, отвечая на тост, провозглашенный за него и Диккенса, Теккерей

сказал: "Если бы не решительный отказ, полученный в свое время от моего друга... вполне могло стать, что за меня никогда бы не подняли бокал, который мы только что осушили, и я стал бы не писателем, а художником-иллюстратором, чего, надо признаться, мне очень хотелось в те далекие годы. Тогда и мистер Диккенс был еще очень юн и только начинал радовать мир своими прекрасными, полными юмора произведениями... Другой столь же юный молодой человек мечтал стать их иллюстратором. И вот, прихватив с собой несколько рисунков, он отправился в Фэрнвел-Инн, где жил тогда Диккенс. Но, как это ни печально, рисунки не понравились. И все же, несмотря на неудачу, прервавшую мою карьеру художника, я по сей день лелею надежду, что когда-нибудь на стенах этого здания найдется место и для моих зарисовок".

Мной шутки он бездумные писал... - Из стихотворения Теккерея "Перо и альбом" (1853).

А на столе передо мной лежат главы его последнего, недописанного романа... - Имеется в виду "Дени Дюваль".

...перед одной из них открывается путь в литературу... - Речь идет об Энн Теккерея.

...с прахом его третьей дочери, умершей еще малюткой. - Речь идет о Джейн Теккерея, которая умерла в 1839 г., когда ей было всего восемь месяцев. Смерть дочери отчасти стала причиной душевного расстройства жены Теккерея Изабеллы.

ШЕРЛИ БРУКС

НЕКРОЛОГ

24 декабря на страницах журнала "Панч" появились анонимные стихи, озаглавленные "Уильям Мейкпис Теккерея". Даже близкие Теккерею люди не знали автора. Так, Энтони Троллоп, давший высокую оценку стихам: "Эти строки передали самую суть характера Теккерея", считал, что их автор драматург, эссеист, сотрудник журнала "Панч" Том Тейлор. Однако Энн Ритчи знала, кто был подлинным автором строк. Им был журналист, литератор, эссеист, коллега Теккерея по журналу "Панч", его добрый знакомый Шерли Брукс (1815-1874), который с 1870 по 1874 гг. был главным редактором журнала.

Перевод выполнен по изд.: Thackeray: Interviews and recollections. Ed. by P. Collins, 1983, vol. 2, p. 376-377.

Сестра-малышка - персонаж романа Теккерея "Филипп", жертвенная женщина, всю себя отдавшая служению немощным и больным.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРНАЯ СУДЬБА ТЕККЕРЕЯ

ДЖОРДЖ ГЕНРИ ЛЬЮИС СТАТЬЯ В "МОРНИНГ КРОНИКЛ"
ОТ 6 МАРТА 1848 ГОДА СТАТЬЯ В "ЛИДЕР" ОТ 21 ДЕКАБРЯ 1850
ГОДА

Джордж Генри Льюис (1817-1878) - один из самых известных и уважаемых критиков своего времени, автор фундаментальной биографии Гете, писал о философии, психологии, биологии. Поводом к публикации статьи в "Морнинг кроникл" послужило появление "Книги снобов" (1848).

Перевод выполнен по изд.: Thackeray: the critical heritage. Ed. by G. Tillotson, 1968, p. 44-52.

Они все индивидуумы в правильном смысле этого слова, а не в том приблизительном смысле, который так ловко пародирует арихидиакон Хэйр. - В "Заметках о правде" (1837), которые Джулиус Чарлз Хэйр издавал вместе с братом Августом, есть следующее суждение: "Если слово "индивидуум" относят к мужчине, женщине или же ребенку, то это не что иное, как бессмыслица".

Эдмунд - персонаж трагедии Шекспира "Король Лир", незаконнорожденный сын графа Глостера.

...к фальшивой систематизации Виктора Гюго... - В "Парижской книге очерков" (1840) Теккерей дал весьма нелицеприятную характеристику Виктору Гюго: "Тяжел удел пророков и людей того возвышенного положения, какое занимает мосье Виктор Гюго: им возбраняется вести себя, как прочим смертным, и воленс-ноленс приходится хранить величие и тайну... Так... и пророк Гюго не может даже малости исполнить в простоте и ищет для всего особую причину... Короче говоря, трудна участь пророка, трудна и неблагоприятна. Конечно, звание у вас высокое, но себе вы не принадлежите. Даже во время мирной прогулки по полям, как знать, не притаился ли за изгородью ангел с наказом свыше, куда вам отправляться дальше в вашем путешествии? Впрочем, в одном пророк имеет преимущество перед своими ближними: если обычным людям, чтобы постичь "народ", нужно изрядно потрудиться над словарем и

изучить чужой язык, пророк-миссионер усваивает его сразу и интуитивно..."

Трибуле или Лукреция Борджа - персонажи драм Гюго "Король забавляется" (1832) и "Лукреция Борджа" (1833).

ДЖОН ФОРСТЕР

ИЗ СТАТЬИ В "ЭКЗАМИНЕР" ОТ 13 НОЯБРЯ 1852 ГОДА

Джон Форстер (1812-1876) - друг, биограф Чарлза Диккенса, в 40-е гг. был дружен и с Теккереем. Позднее отошли друг от друга, часто спорили, причем публично, в печати по различным вопросам искусства. Не раз быстрый карандаш Теккереев рисовал карикатуры на Форстера. Как замечал сам Теккерей, именно эти карикатуры и подали ему мысль написать серию пародий на литераторов-современников, в которую он, однако, не включил, подавив в себе сильное желание, пародию на Диккенса.

Перевод выполнен по изд.: Thackeray: the critical heritage. Ed. by G. Tillotson, 1968, p. 53-58.

Эта книга, якобы автобиография джентльмена, достигшего зрелости в царствование королевы Анны... - Речь идет о романе Теккереев "Генри Эсмонд".

"Дневник леди Уиллоуби" - роман, написанный в форме дневника Ханной Мэри Ратбоун. Действие происходит во время царствования Карла I.

Том Джонс... Софья - героиня романа Филдинга "Том Джонс-найденный".

ЭЛИЗАБЕТ РИГБИ

ИЗ СТАТЬИ "ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ" И "ДЖЕЙН ЭЙР"

Элизабет Ригби, позже леди Истлейк (1809-1893) - писательница, критик, много писала для "Куотерли ревью", автор книг по искусству.

Перевод выполнен по изд.: Thackeray: the critical heritage. Ed. by G. Tillotson, 1968, p. 77-86.

...страницах "Панча" - это чудо нашего времени бесконечно ему обязано! - Журнал "Панч" начал издаваться 17 июля 1841 г., однако вначале пользовался у читателей весьма малой популярностью. Известность журналу принесли рисунки художника Джона Лича, "Песня рубашки" Томаса Гуда, юмористические зарисовки Джерролда и, наконец, "Книга снобов" Теккереев.

...как философски утверждает мадам де Сталь... - Имеется в виду эссе де Сталь "О литературе" (1795), которое стало предисловием к сборнику ее рассказов "Мирза, Аделаида и Теодор, Полина".

...как и в источнике ее названия - беньяновском "Пути паломника"... Теккерей взял название для своего романа из аллегорической поэмы Джона Беньяна "Путь паломника" (1678-1684), в которой рассказывается о странствии христианской души к небесному граду. В поэме есть образ Города Суеты с его Ярмаркой. Поэма Беньяна после Библии была самой популярной книгой в Англии в XVIII и XIX вв.

...у них она пользовалась неограниченным кредитом благодаря своей "отличной лобной структуре". - В Англии в 30-е гг. XIX в. была чрезвычайно популярна френология.

"В подлунном гнусном мире этом // И благородство служит гнусным целям" - несколько искаженная цитата из стихотворения Джона Кебла "Вербное воскресенье" из цикла "Праздники" (1827).

И нашу героиню можно было бы сопричислить к тому же роду, к которому принадлежит отравительница Лафарж... - Намек на то, что Бекки, подобно Мари Лафарж, отравила своего мужа. Мари Лафарж отравила мужа в 1840 г. но была прощена Наполеоном III.

Поэтому мы рекомендуем нашим читателям не обращать внимание на иллюстрацию второго появления нашей героини в виде Клитемнестры... Изображая Бекки в виде Клитемнестры, Теккерей намекает на преступление, возможно, совершенное героиней. Рисунки Теккерей, как уже говорилось, важнейший комментарий автора к собственному тексту.

ЭДВАРД БЕРН-ДЖОНС ИЗ "ЭССЕ О "НЬЮКОМАХ"

Эдвард Коули Берн-Джонс (1833-1898) - выдающийся английский художник, член прерафаэлитского братства, друг Россетти, Морриса. С Уильямом Моррисом основал журнал "Оксфорд и Кембридж", в котором и была напечатана в январе 1856 г. статья о "Ньюкомах". Благочестивый тон статьи объясняется тем, что в те годы Берн-Джонс подумывал о принятии сана.

Перевод выполнен по изд.: Thackeray: the critical heritage. Ed. by G. Tillotson, 1968, p. 252-259.

...в памфлете о прерафаэлитам, принадлежащем перу Рескина... - Имеются в виду памфлет и эссе, которые Джон Рескин печатал на страницах "Таймс" в 1851 г., защищая этические и художественные взгляды прерафаэлитов.

МАРГАРЕТ ОЛИФАНТ

ИЗ СТАТЬИ "ТЕККЕРЕЙ И ЕГО РОМАНЫ"

Маргарет Олифант (1828-1897) - весьма плодовитая писательница и критик, автор более ста публикаций, среди которых романы, биографии, историко-философские сочинения, написанные с охранительных позиций. Постоянно печаталась в журнале "Блэквуд". Здесь в январе 1855 г. была помещена статья "Теккереи и его романы".

Перевод выполнен по изд.: Thackeray: the critical heritage. Ed. by G. Tillotson, 1968, p. 202-216.

О Диккенсе и Теккерее в грядущем будут говорить, как... о столь же разных Ивлине и Пеписе... - И Джон Ивлин, и Сэмюел Пепис приобрели известность в основном как мемуаристы, авторы дневников, которые стали ценнейшим документом жизни Великобритании и других стран в XVII в.

Рамили, Блейхейм - места сражений в Бельгии и Баварии, где Мальборо одержал победу. Аддисон посвятил поэму битве при Блейхейме.

Ист-Энд - большой промышленный и портовый рабочий район к востоку от лондонского Сити.

...как волны лондонского просторечия вторгаются в язык... Бэкона... Фрэнсис Бэкон считается одним из самых замечательных стилистов в английской литературе.

УИЛЬЯМ РОСКО

ИЗ СТАТЬИ "У.-М. ТЕККЕРЕЙ, ХУДОЖНИК И МОРАЛИСТ"

Уильям Колдуэл Роско (1823-1859) - сын поэта и историка Уильяма Роско (1753-1831), юрист, драматург, поэт, эссеист. Публикуемая статья впервые была напечатана в "Пэшенл ревью" в январе 1856 г.

Перевод выполнен по изд.: Thackeray: the critical heritage. Ed. by G. Tillotson, 1968, p. 265-285.

...но как пресен и скуден "Зритель" в сравнении с "Ярмаркой тщеславия"! - "Зритель" - журнал, издававшийся Стилем и Аддисоном

в 1711 - 1712 гг. На его страницах подробно и обстоятельно описывались нравы.

Его фигуры соотносятся с шекспировскими, как восковые фигуры мадам Тюссо - с мраморами Парфенона в Британском музее... - В 1802 г. в Лондоне был открыт музей восковых фигур мадам Тюссо. Шведка по происхождению, она научилась искусству изготовления восковых фигур в Париже, где во время французской революции оказалась в тюрьме. Освободившись из заключения, она перевезла свою коллекцию в Лондон. Считается, что несколько фигур в этой коллекции было сделано ею самой. В Британском музее находится превосходная коллекция памятников античной культуры.

"Книга пэров" - родословная знатных родов, в этой книге также содержится список лиц, получивших титул пэра в истекшем году. Впервые была издана Дж. Берном в 1826 г. С 1847 г. издается ежегодно.

И все же было время, когда он задал "Эдваджорджилитлбульвару" суровую, хотя и не вовсе беспощадную трепку... - Речь идет о многочисленных пародиях Теккерея на сочинения Бульвера-Литтона.

...а когда сам подвергся нападению "Таймс", куснул в ответ свирепую и больно. - Имеется в виду статья старого недруга Теккерея Сэмюэла Филлипса (1814-1854) "Дэвид Коппер-филд и Артур Пенденнис", напечатанная в "Таймс" 11 июня 1851 г. Филлипсу принадлежит весьма резкая рецензия и на "Киккельбери на Рейне", также напечатанная в "Таймс". Теккерей ответил на нее эссе "О громе и пиве".

Желтоплюш с его своеобразным диалектом забавен и поучителен... Имеется в виду пародия "Кринолин" ("Романы прославленных сочинителей"). Здесь в еще более утрированной форме, нежели в "Дневнике Джимса де ля Плюша" и других сатирических повестях тех лет, рассказывается о нравах мещан и буржуа-нуворишей. Комический эффект достигается за счет соединения безграмотного фонетического письма (повествователь пишет слова так, как произносит) с жеманным тоном светской беседы, густо пересыпанной французскими (часто искаженными) словечками и другими стилистическими изысками.

Имитировать с помощью типографских литер... - Речь идет о романе "Генри Эсмонд", который был набран шрифтом, бытовавшим в

XVIII в., что должно было, по замыслу Теккерея, придать книге особый колорит.

...тот дух, что породил презрение к себе... - несколько измененная цитата из стихотворения Теннисона "Дворец искусства" (1833).

"Ужасная предсмертная песнь раскаявшегося трубочиста", в которой Сэм Холл делает из своей судьбы назидание... - Речь идет о популярной песне, эдаком "жестоким городском романсе" начала XIX в. Сэма Холла приговорили к смерти, он же в свой последний час бросает жестокие обвинения миру.

ЛЕСЛИ СТИВЕН

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К СОБРАНИЮ СОЧИНЕНИЯ У.-М. ТЕККЕРЕЯ

Лесли Стивен (1832-1904) - литературный критик, историк, философ, первый составитель и издатель "Словаря знаменитых соотечественников". Был женат на младшей дочери Теккерея. Сотрудничал со многими журналами и газетами. К числу его наиболее известных книг можно отнести "Историю мысли в XVIII столетии" (1876), "Часы, проведенные в библиотеке" (1874-1879).

Перевод выполнен по изд.: The writings of W. M. Thackeray: the Works of William Makepeace Thackeray, 1878-1879, p. 315-378.

Билль о реформе. - Имеется в виду Билль о реформе парламентского представительства 1832 г., предоставивший право голоса средней и мелкой торгово-промышленной буржуазии, а также уничтоживший "гнилые местечки".

С тех пор, как умер автор "Тома Джонса"... никому из нас, романистов, не было дано с подобной мощью изобразить Человека. - Ср. с предисловием Теккерея к "Пенденнису".

Дик Терпин - персонаж романа Харрисона Эйнсворта "Руквуд" (1834), разбойник, конокрад, был повешен. Лицо историческое, о котором было сложено немало легенд.

...подобно всхлипывающей мисс "Дэдси" в "Оливере Твисте" - то есть Нэнси, имя, произносимое "плачущим" голосом.

Пусть лет немало пронеслось... - из стихотворения Теккерея "Vanitas Vanitatum" (1860).

ТЕККЕРЕИ И РОССИЯ

А. В. ДРУЖИНИН

ИЗ СТАТЬИ "НЬЮКОМЫ", РОМАН В.-М. ТЕККЕРЕЯ"

Александр Васильевич Дружинин (1824-1864) - писатель и критик. Вначале был связан с "натуральной школой", со временем стал одним из идеологов теории "искусства для искусства". А. В. Дружинин сделал особенно много для популяризации творчества Теккерея в России. С 1850 г. на страницах журнала "Современник" анонимно в рубрике "Письма иногороднего подписчика" печатались различные материалы, сообщения критика о Теккерее. Он был первым, кто начал переводить на русский язык в этих статьях стихотворения Теккерея, он выступил с подробным анализом не только крупнейших произведений писателя: "Ярмарки тщеславия", "Книги снобов", "Генри Эсмонда", но и менее значительных. Он дал обстоятельный разбор перевода И. Введенского (см. с. 493) "Базара житейской суеты", помещенного в "Отечественных записках".

Статья, посвященная разбору романа "Ньюкомы", впервые была напечатана в журнале "Библиотека для чтения", СПб., 1856, т. 138, Э 7. Она фактически была развернутой рецензией на перевод романа "Ньюкомы", выполненный, видимо, С. М. Майковой. Этот перевод печатался в 1855-1856 гг. в журнале "Библиотека для чтения". Одновременно другой перевод печатался и в журнале "Современник". Автор этого перевода неизвестен.

Фрагменты из статьи А. В. Дружинина воспроизводятся по изд.: Дружинин А. В. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 5. СПб., 1865, с. 236-248.

"Гоггартиевский Алмаз" написан в самые тяжкие минуты жизни... - А. В. Дружинин называет эту повесть Теккерея так, как она была озаглавлена в журнале "Библиотека для чтения", где печаталась в 1849 г., "Самуил Титмарш и его большой гоггартиевский алмаз". Повесть была закончена Теккереем в 1841 г. Писалась в 1840 г., когда сошла с ума жена Теккерея Изабелла после смерти их дочери Джейн.

Странствуя по Европе, Теккерей как-то зажился в Париже... его выручил француз-портной... посвятив честному ремесленнику одну из своих последних повестей... - Речь идет о мосье Аресе, жившем в Париже на улице Ришелье. Ему Теккерей в благодарность за материальную поддержку и дружеское участие посвятил свою "Парижскую книгу очерков" (1840).

Коррер-Белль, посвящая ему свою "Шэрли"... - А. В. Дружинин допускает неточность. Дело даже не в том, что псевдоним, под которым выступила Шарлотта Бронте, правильно звучит "Каррер

Бель". Шарлотта Бронте посвятила Теккерю не роман "Шерли", но "Джейн Эйр".

...портрет изображал немолодого, очень немолодого человека, со смелым, широким лицом... - Здесь дается описание очень известного портрета Теккеря, принадлежащего кисти художника Сэмюела Лоренса.

Баярд. - Полковник Ньюком сравнивается со знаменитым французским полководцем, бескорыстие и благородство которого снискали ему славу "рыцаря без страха и упрека".

И. И. ВВЕДЕНСКИЙ

ИЗ СТАТЬИ "О ПЕРЕВОДАХ РОМАНА ТЕККЕРЕЯ..."

Иринарх Иванович Введенский (1813-1855) - переводчик, филолог, критик. Введенский перевел с английского два романа Теккеря: "Базар житейской суеты" ("Ярмарка тщеславия") и "Историю Пенденниса", а также пародийный "Опыт продолжения романа Вальтера Скотта "Айвенго", с чего в 1847 г. и началось знакомство русской читающей публики с Теккереем.

Отчасти Теккерю "не повезло", что его переводил Введенский. Метод, выработанный на переводах близкого ему по темпераменту Диккенса, Введенский, ничуть не сомневаясь, перенес на Теккеря. Желчь и иронию Теккеря Введенский заменил легкой, забавной шуткой; "облегчал" Теккеря, подчас вписывая в его произведения увлекательные пассажи или опуская те, что казались ему скучными. Так нарушалось художественное единство прозы писателя, сюжеты которого - не детективно-увлекательные, как у Диккенса, но психологические по своей сути - особенно страдают от любого механического ущемления. Настоящий голос английского писателя должен был пробиваться через мощные словесные заслоны. К счастью, он оказался достаточно громким, и его расслышали жадные до всего нового русские читатели и пристально следившие за новинками западной словесности русские писатели. Но все-таки то был не "настоящий" Теккерей.

Современники вспоминают, что Введенский работал с невероятной скоростью. Так, например, за один год им были переведены два больших романа: "Дэвид Копперфилд" и "История Пенденниса". В 1853 г. осуществилась давнишняя мечта Введенского о поездке за границу. Лондон был для него почти родной город: здесь

жили герои его Диккенса и Теккерея. Будучи в Лондоне, Введенский пытается нанести визит Диккенсу, но безуспешно. Диккенс в это время был в отъезде. Легенда об их встрече, широко распространившаяся и поддерживаемая даже близкими Введенского, недостоверна. Теккерея он также не видел.

Статья, выдержки из которой здесь публикуются, впервые была напечатана в журнале "Отечественные записки", т. 78, Э 8-9. СПб., 1851, с. 44, 48, 51, 53, 61, 65-78.

Публикация осуществлена по изд.: Русские писатели о переводе: XVIII-XX вв. Под ред. Ю. Д. Левина и А. Ф. Федорова. Л., 1960.

К. Д. УШИНСКИЙ ИЗ СТАТЕЙ

Константин Дмитриевич Ушинский (1824-1870) регулярно выступал на страницах журнала "Библиотека для чтения" с обзорами новинок зарубежной литературы. Его публикации были анонимными: он их озаглавливал "Заметки странствующего вокруг света". Его рецензии печатались также и в "Современнике".

Первоначально приводимые выдержки были напечатаны: Современник, 1853, август, т. 40, с. 222-223; 1854, т. 43, Э 2, с. 160.

Публикация осуществлена по изд.: Архив К. Д. Ушинского. Сост. В. Я. Струминский. М., 1962, с. 94, 552-555.

Дорожные лекции мистера Теккерея. - Речь идет о "Лекциях об английских юмористах": "...Теккерей на возвратном пути из Америки, откуда он привез 70 000 франков, продолжал читать свои импровизированные лекции на корабле. Публичные лекции вообще в большой моде в Англии..." (Современник, 1853, июль).

Он должен был быть богатым человеком; но предусмотрительность тех, в чьих руках было его состояние, поставила его в положение человека, который должен прокладывать себе дорогу в жизни своими собственными природными средствами. - Видимо, автор говорит о разумном отношении к сыну со стороны матери и ее второго мужа, майора Кармайкла-Смита, большого друга Теккерея. Однако основной причиной тому, что Теккерей должен был себе прокладывать дорогу в жизни сам, стал крах банка, в который его отец Ричмонд Теккерей вложил свое состояние. Едва став наследником, Теккерей оказался без гроша в кармане, а потому был вынужден заниматься журналистикой.

"Придворный путеводитель" - список достопримечательностей Лондона, в который в основном были включены дворцы и особняки.

...с издания еженедельной газеты... - Речь идет о "Нэшенл стэндард". Эта газета быстро закончила свое существование: у Теккеря тогда было мало опыта для подобного предприятия.

...подписанные странным псевдонимом Михаил Анджело Титмарш... Псевдоним, действительно, странный. Его происхождение связано с трактатом XVIII в., "напечатанным для Сэмюэла Титмарша", который был в библиотеке Теккеря.

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

ИЗ СТАТЬИ "НЬЮКОМЫ"... РОМАН В. ТЕККЕРЕЯ"

Николай Гаврилович Чернышевский (1828-1889) несколько раз обращался в своих критических работах и теоретических сочинениях к Теккерю. Первое упоминание английского романиста содержится в его работе "О поэзии". Сочинение Аристотеля", которая появилась на страницах журнала "Отечественные записки" (СПб., 1854, т. 96, Э 9, с. 1-28). Там он пишет: "Эстетика - наука мертвая! Мы не говорим, чтоб не было наук живей ее; но хорошо было бы, если бы мы думали об этих науках. Нет, мы превозносим другие науки, представляющие гораздо менее живого интереса. Эстетика - наука бесплодная! В ответ на это спросим: помним ли мы еще о Лессинге, Гете и Шиллере, или уж они потеряли право на наше воспоминание с тех пор, как мы познакомились с Теккереем?.." Упоминания о Теккерее есть и в диссертации Чернышевского "Эстетические отношения искусства к действительности", и в работах "Сочинения Пушкина", и в "Очерках гоголевского периода русской литературы". Но, безусловно, самой значительной и самой известной работой Чернышевского о Теккерее стала его статья "Ньюкомы, история одной весьма достопочтенной фамилии: Роман В. - М. Теккеря", которая была напечатана в "Современнике" (1857, т. 61, Э 2, отд. 4: Библиография, с. 31-42). Публикация осуществлена по изд.: Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 15-ти томах, т. 4. М., 1948, с. 511-522.

А. И. ГЕРЦЕН

ИЗ СТАТЬИ

Александр Иванович Герцен (1812-1870), безусловно, мог видеть Теккеря не раз и в Лондоне, и в Париже. Однако судьба их не свела. В его статьях есть несколько беглых, но тем не менее глубоких

замечаний о Теккерее. Например, в письме немецкой писательнице, переводчице Мальвиде Амалии Мейзенбург (1816-1903) от августа 1856 г. он пишет: "Ни слова о вашем письме, в котором кое-что справедливо, а кое-что несправедливо. Будьте только уверены, что никакая мисс Шарп не могла иметь на меня такого впечатления: эта мисс Шарп - я сам, но с незгоистичными воззрениями".

Статья "О романе из русской народной жизни: Письмо к переводчице "Рыбаков" также адресовано М. Мейзенбург. Написана в 1857 г. Текст воспроизводится по изд.: Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем в 30-ти томах, т. 13. М., 1958, с. 160.

И. С. ТУРГЕНЕВ

ИЗ ПИСЕМ

История взаимоотношений Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883) и У.-М. Теккерея - интересная страница русско-английских литературных связей в XIX в. Из-за недостатка точных сведений трудно восстановить доподлинно картину их недолговременного знакомства. По-видимому, во время трех поездок в Англию (1857, 1858, 1859 гг.) Тургенев несколько раз встречался с Теккереем. Возможно, что первая встреча произошла 11 июня 1857 г. на обеде у видного английского литературного и общественного деятеля Ричарда Милнза. Впервые о своем знакомстве с английским романистом Тургенев упомянул в письме к П. В. Анненкову от 27 июня (9 июля) 1857 г.: "...был в Англии - и, благодаря двум-трем удачным рекомендательным письмам, сделал множество приятных знакомств, из которых упомяну только Карлейля, Теккерея, Дизраэли, Маколея..." Через неделю в письме к М. Т. Толстой от 4 (16) июля Тургенев высказывается более определенно: "...сделал множество знакомств (между прочим, я был представлен Теккерею, который мне мало понравился)". Причину своего отрицательного отношения он позже объяснил так: "...автор "Ярмарки тщеславия" - увы! - сам весь заражен осмеянным им пороком".

В апреле 1858 г. Тургенев вновь приезжает в Лондон. 16 (28) апреля он присутствовал на обеде в Обществе английского литературного фонда: соседом Тургенева по столу значился Теккерей, однако он отсутствовал по болезни. И все же 9 мая 1858 г., согласно дневниковой записи Теккерея, встреча произошла в доме Теккерея на Онслоу-сквер. В рукописном отделе ИРЛИ в архиве Н. К.

Михайловского хранится пригласительная записка Теккерей, обращенная, видимо, к Тургеневу. Вот текст в переводе с английского:

"36 Онслоу-сквер

Дорогой сэр,

не смогли бы Вы пообедать со мной в воскресенье 9-го числа, в 7.30? Я дважды не мог застать Вас на Холлс-стрит.

Искренне уважающий Вас

У.-М. Теккерей

Если не в воскресенье, то сегодня в семь. У меня будут только две американские леди и мои дочери".

Судя по почерку, приписка сделана рукой самого Теккерей. Основной же текст написан кем-то другим, возможно, одной из дочерей писателя, предположительно Энн. И хотя сведения, содержащиеся в записке, не велики, они позволяют считать адресатом Тургенева.

По указанному в начале письма адресу Теккерей проживал с 1854 по 1862 г. Упомянутая в записке улица, где находилось приглашаемое лицо, значится в письмах Тургенева.

Со слов Тургенева, Теккерей был удивлен, узнав о своей популярности в России. О русской литературе он был осведомлен очень слабо и даже сомневался в ее существовании. При встрече с Тургеневым он выразил желание услышать русскую народную песню. Тургенев прочитал ему вслух стихотворение Пушкина.

Статья "Письма о франко-прусской войне" (1870) была впервые опубликована в "Санкт-Петербургских ведомостях" Э 216, 219, 231, 252, 265. Публикация осуществлена по изд.: Тургенев И. С. Собр. соч. в 15-ти томах, т. 15. М.-Л., 1968, с. 24.

Л. Н. ТОЛСТОЙ

ИЗ ПИСЕМ, ДНЕВНИКОВ, ПРОИЗВЕДЕНИЙ, БЕСЕД

Интерес Толстого к Теккерейю проявлялся на протяжении всего его творческого пути. Первая запись о Теккерее датирована 1854 г., последняя 1910 г.

В записи от 20 января 1854 г., своеобразно намечающей концепцию "обожания труда", Толстой ссылается на творчество Теккерейя как на образец кропотливой повседневной писательской работы: "Вот факт, который надо вспоминать почаще. Теккерей 30 лет собирался написать свой первый роман... Никому не нужно

показывать, до напечатания, своих сочинений". В мае 1855 г. Толстой познакомился с "Книгой снобов". Весь июнь того же года, судя по дневниковым записям от 4, 7, 10 и 20 июня, также посвящен Теккерее: "Читая... все читал Пенденниса". 17 июня 1856 г. Толстой приступил к чтению романа "Ньюкомы": "читал Ньюкомы, записывал" (25 июня); "читал Ньюкомы лежа и молча" (29 июня). В письме к Н. А. Некрасову от 2 июля 1856 г. Толстой подчеркивал, что читает романы по-английски.

В Яснополянской библиотеке писателя сохранился 4-й том "Ньюкомов" лейпцигского издания 1854- 1855 гг. Значительно позже, 21 мая 1890 г., перечитывая роман, Толстой ограничился краткой оценкой "плохо", но две недели спустя сделал знаменательную пометку в дневнике: "В Ньюкомах хороша теща Кляйва - мучающая обоих, только мучается больше она".

18 ноября 1856 г. в письме к В. В. Арсеньеву Толстой рекомендует ей прочесть из английских романов "Ярмарку тщеславия". В 1859 г. Толстой посетил Англию и, как свидетельствует Д. П. Маковицкий в своих воспоминаниях (запись от 24 октября 1906 г.), говорил, что видел Теккерее.

Во время работы над романом "Война и мир" Толстой вновь обращается к Теккерее. В одном из вариантов эпилога "Войны и мира" встречаем: "Подите с этой прагматичностью к Дон Кихоту, Аяксу, Ньюкому, Копперфилду, Фальстафу".

Публикация осуществлена по изд.: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. М.-Л., (в последовательности) т. 47, с. 82; т. 60, с. 76; т. 4, с. 24. Беседа с Хэпгудом - см.: Хэпгуд И. Граф Толстой дома. Публ. и пер. В. Александрова. Вопросы литературы, 1984, Э 2, с. 163. Беседа с Д. П. Маковицким - по изд.: Маковицкий Д. П. Яснополянские записки. Литературное наследство, т. 90, кн. 1. М., 1979, с. 126.

"История двух городов" - роман М. Салтыкова-Щедрина.

"Наш общий друг" - роман Диккенса.

А. И. ФЕТ

ИЗ ПИСЕМ И СТАТЕЙ

Афанасий Иванович Фет (1820-1892) познакомился с творчеством Теккерее в возрасте восемнадцати лет. Было это в 1838 г., когда он вместе с И. И. Введенским жил в пансионе профессора Московского университета М. П. Погодина.

О чтении Фетом романов Теккерея в более поздние годы сведений нет. Поэтому таким неожиданным кажется письмо Фета от 7 июня 1890 г. к графу Алексею Васильевичу Олсуфьеву, филологу-дилетанту, помогавшему Фету в эти годы в его переводах латинских поэтов.

Публикация осуществлена по изд.: Фет А. И. Ранние годы моей жизни. М., 1893, с. 131.; Фет А. И. Стихотворения. Проза. Письма. М., 1988.

...выскакивающий внезапно король Эдуард... - Фет путает Теккерея с Диккенсом. На самом деле он вспоминает "Дэвида Копперфилда" в переводе И. Введенского. Введенский, верный себе, несколько подправил Диккенса, заменив Карла на Эдуарда. Перевод Введенского печатался в 1851 г. в "Отечественных записках".

...в котором герой пишет прекрасный роман... - Из всех героев "Дэвида Копперфилда" именно мистер Дик, пишущий роман, должен был запомниться Фету. На то есть несколько причин, в частности, и биографического характера. Тяжелой травмой, перевернувшей всю его жизнь, было для мальчика Афанасия Шеншина превращение в Афанасия Фета. Он ненавидел это имя, а потому ему были очень близки слова в романе Диккенса о Дэвиде, произнесенные его бабушкой: "...он терпеть не может этого имени. Это одна из его странностей. Впрочем, и то сказать, в этом ничего нет удивительного; он был сильно обижен человеком, который носит это имя" (пер. И. Введенского). Рассказывая о мистере Дике, бабушка говорит Дэvidу, что она не могла остаться равнодушной к "судьбе бедного и незащитного мистера Дика, от которого отказался весь свет". Многие годы Фет ощущал себя "отверженным", "человеком без имени". Но, конечно, творчески мистер Дик был особенно интересен Фету. Рассказывая об этом "сумасшедшем" писателе, Диккенс на самом деле говорит о самой природе поэтического выражения мира. "Такой способ выражения не всегда нравится толпе, привыкшей ощупью ходить по земле", - говорит бабушка Дэвида, и она советует мистеру Дику "освободиться от загадочного способа выражения о собственном своем лице". Интуитивное, подсознательное начало предстает перед мистером Диком в образе казненного короля Чарлза I (Эдуарда у И. Введенского), диктующего ему свои мысли. Много лет спустя Фет вспомнил о приеме мистера Дика отделяться от собственных мыслей, работая над "казанным" произведением. Короля он, правда,

называет Эдуардом: видимо, остались в памяти английские Эдуарды и придуманный Введенским Карл-Эдуард.

Как утверждает крупнейший специалист по творчеству Теккерея Гордон Рэй, отрубленная голова короля Карла у Диккенса возникла "не без подсказки Теккерея". Вероятнее всего, Диккенс позаимствовал этот образ из одного очерка Теккерея, написанного им для журнала "Морнинг кроникл". Фет же интуитивно вернул ситуацию Теккерею.

Ф. И. БУСЛАЕВ

ИЗ СТАТЬИ "О ЗНАЧЕНИИ СОВРЕМЕННОГО РОМАНА И ЕГО ЗАДАЧАХ"

Федор Иванович Буслаев (1818-1897) - русский филолог, искусствовед, профессор Московского университета с 1847 г., академик с 1881 г. Труды Буслаева в области славяно-русского языкознания, древнерусской литературы, устного народного творчества и истории составили целую эпоху в развитии науки и в значительной степени не утратили своего значения в наши дни. Цитируемая статья прочитана в публичном заседании Общества Любителей Российской словесности 16 января 1877 г., впервые напечатана в Москве в типографии Гатцука тогда же, в 1877 г. О Теккерее см. с. 40.

П. Д. БОБОРЫКИН

ИЗ КНИГИ "РОМАН НА ЗАПАДЕ"

Петр Дмитриевич Боборыкин (1836-1921) - русский писатель. В 1863-1865 гг. - редактор-издатель журнала "Библиотека для чтения". В 1872 г. вскоре после событий Парижской Коммуны был направлен Некрасовым во Францию в качестве корреспондента "Отечественных записок". Сотрудничал также в либеральных и народнических журналах ("Вестник Европы", "Северный вестник" и др.). С начала 90-х гг. жил за границей. Автор огромного числа работ по истории русской и западноевропейской литературы.

Значительный интерес представляют мемуары Боборыкина "За полвека". Работа "Роман на западе: за две трети века" была впервые опубликована в СПб., в типографии М. М. Стасюлевича в 1900 г. О Теккерее см. главу "Главные вехи западного романа", с. 526, 530.

Эта работа включена также в изд.: Боборыкин П. Д. Воспоминания, в 2-х томах. М., Художественная литература, 1965. О Теккерее см. т. 2, с. 50, 214, 215, 218.

УКАЗАТЕЛИ ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

{* В указатель включены имена и фамилии лиц, упомянутых в тексте мемуаров и в комментариях. Общеизвестные фамилии и фамилия авторов, чьи воспоминания включены в настоящее издание, не аннотируются; упоминаемые только в комментариях, но не в тексте фамилии и имена также не аннотируются. У лиц английского происхождения (за исключением королей Великобритании) национальность не указывается.}

Беккет Гилберт Аббот (1811-1856), сотрудник "Панча" и других журналов, автор "Комической истории Англии", "Комической истории Рима"

Аддисон Джозеф (1672-1719), драматург, поэт, один из родоначальников нравоописательной, сатирической журналистики

Аллен Джон, друг Теккеря по Кембриджу

Альбони, певица

Анна Стюарт (1665-1714), королева Великобритании с 1702 г.; последняя королева в династии Стюартов

Аннетт - кухарка графини Перуцци

Апеллес (IV в. до н. э.), греческий художник

Арец, портной Теккеря

Арнольд, владелец театра "Лицеум" в 50-е годы XIX в.

Арсидекни Эндрю, знакомый Теккеря по клубу "Гаррик", актер, завсегдатай светских салонов

Байрон Джордж Ноэл (1788-1824)

Баллантайн Уильям (1812-1887), адвокат, один из недругов Теккеря

Бальзак Оноре де (1799-1850)

Барри Корнуэл - см. Проктер

Баярд де Пьер Террайль (ок. 1470-1524), французский полководец

Бейн Алисия, дальняя родственница Теккеря

Бедингфилд Ричард, двоюродный брат Теккеря

Бергойн Джон, фельдмаршал

Берисфорд Уильям, лорд, капитан

Берк Эдмунд (1729-1797), философ, общественный деятель

Беркли Джордж (1685-1753), епископ, философ

Берн-Джонс Эдвард

Бернард Фрэнсис Каули
Берне Роберт (1759-1796)
Берри Мэри (1763-1852) и Агнес (1764-1852), сестры, меценатки,
держали литературный салон
Биддкульф, майор, дворцовый эконом
Бил Фредерик, импресарио
Бичер, мисс, родственница Р. Бедингфилда
Бичер - см. Кармайкл-Смит, миссис
Бичер-Стоу Харриет (1811-1896), американская писательница,
автор романа "Хижина дяди Тома" (1852)
Блэгден Изабелла, знакомая и корреспондентка Р. Браунинга
Боборыкин Петр Дмитриевич
Бодлер Шарль (1821-1867), французский поэт
Боз - см. Диккенс
Борджа Лукреция (1480- 1519), дочь папы римского Александра
VI и жена (в третьем браке) Альфонса д'Эсте, герцога Феррарского
Боуг Дэвид, издатель
Брайтон, врач Теккеря
Браун, мисс
Браун Джон
Браунинг Роберт (1812-1889), поэт
Браунинг Пенини, дочь Роберта и Элизабет Браунингов
Браунинг-Баррет Элизабет (1806-1861), поэтесса
Бримли Джордж (1819-1857), библиотекарь в Тринити-колледж,
Кембридж, критик, сотрудничал с "Фрэзерс мэгезин"
Бронте Шарлотта (1816-1855)
Броум Генри (1778-1855), политический деятель
Брукс Шерли
Брукфилд Джейн
Брукфилд Уильям (1809-1874), священник, друг Теккеря
Брэдбери, издатель Теккеря
Брэй Чарлз (1811-1884), философ, автор "Философии
необходимости" (1841), наставник Джордж Элиот
Буасье, кондитер
Бульвер-Литтон Эдуард Джордж (1803-1873), романист, драматург
Буллер Чарлз (1806-1848), юрист, член парламента, друг Теккеря
с юношеских лет

Бусико Дайон (1822-1890), ирландский драматург
Буслаев Федор Иванович
Буше Франсуа (1703-1770), французский художник
Бакон Фрэнсис (1561-1626), писатель, философ, политический деятель
Бэкстер Люси
Бэрроу Джордж (1806-1876), баронет, видный политический деятель
Вайсенборн Фридрих Август Вильгельм, немец, учитель Теккерея в Веймаре
Ватто Антуан (1684-1721), французский художник
Вашингтон Джордж (1732-1799), американский государственный деятель, полководец, первый президент США
Введенский Иринарх Иванович
Веллингтон (наст. имя Артур Уэлси; 1769-1852), фельдмаршал, политический деятель
Вельде Ван де
Венейблз Джордж Стоувин
Вергилий Марон Публий (70-19 гг. до н. э.)
Виган Альфред, драматический критик
Визетелли Генри
Виктория (1819-1901), английская королева с 1838 по 1901 г.
Вордсворт Уильям (1770- 1850), поэт, один из родоначальников романтизма
Гаррик Дэвид (1717-1779), актер
Гаскелл Элизабет Клегори (1810-1865), писательница
Гейне Генрих (1797-1856)
Гейнсборо Томас (1727-1788), художник, портретист, пейзажист
Геммель, дирижер
Генрих VIII (1491-1547), король Англии с 1509 г.
Георги, английские короли
Георг I (1714-1727)
Георг III (1760-1820)
Георг IV (1820-1830)
Герцен Александр Иванович
Гете Иоганн Вольфганг фон (1749-1832)
Гете Оттилия фон, невестка Гете

Гладстон Герберт Джон (1854-1930), политический деятель, министр внутренних дел в 1905-1910 гг.

Гогарт - см. Хогарт

Гоголь Николай Васильевич (1809-1852)

Голдсмит Оливер (1728- 1774), писатель, романист, поэт

Гомер

Гораций (полн. имя Квинт Гораций Флакк; 65-8 гг. до н. э.)

Готорн Натаниэль (1804-1864), американский писатель

Граммон де, графиня, жена Фердинанда де Граммона (1811-1897), литератора, в конце 1835 г. ставшего секретарем Бальзака

Граммон Фердинанд де

Грез Жан-Батист (1725-1805), французский художник

Грей, миссис, экономка Теккеря

Гренвилл Джордж (1667- 1735), государственный деятель, поэт, драматург

Грин Пэдди, официант в ресторане Эванса

Гуд Томас (1799-1845), поэт, публицист, лектор, чартист, проповедник

Гэй Джон (1685-1732), поэт, эссеист, драматург - 193 Гюго Виктор (1802-1885)

Далла Инес

Дафф Гордон, леди, жена государственного деятеля и писателя Маунстюарта Гранта Даффа (1829-1906)

Дефо Даниель (1661-1731)

Джеймс, слуга Теккеря

Джеймс Генри (1843-1916), американский писатель

Джеймс Джордж Пейн Рейн-сфорд (1799-1860), романист, эпигон Вальтера Скотта, дипломат

Джексон, кучер Теккеря

Джексон, антрепренер

Джерролд Дуглас Уильям (1803-1857), прозаик, драматург, прославившийся сатирическими очерками в журнале "Панч"

Джерролд Уильям Блэнчерд

Джерси, графиня, хозяйка светского салона в Лондоне

Джимс де ля Плюш, лакей Теккеря

Джифрисон Джон Корди

Джон, лакей

Джонсон Бенджамин (1573-1637), драматург, поэт

Джонсон Сэмюел (1709-1784), критик, лексикограф, публицист, писатель

Дизраэли Бенджамин, лорд Биконсфилд (1804-1881), писатель, государственный деятель, лидер консервативной партии, премьер-министр в 1874-1880 гг.

Дик Эндрю Ковентри, друг доктора Джона Брауна

Диккенс Чарлз (1812-1870)

Дин Джордж, член клуба "Гаррик"

Диоген Синопский (ок. 403-325 гг. до н. э.), древнегреческий философ, киник

Доил Ричард (1824-1883), художник, сотрудник "Панча", иллюстрировал роман Теккерея "Ньюкомы" и рождественскую книгу "Ревекка и Ровена"

Донн Уильям Бодхем (1807-1882), священник, ученый, эссеист

Д'Орсей Альфред, меценат, держатель салона

Драйден Джон (1631-1700), поэт, драматург, критик

Дружинин Александр Васильевич - 407-416, 491- 492

Дуайер Фрэнк, майор, друг Чарлза Лёвера

Дэвидсон Генри, знакомый Теккерея

Дюма Александр (Дюма-отец; 1802-1870), французский писатель

Дюморье Джордж Луис (1834-1896), художник, писатель, успешно сотрудничал с журналом "Панч" в качестве иллюстратора

Дюрер Альбрехт (1471-1528)

Дюффи Чарлз Гейвен (1816-1903), ирландский журналист, политический деятель, позже премьер-министр Австралии. С Теккереем познакомился в 1855 г.

Жан Поль (наст. имя и фам. Иоганн Пауль Рихтер; 1763-1825), немецкий писатель

Жанна д'Арк (ок. 1412-1431)

Жарнак, граф

Зонтаг Генриетта, певица

Ибботсон

Ивлин Джон (1620-1706), литератор, переводчик, культуролог, автор "Дневников", которые стали ценнейшим документом эпохи

Ингелоу Джин (1820- 1897), поэтесса

Иннз Гарри, двоюродный брат Чарлза Лёвера

Йейтс Эдмунд
Йоель фон, немецкий эстрадный актер
Канлиф, супружеская чета, знакомые Энн Ритчи
Кардуэлл, соперник Теккеря на выборах от Оксфорда
Карлейль Александр, миссис, племянница Томаса Карлейля
Карлейль Джейн (1801-1826), жена Томаса Карлейля, оставила богатое эпистолярное наследие
Карлейль Джон, брат Томаса Карлейля
Карлейль Том, сын миссис Александр Карлейль
Карлейль Томас (1795-1881)
Кармайл-Смит (урожд. Энн Бичер; 1792-1864), мать Теккеря, в 1817 г. вышла замуж второй раз за майора Кармайкла-Смита
Кармайл-Смит Генри, майор (1780-?), отчим Теккеря, прообраз полковника Ньюкома в одноименном романе
Карр Альфонс Жан-Батист (1808-1890), французский писатель, журналист
Каттермол Джордж, иллюстратор
Кауэлл Эдвард Байл, филолог
Кембл Фанни
Кемпбелл Томас (1777-1844), поэт
Кетч Джек, палач XVIII в., имя стало нарицательным, личность легендарная
Кин Эдмунд (1787-1833), актер, прославившийся исполнением шекспировских ролей
Кингсли Чарлз, ректор, настоятель собора в Челси
Кингсли Чарлз (1830-1876), романист
Китс Джон (1795-1821), поэт
Кланн
Клеопатра Египетская (69-30 гг. до н. э.), египетская царица, дочь Птолемея XI
Кобден Ричард (1804-1865), политический деятель, противник милитаризации государств
Койп, художник
Кок Поль-Шарль де (1793-1871), французский писатель
Кокрен Генриетта
Кокрен Элис, сестра писательницы

Коллинз Чарлз Элстон (1828-1873), брат писателя Уилки Коллинза, художник, член прерафаэлитского братства, первый муж младшей дочери Диккенса Кейт

Коллинз, миссис, жена Чарлза Элстона Коллинза

Колридж Сэмюел Тейлор (1772-1834), поэт, критик, философ

Колумб Христофор (1451-1506)

Конвей Монкюр, литератор, мемуарист

Корниш Бланш, дочь двоюродного брата Теккерея Уильяма Ритчи

Корнуэлл Барри - см. Проктер

Коррер-Белль (правильно Каррер Белль) - см. Шарлотта Бронте

Коул Генри, друг Теккерея, сотрудник Саут-Кенсингтонской школы изящных искусств, с 1857 г. музея Альберта и Виктории

Кошанский Николай Григорьевич, теоретик литературы

Крокер, мисс (в замуж, миссис Джон Уилсон), дочь эссеиста и политического деятеля Джона Уильяма Крокера

Кромвель Оливер (1599-1658), лидер английской революции

Кроу Айра (1824-?)

Кроу Айра Эванс (1799-1864)

Кроу Джозеф (1825-1896)

Кроу Кэтрин, писательница, автор "готических" произведений, в частности нашумевшего романа "Сьюзен Хопли"

Кроу Эмилия (Эми, 1831-1865), дочь Айры Эванса Кроу

Кроу Юджиния, дочь Айры Эванса Кроу

Кроули Джордж (1780-1860), священник, романист, поэт, критик, проповедник, автор нашумевшего в свое время романа "Салатиель: истории прошлого, настоящего и будущего" (1829)

Крукшенк Джордж

Кук Дуглас, редактор "Сатардей ревью"

Кук Истен Джон

Купер Томас (1805-1892), поэт, журналист, лектор, проповедник, чартист

Купер Фенимор (1789-1851), американский писатель

Купер Чарлз, журналист, чартист

Куртни, завсегдаята светских салонов

Кеннингем Питер (1816-1869), писатель, критик, издавший в 1857 г. около 2700 писем Хореса Уолпола

Л. Э. Л. - см. Лэнден Летиция Элизабет

Лаблаш Луи (1794-1858) - итальянский певец
Ламартин Альфонс де (1791-1869), французский поэт
Ландсир Чарлз, художник
Ландсир Эдвин (1802-1873), художник-анималист, автор портрета Вальтера Скотта с собакой; придворный живописец королевы Виктории; автор скульптурного изображения львов у колонны Нельсона в Лондоне
Лант Джордж
Лафарж Мари, французская отравительница
Левер Чарлз (1806-1872), ирландский
Леветт, хирург
Лейтон Фредерик, барон, художник-иллюстратор
Лемон Марк (1809-1870), один из создателей журнала "Панч", театральный критик, журналист, драматург
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-1841)
Лесли Стивен
Лесли Чарлз, художник
Ли Персивал, хирург, журналист, знаток античности, друг Теккерея
Линд Дженни, актриса
Линтон Элиза
Лир Эдвард (1812-1888), поэт, художник, путешественник
Листов Джон (1817-1846), актер-комик
Литтон - см. Бульвер-Литтон
Лич Джон (1817-1864), иллюстратор, сотрудничал долгие годы с "Панчем"
Ллойд, владелец пароходства
Локхарт Джон Гибсон (1794-1854), адвокат, журналист, поэт, издатель, автор знаменитого "Жизнеописания Вальтера Скотта"
Лонгфелло Генри Уодсуорт (1807-1882), американский поэт
Лоренс Сэмюел (1769-1830), художник-портретист
Луи-Филипп I (1773-1850), король Франции в 1830-1848 гг.
Льюис Джордж Генри
Лэм Чарлз (1775-1834), писатель, эссеист
Лэнден Летиция Элизабет (1802-1838), поэтесса
Людовик XIV (1638-1715), французский король с 1643 г
Людовик XVII (1785-1795), французский король

Маккалах Уильям Торренс (1813-1854), ирландский писатель, политический деятель, писал под псевдонимом "Торренс"

Маккей Чарлз

Маклеод Норман, врач

Маклиз Дэниел (1806-1870), художник, портретист, книжный иллюстратор. Его кисти принадлежит знаменитый портрет молодого Диккенса

Маковицкий Душан Петрович (1866-1921), врач, мемуарист

Маколей Томас Бабингтон (1800-1859), историк, публицист, литератор, политический деятель

Макреди Уильям Чарлз (1793-1873), актер, снискал славу исполнением шекспировских ролей

Мальборо Джон Черчилль (1650-1722), герцог, полководец, государственный деятель

Марзелс Фрэнк

Мария-Антуанетта (1755- 1793), жена Людовика XVI, французская королева с 1600 г.

Марочетти Карло (1805- 1867), скульптор, итальянец по происхождению

Марри Джон (1745-1793), издатель, основал журнал "Куотерли ревью", друг Байрона

Мартин, барон

Мартин Теодор

Мартино Харриет (1802-1876), писательница, автор религиозных романов

Медюков, приятель И. И. Введенского

Мейхью Хорес (1816-1872), журналист, сотрудник "Панча", писал под псевдонимом "Пони"

Мелвилл Уайт

Меривейл Герман

Мерримен Джон Джонс

Микеланджело Буонарроти (1475-1564)

Миллес, декан Рочестерского собора

Милдес Джон Эверетт

Милнз Ричард Монктон (1809-1885), лорд Хотон, государственный деятель, поэт, друг Теккерея

Мильтон Джон (1608- 1674), поэт

Миттенс, художник

Митфорд Мэри Рассел (1787-1855), писательница

Молино, священник-евангелист

Моно Адольф, французский протестантский пастор

Монтгомери Роберт (1807-1858), религиозный поэт

Мур Томас (1779-1852), ирландский поэт, музыкант, романист, автор знаменитых "Ирландских мелодий"

Мьюлок Дина (1826-1887), позд. миссис Крейк, писательница, автор очень популярного в свое время романа "Джон Галифакс, джентльмен" (1856)

Мэгинн Уильям (1793-1842), издатель, эссеист, поэт, один из самых образованных и блестящих людей своего времени. Главный редактор журнала "Фрэзерс" в 30-е годы XIX в., оказал существенное влияние на Теккерея в начале его творческого пути. Выведен в образе капитана Шендона в "Пенденнисе"

Мэссон Дэвид

Мэхони Фрэнсис Силвестер (1804-1866), ирландский католический священник, литератор, писал под псевдонимом "отец Праут", друг Теккерея

Найт Чарлз

Наполеон I (Наполеон Бонапарт; 1769-1821), французский император в 1804-1815 гг.

Некрасов Николай Алексеевич (1821-1877)

Никкисон Джордж, сотрудник "Фрэзерс мэгезин"

Ноулз Джеймс Шеридан (1784-1862), ирландский драматург, автор весьма популярных поэтических драм

О'Дауд, член клуба "Гаррик"

О'Коннел Дэниел (1775-1847), ирландский политический лидер, был прозван "Освободителем" из-за своих выступлений в защиту католиков

О'Коннел Морган Джон, сын Дэниела О'Коннела, ирландский политический деятель, член парламента

О'Коннор Фергус

Олдерлей Стенли, леди

Олифант Маргарет

Оллингем Уильям

Олсуфьев Александр Васильевич (1843-1907), генерал, адъютант
Николая II, филолог-дилетант, друг А. И. Фета

Остен Джейн (1775-1817), романистка

О'Шей, член клуба "Гаррик"

Пальмерстон Генри Джон Темпл (1784-1865), виконт,
государственный деятель

Педди Александр, литератор, мемуарист

Пепис Сэмюел (1633-1703), эссеист, автор знаменитых
"Дневников", ставших ценнейшим документом эпохи

Перри Кейт, друг и корреспондентка Теккерей, дочь Джеймса
Перри (?-1821), главного редактора "Морнинг кроникл"

Перри Уильям, старший брат Кейт Перри

Перуджини-Диккенс Кейт (1839-1870), младшая дочь Диккенса

Пирмен Чарлз, слуга Теккерей

Погвиш фон, сестра Оттилии Гете

Полли, знакомая Теккерей по Парижу

Поллок Уильям Фредерик (1815-1888), юрист, литератор, баронет

Поуп Александр (1688-1744), поэт, автор философических поэм
"Опыт о человеке", "Дунсиада" (1728)

Порбус, или Пурбус - имя нескольких фламандских художников:
Петера (1523-1584), его сына Франса I Старшего (1545-1581) и его
внука Франса II (1569?-1622)

Портер, владелец игорного дома в Бостоне

Прайор Мэтью (1667-1721), поэт, мастер эпиграммы

Прайм де ла, приятель Теккерей

Праут отец, см. Мэхони Фрэнсис Силвестер

Прескотт Уильям (1796-1859), американский историк

Приор - см. Прайор

Проктер Брайен Уоллер (1787-1874), поэт, драматург, писал под
псевдонимом "Барри Корнуэлл". Проктеру Теккерей посвятил
"Ярмарку тщеславия"

Проктер Энн (1799-?), меценатка, жена Брайена Проктера

Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837)

Рабле Франсуа (1494-1553)

Райт Томас, знакомый Э. Фицджеральда

Рассел Джон, директор Чартерхауса

Рассел Уильям Говард

Рафаэль Санти (1483-1520)
Рашель (наст. имя и фам. Элиза-Рашель Феликс; 1821-1858), французская актриса
Рейнольдс Джошуа (1723-1792), художник-портретист
Ренье, французский актер
Рескин Джон (1819-1900), писатель, историк, искусствовед, публицист
Ригби Элизабет
Ритчи Уильям (1817-1862), двоюродный брат Теккерей, служил в Индии
Ритчи Шарлотта, жена Уильяма Ритчи
Ритчи Энн Изабелла (урожд. Энн Изабелла Теккерей)
Рич Энгус, литератор, автор очерков "Физиологические наблюдения"
Робертс Дэвид, художник
Робсон, актер
Роско Уильям Колдуэл
Сайборн Уильям Кельм, автор книги "История военных действий во Франции и Бельгии в 1815 году"
Сайкс, художник
Сала Джордж Огастес
Самнер Чарлз, американский государственный деятель, оратор
Санд Жорж (наст. имя и фам. Аврора Дюпен, по мужу Дюдеван; 1804-1876), французская писательница
Сарторис Эдвард Джон (урожд. Аделаида Кембл), актриса
Свифт Джонатан (1667-1745)
Сервантес Сааведра Мигель де (1547-1616), испанский писатель
Синг Уильям Уэбб Фоллет (1826-1891), дипломат, журналист, знакомый Теккерей
Синклер Джон, архидиакон
Скотт Вальтер (1771-1832)
Смит Альберт (1816-1860), писатель, публицист
Смит Артур, журналист, сотрудничал с "Панчем", по образованию медик
Смит Джордж
Смоллет Тобиас Джордж (1713-1768)
Спеддинг Джеймс, друг Теккерей по Кембриджу

Сталь (урожд. Неккер) Жермена де (1766-1817), французская писательница

Стерн Лоренс (1713-1768), писатель

Стивен Джеймс, сэр

Стивен Лесли

Стиль Ричард (1672-1729), журналист, драматург, издатель, политический деятель

Стерлинг, актриса

Стори Олдо, сын графини Перуцци

Стори Эдит, графиня Перуцци де Медичи

Стоу - см. Бичер-Стоу

Стоун Фрэнк (1800-1859), художник-жанрист, иллюстратор Диккенса

Сю Эжен (наст. имя Мари-Жозеф; 1804-1857), французский писатель

Талейран-Перигор Шарль Морис де (1754-1838), французский политический деятель - 321

Тацит Публий Корнелий (57 или 58 - ок. 117 гг.), римский историк

Тейлор Баярд

Тейлор, миссис, жена Генри Тейлора

Тейлор Джеймс, корреспондент Шарлотты Бронте

Тейлор Томас (писал под псевдонимом "Том Тейлор"; 1817-1880), драматург, журналист, сотрудник "Панча"

Тейлор Чарлз, баронет

Теккерей Фрэнсис Сент-Джон

Теккерей Харриет (Минни, позже миссис Лесли Стивен; 1840-1875), младшая дочь Теккерей

Теккерей Энн Изабелла - см. Ритчи Энн, старшая дочь Теккерей, писательница

Тенниел Джон (1820- 1914), иллюстратор, особую известность ему принесли иллюстрации к книгам Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране Чудес", "Алиса в Зазеркалье"

Теннисон Альфред (1809- 1892), поэт

Теннисон Фредерик (1807- 1898), брат Альфреда Теннисона, друг Э. Фицджеральда

Толстая Софья Андреевна (1844-1919), жена Л. Н. Толстого, мемуаристка

Толстой Лев Николаевич
Томпсон Генри (1820-1904), хирург, баронет
Трелони Эдвард Джон (1792-1881), писатель, мемуарист, друг
Шелли
Троллоп Фрэнсис (1780- 1863), писательница, мать Энтони
Троллопа
Троллоп Энтони
Труа де, художник
Трулок, мисс, гувернантка в доме Теккереев
Тургенев Иван Сергеевич
Туэйтс, художник-гравёр
Тюссо, создательница музея восковых фигур в Лондоне, по
происхождению шведка
Уилки Дэвид (1785-1841), художник-жанрист
Уиллз Уильям Генри (1810-1880), журналист, помогал Диккенсу
издавать журнал "Домашнее чтение", член клуба "Гаррик"
Уиллис, владелец фешенебельного лондонского салона
Уильяме Уильям Смит, литературный консультант издательства
"Смит и Элдер"
Улла, мисс, знакомая семьи Диккенсов
Уокер Фредерик, художник-иллюстратор
Уолпол Хорес (1717-1797), писатель, сын премьер-министра
Роберта Уолпола (1676-1745), член парламента, автор справочников о
писателях и художниках, драматург. Особую известность получил как
создатель жанра "готического романа тайн и ужасов". Известен также
своим обширным эпистолярным наследием
Уотс Джордж, художник
Утрам, художник
Ушинский Константин Дмитриевич
Уэйкфилд Гилберт (1756-1801), филолог, лингвист, издатель
Фелт, миссис, жена Уилларда Фелта
Фелт Уиллард, председатель лекционного комитета в Нью-Йорке
Фет (Шеншин) Афанасий Иванович
Филд Джозеф, американский актер, антрепренер
Филдинг Генри (1707-1754), писатель
Филдс Джеймс
Филлипс Уотс, журналист

Фицджеральд Эдвард
Флобер Гюстав (1821-1880)
Фокс У.-Дж. (1786-1864), член парламента, проповедник,
литератор
Фонтенель Бернар ле Бовье де (1657-1757), французский
писатель, философ-моралист
Форстер Джон
Фосколо Уго (1778-1827), итальянский романист, филолог,
республиканец
Фрешфилд, миссис, сестра Бланш Корниш
Фрит Уильям (1819-1909), художник
Фрэзер Томас, редактор
Фрэзер Уильям, издатель
Фрэзер Саймон, лорд Лават, обезглавлен в 1747 г.
Х. фон Амалия
Ханней Джеймс
Хант Ли Джеймс Генри (1784-1859), поэт, драматург, эссеист,
издатель, критик
Хант Торнтон, сын Ли Ханта, эссеист
Харт, трактирщик
Хейвуд Абрахам, журналист
Хиггинс Мэтью Джеймс (1810-1868), журналист, эссеист,
печатался под псевдонимом "Якоб Омнибус", сотрудничал со многими
журналами
Хогарт Джорджина (1819-1837), свояченица Диккенса, посвятила
себя воспитанию его детей
Хогарт Уильям (1697-1764), художник-сатирик, гравировальщик,
теоретик искусства
Ходдер Джордж
Холмс Оливер Джастис Уэнделл (1809-1894), американский поэт,
романист, эссеист, врач, поклонник "Ярмарки тщеславия"
Хотон - см. Милнз Ричард Монктон
Хоул Сэмюел Рейнольдс (1819-1904), декан Рочестерского собора,
популярный проповедник, литератор, печатался, в том числе и по
светским вопросам, в журналах "Панч" и "Корнхилл"
Хоуп Берисфорд, меценат

Хук Теодор Эдвард (1788-1841), поэт-юморист, издатель, романист

Хэвлок, художник

Хэйр Джулиус Чарлз (1795-1855), архидиакон, литератор, вместе со своим братом Августом (1792-1831) издавал серию очерков по вопросам философии и морали "Заметки об истине" (1827)

Хэллем Генри Фицморис (1826-1850), сын Генри Хэллема. Получил блестящее образование в Итоне, затем в Кембридже, был влюблен в Джейн Брукфилд. Теккерей был очень привязан к Хэллему, тяжело пережил его раннюю смерть

Хэмстид Уильям, секретарь Теккерей

Цезарь Гай Юлий (102 или 100-44 гг. до н. э.)

Чемберс Роберт (1802-1871), издатель, историк, литератор

Чернышевский Николай Гаврилович

Черчилль Чарлз (1731-1764), поэт-сатирик

Чорли Г.

Чэпмен Джон

Шекспир Уильям (1564-1616)

Шиллер Иоганн Кристоф Фридрих (1759-1805)

Эванс, издатель

Эванс, хозяин ресторана в Лондоне

Эйнсворт Харрисон Уильям (1805-1882), романист, издатель

Элвин Уитуэлл

Элвин Уорвик

Элдер, издатель

Элиза, экономка Теккерей

Элиот Джейн Фредерик (?-1861), сестра Кейт Перри, филантропка

Элиот Джордж (наст. имя Мэри Энн Эванс)

Элиотсон Джон (1795-1868), врач, которому Теккерей посвятил "Пенденнису"

Элисон Арчибальд (1792-1867), шотландский юрист, шериф, постоянно сотрудничал с "Блэквуд мэгезин", историк, автор "Истории Европы времен французской революции" (1833-1842) и других исторических сочинений

Эмерсон Ралф Уолдо (1803-1882), американский писатель, философ-трансценденталист

Эрколе, синьора, владелица палаццо Понятовского

Ювенал Децим Юний (ок. 60 - ок. 127), римский сатирик
Юм Дэвид (1711-1776), философ, историк, экономист. Его
"История Англии" (1754-1762) грешит многочисленными
фактическими ошибками

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ТЕККЕРЕЯ

{* В указатель включены названия отдельных произведений,
сборников и циклов, упомянутых в тексте.}

Английские юмористы - см. Лекции об английских юмористах
XVIII века

Базар житейской суеты - см. Ярмарка тщеславия
Бал у мистрис Перкинс
Баллада о буйабесе
Баллады
Бюджет Бамбли Бого
Виргинцы
Гарри Роликер
Георги - см. Четыре Георга
Гоггартиевский Алмаз - см. История Сэмюела Титмарша и
знаменитого бриллианта Хоггарти
Дени Дюваль
Джордж де Барнуэл
Доктор Роззги и его юные друзья
Заметки о разных разностях
Записки Барри Линдона
Записки Желтоплюша
Золотое перо
Иголки в подушке
Ирландские заметки
История Генри Эсмонда
История Пенденниса
История Сэмюела Титмарша и знаменитого бриллианта Хоггарти
Каир - см. Путешествие от Корнхилла до великого Каира
Киккельбери на Рейне
Книга снобов
Кольцо и роза
Котиксби
Кэтрин

Лекции об английских юмористах XVIII века
Ловель-вдовец
Мелочи
Мещанская история
Милосердие и юмор
Наш преподобный доктор Лютер - см. Песенка монаха
Наши романисты Ньюкомы
Ода майскому дню
Опыт продолжения (романа Вальтера Скотта) "Айвенго"
О радостях курения
Парижские очерки ("Парижская книга очерков")
Пенденнис - см. История Пенденниса
Перо и альбом
Песенка монаха
Письма мистера Брауна к племяннику
Последний очерк
Прайор, Гэй и Поуп
Приключения Филиппа
Прогулка священника
Путешествие от Корнхилла до великого Каира
Ревекка и Ровена
Рождественские повести
Рыбак и рыбачка
Славный паж, чей с ямкой подбородок
Снобы - см. Книга снобов Стул с плетеным сидением
Филипп - см. Приключения Филиппа
Фонарь миссис Кэтрин
Хроника барабана
Четыре Георга
Эсмонд - см. История Генри Эсмонда
Ярмарка житейской суеты - см. Ярмарка тщеславия
Ярмарка тщеславия
De Finibus
Vanitas Vanitatum